95 коп.

Индекс 73276

14



«Нева», 1988, № 11, 1—208

НЕВА 11 1988

ISSN 0130-741X



11 | 1988

НЕВА

Выходит
с апреля
1955
года

11 | 1988

Ежемесячный
литературно-
художественный
и общественно-
политический
иллюстрированный
журнал

Орган
Союза
писателей
РСФСР
и Ленинградской
писательской
организации



Ленинград.
Издательство
„Художественная
литература."
Ленинградское
отделение

Содержание

В номере цветная вклейка: «Ленинградский плакат. Работы с выставки».

На обложке: гравюра Б. СМИРНОВА «Стрелка».

Даниил ГРАНИН

ДОРОГА К ЗДРАВОМУ СМЫСЛУ

Заметки делегата

Первое, что меня спросили по возвращении из Москвы: «Ты как голосовал? За совмещение или против?»

— За совмещение,— сказал я, сразу поняв, о чем речь, и не удивляясь тому, как здесь, в Ленинграде, точно определился центр наших сомнений и кулуарных споров. Удивляться не стал, но для себя заметил: через телевизор, радио ныне знают о конференции почти столько же, сколько и мы. Видели все, даже иногда подробнее, через увеличительное стекло камеры, заметили, например, что один из выступающих глотал лекарство, волновался, что у кого-то дрожали руки...

Перед конференцией вопрос о «власти Советам» обсуждался наиболее бурно. Может, из всех проблем демократии, гласности, перестройки этот вопрос вызывал наиболее горячие споры. Сделать Советы из придатков партийным органам реальными хозяевами, но как? Как практически осуществить идею народовластия? Чтобы Советы решали все важные вопросы и хозяйственной и культурной жизни, управляли бы исполкомами...

С того дня, когда меня избрали делегатом XIX партконференции, мне пришлось быть на собраниях в шести разных организациях. О работе Советов представление я имел, потому что был в свое время депутатом Ленинградского горсовета. Было это давно, в шестидесятые годы, но, судя по разговорам на нынешних собраниях, характер и работа Советов и претензии к ним мало изменились. Воспоминания были печальные. Как депутат я почти ничего не сумел сделать для своего участка. С трудом пробил одну квартиру для семьи блокадников. Выступал на своей комиссии. А что могла моя комиссии по культуре? Ни бюджет изменить в пользу культуры, ни на планы строительства повлиять. Все решали исполкомы. Я и от депутатства дальнейшего тогда отказался, потому что бессилие свое ощутил, и стыд от того, что самых осторожных обещаний перед избирателями выполнить не удалось.

Сегодня продолжается примерно то же самое. Об этом говорили в печати, так что не буду повторяться. Политическая система наша застыла давно, все те же 99,9 % голосующие «за» десятки лет. Те же кабинки для тайного голосования, в которые давно уже «не ступала нога человека».

Что значит «вся власть Советам»? Власть-то сейчас у партийных комитетов. Власть, наработанная опытом, обеспеченная кадрами, отделами, связями, системой информации, контроля. Как передать эту власть Советам? Вывески поменять? Стоит ли, что это даст? А как еще ее передать? Власть передать — это не папку с бумагами вручить, не печать, не телефонный аппарат, даже если он прямой, правительственный...

Примерно с этого места мнения начинали расходиться кто куда.

На конференции решено было избирать председателями Советов «как правило, первых секретарей соответствующих партийных комитетов».

М. С. Горбачев в докладе подробно разъяснил выгоды и необходимость такого совмещения. Тем не менее именно этот вопрос вызвал наиболее живую дискуссию среди делегатов. Многие не поняли смысл перехода секретарей из членов исполнительных комитетов в председатели Советов. Многим казалось, что совмещение должности секретаря партийного комитета и председателя Совета непомерно усиливает власть партийного руководителя, создает чуть ли не диктатуру. На встречах после конференции этот раздел резолюции тоже вызывал больше всего вопросов. Когда голосовали резолюцию реформы политической системы, именно этот раздел хотели голосовать

отдельно. Так что смущение, споры, непонимание — в чем тут суть — были и продолжаются. Меня поначалу предложение это тоже заставило насторожиться. Мы говорим о том, чтобы партийные комитеты не подменяли государственные и хозяйственные органы, а тут выходит, мы к партийной власти придаем еще и власть Советов, и все совмещаем в одном лице.

Понадобились долгие разговоры, размышления, пока, наконец, дошла глубинная суть реформы. Пока я понял, что это наиболее важное, ключевое решение означает принципиально новый подход, новый метод преобразования политической жизни. Надо было перевернуть свое привычное мышление, свои застарелые представления.

Болото застоя засосало и аппарат, и политическую систему, и наше сознание. Слишком долго ничего не менялось. Никто и не пытался выкарабкаться. Кое-кто устроился на кочках, в разных щелях социализма, и был доволен. Застой, он вроде устраивал — нет репрессий, нет системы чрезвычайных мер.

В неподвижном организме отложились соли. И когда сейчас надо сдвинуться с места, сделать шаг, то трудно и больно из-за этих солей. Остеохондроз мышления мешает. Так трудно, что некоторые готовы оставаться сиднем сидеть, понимают, что надо двинуться, а боятся, не могут.

Меня спрашивают, как я понимаю передачу власти Советам. Сейчас должности председателя Совета нет. Советы реальной власти не имеют, так что должность эта секретарю партийного комитета власти не прибавит. Нельзя передать то, чего нет. Наоборот, Советы обретут власть через партийных руководителей. Нагрузка перейдет на вторую опору, распределится. Понимаю так, что это не акт, а процесс, который будет получать конкретные черты лица незнакомого нам выражения. Возможно, сегодня это самый верный и спокойный путь депутатам стать хозяевами, контролировать деятельность исполкома, почувствовать, что от них зависит решение коренных проблем.

За годы пребывания в партии (а вступил я в партию в 1942 году, на фронте) я привык к тому, что мое мнение ничего не значит для вышестоящих и вышесидящих. Мой голос никогда не влиял на выбор секретаря райкома, тем более обкома партии, никто из партийных начальников от меня, рядового члена партии, не зависел. Их судьбы, их решения, их репутация — все определялось сверху, потому и смотрели они туда, вверх, а не на нас, бесполезных для них людей. Я к этому привык, так же как и все вокруг меня, другого порядка мы не знали.

Впервые на XIX партконференции я обнаружил, что могу решать, могу проголосовать «за» или «против», от этого многое в нашей жизни определится, значит, надо думать. Надо быть политиком, мы становимся политиками.

Теперь, отныне, может начаться эра народовластия. Тот же секретарь партийного комитета должен будет избираться в Совет. Из нескольких кандидатов. Тайным голосованием. Это одна проверка его авторитета, его работы. Затем, если станет депутатом, должен избираться председателем Совета, опять же тайным голосованием. Вторая проверка, второе чистилище. Чтобы пройти их, нужно заработать доверие людей, нужно, чтобы признали программу руководителя, его стремления. Признают — выберут, значит, достоин, это и будет укрепление роли партии, ее силы.

Вот тогда-то изменится направление взгляда партийного секретаря, ему не наверх надо будет смотреть, а туда, от кого ныне зависит и состав Совета, и его должность,— на избирателя, на рядового коммуниста, да и на беспартийного человека. Это серьезная перемена. Она произойдет не по команде, ее заставит произвести новая система, что куда надежнее всех команд и постановлений. По крайней мере, вроде так должно получиться...

После первого дня конференции я встретился вечером с московскими своими друзьями. Они смотрели заседание по телевизору, слушали по радио выступающих. Стали обмениваться впечатлениями, и я заметил, какие разные у нас получаются оценки. Выступление М. мне показалось интересным, а выступление А. хотя и серьезным, но не конструктивным. У них же впечатление было иное. И в следующие дни разница восприятия сохранялась. Выступление, например, Бакланова в зале выглядело неудачным, а для них то, что напечатано было в газете, и то, что прозвучало с экрана, было убедительно, они не понимали, почему зал прервал его, мешал говорить. Разошлись мнения и насчет некоторых предложений председателя колхоза Айдака. Я, например, аплодировал, когда он говорил о несправедливости с жильем в деревне, а вне

зала это вызвало протест, они увидели в этом стремление к иждивенчеству за счет рабочих и служащих...

Живого оратора воспринимаешь не только сам, но и вместе с соседями, а то и со всем плотно заполненным залом. Заражает и смех, и аплодисменты. Сидя перед экраном телевизора, зритель чувствует себя независимей. Пусть он всего лишь зритель, а не соучастник, зато он подмечает некоторые оттенки, малоприметные для меня,— «зачем некоторые товарищи немедленно взяли проработочный тон в отношении выступления академика Абалкина. Не по существу с ним спорили, а начали осуждать в стиле ретро...» Или — оказывается, интереснейшим было выступление секретаря ЦК Компартии Латвии Б. К. Пуго, а мы в зале почти пропустили его, потому что пересмеялись после речи Кабаидзе В. П., долго не могли успокоиться.

Разница восприятий внутри и снаружи проступила впервые так ощутимо. Мы привыкли говорить на закрытую аудиторию, здесь же все передавалось почти одновременно на миллионы, передавалось экранами, радио, газетами, пробовалось, испытывалось на точность, на самостоятельность, на глубину мысли. И если «малая аудитория» Дворца съездов порой поддавалась на ораторский талант, художественные ухищрения, на словесную вышивку и эффекты красноречия, то большая аудитория страны смотрела на это строже и требовательнее. Было радостно, когда оценки наши сходились, когда живое выстраданное слово, серьезное, смелое, одинаково затрагивало души, потому что было о главном. Это были и выступления директора бройлерного объединения «Ставропольское» Постникова, того же директора станкостроительного объединения Кабаидзе, хирурга Федорова, артиста Ульянова, были и другие, были отдельные яркие мысли, положения. Пожалуй, впервые на моей памяти партийный форум страны проходил проверку на интерес, на внимание всесоюзного слушателя.

Ко мне подошла учительница С. из нашей делегации. Вдумчивая славная женщина, истово относящаяся к своему званию делегата. Спросила, как мне понравилось вчерашнее выступление Ю. В. Бондарева. Я сказал, что не понравилось. Объяснил почему. На мой взгляд, оно групповое, несправедливое. Она обрадовалась: «Мы-то боялись, мы вечером обсуждали и решили, что выступление это совсем не так хорошо, как вначале показалось».

Иногда ораторы ссылались на мнение делегации. Поступали записки в президиум — от имени делегации. Нам казалось это странным. И несвойственным духу конференции. Наша ленинградская делегация, например, не вырабатывала общего единого мнения по какому-либо вопросу. Нас не собирали для определения какой-то позиции. Думаю, что это правильно. По ходу прений оценки были разные, суждения расходились. Конечно, можно было собрать, поднажать, добиться единства и затем выступить — от имени. Но нужно ли такое командное единомыслие, подмена самостоятельного участия личности? Вся обстановка конференции способствовала тому, чтобы каждый чувствовал свою личную ответственность. Делегаты говорили большей частью от себя, а не от имени других, если ссылались, то на наказы пославших их. Наказов, предложений было множество, и каждый сам отбирал для себя важнейшее.

В газетных скобках выглядело одинаково: (аплодисменты) — и тем и другим. Можно подумать, что зал был беспринципен. Нет, аплодировали разно, одни мои соседи хлопали, другие молчали, зал то и дело расходился во мнениях.

Может, кому и писали выступления, большинство же поднималось на трибуну со своим собственным, выношенным, выстраданным. Текст этот если и готовили задолго, то по ходу конференции добавляли, переписывали, поднимая его значимость. Чувствовалось, что никто у них не проверял, не утверждал. Я потому говорю об этом, что спрашивают: выступления ленинградцев обсуждались делегацией? Спрашивают и долго еще будут недоверчиво спрашивать — так въелась принуда. Это спрашивают ленинградцы, что ж говорить о глубинке, где принуда согласовывать каждое трибунное слово сохраняется.

Здесь же, на конференции, с первого дня нестерпимо звучала каждая фраза, взятая из набора прежних штампов:

«...как совершенно правильно сказал Михаил Сергеевич Горбачев в докладе, достигнутые результаты не дают оснований говорить о переломе в социально-экономи-

ческом развитии. Далеко не полностью мы используем созданный производственный потенциал...»

А если принимались кадить подряд, по заведенным когда-то обрядам, то зал восставал. Аплодисментами захлопывали оратора. Зал не хотел возвращаться к благостной болтовне, изготовленной холодными руками референтов, к суесловию рапортов. Авторитет и торжественность происходящего уже не защищали оратора. Еще недавно все, что изрекалось с этой трибуны, освященной государственным гербом, воспринималось как положенное. Во всяком случае без протестов. Впервые в этом зале аудитория, рядовые слушатели, липали слова, не одобряли, роптали, несговорчиво отмалчивались. Или не желали слушать то мелочное, то неприятное... Было и такое. Какая-то часть аудитории несогласно шумела, начинала хлопать. Не давали оратору говорить: не всегда потому, что он говорил пустое, нет, произносились порой вещи дельные, острые, не соответствующие мнению — аппаратному, общепринятому, рутинному... Принцип гласности явно нарушался. Нравится, не нравится противоположная точка зрения, делегат должен иметь право ее высказать. Об этом несколько раз напоминал М. С. Горбачев, останавливая шум в зале.

Сказывалась наша демократическая незрелость. Демократия опрокидывала свои принципы, возникала нетерпимость к инакомыслию, причем неизвестно, действовало тут большинство или агрессивность. Такое произошло при выступлении Григория Бакланова. Пусть начинать с полемики было, может, тактически невыгодно, но мысль его — глубоко честная, гуманная — имела полное право прозвучать и быть услышанной. Нельзя было поддаваться эмоциям и, главное, оппонировать нельзя, зажимая рот оратору. Это произвело тяжелое впечатление на тех, кто за стенами Дворца съездов мог спокойно ознакомиться с опубликованной его речью. «Почему ему мешали говорить? Как можно было так несправедливо относиться к человеку, который мужественно отстаивал разумное мнение?»

Подобных вопросов задают много.

В этом смысле примером демократизма, терпения, уважения к каждому делегату служило то, как в последний день вел заседание М. С. Горбачев, когда принимали резолюции. После работы комиссии конференция принимала окончательный текст. То тут, то там в огромном зале поднималась рука с красным мандатом. Надо было высмотреть, пригласить к трибуне. Поправок, дополнений давали много. Заседание затягивалось. Не кончили в восемь вечера, не кончили в десять. Никого из выступающих не одернули, никого не приструнили, хотя не все поправки были стоящие. Председательствующий ни одному желающему не отказал в слове. Он не сдерживал, а поощрял к участию. Быстро ухватывал в путанице слов здравую мысль, помогал формулировать ее. Это был поучительный пример человечности, высокого демократизма. Особенно по сравнению с привычным зычным окриком «опытных» унтер-пришибеевских председателей президиумов, для кого непредусмотренно поднятая рука — сигнал опасности. Регламентом, грубостью, звонком, микрофоном поднаторели они загонять собрание в предписанный финал. Не знаю, восприняли ли этот урок руководители, но рядовые делегаты обрели теперь наглядный образец для сравнения.

Такой открытости не знал ни один из партийных форумов. На конференцию были приглашены беспартийные. Я встретил там Д. С. Лихачева, С. П. Залыгина...

Открытость, я бы сказал, честность конференции позволяет рассказывать о ней так же честно, откровенно. Одним из сложных и драматических моментов было для меня выступление Б. Н. Ельцина и все связанное с этим. За первые три года перестройки история ухода Б. Ельцина из руководства московской парторганизации была, пожалуй, единственным происшествием, вокруг которого ходили самые противоречивые, неприятные слухи. Поэтому было отрадно, что Б. Ельцин получил слово на конференции и мог объяснить свою позицию. Выступление давалось ему нелегко, он волновался, трудно было, конечно, представить, как его примут. Приняли его хорошо, вернее, проводили аплодисментами. За что ему аплодировали? За твердость и смелость, с какой он изложил свои взгляды. Текст его речи без сокращения был напечатан в газетах, скажу лишь, что и эмоционально, да и по существу речь его произвела впечатление. Децибелами аплодисментов впечатление это не измеришь.

После перерыва первый же оратор принялся осуждать выступление Б. Ельцина. И следующий также. Делалось это, на мой взгляд, по канонам старого недоброго времени. Не выступление обсуждать, а самого выступающего, выискивать его грехи, что он когда-то сказал, будучи в Никарагуа, и тому подобное.

Слово, с которым я собирался выступить на конференции, включало то, что было в наказах и предложениях, переданных мне. Отобрать из них наиважнейшие было непросто. Среди них не осталось места проблемам нашей литературной жизни. Втиснуть их за счет отобранного совесть не позволяла. Да и если начистоту, то на партийном собрании творческих союзов Ленинграда речь прежде всего шла о демократизации строя нашего. Страсти вокруг тех или других журналов — кто кого там обижает, какая там критика — показались мне мелкими перед громадой забот и болей народных.

Я хотел сказать о беспартийных. Меня обрадовали и поразили обсуждения тезисов перед конференцией. Меня выбрали делегатом не по списку, присланному «из центра», поэтому мне приходилось бывать и выступать на разных предприятиях. Наряду с коммунистами там выступали беспартийные. Они, пожалуй, впервые чувствовали себя полноправно, их речи звучали так же раскованно, выстраданно, государственно. Чувствовалось, как много накопилось у них своего невысказанного, сколько желания участвовать в обновлении жизни.

Как использовать это разбуженное сознание огромных внепартийных сил в процессе преобразований? Не просто исполнителями, помощниками партии.

На собраниях возникала тема дискриминации беспартийных, неравноправия. За ней вставали давние обиды и недоумения. В самом деле, много ли у нас беспартийных руководителей предприятий, директоров школ, совхозов, главных врачей, прокуроров, начальников станций, ректоров? Если есть, то считанные единицы. Процент чисто формальный. Есть ли у нас хоть где-то беспартийные председатели райисполкомов? Министров нет ни одного наверняка.

А собственно, почему?

Ответа на этот вопрос я не находил. Разве Конституция это запрещает? Вроде бы нет.

В силу каких причин произошло такое отлучение народа от власти?

Партия была и есть руководящая сила нашего общества. Она генератор идей, организатор перестройки. Руководящая сила, однако, не должна подменяться силой руководителей. Было оправдано для молодого государства на ответственнейшие посты ставить коммунистов. Со временем распространилось это на все начальнические должности. Ссылались на то, что в партию идет авангард, самая лучшая, идейная часть народа. Подспудно же действовали и иные сокровенные, аппаратные соображения — членами партии легче командовать, нажать, припугнуть. Посмеют спорить, не подчиняться — можно напомнить о партбилете. Угроза действенная, ибо исключение все, гражданская смерть. И мы знаем, сколько под этим обухом терялось, губилось инициативы, народного опыта, как ломали через колено. А беспартийного, как его ухватить, какой страх ему придумать? С ним разговаривать надо, убеждать, доводы приводить.

Хотели иметь послушных руководителей, управляемых. Не желали замечать, куда завели нас именно послушные, согласные на все.

Сама партия поставила сегодня, как никогда раньше, вопрос о качестве своего состава.

Мне выпало вступать в партию на фронте, в самое тяжкое время, в январе 1942 года. Для нас партбилет тогда был выражением преданности Родине. Конечно, война не пример для мирной жизни. Но, слушая сегодня вступающих в партию, я иногда не могу понять, что их толкнуло на это? Предложили им? Решили, что так им будет лучше? Не хочу подозревать их ни в чем плохом, но вспомним, как Ленина тревожило, что в партию со всех сторон рвутся карьеристы.

Не поощряет ли наша система выдвижения эти карьеристские соображения довольно корыстного пошиба?

Недавно в одном академическом ленинградском институте директор хотел взять себе зама по науке, отличного специалиста, толкового организатора. Директору в райкоме сказали — нельзя, он беспартийный, пусть вступает в партию, тогда утвердим, не беспокойтесь, мы его быстро оформим. Стали этого ученого уговаривать, уговорили, и райком помог, быстро оформили. И никто не видел ничего зазорного в этой сделке.

История не исключительная. Молодые люди убедились, что партбилет стал как бы пропуском на служебную лестницу.

Здоровое молодое честолюбие наталкивается на необходимость совершать этот

отнюдь не нравственный акт. Потому что если членство в партии становится обязательным для карьеры, то это условие выглядит само по себе безнравственно, независимо от субъективных мотивов.

Думается, максимальный простор самоуправлению общества, выявление интересов всех слоев народа, всех социальных групп — все это требует дать равные права беспартийным. Пришла пора открыть и для них перспективы выдвижения на любые должности — советские, хозяйственные, административные. Права и возможности беспартийного человека должны зависеть только от его способностей, знаний, порядочности. Именно среди беспартийных перестройка имеет огромные невостребованные резервы природных лидеров, умных, независимых, скромных организаторов. Льгот членство в партии для выдвижения на любые посты не должно давать.

Принцип равных возможностей поможет привлечь в партию людей по чисто идейным соображениям. Процесс самоочищения действеннее любой аттестации...

Порядочность относится к понятиям, которые почти исчезли из официального лексикона, из характеристик так же, как исчезли милосердие, воспитанность, учтивость, обязательность. Сейчас только мы, словно прозрев, начинаем оценивать поведение людей меркой порядочности.

На собрании неформальной группы в Ленинграде, где обсуждалось состояние реки Невы, экологические последствия строительства дамбы, выступил один молодой ученый и привел данные о качестве воды. Через некоторое время появляется в зале милиция и арестовывает этого человека. Выясняется, что сообщил в милицию сидящий тут же некий руководитель, который сослался на то, что данные о качестве воды «для служебного пользования» и не подлежат оглашению. Поступок его вызвал возмущение, люди потребовали, чтобы он удалился, он же был исполнен самоуважения, сознания выполненного долга. Кстати говоря, подобные данные публиковались в ряде городов страны, и служебность их стала очевидным пережитком.

Мы привыкли к благополучным диаграммам роста. Число машин, мегаватт, тонн росло, догоняло, опережало. По количеству врачей, по количеству ученых, по книгам, по образованию... Само собою считалось, что так же неуклонно поднимается сознательность, энтузиазм, геройство; соответственно шла вверх кривая общей или средней, на человека, радости, веселья («жить стало лучше, жить стало веселей»), росла справедливость («по заслугам каждый награжден», «старикам везде у нас почет»).

Росло совсем другое — потребление водки, наркомания, проституция, взятки. Выяснилось, что наряду с теневой экономикой существовала теневая нравственность. Гласность, журналисты помогли всеобщему прозрению. Оказалось, что и у нас существует рекет, мафия, коррупция.

Годы культа и годы застоя не прошли даром. Под давлением страха, лжи, разочарований человек стал хуже. По сравнению с чем? Да с тем, каким он был в 20-е и 30-е годы. Когда, зажженные огнем Революции, мечтой о близком рае равенства и братства, о коммунизме, жили в бараках, шли на работу с песнями, пылко и самоотверженно возводили могучую индустрию. Романтику тех лет нельзя обесценить никакими пересмотрами и пересчетами. Она была, была всенародной, исполненной глубокой веры, и люди трудились, делая чудеса. Работали, если по нынешним меркам, добротно, на совесть. Порыв этот длился поразительно долго. Его не могли исчерпать ни голод, ни тяжкий быт, ни раскулачивание, ни повсюду возникшие «враги народа».

Но «последовательность» сталинского деспотизма, а затем растлевающая эпоха застоя сделали свое дело. Почва народного доверия истощилась. Моральные показатели падали. Честности становилось меньше, халтуры больше. Убыль коснулась, казалось, независимых от политики черт: заботы о родителях и детях, семейных устоев. Прибывало злости, жестокости. Многолетняя тоска общежитий, скученность коммунальных квартир унижали человека. Годы уходили на неубывающие очереди за мукой, за сапогами, в поликлинику, в детсад, к любому чиновнику, очередь за жильем — очереди остервенелые, безнадежные. Хамское отношение в учреждениях, вранье начальников — все, все разрушало душу, обесценивало гуманные идеи социализма.

В сталинском социализме мы прожили несколько десятилетий. Это социализм чрезвычайных мер, без научного расчета и уважения к человеку. Но был ленинский социализм, в котором мы должны были жить, ради которого рвались вперед, не переводя дыхания, не оглядываясь на колючую проволоку лагерей.

Нынешнее поколение, все мы так или иначе сформированы, воспитаны именно

сталинским социализмом — и те, кто защищает его порядки, и те, кто отвергает его.

То, что происходило на XIX партконференции, что воплотилось в ее резолюциях, прокладывает пути к ленинскому социализму.

Казалось, ничто не способствует появлению принципиальных людей, истинных патриотов, людей чести и совести, особенно там, наверху, где царили лесть, угодничество, где вместо заботы о детях, матерях, о здоровье человека заботились о процентах плана. Любой ценой — план. Не знаю, что принесло столько бед нашему хозяйству, как погоня за планом. Культ плана вырастил бездушных руководителей, очковтирателей, показушников.

И все же то там, то тут они возникали — рыцари совести и чести. Будучи в Вильнюсе, я побывал этой весною на могиле А. Снечкуса. На полированной плите лежало несколько свежих гвоздик. Умер он в 1974 году, с тех пор не зарастает тропа к его могиле, любовь народа к нему не убывает. Его помнят, приводят в пример. С 1940 года он был первым секретарем ЦК Компартии Литвы. Тридцать четыре года исполнял он эту должность, в самые тяжелые времена умудряясь отстаивать интересы своего народа, здоровье литовской земли от произвола и непродуманных посягательств. Он стал героем почти легендарным. Заработать у литовцев, сдержанных, скупых на чувства, такую благодарность можно было только делами. Я слушал рассказы о Снечкусе с завистью. Ни о ком из наших ленинградских секретарей после С. М. Кирова подобной памяти не сохранилось. Появлялись и исчезали безоглядно, никаким добром или толковым делом их и не припомнишь. Приходилось немало бывать в других областях, республиках, не берусь и там назвать партийного руководителя, который остался бы примером служения народу, бескорыстной души, благородной деятельности — чистой и умной. Может, где и были, если б знать!

С писателей упорно требовали создания положительных образов партийных лидеров. С кого? Где они, живые примеры, из тех, что у всех на виду? Не сочиненные секретари обкомов, а подлинные предтечи перестройки, которых можно полюбить.

Последние годы давали нам, прежде всего, героев застоя. Гласность высветила галерею хапуг, двурушников, хищников самого разного калибра.

Порча коснулась самих основ человеческой натуры, трудолюбия и порядочности. Эти два качества составляют как бы базис и надстройку каждого человека.

Во времена сталинщины сохранять порядочность становилось все труднее. Порядочные люди не требовались, они мешали. Деспотизм нуждался в послушании, в бездумии, он признавал беспрекословное исполнение и оправдание любого насилия. Мы — винтики («незаменимых не бывает»), за нас думает, решает, отвечает партия, вождь партии. Значит, с нас взятки гладки. Все годится, если для пользы дела. Морально то, что служит делу строительства нового строя. Честность — понятие диалектическое. Кто не с нами, тот против нас. Мы окружены врагами. Если враг не сдается, его уничтожают. Жалость унижает человека...

Лозунги заменяли мораль.

Но и лозунги лгали, потому что врагами не были раскулаченные родители, «уклонисты», «вредители». Ради интересов класса предлагали отречься от отца с матерью. Предательство считалось преданностью. Доносительство оправданно, к нему обязывали и детей, и взрослых. Фискал ходил с гордо поднятой головой — он исполнял долг.

Порядочность уходила в подполье. Порядочность не могла позволить себе предавать кого бы то ни было, доносить на кого бы то ни было. Порядочность не могла смириться с тем, что говорилось одно, а делалось другое.

Конституцию утвердили в декабре 1936 года. Она гарантировала неприкосновенность личности, а через несколько месяцев, пренебрегая какой-либо законностью, заработала гигантская мясорубка репрессий. Конституция гарантировала свободу слова, печати, тайну переписки. Но те, кто пытался пользоваться этими свободами, погибали.

В биографии Сталина, изданной в 1947 году, записано: «Всем известна его скромность, простота, чуткость к людям». Он одобрил свою биографию. Вся страна была к этому времени уставлена бюстами и монументами вождя. Славословие достигло чудовищных размеров.

Под гнетом всеразъедающего страха люди врали в анкетах, скрывали про своих родных, предков — служителей культа, дворян, исключенных из партии... Скрывали

свое «социальное происхождение». Был такой вопрос в анкетных сетях. Приучали детей своих помалкивать, не задавать лишних вопросов. Страх порождал ложь, ложь увеличивала страх. Ложь была «во спасение», гнетущее ее присутствие увеличивало страх и несвободу. Боялись не вступать в комсомол, не вступать в партию. Боялись выйти из партии.

Все это можно понять, объяснить и даже извинить. Но во времена брежневщины таких страхов уже не было. А нравственные потери не уменьшились, а увеличились. Эрозия порядочности проникла и в семейные отношения. Пьянство, разводы, воровство — и мелочное, и крупное,— воровство, которое шло не только от нужды, а сверху вниз: «если им можно, то чем мы хуже».

Брежневщина растлевала не только начальство. Хотя начальство, конечно, уже ничего не стеснялось и не боялось. Детей своих пристраивали на должности, прежде всего за границу. Хватали квартиры, премии, звания. Секретарь Ленинградского обкома «защитил» диссертацию про запас, резервируя свое неверное будущее. Разумеется, диссертация была докторская, а защита закрытая, чтобы наверняка, чтобы никто не помешал. Цинизм этой эпохи войдет в историю небывалой откровенностью. Бюрократию всех рангов, от районной до республиканской, никак не мучило то, что происходило в стране. Приходилось слышать их разговоры и домашние, и на всяких приемах. О чем говорили, что обсуждали? Да прежде всего кого куда перемещают, назначают, снимают, кому что светит. Какие должности, каков паек, какая машина, оклад...

И каждый считал себя порядочным человеком.

Дать определение порядочности не так-то просто. Во всяком случае я не берусь. Легче, привычнее определять непорядочность. Понятие «порядочный человек» даже в словарях менялось:

«держащий себя как должно» (словарь 1882 г.),

«довольно приличный» (словарь 1902 г.),

«неспособный к низким поступкам» (словарь 1983 г.).

Фактически добрались до того, что для порядочного человека достаточно не совершать низостей, пока его не заставят. Отмолчался — уже молодец. Не участвовал в проработке — проявил твердость. А если поднял руку — воздерживаюсь — это уже смелый поступок.

Мораль, нравственность, состояние души, проблемы воспитания — все эти вопросы на конференции обсуждались мало. Может быть, это требует специального разговора.

Панцири цинизма, равнодушия, разочарования, страха закрывают ныне человека так, что их не прошибить ни публицистикой, ни художественным словом, ни другими средствами искусства.

Публикацию, пронизанную болью, гневом, встречают как сенсацию. Восхищаются смелостью автора, новые факты, цифры, фамилии оценивают одобрением зрителей: «Ну здорово, вот дает!» Боль не вызывает ответную боль, гнев не рождает ответный гнев.

Как добраться до совести, пробудить ее к работе, как воздействовать на человека? Не на другого, мы ведь все привыкли переключать на другого, как себя самого включить в систему ответственности и участия. Я думаю, это можно лишь мнением общества, механизмом давно уничтоженным, позабытым. Оно когда-то существовало и действовало в России. Властвовало во всех слоях и сословиях. В деревне управлял и хозяйственной жизнью, и порядками, и нравами община, сельский сход. Своя этика блюлась в купеческом сословии. Существовали дворянские собрания, офицерские собрания, то есть как бы постоянно действующие клубы, где строго следили за поведением своих членов. Были тут и свои предрассудки, издержки, но все же старались соблюдать. И честь соблюдали, требовали репутацию хранить. Имелись салоны литературные, художественные, системы клубов вроде тех, что действуют поныне во всех странах. Чтобы войти в такой клуб, нужна рекомендация его членов, они должны поручиться за порядочность кандидата.

В русской науке действовал институт общественного мнения, который карал нарушителей приличия.

Люди, уличенные в том, что они совершили бесчестные поступки, должны были подавать в отставку. Должны! Пора бы восстановить такое правило. Уличенных надо обязать к этому. Иначе гласность превращается в пустую говорильню, от которой растут досада и чувство бессилия.

Реформа политической системы обяжет партийных секретарей, которые не будут избраны председателями Советов, также уходить в отставку. Таков проект механизма. Заработает ли он, как будет работать, это уже наших рук дело.

Отставка — акт осознания вины. В каком-то смысле покаяние. У нас не любят, не принимают этого слова. Нельзя прощать свои грехи себе самому, нужно просить прощения перед другим. А перед кем?

Недавно, на заседании ленинградского клуба «Перестройка» слова попросила одна женщина. Если не ошибаюсь, фамилия ее Жуковская. Запинаясь от волнения, она рассказала, как в 1949 году она была аспиранткой в техническом вузе, и вот однажды ее отозвала старшая преподавательница, попросила выступить завтра на собрании, посвященном разгрому космополитов, раскритиковать профессора Баха.

— Я подготовилась и вышла на сцену. Помню, что говорила горячо, и вдруг во втором ряду увидела профессора. До сих пор не могу забыть, какими больными глазами он смотрел на меня. Слушал и смотрел. Через два дня он умер. С тех пор во мне сидит это. Меня заставила сегодня выйти на трибуну статья в «Советской России» «Не могу поступиться принципами», которая по сути оправдывает те времена, мой поступок и призывает вернуться к ним. Я хочу, чтобы никто из вас не пережил того, что я пережила!

Примерно так она говорила. Я смотрел ее выступление по телевизору. Ничего кроме глубочайшего уважения у меня ее поступок не вызвал. Она сошла с трибуны в полном молчании зала. Было больно за нее, за себя, за всех нас, впервые мы слышали публичное покаяние. У нас это не принято, вернее мы отвыкли от такой потребности души или совести.

Есть известная евангельская истина: «покаявшийся грешник — дороже праведника». Мне известны некоторые праведники. Большей частью они отсиживались, блюдя свою чистоту,— люди без поступков. Прожить праведниками могли лишь те, кто ничего не решал, не действовал, не брал на себя ответственности. Прочитав воспоминания Ивана Трифоновича Твардовского, беспощадные и честнейшие, я не разочаровался в его брате, наоборот, я лучше понял природу и силу стойкости Александра Твардовского. Раскаяние, чувство вины неотступно грызли его и не позволяли никогда более идти на сделки с совестью. Судом памяти он приговорил себя к высшей мере порядочности.

Мнение общества могло покарать жестоко. Вспомним, как карает свет в «Анне Карениной» или у Островского в пьесах. Справедливо — несправедливо — другой вопрос. Общество имело свои неписаные законы чести. Каждый член общества обязан был их исполнять. Будешь нарушать — осудят. Выскажут неодобрение. Могут отказать от дома. Не подадут руки. Отлучат.

Звук пощечины почти не слышен в нашей жизни. Но все же он нет-нет да раздается. Мне рассказывали, как писатель-фронтовик влепил пощечину партийному чиновнику, который стал грязно измываться над ним и его другом Виктором Некрасовым. Академик Андрей Дмитриевич Сахаров, человек деликатнейший, воспитанный, истинный интеллигент, чуть ли не извинившись, дал пощечину Н. Н. Яковлеву, который подлейшим образом печатно оболгал и оскорбил его жену.

Наверное, пощечина и в самом деле старомодный способ отстаивать свою честь, но чем-то она достойнее, благороднее, чем привычные в наших конфликтах заявления в дирекцию, завком, выступления на собраниях и тому подобное.

Сословные общественные мнения вырабатывали критерии, старались по-своему повысить мораль. Разрушение общественного мнения привело к тому, что в науке, например, служение истине и тому подобные правила стали восприниматься иронически. Владимир Иванович Вернадский с тревогой отмечал необходимость возродить понятие «общественный стыд».

Вслед за ним и Петр Леонидович Капица настойчиво внедрял мысль о значении общественного мнения в научной среде. Для этого надо создать здоровую научную общественность, как некую среду, сферу, где будет вырабатываться общественное мнение. «Это труднее, чем постройка больших институтов»,— предупреждал Капица. Общественное мнение не требует сговора, оно требует среды, возможностей собираться с людьми, близкими по духу, по взглядам, обмениваться мнениями. Свободное, посто-

янное, не через мероприятия общение, оно и заставляет каждого дорожить мнением своей среды, будь то клуб ученых, клуб любителей хоккея или клуб цветоводов.

Единственное, что я должен был сказать о литературе, так это о том, что давно пора отменить постановление ЦК 1946 года о журналах «Звезда» и «Ленинград». Считается, что фактически оно не существует, но ретивые ревнители прошлого продолжают сообщать о нем на уроках литературы. «А что, имеем право!» Сам факт его отмены много бы значил для идеологического климата. Зачем держать зачехленным это орудие, нацеленное на нашу литературу, на все советское искусство? И в связи с этим обратить внимание на многочисленные требования ленинградских коллективов снять имя Жданова с Ленинградского университета, к которому он не имел никакого отношения. Просят присвоить университету имя Александра Ульянова, Дмитрия Ивановича Менделеева, можно оставить просто Ленинградским университетом, то же самое относится и к Дворцу пионеров, созданному С. М. Кировым, а почему-то носящему имя Жданова. Появляются исторические публикации о Жданове, выносятся решения партийных собраний, пишутся коллективные письма — и никакого ответа. Казалось бы, все очевидно и эти решения не требуют никаких исследований или капиталовложений.

Главное обвинение перестройке: «разговоров много, а результатов нет!»

Каких результатов? Да простейших, насущных, самых что ни на есть повседневных. Очереди как стояли, так и стоят. За продуктами основными, не деликатесами. За жильем. Люди устали ждать, устали от обещаний, от сроков. Сегодня нельзя, несправедливо отмахиваться: обывательские разговорчики, на самом деле вот вам цифры роста потребления и тому подобное. В магазинах пусто, на рынке не прибывает. Совсем плохо стало с лекарствами. И катастрофические дела с экологией творятся в ряде регионов. Обо всем этом говорилось с трибуны конференции. Мы подошли к опасной границе нового разочарования, на этот раз в реальной, практически осуществимой идее — перестройке. Не следует ли в связи с этим подумать о мобилизации всех наличных средств, людских и материальных? Что я имею в виду? Пусть вещи крамольные, ставшие у нас табу, но давайте смотреть правде в глаза. Не подошла ли нужда пересмотреть дорогие программы — космическую, строительство весьма сомнительных непрестижных сооружений, вроде ленинградской дамбы. Все это может подождать. Жил Ленинград без дамбы почти три века и еще поживет. Может, следует сократить помощь другим странам. Не по карману нам выступать благодетелями, когда сами бедствуем. Да и не очень морально это. Может быть, наконец, следует сократить срок службы в армии, обеспечив миллионами молодых рук и голов наши хозяйские нужды. Мне трудно судить конкретнее, мы, граждане, не имеем возможности вникать, как расходуются наши деньги — на оборону, космос и некоторые другие статьи. Однако я знаю одно: сегодня существуют четыре первоочередных заботы — еда, жилье, лекарство и состояние среды нашего проживания. Ради них можно и нужно поджать все остальное. Это поджатие и даст реальные результаты перестройки для здоровья людей, для облегчения жизни.

Когда меня спрашивают, почему я верю в перестройку, я говорю не о том, что у нас нет иной альтернативы. Кто ее знает, может, где-то она и есть: иные темпы, иная решимость? Нет, для меня перестройка, демократия, намеченные реформы имеют одно решающее качество — они возвращают нас к здравому смыслу. В этом их отличие от всего того, что было. Они ставят с головы на ноги, они убирают абсурдность нашей жизни. Разве не абсурдно было, когда предприятия работали не на потребителя, а на министерства. Когда руководителя колхоза, совхоза не радует хороший урожай, не радует хорошая погода. Когда лучше запахать неубранные помидоры или огурцы, чем раздать их людям. Когда в магазинах продавцы встречают нас не с радостью, а с досадой, так же, как и врач в поликлинике, и администратор в гостинице. Потребитель, покупатель, пассажир просто никому не нужны. Не нужны его деньги. Он улыбается и кланяется, а не ему. Нигде его не ждут, никто ему не рад.

Перестройка — путь к здравому смыслу. Мы привыкли стоять на голове. Нам както странно видеть мир не перевернутым. Но зато, увидев его естественным, разумным, понятным каждому, мы никогда, что бы там ни было, не откажемся от этого видения.



Сергей ДАВЫДОВ

ПОЕДУ НА ВЯТКУ...

Расшиты снега, как рушник по краям,—
яранское солнце узор вышивает.
Опять я тоскую по вятским местам,
Где в каждый приезд вся душа оживает.

...От Ладоги еле катил эшелон,
мы к Вятке стремились сквозь бомбы
и вьюги.
И вдруг санитары явились в вагон:
— Снимаем больных!..
И вдоль мерзлой Ветлуги
в заразный барак под беспомощный стон,
под вздохи прохожих, застывших
в испуге.

На дровнях вповал по ядреным снегам
везли восьмерых,
лишь один только выжил.
Летела поземка по слабым следам,
когда сиротой из барака я вышел.
Мороз, как щенка, прижимает к домам,
куда я стучался, но кто бы услышал!

А маму мою и еще шестерых,
какой-то старик, это знающий дело,
к погосту повез, не прикрыв даже их.
Застрянет в сугробе — и голое тело
подсунет под полоз...
Теперь я притих,—
а то по ночам криком память болела!

Узорчатый снег, будто вятский рушник,
мне видеть дано через тридцать и сорок.
И некого нынче спросить напрямик:
«За что же нас так: голод, бомбы и порох,
а после всего — равнодушный старик,
ветлужский Харон на холмах-
косогорах?»

Страшнее всего, что вдолбила война:
привычку к беде, равнодушие к боли,—
мы разве не пели, что «смерть
не страшна»?
В блокаду — о да! — не страшна
поневоле,
такая закалка войною дана:
хоть вешай, хоть режь нас —
не выдержим, что ли?!.

Поеду на Вятку, зимой, как всегда.
На рынке куплю сундучок из соломки
и дымку-любимку...
Мы с мамой сюда
мечтали добраться. На этой негромкой
реке отдышаться от боли и льда.
Но все затянуло ветлужской поземкой...

◻ ◻ ◻

Любимую терять лишь в юности не больно,
два месяца тоски-печали и довольно.
Затянет, заживет, эх, не пройдет и года!
Природа ворожит для юности, природа!

Любимую терять лишь в юности лирично.
Не страшно, не на век и, значит, не трагично.
Впервые обожгло — ты к таинству причастен.
Ты плачешь, но светло, ты счастлив, что несчастен.

Любимую терять лишь в юности к свободе,
тебе вдруг не должны и ты не должен, вроде.
Вновь жить, как бы идти по Невскому без цели,
еще и позвонить Наташе, Нине, Нелле...

Любимую терять теперь — иное дело,
когда вокруг тебя вся роща облетела,
когда судьба горит в одном прощальном взмахе,
и «навсегда» звенит теперь как сталь на плахе.

* * *

Как в Петербурге снимали когда-то,—
наши пока не умеют ребята,
видно, халтурят, к тому же и план...
Адрес фотографа, имя, виньетка,
как на картинах, есть тень и подсветка,
важные лица былых горожан.

Вниз головой на асфальт и на гравий —
ворох старинных ничьих фотографий,
в грязь под колеса, на ветку, на зонт.
В мае старуху свезли в крематорий:
некому плакать, и горе — не горе,
новый хозяин заводит ремонт.

Словно живое, цепляясь за окна,
падает вниз из квартиры высотной
кровное наше, последнее — пласт.
Давят его «Жигули» и кроссовки,
метит их бобик с обрывком веревки,
дворник метлой их и матом — горазд!

Долго ль нагнуться, спасти — неохота!
Будто наследники прошлого — кто-то...
Втопчется в землю, сотрется дождем.
Занятым важной тусовкой девицам
не запретишь — каблуками по лицам.
Впрочем, и мы где-то рядом идем...

ТУРНИР ПОЭТОВ В СОФИИ

...И лишь потом, лишь после всех
известных
и неизвестных, юных и маститых,
два человека вывели на сцену
глубокую старуху,— может быть,
ровесницу Ахматовой.
Мне про нее поведали: «Когда-то
она слыла сверхмодной поэтессой
и редкою красавицей была.
По ней с ума сходили и стрелялись
из-за нее!»
Ну как поверить в это:
на сцене немощь, старости комок!

Турнир поэтов проходил в Софии,
болгарские поэты, как к барьеру,
торжественно на сцену приглашались
читать по одному стихотворенью.
Жюри — весь зал, а приз —
аплодисменты.
По имени поэты вызывались
без объявленья званий и наград.
Есть у поэта звание — Поэт,
и есть награда для поэта — Имя.
По если так, иди и докажи,
пронзи сердца одним стихотвореньем!
Я был в гостях,
мне здесь не выступать,
но понимал, как чуток зал, непрост:
с эстрадной байкой, лирикой расхожей
здесь не пройдешь, не выйдет,
слава богу!

Сраженье продолжалось допоздна.
О чем читали?
О войне и мире,
о странностях любви и о природе,
о днях бегущих... Обо всем как будто.
Прн чем тут тема,— дело в искре божьей!
Зал то молчал, то вспыхивал хлопками,
но встал лишь раз.

...На сцене немощь, старости комок.
«Зачем же ты,— подумал я,— пришла?
Вся в прошлое замотана, как в кокон,
неужто до сих пор тоска по славе?
К чему теперь?.. Пора о боге думать!»

Но лишь ее оставили одну,
как выпрямилась вмиг она и гордо
глаза сверкнули, взгляд поверх голов,
куда-то вне минуты этой, зала,
и голосом еще живым, не мертвым:
— Жизнь,— крикнула она,— куда ты
мчишься?
Постой, остановись, хотя б на миг —
дай мне взглянуть в твое лицо:
я не могу к тебе привыкнуть!..

Поднялся зал, приветствуя победу.

* * *

Начинается осень моя,
надвигается очень моя!
Нашу реченьку — летний уют —
всю освищут и в лед закуют.
А в лесу и медведь и лиса
подзатянут свои пояса.
Выпив чаю на почках ольхи,
не пора ли и мне за стихи!
Когда печка трещит на заре,
что за чудо — стихи в декабре.

Или осенью — сиднем сиди,
нос не высунуть — слякоть, дожди.
Ты сидишь, карандашик грызешь,
па поэта, пожалуй, похож...
За оконцем промчался скворец —
наступает сиденью конец.
Длинноножка, подснежник в руке,
вновь весна...
Снова ветер в башке!

Наталья ХАТКИНА

СТАРЫЙ ФЛИГЕЛЬ

1

Когда совсем измучится душа
под грузом честных слов и
обязательств срочных,
я вспомню дом, где ждут,
где свет не гасят ночью,
где мне и врать, и плаиать разрешат.

Где сами притворятся: «Ты жива?»
И приласкают, чем и успокоят,
или нагрузят тяжестью такою,
что перед ней — пустяк все
честные слова.

Я посижу — и выйду. Без гроша,
но вроде легче, и сама я лучше.
Но это — на потом, на крайний случай,
когда соасем изиучится душа.

2

Приключилась беда, и бегу я туда,
где когда-то мне ждать обещали всегда.

Вот бегу я туда, прибегаю, а там —
ямы вырытых яблонь и строительный
хлам,

и какие-то дети, и башенный кран,
только башенный кран, только с гирей
таран.

И записка под камнем трепещет —
«Прости.
Не дождался, снесли меня. Видишь —
снесли».

* * *

Любая страсть опасностью чревата —
в конце концов решать, кто виноват.
Но прав всегда перед сестрою брат.
Опять ищу, кого любить, как брата.

И нахожу.
О, как со мною он
и чист, и прост.
И как мы с ним похожи —
вдруг разом говорим одно и то же.

Чай допит, взор ничем не замутнен.
Рассвет вот-вот. Светлеют окна в сад.
Душа открыта, и постель не смята.

И он — чтоб он пропал! — не виноват,
и я — чтоб мне пропасть! — не виновата.

Лет прошлых, лет громких журналы
куплю — позабавлюсь ужо! —
как молоды, как иеженаты
и каи виамениты свежо

все те, кто сегодня кумиры,
все те, кто забыты давно,
голодные рыцари лиры —
как молоды! — просто смешно.

Не знают, не знают — и спорят,
и что этих споров пьяней! —
о космосе или о спорте,
о славе, о славе — о ней.

Не знают, не знают — и судят.
А я на них сверху гляжу,
как будто бы ниточки судеб
и руках своих слабых держу

и вижу — кто канет, кто воспрянет,
параболы и витражи,
кто счастливо всех нас обманет
и кто захлебнется во лжи.

И вижу, в сколь дальние страны
им выписан звездный билет,
откуда уже ни возврата,
ни всхлипа, ни отклика нет.

И что-то мне так одиноко,—
как будто бы отняли речь —
и жалко.
И трудно быть богом —
ни высмеять, ни остеречь.

* * *

Когда на крик бросаюсь я с постели
и на «агу» протягиваю руки,
я забываю, сквозь какие муки
я добралась до этой колыбели.

К чему я шла и от чего бежала,
какие знала казни и коварства.
В руке — пеленка, и в другой —
лекарство.
И в памяти — блаженные провалы.

* * *

Оказалась бесцельной забава
складным словом людей занимать,
ведь у них есть бесспорное право
не любить меня, не понимать.

Если я ничего не открыла
никому — ни рабу, ни царю —
значит, я не о том говорила,
и сейчас не о том говорю.



Роман

...когда настанет утро,
ты скажешь: «О, если бы был уже вечер!»
Когда же придет вечер,
ты будешь молить,
чтобы пришло утро...

ГЛАВА ПЕРВАЯ

В потемках я выбрался из вагона, пробежал к деревянному вокзальчику. В зале ожидания ни души, пахнет чем-то кислым. И холодно, холодней, чем на улице, но там льет дождь. Вошел милиционер, сказал, что в такое время в Кедринск не попасть: дорога разбита, ночью автобус не ходит. Нужно ждать утро. В седьмом часу придут машины за рабочими, которых возят из деревни на стройку. И я доберусь с ними.

Чтобы ночь пробежала незаметней, я прилег на скамейке, вскоре уснул. А проснулся утром от шума: три цыгана выкладывали руками кислую капусту из бочки в ведра. Вокруг них сновала цыганка в платке до пят. Что-то кричала мужикам, те коротко, резко отругивались.

Увидев меня сидящим, цыганка подошла, предложила погадать. На вид ей лет двадцать. Она была красива, от нее пахло мочой.

— Не надо мне гадать. Отойди.

— Дай покурить, красавчик...

Машины уже стояли возле магазинчика, к ним сходились рабочие. За ночь я продрог, ноги в коленях окоченели. Я с трудом забрался в кузов ближней машины. Тронулись.

Дорога тянулась хвойным лесом, вся в ухабах, залитых водой. Проплыла мимо деревенька: дворы не огорожены, трубы не дымят, людей не видно. У крайней избы показался босой мужик. Проводил машины взглядом, помочился и скрылся в дверях.

Машины перевалились через бугор, очутились в Кедринске: одна улица, в стороне несколько бараков. Штук пять изб — остатки снесенной деревни Кедринка. Севернее от жилья промплощадка, труба строящейся ТЭЦ. Вокруг всего этого сырой хвойный лес со множеством озер и болот.

На дороге непролазная грязь. Даже там, где успели покрыть землю бетоном, она доходит до щиколотки. Возле управления стройтреста колонка. До прихода служащих я вымыл ноги, туфли.

Начальником отдела кадров треста работает пожилой, полный еврей Штокман. Он небрежно просмотрел мои документы.

О т а в т о р а: роман написан еще в 1965 г., но все мои попытки напечатать его не увенчались успехом.

— Пойдете в СУ-пять, там начальник Гуркин Иван Антонович. Но прежде зайдите к управляющему.

— Зачем?

— Для собеседования...

Управляющий предложил сесть. Не отрывая глаз от бумаг, задавал вопросы. Я смотрел на огромный голый череп, на плечи, торчавшие палками под рубашкой. И отвечал.

— Ну, а бетонные работы хорошо знаешь? — гудел глухой, подвальный бас.

— Знаю.

— Земляные?

— Знаю.

— Работал прежде?

— Работал. Рабочим на стройках. Руководить не приходилось.

— Научишься. Женат?

— Нет.

— А водку пьешь? — темные, старчески-мутные глаза уставились на меня в упор.

— Случается.

— Гм... Ну ладно. Скажу одно: знай, с кем пить, где, когда и сколько...

После управляющего я представился начальнику СУ-5 Гуркину, главному инженеру Самсонову. От них вышел в должности мастера по строительству больничного городка будущего города. На складе получил резиновые сапоги, брезентовый плащ с капюшоном.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Итак, я теперь не студент, не иждивенец. А вполне самостоятельный человек.

Живу в трестовской гостинице-общежитии, в двухэтажном домике, окруженном лужами, в двухместной комнате с трестовским бухгалтером Околотовым. Когда я только поселился, принял меня Околотов неприветливо. Я написал родным письмо, сходил в столовую. Потом лежал на койке, задрав ноги на спинку ее, курил и мечтал. В шестом часу дверь раскрылась, вошел высокий худой старик в плаще и в кожаной фуражке с длинным козырьком. Он бросил на стол пачку газет, постоял молча и спросил:

— Вы надолго поселились, молодой человек?

— Не знаю,— сказал я.

— Вы в командировке?

— Нет. Я приехал работать.

Он еще постоял и отправился к коменданту, крохотной доброй татарке, просил поселить меня в другой комнате. Дескать, он берет часто работу домой, я буду мешать. Но свободных мест больше не имелось, и я остался жить с ним. Никакой работы Околотов домой не приносит,— он просто привык к одиночеству. Выписывает массу газет. Перечитывает их все, делает из них вырезки, выписки. Выписки заносит в толстую тетрадь в черном переплете, которую хранит в фанерном чемодане, напоминающем сундучок. Занимаясь этим делом, Околотов терпеть не может моего присутствия. То и дело косится на меня, ерзает на стуле, хмыкает в нос. И я оставляю его наедине с самим собой.

— Я закроюсь, Борис Дмитрич,— провожает он меня,— а нужно будет зайти — постучите.

— Хорошо.

С жильцами гостиницы он не общается. За исключением жильцов четырнадцатой комнаты, работников бухгалтерии СУ, пожилых людей. По субботам играет у них в карты. Иногда возвращается от приятелей под хмельком. Тогда медленно раздевается, кладет в чашку с разведенным спиртом свои вставные челюсти. Гасит свет, садится на койку, сидит подолгу, обхватив голову руками, уперев локти в острые колени. Вдруг вскочит, начинает ходить большими шагами от окна к двери. Кому-то задает вопросы. Сам же отвечает

на них шепотом, отчаянно жестикулируя руками. Потом заберется в постель, укутается в одеяло и лежит не шевелясь.

Он не из местных. До сорок шестого года жил в Белгородском районе, работал главбухом пивоваренного завода. Там же работал техноруком некий Суворов, отличный специалист и отчаянный жулик. Аккуратный в работе главбух мешал жить Суворову. И тот, пользуясь опытом друзей, состряпал на Околотова донос: Околотов в армии не служил, во время оккупации выдавал немцам коммунистов и евреев.

Околотов не служил в армии из-за больных почек и сердца. При немцах жил в своем домике неподалеку от полуразрушенного завода с женой и маленькой дочерью. С немцами никаких дел не имел. Но Суворов подкупил свидетелей. Плюс к этому жена бухгалтера, женщина полуграмотная, запуганная, подписала в милиции бумагу, которая якобы должна была облегчить судьбу не только мужа, но и всей семьи. Околотова упекли в тюрьму на десять лет. Спустя восемь лет его выпустили, реабилитировали. Он поехал к родным, от которых за все восемь лет не получил ни одной весточки. Приехав в родные места, узнал: едва его посадили, жена домик продала, уехала с дочкой на Север, в Тихвин, к своей престарелой матери. Желание видеть дочь привело Околотова в этот город. С неделю он жил в гостинице. Ежедневно встречался с дочерью, которой мать внушила с детства, что отец ее умер от болезни. Потом Околотов переехал сюда. Он регулярно посылает семье деньги, но навещает редко. Когда навестит, с женой совершенно не разговаривает. Отдаст дочери подарки, погуляет с ней. И возвращается обратно в Кедринск. Дочь тоже приезжает к отцу, обычно в субботу на воскресенье. При ней он становится другим человеком. Много и бесполезно суетится. Закупает множество закусок, сладостей. Он вегетарианец, питается крайне умеренно. А тут все ест и сам, лишь бы дочь угощалась. Хотя после страдает желудком.

— Чего бы ты еще хотела, Оленька? — повторяет он то и дело.— Скажи, родная? — И на лице его гуляет блаженная улыбка помешанного.

Обычно я оставляю их наедине. Иногда Околотов приглашает меня посидеть с ними, чтобы дочери не так скучно было. Приглашая, улыбается мне заискивающе, как-то по-собачьи. Отказаться трудно.

На столе появляется коньяк. Околотов то и дело подливает мне, приговаривая:

— А мы еще маленько выпьем... Борис Дмитрич весь день провел на открытом воздухе. Оно и ничего, даже полезно выпить...

Оля кончает десятый класс, собирается в институт. Расспрашивает о студенческой жизни. Я горожу всякий веселый вздор, она хохочет. Смеется она великолепно.

Спать укладываем ее на отцовой койке. Он ложится на моей. Я стелю себе на полу возле радиатора.

— Пап, ну, может, простишь и вернешься домой? — услышал я однажды, проснувшись под утро от холода.— Как хорошо бы жить вместе!

— Нет, доченька, нет, моя красавица,— шепелявил Околотов,— не могу я сейчас этого сделать с теперешним моим характером... Будут часто скандалы, Оленька. А ты не должна их знать. Вот уедешь в институт, тогда посмотрим...

После отъезда дочери Околотов дня три ходит бодрым. Газеты не читает, вечера проводит у бухгалтеров. Даже беседует со мной. И всегда на одну и ту же тему: истинные человеческие чувства могут связывать только родителей и детей. Потому люди должны совершать поступки по отношению друг к другу только согласно принципам. Даже вступая в брак, люди должны исходить из каких-то принципов. Ибо чувства непостоянны, тленны, меняются от обстоятельств. Я пытаюсь возражать, привожу примеры из литературы. Околотов начинает браниться, ругает писателей. Не каких-то отдельных, а всех огулом: они сами живут чувствами, много страдают. Выливают свои страдания на бумагу и заставляют людей переживать чужое горе. А у людей самих этого горя — хоть отбавляй.

Таков мой сосед по комнате. По утрам он выполняет для меня роль часов. Мой рабочий день начинается с восьми, его с девяти. Но уходит он намного

раньше — ровно в половине восьмого. Проснувшись от шагов бухгалтера, я лежу, слушаю его шепот, постукивание ложки в чашке. Едва он уйдет, я вскакиваю, умываюсь, пью чай и спешу на работу.

Больничный городок строится на окраине будущего города. Города еще нет, потому мой объект стоит на отшибе от основной стройки. Я оставляю позади весь второй квартал. Пересекаю обширный пустырь, усеянный валунами, покрытый лужами, по краям которых бегают кулики, они залетают из ближнего лесного болота. Пустырь — в будущем городская площадь. За ним котлован под Дом культуры. Здесь я сворачиваю на щебеночную дорогу, ведущую к объекту. Дорога временная, мы ее часто ремонтируем. А машины с помощью дождей разбивают ее. Недавно ночью на дороге образовалась яма: под полотном была карстовая воронка, и грунт просел. Не успели мы утром засыпать яму, как из-за угла второго квартала вырвался зеленый «козел» управляющего. На всем ходу влетел в яму, взревел и заглох. Мой непосредственный начальник, прораб Федорыч придерживается древнего солдатского правила: как можно реже попадайся на глаза начальнику. А под горячую руку не лезь вовсе.

— Иди, расхлебывайся,— толкнул он меня в плечо, сам исчез в дверном проеме главного здания.

С рабочими я пошел к машине.

— Где прораб? — ответил на мое приветствие управляющий.

— Иван Федорыч ушел на лесозавод,— сказал я,— опять нам досок не дают.

Едва машину вытащили, она развернулась и укатила. В тот же день Федорыч получил выговор по тресту «за плохое состояние подъездных путей к объекту».

— Нехай,— отмахнулся он, узнав новость,— у меня этих выговоров было столько, что собери их все в кучу да раздели на линейный персонал нашего СУ, достанется всем по десять штук на рыло. Да. Я, брат, двенадцать лет работаю прорабом. Только здесь пережил трех управляющих, двух главных треста и четырех начальников нашего СУ. Так-то...

Специального образования Федорыч не имеет. Еще до революции окончил три класса сельской школы. Прошел через гражданскую, финскую, Отечественную войны. Четыре раза был ранен. Последнее ранение получил в ногу, потому немного хромает.

После войны отработал год в милиции, откуда сбежал.

— Что творили, что творили тогда в милиции,— поясняет он причину своего бегства,— как хотели измывались над народом. Не выдержал я и сбежал. Понятно, не говорил действительности своих желаний. Сказал, мол, раны болят, не могу и так далее. Там, брат, правду эту в затылке держи. У-у! Теперь вот иначе. Вон,— кивнул он на подвернувшиеся к случаю три милицейские формы, пробиравшиеся по грязи в сторону деревушки Окново,— идут себе и пусть идут. И никто на них внимания не обращает. А тогда б со всех щелей смотрели: куда сразу трое, кого забирать?..

Как бы рано я ни пришел на объект, Федорыч уже здесь. Либо бранит ночную сторожиху Настю, разбуженную им только что. Либо сидит в прорабской, смотрит через окно на дорогу.

— С новым днем, со старыми заботами! — встречает он меня.

Часто сразу же закашливается. У него больные легкие. Кашляет он затяжно, тужась так, что припухшие серые щеки розовеют. Шея надувается. И похоже, будто вся его низенькая, плотная фигура становится толще.

— Будь проклята эта весна,— хрипит он, утираясь платком,— дожди, слякоть, сырь...

Даже в сухую погоду он спит по ночам плохо. Когда сыро, ночи проводит полулежа на подушках. С утра настроение у него скверное.

Каждую весну и осень он собирается на пенсию, но не уходит.

— Тишины не переношу, Дмитрич. Черт знает что! И скажи ты: баба у меня славная. Обе дочки ласковые, приветливые. Я их люблю. А не могу сидеть дома! Ездил в деревню. Думал, половлю рыбки, подышу в соснах — нет! Как чужой ходил там от тишины. И недели не прожил.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Как и большинство самоучек, Федорыч не принимает условий, которые помогли ему выдвинуться до прораба. Все успехи приписывает своим личным качествам. Работает, опираясь лишь на опыт. Из него вывел свою единственную в мире теорию поведения прораба на работе. Он считает, что, конечно, начальству сверху видней. Но когда оно вмешивается в дела прораба, поступает глупо. Однако слушаться начальство надо. Прекословить ему нельзя, а по возможности и тайком надо поступать по-своему. Рабочие, за исключением некоторых, пройдохи и лентяи, за ними нужен глаз да глаз. И с ними нужно быть строгим. По натуре же он добрый, мягкий человек. Выработал в себе привычку самовозбуждения. Делая выговор, замечание по какому-нибудь пустяку, начинает с низкой ноты. Постепенно повышает ее, кричит, трясет щеками, краснеет. Распалившись, совершает обход по объекту, рассыпая ругань налево и направо. Уже вспотевший, дрожащий от негодования вбежит в прорабскую, опустится на лавку.

— Фуух!.. Ну контингент, контингент подобрался... Со всего света съехались Тюха с Матюхой... Топора держать не умеют, а кричат: мы плотники четвертого разряда!

В углу прорабской, за лавкой, насыпан ворох стружек. Под ними всегда покоится бутылка с перцовкой. В аптечке стакан. Врачи запретили Федорычу выпивать. Дома жена строго следит за этим делом. Он прикладывается в прорабской. Выпив, занюхав корочкой, он ставит перед собой очередную задачу. Отправляется исполнять.

Прорабская наша — длинный дощатый сарай, обшитый изнутри картоном. Разделенный на два помещения. В меньшем — непосредственно прорабская, в большем — отдыхают, обедают, а зимой греются рабочие. Здесь по утрам спит на лавке длинный, курносый плотник Курасов. Он живет в деревне километрах в двадцати от Кедринска. Ежедневно, в пятом часу утра, через деревню проходит в сторону Кедринска почтовая машина. Курасов добирается на ней, до восьми спит в будке. Он член колхоза, паспорта не имеет. Принят на работу временно, хотя работает второй год. Из подобных ему прораб сколотил целую бригаду. Мечтает собрать еще одну. Эти люди хорошо плотничают. И дисциплина у них на высоте: в любую минуту прораб может уволить. А пожаловаться беспаспортному пойти некуда.

На днях с Курасовым произошел такой случай. Я осматривал на чердаке главного здания вытяжные шахты, установленные плотником. За кучей неразбросанного шлака увидел лежащего человека. Это был Курасов. Он спал. Я растолкал его, он вскинулся, ударился головой о крышу. На четвереньках пополз прочь. Я удержал его. «Да как же зто?.. Эк меня сразу-то!» — повторял он сидя, потирая красные глаза.

От него несло перегаром.

— Ты пьян? — спросил я.

— Не. Нет, Борис Дмитрич, это со вчерашнего. Вчера был мой справочный день.

— Что за справочный день?

Он рассказал. Чтобы поступить на стройку, член колхоза должен иметь на руках справку: такому-то разрешается правлением поработать временно на строительстве.

В их деревне пятеро мужиков получили такие справки от председателя. За зто угощают его по очереди. Вчера была очередь Курасова. С вечера он сажал картошку. Потом пришел председатель, пили они допоздна. Боясь проспать почтовую машину, Курасов не ложился вовсе. И вот забрался сюда взять забытый молоток, присел покурить и незаметно уснул.

Я отправил его домой выспаться. Пообещал прорабу ничего не говорить. Насчет дисциплины Федорыч строг. В причины какого-либо проступка вдаваться не любит. Курасову здорово бы влетело.

Рабочий день Федорыч начинает с «утренней разрядки». Разбудив Курасова, он отправляется по объекту. Вдруг останавливается возле штабеля кирпича. Облокотившись на него, скрестив ноги, кричит:

— Савельев!

— Я... о! — откликается голос бригадира молодых плотников.

— Иди сюда.

Стройная фигура вырастает перед прорабом. Бойкие, нахальные глаза смотрят на него.

— Чем занимаешься?

— Полы достеливаем в родильном отделении. Опалубку готовим для лифта.

— Материал есть?

— На сегодня хватит.

— Хорошо. Все твои вышли?

— Все, Иван Федорыч.

— Еще лучше. Позови-ка сюда Николайчика.

Бойкость из глаз бригадира исчезает.

— Ну?

— Иван Федорыч, он с обеда...

— Передай ему: еще раз — выгоню с треском... Тебя лишаю в этом месяце бригадирских. Помни: за укрывательство! Иди.

Федорыч ковыляет дальше. Он не выносит письменных выговоров. Не пишет докладных начальству на провинившихся.

— Мы этими пустяками не занимаемся. Да. Мы бьем рублем. Ох, и хороший кнутик, скажу я вам, этот рубль. Стегну, к примеру, рублей на сто, мигом поумнеет. Поумнеет, скажу я вам!

Когда дела на объекте идут хорошо и прорабом владеет благодушное настроение, он любит пофилософствовать, читать нравоучения. Поучал и меня. На третий день моей работы перед обеденным перерывом пригласил меня в прорабскую.

— Пойдем в будку, Дмитрич. Посидим, поговорим, да и обедать отправимся...

В прорабской налил мне перцовки, потом выпил сам. Кряхтя от удовольствия, потирая ладонью грудь, потную морщинистую шею, заговорил:

— Хороша, хороша, окаянная... Красное вино дрянь, московская предательница: выпьешь сто грамм, а несет от тебя перегаром за версту. Перцовка хороша: и жжет, и греет, и запаху не дает. Да... Вот что, Дмитрич, что я хочу сказать... Я конечно, для тебя ни поп, ни батька, но скажи как на духу: работать приехал или норовишь улететь?

— То есть как это? — не понял я.

— Да как... Вот приедет, к примеру, вроде тебя. Ему и это толкуешь, то поясняешь. Все грехи его на себя берешь перед начальством. А пробежало несколько месяцев, глядишь, улетел орелко! Чего, спрашивается, старался старый?

Я сказал, что приехал работать, улетать не собираюсь.

— Ну добре. Тогда вот что скажу для начала: забудь все, чему вас там в институтах учили. Забудь. Нивелир да теодолит знаешь,— загибал он свои толстые, короткие пальцы,— чертежи читать умеешь. И будет. Остальное забудь. Луди глотку, смотри волком. И никому не доверяй. Себе не верь! Сказал «пять метров» и лезь в чертеж: а пять ли их тут, окаянных? У-у! Иначе вам удачи не видать. Заклюют, съедят, костей не оставят и в дураках ходить будешь. Так-то. К тому говорю, что повидал я вашего брата, нынешних образованных. Чуть что, ох да ах, да как же так, да разве можно так?! А у нас, как на войне: делай и шабаш. Хочешь рассуждать — иди в лесочек, сядь на пеньке и рассуждай. Не улыбайся... К людям присматривайся, кто как работает. Но в душу не лезь, не забирайся! В душу и к одному не заглянешь, у тебя сотни будут в подчинении. И погрязнешь, как в болоте, а работу запустишь. Так-то. Люди, они, брат, разные. Очень даже различные, скажу тебе, во многих отношениях...

И будто для подтверждения его слов в прорабскую ворвалась разнорабочая Катя Шугулиц, по прозвищу Молдаванка. В юбке, в белой мужской рубашке, она закричала, раскинув в сторону руки:

— Ты что, старый хрыч, все нас да нас за цементом посылаешь?! Пятый

день ездим, пылюку глотаем! Больше бригад нету? Или, может, тебе взятку дать?

Федорыч откинулся к стене, выпучив глаза. У Молдаванки дрожали пальцы рук, темные губы и ресницы огромных глаз.

— Ох, Катька, Катька, смотрю я на тебя, девка... Что из тебя получится? Пропадешь ты.

— Не ваша забота,— отрезала Молдаванка.

— Пропадешь. Замуж тебе надо — вот что! — вдруг закричал прораб.— Да мужика надо такого, чтобы норов твой прикрутил по-русски! — кулак Федорыча влип в стол.

И Молдаванка обмякла. Запела:

— А ты найди мне такого, Федорыч, а? Укажи. Отцом родным будешь! Уж как я зацелую тебя, старого!

Откинув назад голову, она хохочет, не стыдясь показавшихся в разрезе рубашки смуглых грудей, не прикрытых лифчиком.

— Вот видал,— сказал прораб, едва дверь хлопнула за Молдаванкой,— начальство не уважает, по-нормальному слова не скажет. Но я не сержусь на нее. Работает хорошо и пусть работает. Одно время бригадиром была. Пришлось уволить.

— За что?

— Бьет товарок. Чуть что не по ней, сейчас — хлясь, хлясь по щекам. А этого нельзя в рабочее время...

Молдаванка мне ровесница. Родилась в деревне где-то под Одессой. Родители погибли во время войны, она жила у родной бабки по матери. Когда подросла, устроилась в Одессе нянькой в семью инженера, обещавшего выхлопотать ей к совершеннолетию паспорт, устроить на хорошую работу. Паспорт она получила. В том же году инженер изнасиловал ее в чулане на куче тряпья.

— Здоровенный был боров,— рассказывала она женщинам, сидя в будке перед печкой, спокойно перебирая в руках рукавицы,— ну, ушли они в город: сама пошла, маленького взяла. И он с ними. Я в комнатах прибрала. Только захожу зачем-то в чулан, слышу шаги. Оглянулась — он. Вскочил в чулан, дверь запер, весь дрожит. Я было кричать. Он рот мне зажал, говорит: «Не ори, а то в тюрьму засажу». Ну и обработал...

Забеременев, она перетягивалась полотенцем. Пила всякую дрянь, чтобы лишиться плода. В один из июльских дней разродилась мертвым ребеночком. Да разродилась как! Стояла в очереди за крупой. Было душно. Слепили глаза лучи солнца, белые стены домов. Хотелось ей пить и пить. Вдруг ударила кровь в голову, что-то схватило поясницу раскаленными щипцами. В глазах потемнело, дома, люди закачались. Едва хватило сил добрести до ближнего парка. Забилась там, как зверь, в кусты. От боли, жажды жевала сочную траву. Только вечером обнаружила ее милиция — стонала, будучи без сознания.

Выйдя из больницы, к инженеру и не показалась, пешком ушла в деревню. Жить там не могла, тянуло куда-то ехать. Завербовалась на строительство Волго-Донского канала, с тех пор путешествует по стране. Здесь работает полтора года. За это время дважды увольнялась, куда-то ездила. Вначале жила в общежитии, потом перебралась в Окново, стала жить в избе одинокого древнего старика Савельича. Жена прораба берет молоко в Окнове. Бабы говорили ей:

— Повезло старому Савельичу! Век прожил бобылем, все по сударушкам таскался. Своих детей не имел, так чужая девка нашлась. Избу убрала, как терем, и ходит Савельич теперь в чистом!

Удивило окновцев и другое: едва сошел снег, стала купаться Молдаванка по утрам голиком, никого не таясь, в ключевой речушке Норка, вода в которой круглый год ледяная.

Изба Молдаванки близко от городка. Но обед она приносит с собой. Усядется в сторонке от мужиков, разложит на газете яйца, хлеб, холодное мясо. Ест не спеша, аккуратно, напоминая в эти минуты повадкой кошку, когда та умывается. Вдруг обернется к мужикам:

— Эй вы, чего чавкаете? Как свиньи...

— А ты не слушай, Катя, бо еще какой звук услышишь.

Смеются.

— Куркули,— отвечает она коротко.

По воскресеньям, в сухую погоду, прогуливается она по главной улице Кедринска: голенища сапожек отвернуты. Слегка покачивая бедрами, надламываясь в пояснице, смотрит вокруг, будто никого не замечает. Точно так же, как молодой часовщик, прижившийся на стройке, с искалеченной, страшно вывернутой ногой.

Нынешняя весна выдалась дождливой, холодной. Приплывающие из Прибалтики слои влажного воздуха сталкиваются с северными, восточными слоями. Дождь сменяется снегом, градом. Но в прошлую субботу с утра светило солнце. Видна была линия горизонта вокруг Кедринска, образованная вершинами деревьев, обычно закрытая туманом. К полдню рабочие сняли куртки, спустили до пояса комбинезоны. В полдень стояла настоящая жара. И после работы я спустился к Норке. Раздевшись до трусов, обмылся, стоя на камне, хрустальной водой, под которой черное каменистое дно. Потом лежал на плаще, обсыхая. Звенели жаворонки, на той стороне женщины копали огороды. За кустами что-то прошуршало, послышался плеск воды. Я сел и увидел Молдаванку. Она стояла голиком по колено в воде, пригоршнями плескала воду на плечи, на грудь. Брызги метались роем. Солнце освещало смуглое прекрасное тело женщины, над ним вспыхивал на мгновение желтоватый венец радуги...

— Фигура, ну и фигура,— говорит о Молдаванке прораб, сочувственно качая головой. Вкладывая в это слово понятие: человек, его характер. Произносит это слово, но только восхищенно качая головой, когда говорит о бригадире плотников Жукове.

— Это фигура, я понимаю. Мне бы таких человек десять, готов до ста лет работать на стройке.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

В бригаде Жукова двенадцать человек. Каждый может выполнить любую работу, какая только встретится на стройке. Бригада почти не простаивает и в самый плохой месяц зарабатывает не менее пятидесяти рублей в день на человека. На работе Жуков хмур, молчалив, даже грубоват. На новичка может произвести неприятное впечатление. Когда я только вышел на работу и сидел в прорабской, знакомился с чертежами, вошел коренастый мужик с широким сухим и немного курносым лицом. Метнул по столу острым взглядом и спросил:

— Где прораб?

— Не знаю. Куда-то вышел.

— Как придет, передай ему: в подвале вода появилась. Я людей снял. Нужен насос. Да поскорей. Иначе зальет. Я людей не поставлю туда.

Слова выбрасывал резко, как мне показалось, со злобой. Я подумал, что это горлопан, каких встречал на стройках.

Прежде он работал в Новогорске. Там кончилось строительство, перебрался сюда, поселился в Окнове, где снял избу. Сыновья его плотничают на промплощадке, получили квартиры. И оставили стариков, которые не представляют, как это можно жить без хозяйства, потому избу не бросают.

Дома, в своей избе, Жуков ведет себя иначе, чем на работе. Любит петь песни, играет на гармошке. Окновцы приглашают его дружкой на свадьбы. Приходили прямо в прорабскую две женщины, упрашивали Федорыча отпустить бригадира в какую-то Кузнецовку, где живет невеста. Обе просительницы были нарядно одеты. Головы обмотаны цыганскими платками, закрывающими лбы до бровей. Одна из них была ярко-красива и немного хмельна.

— На два денечка-то, товарищ прораб,— просила она, наивно играя глазами, облизывая губы,— без Данилыча неловко ехать жениху за невестой!

— Да вы что, бабы,— оборонялся Федорыч,— рехнулись? Вы куда пришли? У вас одни свадьбы на уме, а у меня работа, курьи головы!

— Да на два денька-то!

— Ну кто там у вас с ума сходит? — сдался Федорыч.

И три дня, прихватив воскресенье, Жуков гулял, веселил народ. В понедельник вышел на работу, был спокоен, молчалив.

— Как погулял, Данилыч? — спросил я.

На секунду в его глазах мелькнуло что-то задорное. Но он ответил просто:

— Ничего... Погуляли...

И вот этот толковый, сообразительный бригадир совершенно не умеет работать с чертежами. Упорно не желает даже знакомиться с ними.

— Ты, Дмитрич, покажи мне на пальцах,— говорит он, подвигая чертеж,— пойдем на натуре покажешь, пошли на месте уясним.

И на месте моментально схватывает идею. Проверять его работу нет нужды. Еще ни за что не желает иметь в бригаде более двенадцати человек. Даже Самсонов просил его:

— Данилыч, прислали ребят из училища. Возьми человека три временно. Поучатся и заберем.

— Я не учитель. Дайте любую работу, я сделаю, а лишних людей мне не нужно.

— Но ведь временно!

— Что же, будет стекло в этом месяце? — перевел разговор бригадир.

Мне кажется, здесь связано что-то с предрассудками.

Один раз только Жуков изменил своему правилу. И то, видимо, потому что тринадцатым оказался подросток.

Жестянщиком в городке работает дядя Саша Герасимов. Тихий, мягкий и незаметный, он устроил мастерскую в кабинете главврача. Стучит там целыми днями молотком. Ни к кому ни с какими вопросами не обращается. Кончится железо, он сам раздобудет где-то подводу, получит на складе все, что нужно, привезет. Молча отдаст Федорычу накладную. И скроется в мастерской. Год назад умерла от рака его жена, женщина властная, державшая в руках семью вместе с мужем. Он остался с четырьмя детьми: три дочери и четырнадцатилетний Ванька. Сам дядя Саша полуграмотный. Давно принял решение: его дети будут инженерами. Какими там инженерами — это не имеет значения. Старшая дочь уже поступила в институт, две другие, двойняшки, заканчивают седьмой класс. А Ванька после смерти матери школу бросил, повадился ходить на беседы в Окново. С одним из приятелей выпил водку, хранившуюся в столе для всякого случая. Чтобы оттянуть расправу, в бутылку налили воды. Расправа пришла, на другой день Ванька очутился в прорабской. Стоит, смотрит в пол и шмыгает припухшим носом. Под глазом у него ссадина. Дядя Саша сидит на скамейке, мнет в руках ржавую кепку.

— Возьми, Федорыч, хоть как возьми,— просит он,— хоть не плати ему ничего — лишь бы к делу пристроился. Как стоишь? Ты куда пришел? — кричит он сыну.

Федорыч давно знает жестянщика. Знает о его беде.

— А ты к своему делу пристрой,— говорит он.

Дядя Саша даже взвизгивает:

— Пробовал! Уж куда бы лучше! Да не хочет, подлец. Ткну его маленько, чтоб уразумел, губы развесит и хоть убей его, не сдвинется с места. Как стоишь, спрашиваю?

— Н-да... Дело сложное... Теперь вот таких в колонии сажают... да... не кормят и через день розгами стегают. А то и каждый день. Что ж, я попробую взять, только в милицию надо позвонить.

Федорыч выходит, я за ним. Решаем взять мальчишку.

Оформляем его учеником. Вооружаем кувалдочкой, зубилом. Прикрепляем к бригаде сантехников пробивать отверстия в перегородках для труб. Два дня он работает. Потом начинает исчезать. Явится утром с отцом, скроется в главном здании и растворится в нем: до вечера нигде не найти. После работы плетется за дядей Сашей, которому я ничего не говорю. Не хочется расстраивать старика, да и толку с этого мало — излупит и только.

— Иди-ка сюда,— подзываю Ваньку,— ты где пропадал?

— В подвале бил дырки.

— Зачем врешь? Там никто не работает.

— Я не знаю... Меня привели, указали, и я бил...

Врет спокойно, наивно глядя зелеными глазами на пряжку моего ремня. Он уже начал усваивать привычку: во что бы то ни стало в данный момент отвертеться, а там видно будет. Что делать с ним? Прикрепил к бригаде Савельева. Но дух неповиновения уже засел в подростке. Плотники прогнали его. Точно так же поступили каменщики. На моих глазах Ванька превращался в дикого, осторожного зверька, для которого весь рабочий мир — враг. Я решил убить хоть весь день, но найти его убежище. С утра осмотрел подвал, все этажи, обшарил чердак. Спускаясь вниз, заглянул в столярную мастерскую, где принятый на временную работу старичок-пенсионер изготовляет топорища, ручки для лопат и так далее. Я и прежде заглядывал сюда. Теперь же подхожу к окну, закуриваю. Взгляд мой скользнул за лист фанеры, отгораживающий угол. Там на стружках лежит Ванька. Курит папироску, пускает дым кольцами. Улыбаясь, следит за ними. Я хватаю его за оттопыренное ухо, дергаю. Покуда тащу пленника, он не произносит ни звука. В прорабской толкаю его в угол. Запираю дверь. С полчаса говорю о работе, о положении в семье, о его будущем. Под мирный тон моего голоса Ванька приходит в себя. Произносит сипло:

— А за ухи вы не имеете права таскать. Я могу пожаловаться в милицию, и вас посадят! Это вам не Америка.

Черт знает что! Отодрать бы его ремнем хорошенько. Эту мысль и высказывает Федорыч, когда присели на кирпичах за моргом, чтобы окончательно решить Ванькин вопрос.

— Был бы он мой,— ворчит прораб,— семь шкур спустил бы, а человеком сделал.

За морг в кусты прошел Жуков по малой нужде.

— Данилыч, зайди посиди, иди покурим! — позвал Федорыч.

Бригадир присел перед нами на корточки, внимательно слушает. Поднявшись, говорит:

— Я про все это знаю... Сашка мужик хороший, только дурь в голову вбил: инженеров ему подавай! А мужик деловой. Трудно ему. Сколько ж парнишке годков?

— Шестнадцатый потянул,— моментально сообразил Федорыч.

— Присылай его завтра в бригаду...

За две недели Ванька стал другим человеком. Вначале подносил плотникам доски, инструмент. Теперь у него появился топорик, подаренный Жуковым. Он шкурит доски, опиливает их по размеру. Работает в паре с бригадиром...

«Жуковцы» сейчас кончили заготовку половых лаг, должны укладывать их в кухонном отделении. Нужно вынести отметку чистого пола. Я появляюсь с нивелиром, устанавливаю его. Плотники перекуривают. Сидят кружком, Жуков и Ванька немного в сторонке. Мне сверху видна рыжая копна волос Ванькиных. Медный блин лысины бригадира, окаймленный серебристым ободком волос. Могучие плечи, обтянутые застиранной гимнастеркой.

— Что ж, Иван, осенью пойдешь в школу? — говорит Жуков.

— Не,— беспечно отвечает Ванька, скребя стеклышком топорище,— ну ее...— он скверно выругался.

— Ругаться так нельзя, Иван. А не хочешь учиться, так и не учись. Я тебя научу плотничать, потом столярничать. Любого ученого за пояс с тобой заткнем.

Я прошу плотника Никифорова походить с рейкой. Остальные говорят на политическую тему.

— Нет, Америка больно жирная,— говорит пожилой Казаков,— на Россию она не полезет. Россия жесткая, костлявая. Народ у нас стал злым от этих войн. Полезет кто — расшибем. И ракеты же теперь...

— Куда ей! Конечно! Ракету с любой стороны запускай, и угодит по назначению.

Помолчали. Возвращаются к утренней новости, облетевшей стройку: в прорабстве Еремина обнаружили в смотровом колодце труп рабочего Николаева. Николаев приехал недавно из заключения, работал землекопом-

бетонщиком. Говорит, конечно, Куприянов, длинный, сухой, как жердь. Сидит, подавшись вперед, изогнув спину колесом, будто позвоночник резиновый. В жизни он тих, муху не обидит. А рассказывает всегда о чем-то страшном, связанном с убийствами, грабежами.

— Это еще что,— он глубокомысленно смотрит на носок сапога,— этот из тюрьмы. Может быть, с ворами был связавшись, да изменил им. А у них это решается в полном откровении: где хошь найдут и прикончат. А вот в позапрошлом годе в Ершовке под вечер вышел парень из избы и как в воду канул. Двое суток прочесывали лес, не нашли. А весной обнаружил пропавшего колхозный пастух: парня убили и затолкали в ствол столетней ели у самой опушки.

— Кто ж его?

— Неизвестно.

— А за что?

— Да кто ж знает! Говорят, он был пристрастивши играть в карты с приезжими. А врачи в трупе печенки не обнаружили.

— Что ж он, на печенку играл?

— Чудак! Кто ж знает!

Жуков поднялся.

— Покурили и хватит. А то мастер скажет: сидят, сидят, а как наряды закрывать, все им мало.

Он добродушно посматривает на меня...

Потом я осматриваю кладку стен поликлиники. Даю отметку оконных перемычек. Нужно подняться на чердак, посмотреть, как подвигается работа у каменщика Борцова. Он с тремя подсобницами выкладывает из гипсолитовых плит вентиляционные каналы. Пришел к нам Борцов недавно и работает скверно. То и дело перекуривает, тискает девчат, рассказывает им анекдоты. А стоит появиться мне, он суетится, покрикивает на подсобниц. В этом месяце надо закончить каналы. Сдадим заказчику весь чердак, получим деньги. Борцов может подвести. На чердаке душно, пахнет шлаком. Так и есть: каменщик сидит на ящике для раствора, что-то рассказывает. Девушки сидят напротив, обнявшись, слушают. Заметив меня, Борцов взмахивает мастерком, стучит по плите.

— Девки, девки, пошевеливайся!

За полдня канал вытянулся метра на два, не больше.

— Почему так медленно дело подвигается, Борцов?

Он никогда просто так не выслушает замечание. Всегда ищет отговорку. Мыслит он так же, как и Ванька Герасимов, когда нагло врал мне: в данный момент вывернуться, а там видно будет. Но Ванька еще мал, глуп. Он не в состоянии был привести осмысленный аргумент и врал с умыслом, но без всякого смысла. Борцову двадцать пять лет.

— А что я сделаю? Что? — голос у него грубый, сильный, узкое лицо темно, темны густые, сросшиеся брови.— Вот эти рассядутся и сидят, как квочки. Раствор не успевают готовить.

— Когда не успеваем, Гришка? Что пустое болтаешь? — укоряют его девчата.

— Когда? Тогда! Когда в магазин бегали. Думаете, я не знаю?

— В какой магазин?

— В курносый!

И мне с некоторым укором:

— А вчера после обеда вы к нам не поднимались, а энергии не давали. Что ж я, на себе должен плиты с земли таскать сюда?

Это уж слишком: вчера день был пасмурный. Я сидел до вечера в прорабской, возился с нарядами. Лампочка горела и ни разу не мигнула. Терпение мое лопается.

— Ну вот что,— говорю, сдерживаясь,— я с тобой беседовал не раз, Борцов. Довольно. После работы получишь направление в отдел кадров.

Прохожу дальше, за спиной тишина. Федорыч приветствует мое решение.

— Добре. Давно пора прогнать этого бездельника. Надо бы с треском, да уж ладно...

С треском. Это, значит, Федорыч позвонил бы всем прорабам, назвал бы фамилию уволенного. И повсюду ожидало бы его сочувствующее отношение к нему. Бывают случаи, когда какой-нибудь отчаянный разгильдяй совершит полный круг от прораба к прорабу и попадет опять к Федорычу.

— Иванов, ты ли? — удивляется Федорыч.— Каким ветром? Зачем ко мне?

Иванов молчит.

— Ну иди в свою старую бригаду. Иди...

Иногда человек исправляется. Иногда нет.

Когда вручаю направление Борцову, он усмехается:

— Я-то не пропаду: была бы шея, хомут найдется. Это когда вас, начальников, увольняют, вы не знаете, куда приткнуться.

Посвистывая, он уходит. Зол ли я на него? Нисколько. Я видел, что работать он умеет и может быстро работать. И он не виновен в том, что распустился. Его сделали таким порядки на стройке, система оплаты труда. Взять наш городок. Строить его начали года три назад и три раза консервировали. Побывало здесь несколько прорабов. Каждый из них старался урвать от заказчика деньги вперед, а работу не сделал. Теперь нужно делать; деньги же «съедены». А частые простои бригад из-за отсутствия материалов? Трест наш молодой, рабочие кадры слабы. Штокман до сих пор разъезжает по стране, выискивает захудалые районы, вербует людей. Едут сюда топор не державшие в руках, с печальными пометками в трудовых книжках, отсидевшие срок, не поладившие с милицией где-то. Текучесть кадров огромна, выработка низка (в отчетных документах она нормальна). А расценки на строительные работы составлены по каким-то неведомым показателям выработки. Все это и еще масса мелких обстоятельств работают в течение месяца, в конце его результат такой работы обрушивается на голову прораба. Он должен дать план, должен платить рабочим. Где же взять деньги? Где? И вот строители всеми правдами и неправдами урывают от заказчика деньги вперед. Составляют липовые акты, процентуют работы, каких и делать не будут. Как-то, как-то выкрутиться! Вывести (не заплатить, а вывести!) сносную зарплату рабочим. Начинается то, что рабочие называют туфтой. А прорабы — мастера трансформаций. Здесь-то и обнажается корень трудового разврата:

— А-а, что там упираться! Все равно больше тридцатки не выведут!

С трансформацией я познакомился так.

— Закроешь, Борис, наряды Николаевой и Грузинову,— сказал мне Федорыч,— да не тяни резину. Сдавать в контору надо. Самсонов уже звонил.

Собираю наряды, часа два сижу в прорабской. За стенками носится холодный ветер с дождем, врывается под дверь. Уныло, протяжно стонет в трубе. Прихватив журнал работ, ухожу в гостиницу. Околотов, видя, что я занят делом, отправляется к приятелям. Я уже знаю: штукатуры зарабатывают в день рублей по двадцать семь. Землекопы-бетонщики от тридцати до сорока. У меня получилось: штукатурам по шестнадцать с полтиной, землекопам-бетонщикам — по двадцать пять рублей. Что такое? Пересчитываю, роюсь в справочниках, в расценках — расчеты верны. Утром пригласил бригадиров в прорабскую.

— Может быть, мы упустили что-нибудь? Сделали, а не записали?

Николаева пожала плечами:

— Не знаю, Борис Дмитрич, вроде все учтено... Все будто бы...

Рослый, мускулистый Грузинов, проработавший на стройках лет пятнадцать, усмехаясь, поглядывал на меня. Играя кончиком кавказского ремешка, поднялся нехотя:

— Ты, Борис, отдай наряды Федорычу, тот мигом все уладит...

Прораб интересовался как бы между прочим:

— Ну как там с нарядиками? Не тяни, не тяни резину...

Я выложил перед ним бумаги.

— Мало получается, Федорыч.

Старик потер ладонь о ладонь. Брови его победоносно взлетели.

— Ну вот и до этого дошел инженер. Так сказать, сунулся носом в самую жилу! Этому, брат, в институтах не учат. Нет! Садись! — ударил он ладонью по лавке.— Вот здесь садись. Давай-ка выпьем для начала...

И он произвел трансформацию. Пробежал взглядом по нарядам. Пожевал мозгом итоговую цифру. На несколько секунд задумываясь, закрывая глаза или глядя в потолок, прикидывал что-то в уме. Молниеносно чиркал карандашом в графе объемов работ. Цифра семь превратилась в семнадцать с чем-то, тридцать шесть в пятьдесят шесть с десятыми...

Через полчаса подбиваю итог: штукатурам вышло по двадцать шесть рублей.

— Они, канальи, ленились в этом месяце,— аргументировал Федорыч заработок.

Землекопам-бетонщикам — по тридцать восемь.

— И с этих достаточно. Вполне даже. Иначе из фонда вылезем. Да. А вылезать из него нельзя. Никак нельзя. Как хочешь провинись: напейся, прогуляй — простят. Из фонда будешь вылезать — ты и болван, и руководить не умеешь. Заклюют.

Шли домой, Федорыч толковал, что трансформация — дело простое. Но производить ее надо с умом, тонко, чтоб не бросалась в глаза какая-нибудь несуразица.

— Ажур полный должен быть. Похожесть на действительность должна соблюдаться. Да. Хоть и знают об этом — от главного до министра,— но видимость действительности требуется всегда.

Старик был уверен, что я быстренько научусь такому делу. «Ты парень с башкой». Привел, явно с педагогической целью, пример «о таком же, как я», молодом специалисте Шумакове, побывавшем в Кедринске года три назад.

Носил Шумаков очки, страшно любил читать книги. Даже в кармане их носил. В тихую минуту примостится где-нибудь и читает. Дали ему отдельный мастерский участок. Да и пожалели: Шумаков закрыл своим рабочим наряды по столько, по сколько выработали. Понятно, своего рода бунт: не по своей вине простаивали! Дошло дело до самого управляющего. Но и тогда Шумаков отказался делать приписки.

— Шальной был. Начитался больно много, полил струю против ветра. Через месяц его и не стало здесь.

— Уволили?

— Еще как! Подергали, подергали, клинья подвели и — фьють!.. Да и поделом: не будь умней всех, знай свое место,— Федорыч вздохнул,— странный народ, ей-богу. Ну вот о чем он думал? «Все, мол, так, а я вот иначе, я буду белой вороной». Поделом, поделом ему...

Трансформация привела к тому, что в конце месяца рабочий не знает, сколько он получит денег. Все зависит от прораба, мастера, как они сумеют вывернуться. От выработки всего управления. Это развращает и некоторых прорабов.

Строительство домов шестого квартала ведет прораб Кустарев. Худенький, маленького роста. Со всеми вежливый, видом какой-то робкий и слабый, он ходит вечно пьяный. Причем, будь он трезв или пьян, внешне совершенно одинаков. Придет за чем-нибудь в прорабскую. Сядет и сидит, шумно втягивает воздух через крупные, круглые ноздри. Иногда и уйдет, не сказав ни слова.

— Пьян в стельку наш Гриша,— заметит Федорыч.

— По нем незаметно.

— Привычка... Ну да это ладно. Как говорится, не пьет тот, кому не за что, да кому не подносят. Другое худо: пьет с рабочими. Деньги у них берет. А это уж никуда не годится.

— Чего ж не уволят за это?

— Кто же уволит?

— Начальство.

— Это не так просто, Дмитрич. Нужны, брат, доказательства, свидетели. А их-то и не сыщешь днем с огнем. Да кому охота кашу заваривать?..

Расходимся с прорабом у почты. Я сворачиваю за угол, он ковыляет к шестому кварталу, где стоит ряд коттеджиков. В коридоре одного из них он стягивает сапоги, вешает на гвоздь фуфайку. Проходит в комнату. Выпив стакан молока, ложится на диван. Глаза его закрываются. Минут двадцать

лежит неподвижно. В квартире тихо. Только на кухне стукнет что-то — жена накрывает стол. Дочки в своей комнате чем-то занимаются. Уже традиция: двадцать, тридцать минут принадлежат только отцу. Но вот он садится, громко кричит:

— Мать, что это так тихо в квартире? Неужто девки замуж успели выскочить?

ГЛАВА ПЯТАЯ

У самой гостиницы меня кто-то окликнул. Оглядываюсь. Краевская. Пожимаю протянутую узкую ладонь.

— Давно не виделись. Ты не изменился. Как Николай? Пишет?

Она ежится в зеленом плащике. Серые красивые глазки ожидающе смотрят на меня.

— Пишет. Уже начал пальцами ног шевелить.

— Значит, позвоночник цел. Передавай привет ему.

— Хорошо. Передам.

Николай работал прорабом у монтажников. Сорвался с лесов, поломал обе ноги, руку и повредил позвоночник. Его увезли на вертолете в Ленинград. Я дружил с ним, и теперь мы с ним переписываемся. Краевская замужем, это не мешало ей встречаться с Николаем. А теперь она утешилась без него с московским армянином, приехавшим толкачом на рудник. Там творится ералаш. Начальство управления поставлено прорабами, прорабы мастерами, мастера бригадирами. Отослали туда много бригад с других участков. Но к пятнадцатому числу отправят первый эшелон известняка в Новогорск, а в Москву полетит телеграмма. Армянин поселился в гостинице, что-то не понравилось ему у нас. Перебрался на квартиру к снабженцу Роскину, который может сегодня пить с тобой, завтра будет пороть всякий вздор каждому встречному. Прибежал к нам в прорабскую: глазки блестели, весь дергался.

— Дома не ночую, скитаюсь по соседям...

Не выдержал и выложил: армянин приводит к себе Крвевскую. Сколько пьют! А закуска: красная, черная икра...

Я был недавно дома у Краевского. Наш куратор Тихомиров болел, надо было кое-что уточнить в чертеже гаража. Когда я пришел, старик возился у приемника. Предложил мне чаю, заговорил о спутнике. Он еще больше постарел, обрюзг. Мне кажется, он все знает о своей половине. И тут влетела она, вся под девочку — в голубом, косички. Тридцать ей ни за что не дашь. Закрутилась вокруг мужа: она стояла в очереди за свежей рыбой, не достала. Прогулялась в лес, а там миллион тропинок. Шла, шла и заблудилась. Натолкнулась на стадо, и такой миленький пастушок вывел ее на дорогу.

— Ты голоден, мой дорогой? Сейчас тебя покормлю...

Николай говорил, что она умна. Ерунда. Она чертовски хитра, а эта сучья жизнь научила ее великолепно играть. Из нее вышла бы хорошая актриса...

В гостинице ожидают меня два письма: от родных и от Николая.

Днем в гостинице тихо, теперь она оживает. Возвращается с работы бригада эстонцев-наладчиков, командированных из Таллина. Рослые, с длинными крепкими шеями. Они моются гогоча, брызгаясь. Переодевшись, отправляются в конюшню, в бывшую конюшню, где убрали перегородки, перестелили пол. Поставили кассу и крутят по вечерам пластинки. Народу набивается много. Стены сжимают дергающуюся толпу, пахнущую потом, одеколоном. Эстонцы держатся там компанией, дают решительный отпор любому забияке. Компанией возвращаются в гостиницу, приводят с собой девиц. Тайком от вахтера проводят их через черный ход в комнату.

Появляются мягкотелые, с отсиженными задами бухгалтеры. Тихоговорливые, тихошумливые и недоверчивые. Подолгу толпятся в проходной у чайников с кипятком, который готовят вахтеры на электроплитках. Даже здесь бухгалтеры создают проблемы: устанавливают очередь, следят за ней, тихо ссорятся. Не берут те чайники, в которых вода кипела не на их глазах.

По одной, по две сходятся женщины, занимающие левое крыло. Оттуда по вечерам доносится грустное пение: в пятой комнате живут три молодые специ-

алистки. Две очень тощие, некрасивые, третья уродливо полная, со свирепым выражением глаз. Соберутся на одной койке, обнимутся, поют: «Куда ведешь, тропинка узкая...»

Легко взбежала по лестнице, просеменила стройными ножками трестовский юрист Здражевская. Оставила за собой запах каких-то чудных духов. Мужчины проводили ее взглядом. Вскоре она появляется снова, но прежде чем взять чайник, болтает с вахтершей, то и дело улыбается большим ртом. Около десятка пар глаз невольно следят за ней. Кто она? Замужем ли? Что занесло такую редкость в эту глушь?

Как будто у нее в руках не чайник, а драгоценнейший приз, Здражевская уходит к себе. Медленно ступая ногами, поднимается Околотов. Пришли жильцы двадцатой комнаты, мои приятели, молодые специалисты: Жора Маердсон, Латков Федя, Иван Рукавцов и Петя Мазин. Их комната рядом с моей. Я уже поужинал. Лежу на койке, читаю письма. Мама спрашивает, почему я редко пишу, где обедаю. Осенью она собирается на пенсию: уже не выносит морозов, очень мерзнет. Сестра вышла замуж, он тоже врач, учились они вместе, вместе уехали на работу куда-то в Казахстан. К осени мама вяжет мне двойные шерстяные носки, носить их надо будет обязательно с портянкой.

Письмо от Николая сегодня длинное. Прочитал его, снова перечитываю. На днях ему сделали перевязку. Ему легче, и он может уже полулежать на подушках. Даже может смотреть кино. Недавно им показывали кинокомедию: две девки и три парня проводили отпуск на берегу моря. Имели претензию на остроумие, на любовь. Не было ни того, ни другого, а так — пошлость. Вообще, пишет он, комедии у нас нет, она была когда-то, но это прошлое. Образование многое сделало в России. И голая задница, мелькнувшая на экране, нетопырь, свалившийся в курятник, не заставят человека хохотать, они вызовут недоумение. Кинодеятели наши отстали от жизни лет на двадцать... Он читает сейчас много, в основном классиков. «Школьная прививка против классиков улетучилась. Читая их, лучше поймешь человека, жизнь, нежели от современных авторов. Они все доказывают, что до революции было худо, а теперь хорошо. Скучно и нудно проповедуют: не убей, не укради; будешь хорошо работать — больше заработаешь, а поленишься — мало получишь. Посмотришь в биографическую справку об авторе — пожилой человек. А представление о людях дает такое же, каким оно было у нас в детстве: если уж плохой человек, то он и норовит всю жизнь делать одни пакости. Герои книг ставятся в какие-то необычайные условия, в какие ни один из читателей никогда не попадает. Одним словом, в книгах все можно найти, нет в них одного — жизни. Тех действительно существующих условий, в которых молодому человеку придется работать. Нет подлинных характеров. А раз так, книги лживы, вредны для вступающих в жизнь. Конечно, есть и хорошие книги, но где их найти? Не можешь ли ты мне помочь в этом?!»

Я хочу сейчас же писать ответы, но Околотов занял стол. Несколько раз уже посмотрел на меня поверх очков. Ухожу в двадцатую. Маердсон торопливо переодевается к вечерней вылазке в конюшню. Его не удержит ни дождь, ни холод. Явится под утро усталым, озябшим. Сбросит сапоги, свалится трупом. В начале восьмого его будут тормошить, поливать холодной водой, пока не очнется ото сна. Он на год раньше меня приехал сюда. Уже работает прорабом, ведет жилье. Латков читает. Рукавцова нет. Мазин примостился у тумбочки, пишет письмо. Золотистая косичка в ложбинке шеи Мазина топорщится хохолком. Он моложе всех нас, строен, худ и красив, как девочка.

— Партию, Петя? — предлагаю я.

— Давай.

Усаживаемся за шахматы. Счет у нас шесть — четыре в мою пользу.

— Петька, может, пойдем? — говорит Маердсон.

Мазин качает головой, и Жора уходит.

Мазин родился и рос в семье трех старозаветных учительниц, из которых самая младшая — его мать. В том же городке, где рос, окончил и техникум. И прямо из-под крыльев матери и двух старых дев прилетел сюда с чемоданом, набитым сорочками, майками. И с комсомольской путевкой в кармане. В день

его приезда была получка у строителей. В комнате собралось человек пятнадцать мастеров, прорабов. Был даже Федорыч. Много спорили, кричали, пели, пили. Потом говорили о женщинах. И Маердсон кричал: «Стойте! Я скажу вам о женщинах, о молодых женщинах! Они, как и проекты, бывают в нескольких стадиях: в стадии задания, в стадии разработки и, наконец, так сказать, в рабочем варианте. Я предпочитаю последних».

— А в стадии задания?

— Нет: хлопот много, а толку мало. Юноша,— обратился он к Мазину, сидевшему па койке,— а вы почему в стороне? Так нехорошо, иди сюда. Подвинься, Латков.

Мазин втиснулся между приятелями.

— Что будешь пить? Красное? Белое?

Мазин ничего не хотел.

— Красное,— сказал он.

— Ну можно и с этого начать...

Когда гости разошлись, Маердсон сходил в конюшню, привел Агнию Матросову, которая теперь, знакомясь, называет себя Марой. Она выросла в Окнове, после семилетки поступила в промтоварный магазин. Две продавщицы, приехавшие из Ленинграда, закончили ее образование. Сидя за столом в компании инженеров, она старалась держаться естественно и свободно. Закидывала ногу на ногу, громко хохотала. Курила, пуская дым через плечо. И выпила вина. Глупая девочка, она вела себя развязно. А намазанные ресницы, наведенная синева под глазами делали ее лицо старше и развратней. Она переночевала в гостинице. На рассвете Маердсон вывел ее через черный ход, она бросилась бежать. Жора спешил объявить приятелям удивительную новость: эта Мара была девочкой! Когда он вошел в комнату, Мазин стоял у стола. Новичок был бледен.

— Вы негодяй, Маердсон! — закричал он.— Вы развратник, вы не уважаете окружающих! Вы не советский человек!

Жора хохотал. Проснувшийся от крика Латков удивленно смотрел на новичка.

— Если еще подобное повторится, я буду драться с вами! — кричал Мазин.

Маердсон хотел рассердиться. Но понял, что новичок не шутит, сказал, прижав локти к ребрам, махая кистями:

— Ладно, ладно, Петя, больше этого не будет. Даю слово.

И Мазин не разговаривал с Маердсоном, покуда жизнь не подстроила скверную штуку.

Первое время Петя никуда не ходил по вечерам. Писал письма, читал. Потом познакомился с нашими подругами. Часто ходил и без нас в женское общежитие. И Рита Жиронкина, и Алябьева, и Козловская полюбили Мазина любовью старших сестер. Укоряли его худобой. Стоило ему появиться у них в комнате, тотчас угощали чем-нибудь. Они говорили ему, что Маердсон, я, Латков — отпетые люди, испорченные такими глупыми бабами, как они: до тридцати лет мы не женимся, а потом будем искать молоденьких. Петя не должен брать пример с нас. И как только встретит девушку, которую полюбит, пусть сразу женится. Он же о женитьбе и не помышлял. Праздники, дни рождения мы справляли у подруг. Тогда отмечали день рождения Жиронкиной. Были приглашены две девушки из соседней комнаты. Одна из них, Мая Воронкина, приглянулась Пете. А он понравился ей. Вскоре Мазин влюбился и объявил нам, что хочет жениться на Воронкиной.

Помню, Маердсон сказал тогда:

— Петька, это не мое дело, а ты дуешься на меня. Но я скажу тебе: Воронкина — рабочий вариант. Если бы было время, я бы доказал это.

— Заткнись,— ответил Мазин.

Месяц спустя сыграли комсомольскую свадьбу. Трест подарил молодым квартиру в новом доме. А через неделю после свадьбы молодая поехала в Питер и прислала оттуда мужу коротенькое письмо.

«Петя,— писала она,— получилась ошибка. Мы совершенно разные люди. Не ищи меня. Между нами ничего не будет».

Мазин прибежал с этим письмом к нам.

Мы заставили его переселиться обратно в гостиницу. Маердсон и Латков разобрали ружья, патроны я унес к себе. Едва Петя приходил с работы, мы не оставляли его в одиночестве. Он ложился на койку и подолгу лежал молча. Маердсон любит играть в карты. Он говорил, что Петя слишком рано пошел ва-банк. Как и в игре, надо сначала изучить карты партнеров, а потом действовать, так же и в жизни. Жора говорил, что раньше сорока лет он не женится. К сорока годам он будет главным инженером треста, на худой конец управления, и тогда женится. Наши подруги были возмущены случившимся. Они разыскали какую-то Разумовскую, близко знавшую Воронкину. Стало известно, что Мая, еще учась в институте, была в связи с какой-то дряхлой знаменитостью из артистического мира. Родители ее были против их брака. Она приехала сюда с определенной целью и добилась своего: явилась перед строгими родителями вся в слезах, измученная пьяницей мужем, который до свадьбы был нежен с ней, ласков. А после свадьбы стал пить, бил ее.

Недели две Мазин жил лунатиком. Потом выбрался из омута мрачных мыслей. Подружился с Маердсоном, и часто делают вылазки в конюшню вдвоем.

Когда мы кончили четвертую партию, пришел Рукавцов. Удивленно осмотрел комнату, будто чужую. Серое, в мелких морщинках лицо его сердито. Он пьян.

— Играете? — заявляет он.— Ну, ну...

Проходит к койке, ложится, начинает скрипеть зубами и кого-то ругать. Он работает уже три года, говорят, не ладит с начальством и ходит до сих пор в мастерах.

— Не пойду никуда! — заявляет он вдруг.— Сказал — не пойду, и не пойду. У-ух! Петька, все они гадюки, верно?

— Верно,— Мазин объявляет мне шах ладьей.

Рукавцов мал ростом, некрасив. Он славный малый, но красивым девушкам недостаточно этого. Уже три кедринские красавицы отвергли его. По нашему мнению, он уже старик. На каждой из трех он готов был жениться, но ничего не вышло. В Окнове отыскал какую-то девицу, которую никому не показывает. Частенько ночует у нее.

— Я сказал, что больше не пойду! — категорически заявляет он еще раз сам себе. И вскоре исчезает за дверью.

Мы кончаем пятую партию. Ухожу спать.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

В городке вдруг наступает затишье: нам не везут ни досок, ни бетона. Все отправляют на промплощадку и на жилые дома. Рабочих стало много, к зиме нужно приготовить жилье. А заводом интересуется Москва. Тут уж не до городка.

От нас забрали всех каменщиков, штукатуров, бригаду Савельева. Хотели забрать Жукова, Федорыч не отдал.

— Забирайте разнорабочих, бетонщиков — всех забирайте, а Жукова не отдам! — кричал Федорыч по телефону Гуркину.— Я эту бригаду создал. Что? Временно? Знаем мы, как это временно.

Прораб повесил трубку.

— Отдать Жукова! Прораб Кибиткин сидит без рабочих! Курам на смех! Пусть сам министр приказывает, а не отдам Жукова. Завтра клюнет управляющего жареный петух, нагонит материалу, а у меня людей нет!

Позвонил сам управляющий, Федорыч и ему сказал, как и Гуркину. Через час курьер приносит приказ по тресту: Федорычу вынесен выговор с предупреждением: если не отошлет плотников на шестой квартал, будет уволен. Федорыч рассвирепел.

— Я не мальчишка! Пусть увольняют, а вот Жукова не отдам!

И он уносится прочь от городка по щебеночной дороге. Он редко теперь бывает здесь. С утра обивает пороги в парткоме, в конторе. Потом бродит от прораба к прорабу. Там выпросит воз досок, несколько листов железа, машину кирпича. Везде и все его знают, выручают по возможности. Контрабандой он завез даже десять машин бетона.

Я никуда не ухожу с объекта.

— Я побираюсь, а ты сиди и никуда не отлучайся,— говорит прораб,— здесь, как на фронте: хоть подохни, а покуда приказа нет, заройся в землю и жди.

Разнорабочие убирают территорию, тем же занимаются землекопы-бетонщики. «Жуковцы» бродят по городку, выискивают недоделки, исправляют их. Молдаванку я отпустил на полторы недели. Она пришла в прорабскую, мягко села на лавку. Поправила белый платочек. Я редко вижу ее лицо близко. Как можно равнодушнее смотрел ей в глаза.

— В чем дело, Катя?

— Мне бы отпуск...

Я подписал заявление, спросил, куда она собирается ехать.

— Так... по личным делам...

Из разговора женщин я догадываюсь: где-то под Ленинградом у какой-то женщины живет ее ребенок. Почему она его не заберет?

Один жестянщик продолжает стучать в своей мастерской. Он по-прежнему сам достает материал на складе. Мне делать совершенно нечего. Ваньку Герасимова и двух бетонщиков из бригады Грузинова обучаю читать чертежи. Особенно приятно заниматься с Ванькой.

— Вот эти линии — перегородки, которые мы делали? — искренне удивляется он.

— Да. Вот смотри: это капитальная стена. Сколько мы отмеряли от нее? Это расстояние указано здесь...

От меня Ванька бежит к своему бригадиру, рассказывает о том, что узнал.

Побродив по этажам, я заглянул к дяде Саше. Он прекращает работу, садится на подоконник. Он интересуется студенческой жизнью.

— Что ж им там стипендию сразу выдают или разбивают как бы на аванс и получку?

Я говорю.

— На четыре рубля можно в ихних столовых пообедать плотно?

— Вполне.

Заглянет в мастерскую столяр старичок-пенсионер. Теперь я знаю, что он трезвым никогда не бывает. Но и пьяным я его ни разу не видел. Живет он вдвоем со старухой. Ей отдает пенсию, а заработок равномерно пропивает. Покуда я не уйду, столяр рассматривает какую-нибудь жестянку. Едва исчезаю за дверью, слышится его басок — предлагает дяде Саше составить ему компанию.

Другие рабочие, даже «жуковцы», начали пошаливать. Смотришь, подались по кустам в сторону Окнова несколько человек. Вскоре возвращаются, придерживая полу курток, воровски оглядываясь, не вижу ли я. Я делаю вид, что ничего не замечаю.

Как нарочно, погода установилась чудесная. Солнце печет, воздух чист, свежий и теплый. Поднявшись на чердак, подолгу смотрю в слуховое окно. Уже не надо смотреть в генплан, чтобы понять планировку города. Вот это городская площадь. От нее отходят лучи улиц. Самая длинная уходит на север к промплощадке, против которой через дорогу старинный парк с тремя прудами. Разбитая на аллеи, обросшие столетними дубами, липами, елями. Промплощадка — настоящий муравейник людской. На земле, на лесах, на крышах цехов копошатся люди. Там и здесь блещет белым огнем сварка. Снуют машины, ползают тракторы. Тихий, монотонный гул ползет от промплощадки к городку, проходит сквозь него, глохнет где-то в лесу. В голове копошатся предательские мысли по отношению к Федорычу: как только закончим городок, буду проситься на промплощадку.

Здесь все уже кажется мне простым. Здесь нужно только организовывать работу. А там сложные конструкции, да и материал всегда есть.

Вон движется через пустырь длинная фигура в костюме цвета хаки — Маердсон. Он стал часто наведываться ко мне. Спускаюсь вниз. У Жоры на объекте сейчас, как говорится, работа кипит.

— Фух,— утирает он потное лицо,— набегался... Старик сейчас был,— Жора хохочет,— ёшь твою двадцать, пришел на седьмой дом, а там в коридоре горы мусора. Он мне: «Что ты, тудыть твою мать, Гималаи здесь развел? Сдашь дом в этом месяце?» — «Сдам»,— говорю. «Смотри, — гудит,— голову сниму». И уехал... Есть там что-нибудь? — Он кивает на ворох стружек.

Я достаю перцовку. Я завидую ему. Во-первых, он сам ведет объект. Во-вторых, он испытывает сейчас то чувство, которое владело мной уже лишь отчасти — чувство удовлетворения от работы. Пусть сто человек работают на объекте, каждый делает какое-то одно дело. Все эти сотни дел прораб постоянно держит у себя в голове. Находясь даже вдали от объекта, он мысленно видит их. Прикидывает, как, где и что надо предпринять, чтобы завтра дело не приостановилось. Значит, к сотне этих дел прибавляется еще столько же, а может, и больше. И когда, несмотря на неурядицы, все такие дела в какой-то степени увязываются между собой, постепенно сливаются в одно целое — работа подвигается, тут уж чувствуешь свою значимость, нужность. А это самое главное...

А месяц-то подходит к концу...

— Деньги, деньги, черт бы их подрал! — Федорыч стискивает голову ладонями, качает ею, как от зубной боли. Неожиданно вскидывается, смотрит на меня изумленно: — Между моргом и прачечной был холм,— говорит он, поражаясь сам этой идее,— ни экскаватору, ни бульдозеру к нему не подобраться было. Мы его срыли вручную, грунт отвезли тачками на расстояние до пятидесяти метров. Что скажете, Борис Дмитрич?

— Акта нет же?

— Будет. Я свалю на тебя: мол, молод еще, забыл написать. Задним числом состряпаем. Возьмем на этом кубов четыреста... Тихомиров подпишет, я его уломаю...

Решаем запроцентовать бетонные фундаменты ледника, которых еще нет. Так же поступим с полами первого этажа. Ну и, скажем, весь месяц откачивали грунтовые воды из подвала... Еще тысчонок пять наберем по мелочам. А там и Самсонов подкинет деньжат за счет других участков...

Но вдруг вся наша затея рушится. Наш куратор, инженер ОКСа Тихомиров уходит на пенсию. Уезжает под Москву к сыну разводить сад. Это был спокойный человек, напоминающий характером дядю Сашу.

Побродит Тихомиров по объекту, придет в прорабскую, расскажет анекдот, выслушает сам, поговорит с Федорычем о делах треста, завода, о международной политике. Любил вспоминать двадцатые годы, когда ему, молодому специалисту, чуть ли не сам Ленин подписывал бумагу, по которой он получал в банке чемодан денег. Ехал строить мастерские, дома, элеваторы. Тогда доверяли людям, можно было проявить инициативу. Теперь же, говорил он, черт знает что: начальник сидит на начальнике, друг друга погоняют, проверяют. А рядом летят в воздух миллионы, но виновных не найти: все виноваты по чуть-чуть, и на поверку выходит, что все правы оказываются. Бумажная волокита разрослась до ужасающих размеров. Работников бухгалтерии развелось в стране в несколько раз больше, чем учителей и медицинских работников вместе взятых. Бумажная волокита превратилась в бедствие, которого никто не желает замечать, как не замечают воздух.

Наговорившись, Тихомиров делал какие-нибудь замечания по работе. Случалось, Федорыч и скандалил с ним. Но всегда они находили общий язык, все недоразумения кончались миром.

— Ну, ведь надо же, Иван Иваныч,— говорил прораб.— Ну, куда денешься? Я же не себе в карман беру эти деньги. Раз так получается...

— Ну ладно уж, ладно,— кивал Иван Иваныч,— что ж тут поделаешь... Только смотри, чтоб в следующий раз вперед не залазил. Не подпишу.

Приходил «следующий раз», повторялась прежняя история.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

И вот вместо Тихомирова появился тщедушный старичок с острым личиком, обтянутым прозрачной младенческой кожей — Иван Карлович Штойф. По национальности немец, по профессии — инженер-строитель-проектировщик. Проектировал, строил общественные здания. Так в Мюнхене построена им «очень практичный и очень красивый гостиница».

В сорок первом году Гитлер послал Штойфа воевать в Россию, чего Штойф не желал, тем более против большевиков, с которыми мечтал поработать на строительстве городов бесклассового общества. При первой возможности он перебежал к нашим. В первый год войны перебежчики были редкостью. А Штойф не только солдат, но и человек с высшим образованием. Его отвезли в Москву, оттуда в Сибирь на строительство крупного комбината. Там он женился. После войны не пожелал возвратиться в Германию, принял наше подданство. Он научился правильно писать по-русски. Но понимать разговорный язык наш, украшенный различными оттенками, словечками, он не в состоянии. Первые же шаги Штойфа на лугу кураторской деятельности ошарашили прорабов. Пошли слухи, что он чертовски упрям. Как бы худо ни шли дела у прораба, он ни копейки не платит вперед. Еще хлеще: совершенно не платит за работу, не доведенную до конца. Положим, кровля выполнена на пятьдесят процентов к концу месяца. Штойф не платит за эти пятьдесят процентов.

— Сделать надо крыша вся,— утверждает он,— тогда получай деньги. За часть крыши деньги платить нельзя.

Говорят, прорабы ходили с жалобой к директору завода, в партком. Но Штойф не меняет своей тактики.

На объект он старается проникнуть лазутчиком, незаметно. Осмотрит все. Что не так, занесет в блокнотик. Проставит дату, время. И старается исчезнуть незаметным. Но это удается ему лишь на первых порах. Внешний вид, манера поведения моментально создают ему известность среди рабочих.

— Штойф, Штойф идет! — разносится по городку.

Все с улыбкой наблюдают за крохотным человечком в светлом плаще, в светлой шляпе, семенящим по дороге с чемоданчиком в руках. Там, где грязно, он ходит в сапожках. Достигнув сухого места, Штойф извлекает из чемоданчика туфли. Ни на кого не обращая внимания, переобувается. Исчезает в помещении.

В первом же сражении со Штойфом Федорыч потерпел поражение.

Часа за полтора до окончания работы в прорабскую влетел Ванька Герасимов, расширив до предела свои зеленые глаза, выпалил:

— Иван Федорыч, Штойф на горизонте!

Прораб посмотрел в окошко, выпил стакан перцовки, углубился в изучение журнала работ. Дверь открывается, немец скребет подметками по порогу, здоровается с полупоклоном и присаживается, сняв шляпу.

— Хорошая погодка установилась,— замечает Федорыч. Откидывается к стене, улыбаясь, смотрит на куратора.

— Да, погодка отличная...

Штойф приглаживает ладонью короткие седые волосы. Озирается голубыми невинными глазками. Его хрупкие пальчики, обтянутые прозрачной кожицей, достают из кармана табакерку. Понюхав, чихнув, он достает платок.

— Да-а, погодка отличная. Я пришел просит у вас чертеж ледника. В нашем техническом отделе мне не повезло его найти. Может быть, он сумел пропасть. Я хочет взять у вас один экземпляр сроком на сутки и после суток вернуть вам. Я даю вам расписку.

Расписка легла на стол.

— Зачем расписку?! Какая может быть расписка? Борис Дмитрич, где чертежи ледника?..

— Вот, вот они. Пожалуйста. Вам все?

— Мне один.

Куратор выбирает один лист, кладет его в чемоданчик, хочет подняться, но Федорыч задерживает.

— Может, пройдемся по объекту, Иван Карлович?

— Я уже был на днях. Я все знаю. После завтра я буду к вам в девять часов утром.

— Посмотрели, тем и лучше. У меня тут процентовочка заготовлена... Это по моргу, это по прачечной... Деньжат совсем мало... Н-да... замучился с работой: того нет, этого нет. Рабочие простаивают. План давай, зарплату плати...

Штойф посмотрел процентовки, заглянул в блокнотик.

— Подписать не могу.

— Почему же?

— Обо всем разговора не может и быть. Вот и кровлю я не подпишу: на здании крыша имеет пятнадцать листа расколоты.

В крыше мы даже не сомневались, считали это дело чистым. Федорыч поражен, но справляется с собой.

— Это пустяки. Завезем шифер и мигом заменим. Работы на пять минут.

— Нет, нет,— качает головой Штойф.

— Ну бог с вами, считайте, что часть крыши не сделана. Давайте уменьшим цифру. Сколько снимаем?

— И полы не закончены...

Штойф снова понюхал табак.

— И не в цифрах дело... Когда я поступал на работу, директор завода Василий Абрамович Заикин сказал мне: «Товарищ Штойф, вы должны быть знать одна истина: все строители — хорошие люди. Но все они честные жулики. Никогда не верьте им по словам и вперед не платить ни копейка, а то они вам на шею съедят». Он правильно сказал. Но что такой честный жулик, как жулик может быть у вас честным, я не понял. Но по словам я никогда не платил. Должен быть строгий порядок.

И такого монолога прораб не ожидал.

— Все-таки подписать надо, Иван Карлович...

— Не могу.

Федорыча взорвало.

— Да вы понимаете, мне рабочим платить надо?! Материал списать надо?

— Все надо... Штойф получает от государства зарплату, и он должен поступать правильно надо.

— Да, голова два уха, все мы поступали правильно, но если безысходное положение?

— Крыша с дыркой — это неправильно. Сегодня ночью побежит дождь. Потолок капает, штукатурка делает падать. А Штойф уплатил деньги и за штукатурка и за крыша.

До Федорыча дошло, что куратор даже не колеблется: заплатить или нет. И он взвился.

— Вот,— закричал он, распахивая дверь, указывая рукой на главное здание,— здесь работают десятки людей, у них семьи, дети. Маленькие дети! Их надо кормить, одевать!..

Прораб кричал, что городок этот его погибель. Что он бросит все к чертовой матери, уйдет на пенсию... Картина была внушительная.

Театральные жесты Федорыча, выкрики должны были положить Штойфа на лопатки. Но тот даже бровью не повел.

— А ты, Штойф, не немец,— тряс Федорыч щеками,— ты черт знает кто такой! У меня работали пленные немцы — люди как люди. Откуда ты выискался? Зачем ты в России остался? Порядки новые заводить?

— Мы на производстве. Личность трогать не надо. Мы не дети.

— О-о! Зарезал! Без ножа зарезал!

— Время у вас еще есть.

Штойф поднялся. Через минуту уже спешит по дороге прочь от городка. С полчаса Федорыч мечется по прорабской, плюется проклятиями в адрес немцев. Допивает перцовку.

— Ничего, ничего... Погоди, брат, погоди... Герой выискался... Спорю с кем угодно: еще месяца два, и его здесь не будет. Удачи ему не видать. Да! Не видать. Куратором он не будет. На что угодно спорю.

— Давай со мной?



Рис. А. Пахомова

— На бутылку.
И он протягивает свою толстую, короткую руку...
С деньгами решается благополучно. Вечером отправляемся к Самсонову. Узнаем, что по промплощадке большое перевыполнение.
Самсонов выделяет нам достаточный фонд зарплаты. Весь следующий день возимся с нарядами: мы выдумываем возможные объекты работ. Мы туфтим, мы делаем трансформацию.
— Только ажур, ажур должен быть,— урчит Федорыч,— чтоб ни одна банковская крыса не подкопалась...

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Но и затишью приходит конец. Несколько раз появляется нервная, худощавая особа в юбке и с мужским лицом. В первый приход набрасывается на меня и Федорыча: старая больница мала. Начали поступать роженицы, травмированные. Койки даже ставят в коридоре. Осенью обещали строители сдать городок, а у вас конца и не видно!
Мы с Федорычем обрушились на наше начальство. Советовали написать в обком, а еще лучше — прямо в Москву.
— Придется,— отчеканила главврач,— я напишу куда надо.
И, должно быть, написала. Женщины, да еще главврачи, умеют писать жалобы. В одно утро потянулись к нам машины с кирпичом, подводы с досками. Пришли две бригады штукатуров, каменщики, две бригады плотников. Начальник нашего СУ Гуркин редко наведывался. По натуре он снабженец. О своем появлении оповещает руганью.
— Прорабы, молодые инженеры! — несется он по территории, припадая при каждом шаге.— Опять кирпич не сложен? Что? Не отговариваться! Все с вас высчитаю, я вас раздену!
На рабочих нельзя кричать, тот может пойти пожаловаться. Он отыгрывается на нас. Федорыч не обращает на ругань Гуркина никакого внимания. Ругань, крик — это метода руководства начальника. После его ругани можно пойти к нему с любым вопросом, и он, если может, все для тебя сделает. Я все это знаю, но когда он кричит, брызжет слюной, в голове одна мысль: подойти и дать крепкую затрещину. Интересно: что бы он сделал после этого? Теперь приехал на машине.
— Затянули, затянули городок. Надо кончать...
Он чуть выше Федорыча, немного плотнее. Затянут в кожаный плащ, голенища сапог на икрах разрезаны. Лицом он не похож на прораба совершенно. Но в то же время у них есть что-то общее, что-то такое, что выразить словами невозможно.
Позвонил управляющий:
— Все, что нужно, вам дадут. Будут задерживать, звоните прямо мне.
Начался аврал, штурм. Под шумок Федорыч завозит лишние гвозди, железо, ящики стекла. Привез три бочки битума, совершенно не нужного нам.
— Все нужно, все. Да. Вот работка, это работка,— оглядывается он, уперев руки в бока,— черт возьми!.. Ты только, Борис, теперь поглядывай, проверяй... Как бы чего не случилось. В такой суматохе всякое может быть.
Он имеет в виду «несчастный случай». Но как его предугадать, предупредить? Ведь потому он и «случай», и «несчастный», что его никто не ждет и не знает, когда, где и как произойдет. До сих пор судьба миловала городок, изредка сердилась на промплощадку, но вот посетила и нас. С южной стороны фасад главного здания отделали. Нужно разобрать пятиярусные леса, перенести на другую сторону, там установить. Поручаем это Савельеву. Он прячет наряд в карман, уходит. Я видел, как он собрал бригаду, что-то толковал с товарищами.
После работы вся бригада остается, покуда светло, снимают с лесов закрепы. Оставляют несколько на всякий случай. В полночь являются на объект, вооруженные веревками. Привязывают их к стойкам верхнего яруса, постепенно начинают раскачивать. Леса кряхтят, крепятся и вдруг с шумом

рушатся. В темноте плотники сходятся, обсуждают: сейчас перенести леса или сделать это, когда хоть немного посветлеет. Но что такое: кто-то стонет. Это плотник Старостин. Он лежит в грязи, едва шевелит губами; рядом с ним обломок стойки. Приятели уносят его в общежитие. Руки, ноги у Старостина целы, ран не видно. Может, все обойдется и никто ничего не узнает? Достают водки, кипятят чай. К утру Старостин побледнел, вытянулся. Вызвали «скорую помощь», Старостина увезли в больницу.
В начале восьмого Федорыч приходит на объект, видит, что леса разобраны, перенесены. Плотники молча устанавливают стойки первого яруса. «Решили заработать в этом месяце»,— думает прораб. А в девять часов приехала комиссия во главе с главным инженером треста Рубцовым.
— Иван Федорыч, пройдемте в прорабскую...
— Расскажите, как все произошло. Говорите.
Немая сцена.
— В восемь ноль-ноль Старостин скончался. Вы должны откровенно рассказать. Что произошло вчера?..
И через минуту:
— Картавин! Эй, кто там? Девушка, позовите мастера.
— Борис Дмитрич! Борис Дмитри-ич! Вас в прора-а-абскую зовут!
Из окна четвертого этажа:
— Кто?
— Там приехали! Рубцов там!..
Мы с Федорычем смотрим друг на друга. Я иду за Савельевым. Тот долго молчит, что-то бормочет.
— А может, это неправда? Может, вы нарочно? — наконец не выдерживает он. И тут же все рассказывает...
Проходит всего лишь день...
Я устанавливаю нивелир. Нужно сделать разбивку ограды городка. Савельев уже не бригадир. С него взяли подписку о невыезде из Кедринска. Он сидит рядом со мной на корточках, складывает в ведро колышки.
— Смотри-ка, Борис,— говорит он.
От морга, от прачечной бегут люди за главный корпус. Сердце вздрагивает, и я бегу. Ноги скользят. Вон Федорыч бежит к прорабской. Должно быть, звонить. Сталкиваюсь с разнорабочей Уляновой, волосы ее растрепаны.
— Позвонить, позвонить надо! — кричит она.
— Что такое?
— Убило!
— Кого?
— Шуракину! Звонить надо!
Сворачиваю за угол, расталкиваю толпу.
Девушка лежит навзничь.
— Разойдитесь! Дайте воздуху!
Голубые глаза девушки раскрыты. В них небо, даже видны облака. В них мое лицо. То ли от волнения, то ли пальцы мои грубы, но я не чувствую ни пульса, ни стука сердца.
— Дайте дорогу!
Санитары кладут носилки. Молоденький врач, совсем мальчишка, наклоняется над Шуракиной.
— Отойдите все. Отойдите!
Это уже кто-то из милиции. Несколько раз щелкает фотоаппарат. Под головой Шуракиной кровь. В волосах маленький болт с гайкой.
— На носилки.
— Что с ней? Жива?.. Я мастер...
...Люди не работают. Изредка кто-нибудь подходит к месту, где лежала Шуракина. Стоит некоторое время. Отходит. Возле прорабской толпа женщин.
— ...Я гляжу, а она вот так постояла, постояла да разом на спину...
— У Старостина никого нет, он сирота был. Это уж его одного горе. А у ней-то матушка, отец где-то в Воронежской области...
— Поехала девка денег заработать...
— Боже ты мой, девоньки, телеграмму-то дадут... Мать-то получит...

— Дадут обязательно.

Пожилая женщина убирает под платок седые волосы. Быстро крестится.

— Замуж собиралась...

— Едут!

Комиссия на двух машинах. В комиссии двое из области, вызванные шифрованной телеграммой по делу Старостина. Один пожилой, сутулый. То и дело кашляет. Второй молод, рыж. Комиссия разделяется на две партии. Опрашивают людей в разных местах.

— Мастер Картавин!

Вначале меня опрашивают приезжие.

Пожилой спокойно задает вопросы, что-то записывает.

— Можете идти. Позовите бригадира Шуракиной.

Рыжий задерживает меня:

— Вы не должны ничего скрывать. Мы все узнаем. Тогда хуже будет.

Он даже грозит пальцем. Что ему сказать? Губы мои что-то шепчут. Я иду за поликлинику, спускаюсь к Норке. За речкой кусты, потом лес. Тишина. Да, тишина, только она. Что думать, о чем говорить? Ни о чем. Смерть... Пусть будет тихо... Уже в потемках я подошел к Кедринску со стороны парка. Ночи сейчас светлые, но в парке темно. Вершины деревьев закрывают небо, оно видно лишь над озером. Цокают соловьи. Как они заливаются! От ходьбы я вспотел. В кустах жасмина и сирени лавочка. Я давно знаю эту лавочку. Ближние соловьи умолкли, но я не шевелюсь, и они опять цокают. «Интересные птахи... Я никогда не видел поющего соловья... Наверное, родным ее уже послали телеграмму... Помню, бабушка говорила, что если кто увидит поющего соловья и задумает в это время что-либо, то задуманное исполнится...» Поздно вечером я выходил в сад... Сколько мне было лет тогда? Семь, восемь? Да, в школу я уже ходил. Я крался по дорожке, то и дело оглядывался на освещенные окна. Страшно было. Я трусливым не был, но почему-то ночного сада боялся. Почему? У соседей наших, что ли, весной обнаружили в саду труп какой-то старушки. И вот всегда, очутившись один в саду, почему-то вспоминал о ней. Но я шел к тому заветному кусту, в котором пел соловей. Не дыша замирал у куста, а стоило раздвинуть ветки, певец умолкал. Я так и не видел поющего соловья. Но ух, как я бежал обратно к дому! Казалось, кто-то гонится за мной, вот-вот схватит. Я влетал в освещенную комнату пулей, и все страхи исчезали... Но откуда взялся этот болт? Болт... Ладно. Если это случай, то с каждым могло так случиться. Я бы тоже сейчас лежал в морге. Вот и с Николаем случилось... Многие ходили там по ярусу. Подсобницы даже кирпич носили. А он облокотился на доску в том месте, где был сучок. Чудак этот рыжий. Впрочем, будь я на его месте, как бы вел себя? Душно что-то стало и совсем темно. Наверное, будет дождь. Искупаться?..

Я прошел к пруду, быстро сбросил одежду, нырнул. Тотчас выбрался на берег, ошпаренный холодной водой. У самого выхода из парка передо мной выросла высокая фигура.

— Разрешите прикурить.

Подаю спички и чувствую, что сзади кто-то стоит. В памяти мелькают двое проектировщиков, командированных сюда из Ленинграда. Их ночью раздели в парке догола, даже трусы сняли. Фигура чиркает спичкой, ладони держит отражателем. Мое лицо освещено, а я вижу только кепку, сдвинутую на глаза, длинный овал лица.

— Спасибо.

Фигура проходит мимо.

— Не нужно,— доносится шепот,— это мастер с больничного городка...

В гостиницу прихожу в полночь. Околотов почему-то не спит. Следит, как я раздеваюсь. Он чем-то взволнован, хочет о чем-то спросить.

— Борис Дмитрич... мм... вы где были?

— Гулял...

Он недоверчиво смотрит на меня.

— Мм... А не в милиции вы были?

— Нет.

— Вас допрашивали сегодня?

Его интересует, как со мной разговаривали, не грозили ли мне чем-нибудь? Выслушивает, как было дело, отворачивается к стене.

Ночью я, вздрогнув всем телом, просыпаюсь. За окном грохот. Сверкает молния. В свете ее седые волосы бухгалтера кажутся голубоватыми. Впалые щеки восковыми, как у мертвеца. Я давно уже не могу спать во время грозы. С каким-то детским страхом ожидаю очередного удара грома, блеска молнии.

Лежать надоедает, хочется покурить. Одевшись, выхожу в полумрак коридора. В проходной горит яркая лампочка. Дежурит пожилая, полная девушка Галя.

— Почему не спите, Картавин?

— Голова что-то болит.

— У нас есть аптечка.

— Спасибо, Галя. Уже проходит.

Электроплитки раскалены. От них душно. Выхожу на крыльцо под гудящий жестяной навес. Вокруг крыльца вода, в ней плавает расплывчатая дрожащая звезда — отражение фонаря башенного крана. Днем, когда вокруг тебя люди и ты занят, почти не думаешь о бескрайнем лесном пространстве, окружающем стройку. Теперь же кажется, что лес близко, в пяти шагах. Особенно остро чувствуется его бескрайность, дикость, холод его озер и болот. А стройка — маленький пятачок в этом необъятном море. Кто-то пробежал в стороне, за ним второй.

— Постой, подожди! — хрипит мужской голос.

Откуда-то из-за гостиницы, видимо, от седьмого квартала, где стоит ряд недостроенных домов, напоминающих ночью развалины военных лет, доносится истошный женский вопль:

— А-а-а-а!

Грабят? Насилуют? Муж колотит жену?

Залились милицейские свистки.

Шлеп-шлеп — кто-то топчется в луже у стены.

— По три-и но-о-очи мы не спа-а-а-ли!

Пьяный голос обрывается, фигура падает в лужу. Покуда поднимается, осыпает темноту скверной руганью. Проплывает мимо.

— Пьем мы водку, пьем мы ро-о-ом!..

Гроза утихла. Потянуло ветерком. Зябко. Ухожу в комнату. Сон моментально окутывает сознание. Но сплю я неспокойно — одолевают сновидения. Прежде мое сознание не принимало участия в снах. Просыпался утром и никак не мог вспомнить, что именно снилось. Теперь сознание подключается в работу, и получается так, будто я смотрю какой-то бессвязный фильм, в котором нередко участвую сам. И утром помню все до мельчайших деталей. Вот вижу себя сидящим в осоке на берегу реки. Ночь. На фоне светлого горизонта высокие, стройные силуэты сосен. Под ними вспыхивают огоньки, и доносятся выстрелы. «Откуда это?» — думаю я. Это приснилось из далекого детства. Городок, где я жил, заняли немцы. Наших людей расстреливали по ночам за баней, в соснах... Но вот уже день, и печет солнце. На берегу стоит голая Молдаванка, она смеется, а я подхожу, подхожу к ней, целую ее груди. Но она вдруг вырывается и кричит: «Мастер, лучше вон туда посмотри!» Оглядываюсь и вижу плывущую по реке Шуракину. От головы ее расходятся кровавые круги. А на груди у нее лежит маленький болтик... А вот уже зима, река скована льдом. Я пришел с ведром набрать воды в проруби. На льду пятна крови, следы босых ног, кованых сапог. Здесь ночью немцы расстреливали людей, трупы спускали под лед. Я ухожу по берегу выше по течению. Пробиваю новую прорубь. Хочу набрать воды, но ведро не погружается. Опускаю коромысло в воду, за крючок его что-то зацепилось. Я тащу и вижу концы веревки. И вдруг вижу темные пальцы связанных человеческих рук. Я бросаю коромысло и убегаю...

Весна. Наши отбили городок. За мостом, в маленьком заливчике, люди обнаружили водяное кладбище трупов. Темно-синие, вздувшиеся, они покрывают весь залив. Со дна продолжают всплывать новые трупы. Свободного места на поверхности нет, они толкаются. И такое впечатление, будто некоторые из них сами шевелятся...

Я вижу это, чувствую то, что и тогда в детстве. Мне жутко. «Да это же сон!» — мелькает спасительная мысль. С трудом открываю глаза. Светло. Околотов завтракает...

Старостина и Шуракину хоронят в один день. Трест нанял оркестр из музыкантов-любителей. Первым за машиной с гробами идет высокий мужик в полушубке и в валенках — отец Шуракиной. Он думал, что здесь настоящий север, приехал в зимней одежде. За ним Федорыч. Секретарь парткома треста Новожилов. Рабочие городка. Я ни разу в жизни не участвовал в похоронной процессии. Я не могу даже смотреть на нее. А когда играет похоронная музыка, стараюсь не слушать ее. Почему так? Не знаю.

Со всех сторон к процессии сбегаются женщины, дети. В их глазах я вижу что-то от дикарей. Когда заиграли эти музыканты с пропитыми физиономиями, у меня стискиваются зубы. Глухой стон я подавляю в груди. На некоторое время глаза мои закрываются. Делаю несколько шагов в сторону, смешиваюсь с толпой. Через минуту уже за стройкой. Бреду по лесу...

Вечером возвращаюсь обратно. На берегу Норки наталкиваюсь на музыкантов. Они уже пьяны. Один, толстый, усатый и с громадным брюхом, дудит на трубе. Двое подрались. Их разнимают, по очереди бросают в воду прямо в одежде. Хохот.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Жизнь равнодушна к ушедшим из нее. Жизнь в городке пошла своим чередом. Несколько раз я побывал у следователя Моргунова. Теперь установлено, что болт принадлежал сантехникам. Упал он с пятого этажа. Он не был брошен кем-то, а его просто кто-то смахнул с подоконника. Кто мог это сделать? Сантехники уже не работали там. Наших людей там тоже не было. Кто-то проходил, смахнул болт. Но кто? Это осталось тайной. Федорыч как-то разом сдал. Постарел, меньше шумит. Если прежде любил пофилософствовать, поспорить, то теперь молча выслушает собеседника и кивает:

— Да, да, бывает...

На мне лежит уже не только техническая сторона дела, но и организационные вопросы, часто решаю их без прораба.

— Наверное, уйду скоро, Борис, останешься ты здесь... Да... Закончишь городок сам...

— Брось ты, Федорыч!..

— Без меня, без меня кончишь...

И вдруг приходит день, когда нам с Федорычем приходится расстаться. И уж не я, а он остается в городке.

В начале девятого Гуркин вызывает меня по телефону в контору.

— Да поскорей, поскорей...

Кладу трубку, несу новость прорабу. Гуркин никогда по утрам не вызывает к себе.

— Вчера ты нигде, ничего? Не прославился вечерком?

— Нет.

— Поскорей возвращайся...

— Ну садись, сын,— начальник подал мне руку, улыбнулся, и я насторожился.

Год назад наш трест обязали построить колхозу «Восход» коровник и свинарник. Читаю ли я газеты? Да, читаю. Читал выступление Хрущева? Читал. Ну так вот. Строительство коровника и свинарника затянулось. Руководит там прораб Окунев, он, так сказать, маленько свихнулся в дисциплине, частенько закладывает. Вчера на партийном бюро постановили послать меня туда. Работы там осталось мало. К осени я разделаюсь.

— Вернешься, назначу тебя прорабом. Отдам тебе мясокомбинат — работы на пятнадцать миллионов. Один будешь руководить...

Если б хоть мастерские какие-нибудь, а то коровник! Да я уже слышал: «Восход» километрах в тридцати от Кедринска. Дорога туда отвратительная, с материалом там туго, работа запущена.

— Я не поеду туда.

— Почему?

— Почему я должен?

— Ты холост.

— Маердсон, Латков...

— У них отдельные объекты. Ты комсомолец? — Гуркин возвысил голос.

— А комсомольская организация есть в нашем СУ?

— Гм... Должна быть. Есть.

Я рассмеялся. Что за народ! В нашем СУ организации нет, есть в тресте. Я недели две искал секретаря, чтобы уплатить взносы. В повседневной жизни о комсомольской организации никто не думает. А вот когда что-то надо от человека, тогда вспоминают.

— Я не пойду в колхоз.

— Разговаривать некогда! — Гуркин встал.— Приказ уже есть. Все.

В дверях мелькают разрезанные голенища начальника. Под окном зафыркала машина, он укатил. Я закуриваю. Стучит машинка машинистки Маши. Под окном прополз бульдозер. Мясокомбинат — это вещь. Пятнадцать миллионов — это солидно. Ладно. Я поднялся. Начальник ПТО Шуст у себя. Маленький, юркий, напоминающий какую-то птичку, он сидит за огромным столом, что-то подсчитывает. Как ни странно, но финансовыми делами СУ вершит Шуст. Если прораб не справится с планом, Шуст, сидя за столом, вытянет его.

— А, это ты — садись, Борис. Сколько полтора процента от миллиона? — Шуст смотрит на меня. Что-то чиркает на бумаге и выныривает из мира цифр.

— Чертежи там, в деревне, у Окунева. Вот сметы. Познакомься.

— Много съели денег?

— Нет! Что ты! Не бойся! Вперед не забирались. Примешь дела, составь процентовку по молокосливной и пришли к десятому. Обязательно...

Листаю смету. Стоимость коровника четыреста шестьдесят тысяч. Свинарника — двести тысяч.

— Ну все-таки, Юрий Абрамович, сколько забрали денег?

— Совсем мало... Мало, мало...

Отправляюсь в городок.

— Да-а,— говорит прораб, выслушав меня,— вот так оно и кособочится всю жизнь. Думаешь так, а оно выходит этак. Замотаюсь я тут один. Может, пришлют кого...

И улыбается хитро:

— А для тебя это самый раз. Заметил я: норовишь ты все по-культурному: пожалуйста, извините. Для всех хорошим хочешь быть. За чужой спиной так можно. А теперь сам будешь...

До конца рабочего дня заполняю журнал работ, закрываю наряды. Приношу из окновского магазина перцовки, закуску. Сидим за столом с Федорычем, он объясняет, как лучше добраться до «Восхода»...

Моя командировка — солидный предлог для основательной выпивки. Маердсон и Рукавцов быстренько прикидывают смету, я даю деньги. Переодеваемся. Мазин уходит предупредить подруг. Жора был в деревне, строил там овощехранилище.

— Какая там база, Жора?

Он хватается за живот и падает на койку.

— Ба... база! — стонет он.— База! Узнаешь там базу!..

На улице подсохло. Мы все в туфлях. После сапог такое ощущение, будто ты в тапочках. Вчера была получка, возле гастронома длинная очередь, женщины несут дешевую конскую колбасу. Пивные ларьки облеплены рабочими. Там и тут на травке примостились компании, пьют водку. В такой день нет нужды прятаться в подъездах, на чердаках, в подвалах. Ханжество наших властей бесподобно: знают, что винные прилавки трещат от очередей, а устроить какое-нибудь заведение, где после работы можно поболтать и выпить — это значит способствовать пьянству. В магазине мы нагружаемся.

Окно в комнате подруг открыто. Жиронкина приветствует нас рукой. У девушек как всегда чистота в комнате. Даже как-то неловко.

— С чем и поздравляю,— большой рот Козловской становится еще больше от улыбки. Под сросшимися бровями щурятся серые пытливые глаза.— Дай-ка папироску.

Она целует меня.

— Рита, не ревнуй. Мальчики, раздвиньте стол!..

Поздно вечером уходим компанией в парк.

Утром следующего дня шагаю по тропинке вдоль пыльной дороги. То и дело проносятся по обе стороны самосвалы — возят песок, известь. В пяти километрах от стройки большая деревня Сорокино. В чайной завтракаю. Возле буфетной стойки двое: директор известкового заводика Тверской, рослый мужик с длинным сизо-кровавым носом, который директор возил в Ленинград к профессору, чтобы избавиться от красноты. И заготовитель корья, ягод, грибов Микульский. Оба пьют из бутылок вино.

— Я им говорю: дадите квартиру — поеду, а так нет,— Тверской кивает мне.

За деревней луг, печи известкового заводика. Дорога врезается в лес. Шум стройки все тише, тише. Вот уж не слышно и моторов самосвалов. Где-то в стороне бренчит колокольчиками стадо. Далеко-далеко хлопнул ружейный выстрел. Развилка. Лавочка. И возле нее стоит, опершись на палку, привидением — старик.

— По какой дороге в «Восход» идти, дедушка?

— Сюды. Будить Ходеево, Мошкино, Тутошино. Потом озеро, а за ним Вязевка. Там-то и правление «Восхода».

В правлении застаю бухгалтера Иваныча, тоскующего над ведомостью.

Председателя колхоза Баранова в деревне нет, он уехал в Новогорск по делам. В самой Вязевке ничего не строится. Ставят коровник в Заветах — это еще нужно пройти по берегу озера километров пять. Свинарник — в Клинцах. Чтобы попасть в Клинцы, нужно пройти обратно километра четыре. И у первой же повертки вправо свернуть.

— Окунев где может быть сейчас?

— Кто ж его знает... Утром проходил в сторону Клинцов, может, и там он...

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Штук тридцать избушек, крытых дранкой, расположенных в два ряда. За избами овраг, в нем ручей. За оврагом на поляне стоит шлакоблочная коробка с тамбурами, без крыши и потолка. В одном тамбуре свалены бумажные мешки с цементом. Я потрогал верхние — от дождей они стали тверды, как камень. Ни одной живой души. Вот кучка свежего песка. Следы. Я присел и закурил. Слышится шум мотора. Вскоре из лесу, подминая кусты, выползает трактор с прицепленными железными санями. На санях песок и шесть человек молодых парней. В Кедринске они работали землекопами-бетонщиками. Вчера Гуркин вызвал их в контору, отправил сюда.

— Сколько вас? — говорю я.

— Десять человек. Одиннадцатый — бригадир.

— Где он?

— Войченко куда-то отлучился. Остальные остались в карьере.

— Окунева не видели?

— Нет.— И кто-то смеется.

— У нас никакого инструмента нет. Гуркин сказал, что здесь все есть, а здесь ничего нет. Лопаты мы у хозяек выпросили.

— Так...

— Много песку надо?

— Много. Возите. Далеко карьер?

— Километра три отсюда.

Ребята сгрузили песок, уехали. Из лесу по тропинке вышли три девушки. Окружают меня.

— Вы начальник новый будете?

— Я.

— Переведите нас сюда на свинарник...

Девчата рассказывают, что они клинцовские, Окунев их принял временно на работу, послал в Заветы, где они готовили раствор штукатурам. Теперь там работа кончилась, они хотят работать здесь.

— А Ефим Андреич нас не переводит.

— Почему же?

Девчата начинают в один голос говорить, но вдруг вскрикивают и убегают к деревне: на другой стороне поляны появился маленький человечек в комбинезоне, в фуражке и в очках.

— А-а, не слушаться! Вот я вас! Вон отсюда все! — визжит он.

Натолкнувшись на меня, человечек протягивает руку.

— Честь имею представиться — прораб Окунев. Собственной персоной!

Он садится на траву. Машет перед собой жилистым кулаком.

— Во! Еще есть сила! А это что? — он рвет комбинезон, под которым тельняшка.

— Инженеры молодые! А Сингапур? Индийский океан? А? Я, брат, много повидал! Окунь — рыба колючая. Ха-ха! Один дурак обварился смолой, Окунева к следователю. А он, Окунев, то есть я, бумажку раз, вторую два: «Был болен и на объекте не присутствовал». Каково? Я бумажками обложусь, возьми, попробуй! Ха-ха! Впрочем, пойдем в избу. Сейчас Матреша обедать даст. Я не жрал пятьдесят лет и три года...

По дороге к деревне он толкует:

— А девок этих гони. Они, курвы, хитрые, непослушные. Всех баб гони к чертовой матери!

Вошли в избу. Окунев потребовал яичницу. Прилег на лавку. И вскоре спит, поджав ноги, подложив под голову кулаки.

— Слава тебе господи,— говорит хозяйка,— угомонился. Когда тверезый, человек добрый. А выпьет — бросается на всех...

Поселился я в избе Татьяны Сергеевны Родионовой, одинокой женщины, живущей со своим хозяйством: корова, поросенок, телка, куры и огород. С той откровенностью, какую можно встретить только в деревне, за час она рассказывает о себе всю подноготную. На деревне ее зовут Гришчихой, потому что мужа звали Григорием. Умер муж во время войны «от живота». Призвали его служить. Не отслужил он и месяца, как был отпущен домой. Привезла она его со станции на санях. Два месяца он пролежал в кровати, ничего не ел, а потом помер. Меня поражает и то, как умер муж, и та простота, с которой рассказывает Сергеевна. Над кроватью мужа висела жердь, на ней — сушили белье. Вернулась однажды Сергеевна из Вязевки, куда ходила за солью. Вошла в избу и упала на колени: живой скелет висел на жердине, обвив ее руками и ногами.

— Так мне легче, Татьянушка, не пугайся, родная. Так не болит нутро,— бормотал муж.

И умер висящим на жердине.

— Услышала я — грохнуло что-то, кинулась от печки, а он вот так-то лежит: голова на кровати, ноги на земле...

Дочь есть у Сергеевны, звать Галиной. Окончила Галина зоотехническую школу под Ленинградом, вышла там замуж. Живет у мужа где-то за «Тифином».

— Говорила все мне: «Не пойду за деревенского, не пойду за деревенского!» А за такого и вышла...

В избе три комнаты. В первой комнате печь, стол, залавок, бочка для помоев. Над бочкой висит на цепочке глиняный горшок с носиком — рукомойник. Во второй комнате стол, в углу большая икона с лампадкой. Кровать, на которой я буду спать. В третьей комнатушке маленькая печка, она топится зимой на ночь. Кровать Сергеевны.

— А сколько вам лет, Сергеевна?

— Мне-то? Да сколько же... Седьмой десяток поди пошел. После нонешнего успенья и пойдет...

В этот вечер поговорить с Окуневым не удается. Очнувшись, он выпил ковш браги, ошалел окончательно. Представилось ему, будто он не в избе, а в

палатке. И в расположение части прибыл командир полка. С остервенелым лицом Окунев выбежал на улицу и заорал на всю деревню:

— Рота-а-а! Стройся-я!

Белея тельняшкой, пробежал вдоль воображаемого фронта.

— Рота моя-я! Слушай мою команду! Смиррр-но! Налево равв-айсь!

И, прижав руку к бедру, побежал, вдруг вытянулся, замер и отрапортовал.

Утром я пью молоко, он является. Садится на лавку. Через стекла очков смотрят на меня увеличенные голубые глазки.

— Вот я акт принес о передаче...

Акт написан красивым почерком.

— Молока хотите?

— Спасибо. Я позавтракал... Я был пьян вчера... Из начальства никто не приезжал?

— Нет.

Он оживился.

— Черт, перехватил вчера...

В акте указаны несколько тонн цемента, много кирпича, шифер, кровельное железо. Побывали у свинарника, у коровника. В наличии нет и половины того, что есть в акте.

— Где ж это все? — Я провожу пальцем в акте.

— Часть в дело пошла. Часть растащили. Знаете — воруют. Народ здесь,— он отмахнулся обеими руками,— жулики!

— Надо ж было актировать.

— Знаете, для акта свидетели нужны. Допустим, я бы нашел их, да не успел... А теперь, знаете, когда человек уходит, ему не списывают... Меня вот загнали сюда, а в Кедринске семья... Трое детишек.

Он жалок. Хоть бы здоровым, толстым был, с распухшей от водки физиономией, я бы обозлился тогда. Но он сух, как сучок. А личико чуть ли не с мой кулак. Вспоминаю, что видел его как-то в Кедринске в компании трех карапузиков. Дети...

— Ну, ладно... Я беру на себя треть. Остальное, как хотите, так и списывайте...

Под вечер он ушел в Кедринск. Нахожу избу, где живет тракторист, и с четырьмя рабочими едем в Кедринск за инструментом. Вечер я провел у Федорыча. От него узнал, что никакое бюро не решало послать меня в колхоз. Просто Гуркина вызвали в райком, потребовали ответа: почему так медленно подвигается стройка в деревне? Преследуя ту же цель, ради которой лгали и каменщик Борцов, и Ванька Герасимов — в данный момент выкрутиться,— Гуркин сказал, что да, до сих пор дело шло худо. Но теперь пошло лучше. И он добавил туда людей и послал молодого инженера. Вернувшись в Кедринск, Гуркин все это и проделал.

Утром я сталкиваюсь с Гуркиным у конторы.

— Ты почему не поехал? — набрасывается он.

Чувствую, что краснею. Глаза мои уставились в какую-то точку на физиономии Гуркина. Сейчас размахнусь и влеплю затрещину. Но он делает шаг назад.

— Черт знает что! Зайди ко мне в кабинет...

Нагружаем с рабочими инструменты на сани и уезжаем в деревню.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Теперь понимаю Федорыча, когда он говорит, что не выносит тишины. Начинается сенокос, деревенские покидают избы чуть свет, уезжают на дальние лесные поляны. В семь часов я завтракаю. В избе тихо до звона в ушах. Выйду на крыльцо — тишина. Безоблачный голубой купол неба. Два коршуна кружат невысоко. За избами бархатная зелень огородов, за ними лес. Ручей на другом конце деревни, а слышно, как он журчит. Направляюсь к избам, в которых живут рабочие, присланные Гуркиным. Все они молоды, еще никто из них не служил в армии. Но многие побывали в колониях. Судьба собрала их в Кедринске. Им бы и работать там, например, рядом с бригадой Жукова. Но Гуркин отправил их сюда, потому что прораб Еремин просто захотел избавиться от этой компании. Только бригадиру их Войченко лет сорок. От отсидел за что-то срок. Прежде работал шофером. Теперь должен сколько-то отработать где угодно. И если получит хорошую характеристику, ему могут вернуть права. Ему нужна характеристика, и он послушен. Внимательно выслушивает меня всегда, бросается выполнять указание. Кричит на своих «орлов». Он презирает работу, которую приходится выполнять. Хотя не говорит об этом, но ребята это чувствуют.

Свой авторитет Войченко поддерживает рассказами о своей прошлой жизни. Много, много врет. За глаза рабочие называют его трепачом. Поселился он отдельно от бригады, в избе одинокой вдовы Дарьи.

В Кедринске ребята жили в общежитии. Ясное дело, деньги они считать не умеют. Часто перед получкой голодали. Здесь каждый платит хозяйке за питание и жилье двести пятьдесят рублей в месяц. Деньги вносят вперед. Ежедневно сыты. Каждый мечтает к осени приодеться.

У длинноволосого Чикарева, зубоскала и клоуна, имеются только драные штаны военного образца, фуфайка да ботинки.

В смысле расходования денег я сам порядочный разгильдяй. Но тут становлюсь в позу, читаю наставления. Деревенские прозвали бригаду чикинцев от прозвища Чикарева — его зовут Чикой.

Жизнь в деревне им пришлась по душе. И самый мощный козырь, который пускаю в ход для поддержания дисциплины — угрожаю отправкой в Кедринск.

Настроение — вот что руководит всей бригадой. Сегодня они могут горы свернуть. А через день вялы, скучны. А вокруг сколько соблазнов! В лесу созревает малина, в ручье водится форель. Рядом Вязевское озеро, в котором так приятно искупаться. А соседняя деревенька Тутошино издавна славится красивыми девушками веселого нрава. Там часто устраиваются беседы. Иногда кто-нибудь из чикинцев возвращается из Тутошина под утро. Какой из него днем работник? И не могу же я целыми днями торчать надсмотрщиком возле них. Надо побывать у пилорамы, которая в Вязевке и которая стара, расхлябана. Возле нее убивают время трое моих рабочих и колхозный слесарь. Пилорама то и дело ломается. Энергию подают с какой-то шведской ГЭС. Вечером, когда в избах горят лампочки, пилорама «не тянет».

Потом надо сходить в Заветы к коровнику и в лес, где рабочие заготовляют бревна. По договору колхоз должен обеспечить строителей лесоматериалом. Но его нет.

Познакомился с туземным начальством.

Клинцы, как и другие деревеньки, разбросанные по лесу, числятся отдельной бригадой. Бригадиром работает Иван Аленкин, подвижный, рыжеватый тридцатилетний малый. Встретился я с ним возле его новенькой избы, обшитой тесом.

— Вы бригадир?

— Я.

Мы присели на бревно. И в это время из окна высунулась рыжая худая женщина и закричала:

— Вспомнишь, Ванька, со своим Барановым осенью мои слова! Вспомнишь! В Зябиловке рухнет свинарник, я первая на вас в суд подам!

Это кричала жена Аленкина. Она работает зоотехником. Надо думать, слова ее относились и ко мне. Аленкин молчал, и я спросил:

— Как дела в колхозе?

— Так себе...

— А в бригаде?

— Ничего.

— На денежную оплату перешли?

— Да.

— Как же выходит?

— Пока неизвестно. Наверное, как у всех...

— А как у всех?

— Всяко. У кого как... Ты партийный?
Я взглянул на него.
— Нет.
— Почему?
— Еще не успел вступить.
Он ударил себя по коленке, выругался. И стал бранить клинцовских девчат, которые у меня работают. В бригаде рабочих рук не хватает, а они не хотят работать.
— Если будут лениться, прогони их.
Я спросил, есть ли поблизости строевой лес.
Близко нет. Здесь место болотистое. Почему же бревен не заготовили зимой? Да кто же будет заготовлять? Народа нет, времени нет. Но ведь по договору колхоз должен поставить лес. Мало ли что! Если нет, так что сделаешь!
Он спросил о моей зарплате. Потом мы помолчали и разошлись.
О председателе первые сведения получил от хозяйки. Я спросил, не знает ли она, когда он приедет из города.
— Да кто ж его знает! Он когда как: то на день уедет, то на три. Может, уж приехал да в какой-нибудь бригаде застрял.
— Он местный?
— Нет. Третий год как приехавши из Ленинграда. Говорят, норовит обратно, да не пускают. Говорят, корову продает, корова у него хорошая. Купил он ее у Саньки Морозовой. Санька погорела, перебралась в Новогорск к сыну, корову ему продала. Да вот теперь продает. Но кто купит за три тыщи?
Зябиловский тракторист Васька давал ему две, тот не продал.
— Чего ж он уезжать хочет?
— Так чего же... Небось не сладко тут: женка его там, детишки там, фатера там. А он один здесь.
Через день встретился с председателем. Я сидел в правлении, пытался дозвониться в контору. Сделать это не просто. Вначале дают сорокинскую почту, она — кедринскую, кедринская — коммутатор треста, коммутатор — контору. Что-нибудь в этой цепи обязательно занято, но вот соединили с конторой, и голос секретаря Маши ответил: «Из начальства никого нет на месте».
К правлению подкатила двуколка. По крыльцу взбежал высокий мужик в хромовых сапогах. Прошел к себе в кабинет, потребовал по телефону зябиловскую бригаду, выругался и умолк. Прохожу к нему, представляюсь.
— Слышал, слышал,— говорит он, протягивая руку,— Окунева убрали. Давно пора. Что, бездельничают твои люди? — Он барабанит по столу длинными сухими пальцами.
— Работают.
— Работают! Я бы их всех разогнал давно!
— Вы не выполняете договорных условий.
— Условия, условия,— он поднялся,— ну пойдем, посмотрим, как хоромы строятся. Эй, Иваныч, придет Кирилл, пусть жеребца не ставит в конюшню. Зыков заявится за деньгами — не давай ни копейки. Скажи, что я запретил.
Мы побывали в Клинцах, в Заветах. Шли обратно в Вязевку, Баранов остановился на пригорке, окинул взглядом озеро, лес, деревню.
— Черт возьми, как хорошо здесь летом! Помню, приехал сюда, думал, какая благодать! Рыбу можно разводить, уток. Покосов сколько!
— Ну и что же?
Он посмотрел на меня.
— Да ничего. Вы, горожане, ни черта не понимаете... Послушай,— изменил он тон,— может, искупаемся? Третий год живу здесь, а в озере ни разу не купался.
— Давайте.
Мы искупались, но купание не взбодрило его. Наоборот, он как-то ссутулился, стал молчалив.
Около пекарни Баранова ожидал зябиловский бригадир Николай. Председатель пожал мне руку, пригласил к себе, и мы разошлись.

Вечером я писал письма. Потом читал Лескова. В Вязевской библиотеке имеются почти все книги наших классиков. Книги стоят спрессованными рядами. Я решил прочитать их. Но странно: чтение не доставляет мне удовольствия. Я пропускаю строчки, мельком пробегаю по страничкам, потом возвращаюсь обратно. Бросаю книгу и начинаю ходить по избе.
Теперь я часто встречаюсь с председателем. Бывает, сижу за столом. За окном уж темно. Хозяйка спит. Вдруг слышится под окном «трр». Баранов входит в избу, ставит на стол бутылку водки.
— Что, все бумагу переводишь? А я вот застрял в Змеевке, заехал к тебе. Принимай гостя.
Я достаю из печи чугун с кипятком, завариваю чай. Сидим, подолгу беседуем. Лампочка горит неярко. Тени наши колышатся на серых стенах. Папиросный дым окутывает нас. Баранов то и дело вскакивает, ходит по избе, рассуждая.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

До приезда сюда он работал на заводе начальником цеха. Родился он в деревне где-то под Воронежом, еще ребенком уехал из деревни вместе с родителями и больше там не бывал. Но считал себя деревенским, «земляным», как говорили на заводе. Два года назад Баранов откликнулся на призыв партии, решил поехать в деревню, поднимать развалениое хозяйство. Перед отъездом прочитал для порядка несколько романов из сельской жизни. Накупил брошюр о хозяйстве северных областей, приобрел «Справочник по законодательству для колхозника». Опыт работы с людьми у него был богатый. Рисовалось в мечтах, как он приедет, воодушевит, организует людей. Когда говорили, что за три года он должен поднять хозяйство, он внутренне улыбался: за три года! Он за год поднимет! И вот приехал сюда. Провели собрание, ему вопросов почти не задавали. Проголосовали и разошлись. В первые дни побывал во всех шести бригадах, разбросанных по лесу. Снял двух спившихся бригадиров. Потом взялся за бухгалтерские дела, в них обнаружил такой беспорядок, что ужаснулся. Например, по ведомостям были выплачены деньги братьям Егоркиным за изготовление трех саней. Изготовили сани в конце января. В марте их списали вместе с сеном и одной лошадью: перевозили сено через озеро, лед проломился. Сани, сено и одна лошадь утонули, люди спаслись и спасли двух лошадей. А в мае те же Егоркины получили деньги за ремонт «утопших саней, извлеченных из озера братьями Иваном и Федором Егоркиными с помощью тракториста Шапошникова И. В., который при этом был пострадавши через то, потому что берег у места потопления жидкий, трактор начал тонуть. И Шапошников И. В. проявил смелость и находчивость в спасении государственного имущества: он, будучи больным от рождения, нырнул в ледяную воду, отцепил от трактора трос. За что и выдано ему единовременное вознаграждение в размере двести (200) рублей».
— Где же эти сани? — поинтересовался председатель, глядя на сизую, лисью физиономию бухгалтера Вертечкова. Тот ответил женским голосом:
— Сани были отданы в Зябиловку.
— Зачем их в мае ремонтировали?
— В Бекетовом овраге снег лежал до июня, по нему возили сено с лесных полян.
За бригадиром зябиловским был послан нарочный. Бригадир явился спустя сутки, он ездил в Синьково на похороны сестры.
— Саней нету,— прохрипел бригадир,— двое сгорели при пожаре, а третьи развалились. Третьи-то есть, они лежат за огородом Лыскова. Но они негодны...
С неделю рылась в бумагах ревизионная комиссия во главе с председателем. Хищения были налицо. Но все было так дико запутано, что распутать оказалось невозможно. Вертечков был снят с работы, его место занял бывший счетовод Иваныч. Баранов ехал сюда, думая выявить лодырей. Ожидал, что здесь составится против него оппозиция из любимчиков предшественника. Но никакой оппозиции не оказалось. А лодырь и дебошир здесь один на весь

колхоз — пятидесятишестилетний Ефим Сковородников, прозванный на деревне Полковником. По ночам Полковник ловит сетями в озере рыбу, сплавляет ее бабам за водку. Пьяным бегает по деревне и кричит:

— Кто? Кого? Полковника? Я до всего дойду! Мы еще посмотрим! Вы думаете, кто такой Ефим Сковородников! — И стучит себя кулаком в грудь.

Жена начинает урезонивать его, он гоняется за ней с ремнем, покуда не свалится. Тогда полковничиха связывает мужа, поливает холодной водой. Лупит по щекам, приговаривая:

— Ну-ка, замахнись теперя! Ну-ка, черт худой, жид проклятый, замахнись-ка ремнем, душа окаянная!

А в трезвом состоянии Полковник сидит у окна, пьет чай, кряхтит от боли в пояснице, в животе, в ногах.

Полковничиха исполняет несколько должностей: ухаживает за колхозными свиньями, убирает в правлении и в продуктовом магазине. Ей лет сорок пять, но выглядит старше, худая двужильная баба. О самых простых вещах не поговорит нормальным голосом. А кричит, напрягаясь так, что жилы вздуваются на шее. Однажды уехал Баранов в Новогорск, нужно было задержаться на три дня. Шофера Никиту отправил в деревню. Тот загулял у родственников. На ферму надо было привезти из сорокинского сельпо отруби. Двое суток кормили свиней травой. Вернувшись из города, Баранов сидел в кабинете. Полковничиха хоть и не прошла к нему, но в другой комнате кричала на все правление:

— Начальство, видишь ли, большое! Агромадное начальство! Скоро гадить в огород будут на машине ездить, а скотина хоть подохни!

Он только скрипнул зубами: не разобравшись, не ори! Эх, если б так на заводе поступила какая, мигом бы приструнил!

Да и другие бабы хороши... Шутят, смеются, а попробуй задень какую, матом обложит, как и мужик не сумеет. Заведутся между собой, готовы глаза друг другу выцарапать. Как-то среди дня схватились перед магазином Валька Шаталова, молодая интересная вдова, и жена завхоза Люба.

— Ты б...., ты курва, ты проститутка оборванная! — кричала Люба, тряся вскинутыми кулаками,— ты под моего мужика сама лезешь, да он не хочет тебя загаженную!

Баранов стоял в кабинете. Не подходя к раскрытому окну, смотрел на женщин. Неловко было крикнуть им, чтоб разошлись, не позорились. А одерни их, на тебя же набросятся. Хоть бы разнял кто из своих!

— А вот хочет,— плевалась словами Шаталова,— хочет, дура ты, хочет! Сам приходит. Он с тобой, шкурехой, два года уже не спит, а захочу и совсем бросит!

Собрался народ.

— Ах, дуры!

— Так, так ее! — подзадоривали мужики неизвестно какую сторону.

— Меня бросит? — била себя в грудь Люба.— Меня поменяет на тебя?!

Шаталова кривлялась, уперев руки в бока:

— Да, тебя. Ты знаешь, куда он меня целует? Сказать? Хочешь скажу?

Жена завхоза вдруг побледнела, схватила что-то с земли, ударила Шаталову по голове. Та завопила. Поймав своего врага за волосы, свалила на дорогу. А Люба продолжала бить ее по лицу. Била она старой, истертой подковой с остатками гвоздей...

Рассказав об этом случае, Баранов умолк. Смотрел в стакан. Под покоробленными обоями шуршали тараканы. Прошли под окном чикинцы.

— Чем же кончилось? Судились?

— Какой там! Завхоз избил жену, вот и весь суд...

У Шаталовой шрам под виском остался...

Кроме Полковника есть еще в Вязовке явный антиобщественный элемент — семидесятилетняя Акиньевна. В списках сельсовета она числится: «Акиньевна, нетрудоспособная, 70 годов. Старуха». Запись была сделана лет восемь назад. Живет Акиньевна одна в дряхлой избушке. Держит в избе кур в клетках, даже летом не пускает их на улицу. Занимается перепродажей водки. В любое время суток можно постучать к ней, купить бутылку водки,

заплатив немного дороже, чем в магазине. У старухи можно и выпить. В распутицу, когда деревня отрезана от сельпо бездорожьем и в магазине водки нет, а у Акиньевны запасы истощились, она впрягается в где-то добытую почти новую детскую коляску с мягкими рессорами, отправляется в деревню Вешкино, до которой километров пятнадцать. Мужиков там мало, городских людей не бывает, и в магазине всегда есть водка.

Сыплет мелкий дождик, на дороге грязь такая — молодой устанет, пройдя пару километров. А старуха тащится, набросив на голову клеенку, согнувшись под прямым углом, тыча перед собой палкой.

— Тебя как звать-то? — остановил ее однажды на улице Баранов.

Старуха с трудом разогнула шею. Взглянула на него маленькими, зоркими глазками.

— Чай не знаешь? У любого спроси и скажут...

— Когда кончишь водкой торговать?

Старуха заулыбалась. Прошамкала:

— А ты, желанный, положи мне пензию. Махонькую определи. Я и угомонюсь. Смерть-то не берет, а исть охота.

— Нельзя торговать, бабка...

Потом пожалел, что заговорил с ней. То ли в его голосе она уловила добрую нотку, то ли подлец какой-то подшутил над ней. Раз пять приходила в правление. Станет на середине комнаты, обопрется о костыль, стоит, шевелит губами провалившегося рта.

— Зачем пришла в правительство, Акиньевна? — спросит кто-нибудь.

— Пензия не вышла, желанный?

— Еще нет. Тебя на том свете давно ко столу ждут, а ты тут спотыкаешься...

Прошлой зимой возвращался однажды Баранов со шведской ГЭС. Была пурга. Вечер застал его в дороге. Около Косого мостика чуть было не сбил жеребцом облепленную снегом старуху, тащившую санки. Посадил ее в сани. Тяжелую корзину поставил у себя в ногах.

— Ты чья? К кому собралась? — крикнул он сквозь вьюгу под балахон старухи, ударяя вожжей жеребца и, приглядевшись, узнал Акиньевну. В корзине ее была водка...

— Тебя, Акиньевна, сам председатель теперь возит,— смеялись на деревне,— можно и вывеску на избе повесить!..

С особой горечью говорит председатель о том, как незаметно промелькнуло его первое деревенское лето. Подкралась осень, и наступила пора уборки урожая. Картофель, брюква, морковь, капуста — уродились замечательные. С рассвета дотемна носился он из бригады в бригаду по разбитым дорогам. Людей не хватало, уборка шла медленно. Потом зарядили дожди. Здесь, в Клинцах, убрали тогда весь картофель. Под снегом остались только две поляны овса. Картофель ссыпают в погреба, устроенные прямо в поле. И вот когда открыли зимой первый погреб, ударило из темного зева ямы горячей гнилью. На сорок сантиметров от пола была в яме вода! В других ямах творилось то же самое. Даже на семена не хватило картошки, пришлось занимать в других бригадах, покупать у самих же колхозников. И хоть утверждали клинцовцы, что когда ссыпали картошку, сухо было в ямах, не верилось. Сыпали-то перед морозами, дождей уже не было.

Значит, и не смотрели, куда ссыпали...

Пробовал Баранов сойтись поближе с бригадирами. Для решения вопросов не вызывал их в правление.

— Во время этих совещаний веет в воздухе официальщиной. Все только слушают меня. Сами говорят мало, друг друга подталкивают локтями...

Как-то под вечер приехал в Клинцы к Аленкину. Сказал бригадиру, что завтра с утра нужно поговорить с людьми. Остался ночевать. Сидели за столом. Зина накрыла стол. Тихо говорил приемник. Прослушали последние известия, выпили бутылку водки. Аленкин послал соседского Федьку за второй к Акиньевне. Покуда говорили о сугубо личных делах, обменивались новостями, обсуждали международные проблемы, Иван был разговорчив, весел. Потом Баранов спросил в упор:

— Уходят люди от нас. Как же быть? Вот умрут старики, опустеет твоя деревня...

Иван взглянул на председателя, сморщил в задумчивости губы по-старушечьи. Сказал убежденно:

— Нагонят!

— Кого нагонят?

— Да людей.

— Откуда?

— Да из города! — твердо, зло ответил бригадир.

И пропало желание сидеть, разговаривать с ним.

Ястребовский бригадир Паличев Яшка торопливо, жадно пил водку во время разговора. Отмалчивался. На все отвечал: «Это не наше дело, Михалыч. Наше дело маленькое. Прикажут — делаем по возможности. А что там будет, где нам понять». Совершенно опьянев, взял с печи гармошку, играл, пел песни. Жена его, видимо, желая повеселить гостя, сплясала...

Остальные бригадиры оказались не лучше.

Удивил Баранова тутошинский бригадир Кирсанов, которого он впервые в тот вечер увидел в домашней обстановке. Кирсанов собирался в Новогорск погостить у брата. Был по-городскому одет. Изба заставлена современной мебелью, да такой, что и в Ленинграде не сыщешь. Жена бригадира, сероглазая, стройная красавица, вертелась перед зеркалом со щипцами в руках.

— Алексей Михалыч,— напрямик заявил Кирсанов,— я по-честному скажу тебе, чтоб ты не строил насчет меня планов: здесь я не жилец, скоро уйду в город.

И через два месяца уже работал в новогорской милиции...

— Да что Кирсанов,— дышал мне в лицо председатель, бледнея, хватаясь дрожащей рукой за край стола,— в городе у него родственников полно, ну и устроили. А это как назвать? Прокатилась вдруг по Вязевке волна хулиганства. Началось все с Николая Куркова. Ты его не знаешь, он давно в городе. Напился он пьян, ввалился в правление и потребовал денег авансом. Пригрозил кнутом Иванычу, Аленкину толкнул. Та кричать, сбежался народ. Драка. Куркова судили, дали ему три года. А спустя год он вернулся. Этаким фертом заявился в правление. «А-а,— говорю,— приехал, выходи работать».— «Это ж с какой стати я буду у вас работать? Вы меня в тюрьму загнали, а я теперь работай?»

И повертел в руках паспорт... Слушай дальше: неделя не прошла, как девятнадцатилетний Лукьянов устроил драку в сельсовете. Передали дело в суд. А на следующий день порезали ястребовского бригадира, порезали ночью, и не знали, кто это. А днем в новогорскую милицию явился Ванька Круглов, заявил, что он ударил ножом бригадира, что был выпивши, давно имел зуб на него. Обоих судили. Судья спрашивает: «Вы признаете себя виновными?» — «Вполне. И не жалеем об случившемся». Каково? Дали им по три года. И не было обычных в таких случаях слез родственников. Пострадавших не упрашивали простить. А родственники Лукьянова даже на суд не явились! И почему ж так? Как ты думаешь? А?.. Сами шли в тюрьму! Понимаешь?! Натолкнул их на эту мысль Курков. Собрал в своей избе, угостил вином и, этак бахвалясь, рассказал, что в тюрьме жить можно. Если хорошо будешь работать, отпустят раньше срока. И тогда где хочешь, там живи и работай — паспорт запросто получат.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Голова у Баранова отказывалась соображать. Ни о чем не хотелось думать. Но не думать нельзя. А там пришла зима, осенние хлопоты улеглись. Дни стали короче, темнело рано. И озеро, и лес, и деревня завалены снегом. В Ленинграде рядом с ним была жена, которую он любит, дети. Много знакомых, друзей. Там он не знал одиночества. Теперь же хотелось быть одному. В Ленинграде он газеты не читал — просматривал, моментально улавливая суть той или другой статейки. Теперь же прочитывал газеты от строчки до строчки.

Печь он не топил, часто и плиту забывал разжечь. Сидит за столом в шапке, в полушубке, наброшенном на плечи. Отложит газету, смотрит в стену перед собой. Вот потянулся рукой за зеркальцем, взглянул на себя. Увидел худую физиономию, обросшую щетиной, круглые, провалившиеся глаза. Да, сорок лет уже! Скоро пятьдесят... Потом старость... Жизнь будет прожита. «Как ты прожил ее?» Дай бог каждому так прожить, как он до приезда сюда: он не помнит ни одной сделки с совестью. Молодым ушел на войну, потом кончил училище. Офицером прошел до Берлина, ни разу не струсил. Нападал на него при бомбежке животный страх, умел сдерживать, давить его. В конце войны женился. Наступила мирная жизнь. Некоторые приятели его, отвоевав, оставив армейскую жизнь, изменились. Один обзавелся домом, закупорился в нем, как в раковине, другой бросился, не считаясь со средствами, добиваться видного положения в обществе. Из таких, сколько он знает, ничего не добились, начали пить, брюзжать. Он же оставался самим собой, ничего особенного для себя не хотел. Работал, отдавал все силы. Уважение рабочих, начальства выросло как бы само собой. Бывали, конечно, неприятности. Но все они смазывались общим ходом жизни. А здесь?..

Баранов бросал зеркальце, вставал, ходил по избе из угла в угол. Прежде он не рассуждал на отвлеченные темы, в самоанализ не ударялся. Теперь думалось о многом, мысли сбивались, путались. Хотелось их выровнять, чтоб связывались одна с другой, текли, текли и, наконец, вылились бы во что-то определенное. Но останавливался перед промерзшим окном, смотрел, и мысли сбивались. Вон избы, огоньки. Кто-то прошел под окном, скрипя снегом. Пробежала собака. Чья она? Белое, гладкое озеро, за ним темнеет лес. Луна затянута серой пеленой. И больше ничего... Вон виднеется угол кузова машины, занесенной снегом, промерзшей до винтика. Большую часть года простаивают, ржавеют из-за бездорожья машины. Баранов резко оборачивался. Ложился спать. Засыпая, думал о жене, о первой встрече с ней. Но почему-то чаще всего вспоминался приезд с женой в Ленинград после демобилизации. Отец Вари, старый профессор истории, умер во время блокады. Мать, седая, согнувшаяся и полусумасшедшая от голода, потрясений старуха, водила дочь и зятя по большой квартире, заставленной старинной мебелью, завешанной коврами. Шептала, указывая костяными пальцами:

— Это, Варенька, тоже дорого стоит, могли бы дать и десять буханок хлеба, да я берегла. Теперь много больше дадут. За библиотеку папину институт предлагал много денег, а я не взяла — пусть тебе, Варенька...

А Варя была уже беременна и часто плакала, глядя на мать.

Черт знает зачем вспоминалась полуграмотная старуха с опухшим властным лицом — нянька, которую взял в помощь жене по совету директора завода. Директор говорил, что нянька хоть и дорогая, но опытная. И директор шепотом произнес имена людей, у которых бывала старуха.

Недели две жила у них эта нянька. Пила много чаю, таинственно тихим голосом рассказывала: у каких людей ей приходилось нянчить детей. Как к ней относились, сколько и каких давали подарков. Баранов вскоре спровадил старуху...

Уже засыпая, он улыбался: вспоминал детей — мальчика и девочку. В школе, наверное, говорят товарищам, что их папа поднимает сельское хозяйство. Ему там трудно — повторяют слова матери...

Наконец он засыпал. Но через час-полтора глаза снова открывались. «Как старик сплю»,— мелькало в голове. Поднимался, доставал из стола водку, выпивал залпом стакан, нюхал хлеб, жевал листок кислой капусты. Водку покупал не здесь, привозил из Новогорска. Иначе пронесется по деревне:

— Председатель пьянствует! Вишь ли, при народе даже с бригадирами редко выпьет, а сам, запершись, глушит!

Ведь пронеслась молва: Баранов б.....н. А из-за чего? Была недолгая связь с одной молодой женщиной, пекарем Настей Порозняковой. Приехала она из Сорокина, где разошлась с мужем. Стала жить с матерью, работать пошла в пекарню. Баранов тогда не столовался ни у кого. Обедал где придется. Зашел как-то с бригадиром в избу Насти, мать ее, Матвеевна, подала гостям щей. Понравилась Баранову чистота в избе, опрятность самой хозяйки — подавала

тарелки, не макала пальцы во щи. Стал он ходить к Матвеевне обедать, ужинать. Ужинать приходил поздно, иногда перед полночью. Сбрасывал у порога грязные сапоги, плащ. В одних носках шел к столу. Возбужденный сумасшедшим днем, обжигался горячими щами, нервно дергал плечом, поглядывая на Настю, которая вместо матери хлопотала у печки. Была она румяна, бойка. Проворно работала полными белыми руками. Постоянно улыбалась загадочной улыбкой. Чувствовалось, что она только что из теплой постели... Тот день был дождливый. А вечером обрушилась на деревню гроза с ливнем. После ужина не хотелось ему уходить из чистой комнаты, из тепла в грязь, дождь. Представил свои пустые комнаты, жесткую кровать. Захотелось вдруг немножко уюта, нежной, мягкой женской ласки. И будто угадав чувство председателя, Настя сказала, улыбнувшись:

— Куда вам идти-то в такую слякоть, Алексей Михалыч? Оставайтесь у нас переночевать. Чай никто ведь не ждет в поповской избе?

— А мать где? — спросил он дрогнувшим голосом.

— Нету. Она в Клинцах у тетки Ани. Видать, и заночует у нее.

Она постелила ему на своей кровати, сама легла в соседней комнате. Заснуть он не мог. За стенкой скребся, отчаянно метался ветер, выло в трубе. Он ворочался, курил. Из головы не выходило, что вот совсем недавно в этой кровати лежала молодая, красивая, свободная женщина. Сейчас она лежит за тонкой перегородкой. Должно быть, не спит. О чем она думает? Вдруг Баранов сел, свесил ноги. В дверях стояла Настя.

— Что не спите, Алексей Михалыч? — спросила она тихо.— Вам худо?

Баранов встал, протянул руки.

— Я и то думаю,— сказала она,— вдвоем теплее будет...

Когда забеременела Настя и нельзя уж было скрыть этого, она уехала обратно в Сорокино.

Баранов перестал столоваться у Матвеевны. Думал, о его связи с Настей никто не знает. А не знали, может, только двое: совершенно глухой старик Серебряков да Акиньевна, живущая обособленно от всей деревни. И судили деревенские спокойно: председатель из себя видный мужик. Настя холостая. Что же им оставалось делать?

Но по бригаде расползся слух, будто Баранов до баб страшный охотник, редко какая вдова миновала его. А сколько еще слухов распространилось о нем!

Первые три года колхоз должен выплачивать председателю зарплату — полторы тысячи рублей в месяц, независимо от доходов. Доходы не росли. И Баранов брал только тысячу. Пятьсот рублей оставались в кассе. Вначале деревенские не поверили этому. Но Иваныч подтвердил:

— Да, полтыщи не берет!

И пополз слух, будто у Баранова тесть и теща — важные профессора. Получают уйму денег, девать их им некуда. Жена присылает председателю деньги не переводами, а в конверте.

— Вложит в конверт несколько сотенных и пошлет вместе с письмом, чтоб не забывал ее...

— Дивья такую бабу иметь...

Летом приезжала жена с детьми. После их отъезда заговорили, будто Баранов собирается покинуть деревню. К этому времени он уж купил корову: решил обзавестись хозяйством, жить, как все колхозники. Зашептали: и корову председатель продает.

Однажды к нему в избу пришел зябиловский тракторист, предложил за корову две тысячи рублей. Баранов выпроводил незваного покупателя.

Тракторист сообщил людям:

— Не продает Баран. Говорит: «Я купил за три тыщи, а ты мне две даешь? Не отдам».

Бабы обмозговали новость, решили, что, конечно, продавать дешевле, чем купил, невыгодно. Выгоднее зарезать корову, мясо свезти на базар, шкуру выделать, продать. Такое рассуждение приписали Баранову. Гадали: когда он покинет деревню и каким окажется новый председатель.

— Как же быть? Что делать? Задавал я себе вопросы,— рассуждает Баранов. Мы сидим с ним на берегу озера в кустах. Вечереет. Озеро тихо, гладко.— На Медвежьих полянах трава выбухает такая, что ляжет корова и рогов не видно. А весной скотина голодает. Кормим березовыми ветками. Навел порядок в бухгалтерии, а толку мало. Начали нестись куры, а яиц нету — сами же куры их поедают. Телята пьют молока много, а покуда не выгнали их на пастбище, сорок голов погибло от поноса. И виновных нет! Нет виноватых, черт возьми! Вот в чем штука. Все возмущаются, все кого-то винят, чего-то ждут... Собирал партийные собрания, съезжались те же бригадиры. Каждый поддакивал: да, дело плохо идет, нужно работать лучше. Брали обязательства, а потом столько приводилось причин в оправдание невыполненных обязательств, что разведешь руками, да и все... Веришь, Борис, прочитаю в газете о целине и думаю: почему не поехал туда? Хотелось, видишь ли, поближе к семье быть. А там же работа! Там нужна энергия, воля, желание работать. Там ежедневно видишь плоды своего труда. А здесь...

Побывал он в соседних колхозах, в «Искре» и «Заре». В «Заре» дела еще хуже, чем у него. Председателем там Никовский — копия бригадира Аленкина, только постарше. Сидит, ждет указаний из района. Выпивает понемногу.

— Людей, людей нету,— говорил Никовский,— что без них сделаешь? Которые и есть, работать не хотят...

Сидит, ждет, когда его снимут.

— В следующую посевную меня, пожалуй, тряхнут, да и скорей бы. Пойду механиком...

В «Искре» председатель то ли дурак, то ли негодяй: громадный рост, голос внушительный, на месте не сидит, на всех орет. Бригадиры рапортуют ему в письменной форме, конечно, врут много. По их бумагам он составляет свою сводку, везет ее в район. И там он шумит, требует помощи, дает обещания. Пишет в районную газетку статейки под рубрику «Вести с полей».

— Работаем, работаем, подтягиваемся! — бубнил он Баранову в лицо.— Нюни нам некогда распускать...

А хозяйство искровское должно государству больше, чем восходовское — восемь миллионов рублей. При Баранове завезли трестовские машины удобрения. Свалили их за деревней несколькими кучами. До весны пролежали удобрения, вешние воды унесли их в болото...

Первое время Баранов часто ездил в район. Потом почти перестал ездить туда. Звонили из райкома. Просил своих сказать, что его нет, уехал в бригаду...

Домой уходил рано. Запирался в избе, садился за стол. Вошло в привычку: раскрыть книгу, пробежать несколько строчек и потом думать. В эти минуты он был уже не председатель, не бывший начальник цеха, а просто человек. И думалось легко, свободно. А как хорошо, когда легко, свободно думается! И в это время в мыслях не было никаких желаний, ни постановлений, ни решений, ни указаний. Мысли его тянулись к вязевским, клинцовским, заветовским людям.

Вот живет по соседству с Акиньевной красноносый сгорбленный старик Сидорыч Молочков. Прежде жил Молочков с внучкой. Внучка вышла замуж, перебралась в Заветы. В избе у старика голо, хоть шаром покати. Зимой и летом спит Сидорыч на печи. С утра до вечера бродит от избы к избе. Там выпьет чаю, там съест тарелку щей. А для Полкоаника он — любимейший гость: Молочков всю жизнь проработал на лесоразработках, теперь получает пенсию, которую и пропивают. За свою жизнь Молочков повидал множество людей, пережил множество разных случаев. Любит рассказывать. И на деревне слывет очень умным человеком. Заглянет в правление, сядет на лавке и сидит молча, покуда кто-нибудь не спросит о чем-либо. У магазина присядет на порожке и, если тепло, тоже сидит часами, мигая красными веками без ресниц. Деревенские обращаются к нему с различными вопросами.

— Будут ли в нынешнем году грибки, Сидорыч?

— Должны быть. Вот дождик пройдет, и должны быть...

— Сажать картошку или подождать маленько?

— Дня три еще подождать надыть,— отвечает Сидорыч,— землю самый раз парком прохватит.

— Агрономша сказала — сажайте.

— Ну и сажайте, коли сказала...

Агроном — Екатерина Зиновьевна — живет в деревне десятый год. Мужик ушел от нее, оставил с тремя детьми. Четвертого, говорят, заполучила от предшественника Баранова.

Что она делает в хозяйстве? Получает какие-то брошюры, предписания, мешочки с зерном. Пишет глупые, но нужные кому-то отчеты. И что бы ни делала, голова ее занята детишками, своим хозяйством. Посидит, посидит в правлении и бежит в свою избу. Хитрить научилась: скажет, что поехала в Заветы, а сама дома белье стирает. Заговоришь с ней, часто моргает, крутит свои пальцы, хрустя суставами...

В Вязевке есть больница, сельсовет, почта, два магазина, пекарня, клуб, правление. В этих учреждениях городского типа работают вязевские люди. Часть вязевских мужиков устроились в лесничестве. А земля-то требует ухода. Весной-то посеяли, а осенью убирать было некому. Клинцовские, заветовские люди не желают работать на вязевской земле.

— Мы со своей еле управляемся,— говорят они,— а вязевские по часам работают!

— В белых халатиках!

— По часам работают, а сенокос, огороды имеют!

— И пензию опосля получают!

— Но вы же ходите в больницу? — говорит председатель.— В магазине печеный хлеб покупаете?

— А нешто мы не работаем? Мы не по часам работаем!..

...Да, работают... Но откуда же эта бедность, будь она проклята?! А не бедность, так убожество! Возле пилорамы живет Захаров Василь Василич, могучий мужик, инвалид войны. Изба у него крепкая, хозяйство солидное. Два сына его, отслужив в армии, остались в Кедринске. Живет он с двумя дочками, которые часто навещают братьев. Говорят, одна из них, Катька, уже нашла в Кедринске за пять тысяч рублей жениха: для проформы выйдет замуж. Получит паспорт и разведется с мужем. Бедна ли их семья? Нет. Когда банк задержит деньги или не хватает для полного расчета с колхозниками, бухгалтер Иваныч берет взаймы у Захарова по восемь, десять тысяч рублей. А зайди в избу Захарова: темно, обои на стенах облуплены. Кровать хозяина без простыней. Едят все из одной миски...

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

И прожгла однажды Баранова жестокая мысль: не знает он деревню! Живет она лет четыреста, а может, и больше — кто знает? Во всяком случае печи для обжига извести сорокинского заводика существовали уже при Петре Первом. Известь готовили для постройки церквей, монастырей. Сотни лет жила деревня. Пахотной земли мало и сейчас, а тогда, конечно, еще меньше было. Люди разводили скот, драли лыко, собирали грибы, ягоды. Варили деготь, жгли уголь. Зимой везли все это в далекий, тихий монастырский город — в Тихвин. Молились и молятся богу. Молятся по-разному. В Вязевке мирские люди, здесь ходили в церковь, венчались. А в Клинцах, в Заветах — староверы...

Узнал Баранов, что на берегу озера в нынешней школе жил когда-то помещик, которому принадлежала эта нищая и богатая земля. Жили богато в Вязевке только четыре двора. Какие-то Завалиновы, они держали кабаки. Шматковы торговали скотом. Заеловы и Стручковы — лесом... Помнят старики помещика Володина, жившего за Вязевкой у пруда. Ему принадлежали пруд, водяная мельница. Жил Володин в простой избе. На мельнице заправлял делами нанятый мужик, а он шатался по лесу с ружьем, пьянствовал с мужиками. После революции Володин, оставшись без мельницы, бродил пьяным по деревням. Его никто не трогал. И в одну зиму он замерз на дороге.

Кабаки Завалиновых превратились в магазины. У Шматковых забрали табун лошадей. Года два бились мужики с землей — как ее разделить? Здесь поляны близко, да трава плохая. За Могильным хутором клевера хорошие. А к Жигалевским полянам надо через болото пробираться. И не делили землю, косили сообща. Потом делили сено.

Волостной совет размещался в Вязевке. Председателем был некий Пружанов, приехавший из Череповца. Мужики только пожали плечами, когда Пружанов назначил своим помощником девятнадцатилетнего Ефимку Сковородникова, нынешнего Полковника. Отец Ефимки был здоровым мужиком, но хозяйства не имел. Драл лыко, собирал, сушил грибы, снабжал помещика рябчиками, форелью. И вот сын его стал помощником Советской власти!

Трагической оказалась сходка, о которой до сих пор помнят, когда Пружанов, собрав народ, объявил, что бога нет. Религия — это буржуазный пережиток. Церковь закрывается. Иконы в избах надо снять. Для подтверждения отсутствия бога Ефимка нагадил в церкви и было объявлено: церковь превращается в общественный нужник. В ужасе жители разбежались по домам.

Нагадили Пружанов с Ефимкой на бога? Нет! Они нагадили на Советскую власть, на темные головы людей, поколения которых жили куском хлеба, картошкой да религией. Спустя год после этого собрания Пружанов перебрался в уезд, место его занял Ефимка. Баранов пытался представить: что мог натворить тут Сковородников? Но как ни напрягал мозг, путного в голову ничего не приходило.

За короткий срок на вековую темноту обрушились чрезвычайные новости. Убрали царя, которого и помещики считали чуть ли не господом богом. Прогнали помещиков, перед которыми деды и прадеды ломили шапки. Пришла Советская власть — бога нет! Неужто и его тюкнули? А потом поползли слухи о коллективизации. Чего только не шептали друг другу! Избы снесут, построят длинные сараи из железа. Баб, мужиков, девок поселят вместе. Детишки будут общие, хозяйство объединят... В избах ночами горели лампады, бились бабьи поклоны: пронеси, господи!

Перед войной приступили к организации коллективных хозяйств. Каждая деревня — отдельный колхоз. Не желающим вступить в колхоз давали «твердое задание» — отсылали на лесоразработки как саботажников. Уездное начальство говорило, что жить будет лучше. Но почему лучше? Все доводы вязли, тонули в простейших рассуждениях:

— Где ж богачество будет? Петр Скородумов с бабой своей встают до света, работают дотемна. А Зинаидовы продирают глаза к полдню. Своей корове сена наготовить не могут!

Потом пришла война. Всю войну был в Вязевке председателем некий Золотарев, уехавший потом в Ленинград со своей семьей. В эти места немцы не дошли, их задержали у Тихвина. В Клинцах, в Вязевке и в других деревушках одну зиму был расположен госпиталь. Бойцам отдали всю скотину, картошку... Но зачем вспоминать, что принесла война в деревню и что вынесла из нее. Не стало мужиков. Нет скота. Бабы лопатами вскапывали огороды, поля. Голодали. А после войны за одиннадцать лет здесь побывало тринадцать председателей!

— Тринадцать! — шептал Баранов, узнав эту новость, и по-бабьи повторял: — Боже, боже мой!..

Что это? Разврат властей? Вредительство?

— Да одно частное хозяйство, если в нем каждый год менять хозяина, через несколько лет погибнет, зачахнет... Как бы между прочим я расспрашивал о бывшем председателе,— Баранов улыбается слабой улыбкой больного,— из тринадцати в памяти людей остались несколько. Большинство не оставило никакого следа. Был председатель, уехал и все тут...

Помнят деревенские какого-то Зарудного, видимо, он был из хохлов. Высокий, «просто громадный», с коротко остриженной головой и бычьей шеей, Зарудный остался в памяти человеком, обладающим чрезвычайной силой.

— Что твой Зарудный,— говорят теперь на деревне, отличая сильного человека.

Зарудный мог выпить за один присест две бутылки водки. И не пьянел, а только краснел лицом немного. Однажды на мостике провалились сани

с сеном. Мимо проезжал Зарудный. Подошел к возу, «...добрался рукой до полоза саней, уперся вот так-то, растопырив ноги, напрягся и вывернул сани».

Баб водил на работу строем. Как рявкнет: «Бабы, смиррр-но!» — во всех избах слышно было.

Помнят Шкапелика Ивана Ивановича, тихого, вежливого человека. Никогда не ругался. Кто попросит у него денег взаймы, если есть, давал, а долг никогда не требовал. Лунатиком жил около года. Ходил всегда пешком. Жил он у Полковника. По вечерам читал книжки, писал что-то. Сидит, сидит над бумагами, закроет глаза и шепчет:

— Да, да... Видимо, я просчитался... ошибка вышла.

— В чем ошибка, Иван Иваныч? — спросит Полковник, надеясь высказать свои какие-то познания, которыми он гордился.

— Это я так... про себя.

Во сне разговаривал, махал руками. Полковничиха побаивалась: вдруг он припадочный?

Шкапелик приобрел невод за свои деньги.

Мужики вначале полазили в озере и забросили рыболовство. Сети куда-то исчезли. Когда Шкапелик уехал, появились сети у Полковника и у заветовского бригадира. И оба некоторое время рассказывали на деревне, как они копили деньги, как покупали сети в городе.

Память о себе оставил Боровиков — при нем проводили электричество, думали, делается это благодаря председателю: он пил с монтерами, выплачивал им деньги, хлопотал насчет проводов. А преемник Боровикова сказал, что тот никакого отношения к электричеству не имел. Занимается этим делом организация «Сельэлектро», у которой есть план. По плану очередь дошла до Вязевского сельсовета...

Побывал здесь даже московский грузин по фамилии Кутубидзев. Он внес в деревню невиданное до тех пор оживление, о котором до сих пор деревенские вспоминают с удовольствием.

После собрания Кутубидзев не раздумывал, где бы ему поселиться. Задал вопрос бухгалтеру Вертечкову, стоявшему рядом с новым хозяином:

— Где тут живет продавщица из магазина?

— Из какого? — ласково осведомился бухгалтер.— У нас их два.

— Из продуктового.

В продуктовом работала жена бухгалтера Раиса. Конечно, в избе Вертечкова нашлась кровать с пухлой периной. Кутубидзев не повторял вариантов своих предшественников, в расспросы, в беседы не ударялся. Предшественников не бранил. Вызвал в кабинет бригадиров, сказал им:

— Вот что, друзья мои. Я честный человек и говорю вам открыто: здешнего сельского хозяйства я плохо знаю. Но освоюсь быстро. Единоличие власти в процессе работы отдаю каждому из вас. Все вопросы решайте сами. Мне будете докладывать в установленные сроки. Смотрите у меня! Партия дала мне задание, кто не выполнит моих предписаний,— он оглядел соколиным взором бригадиров,— тогда узнаете. Я церемониться долго не буду...

Приехал Кутубидзев после уборочной, из-за которой полетел его предшественник. А с первым снегом впервые появилась компания хохлов: все здоровые, мордастые. В новых полушубках, валенки обшиты кожей. Приехали хохлы на своих лесовозах, поселились в избе Молочкова. Нагрудные карманы у них были набиты денежными аккредитивами. У каждого справка: дана правлением колхоза такому-то в том, что ему доверяется заключать договоры с организациями, частными лицами. Производить расчет как наличными, так и по безналичному расчету.

«Восход» продал на корню восемь тысяч кубометров строевого леса. Это по документам. Сколько было вывезено на самом деле, никто не знает. В лесу, в деревне кипела работа. Украинцы не тянули с оплатой, рассчитывались ежедневно.

Работали днем, ночью. Ревели эмтээсовские тракторы. Один трактор с прицепленным к нему громадным треугольником, сколоченным из бревен, патрулировал по маршруту Вязевка — станция Кедринская, расчищал для лесовозов дорогу от снега.

В руках мужиков шелестели червонцы. Раиса чаще ездила в сельпо — полки с вином быстро пустели. Акиньевна сбилась с ног — то и дело среди ночи стучали в дверь:

— Акиньевна, открывай гостиницу!

К апрелю исчез с лица земли Дальний сосновый бор. По документам мачтовые звонкие сосны прошли деловой древесиной третьего сорта по восемьдесят рублей за кубометр. Сколько на самом деле уплатили украинцы, никто не знает. Об этом даже не задумывались люди. Были довольны тем, что получили за повалку, трелевку, погрузку леса.

— Я не то, что другие,— распространялся обросший бородкой Кутубидзев,— вы ничего не получали на трудодень. Я вам заплачу по десять рублей!

После посевной Кутубидзев уехал.

Потом руководил хозяйством некий Сторублевцев. Помнят его из-за звучной фамилии.

Потом какой-то Кириенко. А перед Барановым был Иван Захарыч Стольников, он сейчас работает в Кедринске начальником снабжения СУ-4. При Стольникове и было произведено укрупнение колхоза. Тогда и вошли в «Восход» Клинцы, Ястребовка, Тутошино...

Баранов метался по холодной избе: загадили деревню! Да, да! По документам в колхозе две тысячи гектар пахотной земли, столько же сенокоса. Но где все это? Клинцы скоро обрастут кустарником. Да что земля! Людей искалечили! В тех же Клинцах живет, например, Мотя Раевская: шесть человек детей, старуха-мать живет, не слезая с печи. Завшивела. Ест, что сунут ей на печь. А не сунут, так и так. Дети Мотины не похожи друг на друга. Самая старшая Маруся, ей лет двадцать. Красива, глаза с поволокой. Говорят, она копия Моти, такой же красавицей была Мотя в молодости. Остальные дети мал-мала меньше. Один мальчик краснорыжий, другой черноволосый, с горбатым носом — вылитый Кутубидзев.

— Где насобирала столько, Мотя? — спросил ее Баранов как-то.

Та ответила с улыбочкой, но невесело:

— Под кустами! Одного здесь, другого там!

А сама тощая, морщинистая, глаза неспокойные. И работает неспокойно: ухватится за одно дело, не окончив, бросает начатое, берется за другое. Пошлет бригадир сено грести, бежит и гребет. А дома грязь, с печи тянет вонью: старуха все просит вымыть ее, а времени нет на то у Моти. Да и не обращает внимания на просьбы старухи. Закрутилась баба, замоталась, выскочила из колеи и ошалела. О-о! Какими же дети будут? Маруська ее и три подруги спят и видят во сне город. Уходили работать на известковый заводик, загружали известь в печи. Покуда было тепло, спали в сарае, чтоб не платить за жилье. С холодами перебрались в избу, спали в маленькой комнатушке на кожухах, платили старухе-хозяйке по десять рублей в месяц. Их уволили с завода, живут они дома. На работу палкой не загонишь. Лет пятнадцать люди ничего не получали по трудодням. Пятнадцать лет, день в день работать и ничего не получать за это. Раздать бы всем паспорта, сжечь избы — идите! Идите куда угодно! А самому пулю в лоб и пропади оно все к чертовой матери!

Но вот не выполнили его указания в Ястребовке: не возили навоз на поле, а уехали за сеном, за дровами в лес. И мелькнула жуткая мысль, которую мигом отогнал. Как ребенок, порадовался, что никому не узнать, какие мысли мелькают в голове. А мелькнуло страшное: взять бы человек десять парней с чужой стороны, посадить их на лошадей, дать в руки плетки и пусть ездят, проверяют работу — мигом бы вытянули хозяйство!

Подумалось такое, когда гнал во всю прыть жеребца из Ястребовки, давя челюстями мундштук папироски. В Вязевке придержал жеребца у магазина, пробежал за зеленые двери. Купил две бутылки водки, засохшего сыру. Засветло заперся в избе, сидел пил. Взгляд тянулся к висевшей на стене двустволке. Очень просто... упереть стволы в подбородок, нажать курки. Все исчезнет... Ходил по избе. Постоял у окна. Вглядываясь в сумерки, затряс головой, поморгал. Протер запотевшее от дыхания стекло: где-то что-то горит. На востоке над лесом застыл желтый полушар зарева. Пошатываясь, Баранов

спустился по скрипучим порожкам во двор. Стоял, расставив шире ноги, чтобы не качаться, смотрел. Где же горит? По дороге прошел человек, Баранов узнал тракториста Ямочкина.

— Василий,— крикнул он,— что может гореть в той стороне?

Тракторист задержался.

— Это не пожар, Алексей Михалыч,— сказал он.— Это зарево от Кедринска. Там теперь в ночную смену работают...

«Вот оно что... Дня мало. Скоро суток не хватит. У-у, грабитель! — погрозил вдруг председатель кулаком зареву, и у него слезы выступили из глаз,— грабитель! Людей высосал из деревни. Ночь, мрак ему мешает — осветить ночь! Долой мрак! Ему расти надо, набираться сил, потом грабить землю. Да, да! Сотни лет на него работают ученые, изобретают машины. Потом усаживают их вот здесь в лесу, и машины грызут землю. И этот обоснуется, начнет грести громадными ковшами руду, известняк, отправлять в свое вечно голодное механическое чрево. Переварит, бросит своим родителям — еще делайте таких, как я? Еще! Нас мало, делайте нас больше! И мы сожрем все, что накопила земля за миллиарды лет. Мы сами есть результат творчества и грабежа человека, значит, мы должны, призваны грабить землю. А ты, Баранов, ты ласкай ее, оберегай ее. Помни: твоя жизнь — только постоянное творчество, ты лишен права грабить. Ограбив сегодня, завтра будешь сидеть голодным!

А он будет грабить и процветать и гордиться награбленным. Думаешь, он на этом остановится? Нет! Он разрастется, он сотрет с лица земли лес, Вязевку, как стер Кедринку. А потом, отвернувшись от ограбленной земли, начнет грабить воздух, реки, океаны...»

Баранов очнулся на рассвете. Он лежал в сенях, входные двери были закрыты. Чувствуя тошноту, боль в голове, добрался кое-как до кровати. И свалился трупом. Ему снились какие-то громадные ковши с острыми зубьями. Колоссальных размеров гусеницы неведомых экскаваторов, которые полчищами подвигались со всех сторон к деревне. Вдруг они взревели, бросились на избы. Хрустели бревна, ковши рыли ямы, сваливали в них раздавленные избы. Бабы, мужики, детишки стояли поодаль на бугре, они плясали, хлопали в ладоши, обнимали друг друга. Полковник бегал между чудовищными машинами и кричал: «Что? Кого? Вы еще узнаете, кто такой Ефимка Сковородников!»

Потом бабы веселой гурьбой пошли куда-то. Экскаваторы исчезли. Где-то запел женский приятный голос. Кто-то звал Баранова по имени, но он прилег на какую-то прохладную синеватую траву, удивился ее запаху. Ему стало хорошо, покойно, и он уснул. Когда открыл глаза, увидел, что вокруг удивительно светло, чисто. Стоят белые койки. Над ним склонилось лицо женщины, он узнал больничного врача Цейхович. Он понял, что находится в больнице.

— Тихо, тихо. Лежите спокойно. Вы больны.

— Как я попал сюда?

— Вас принесли.

— Когда?

— Пять суток назад.

— Вы шутите?

— Нет,— она покачала головой,— с больными я редко шучу.

— Чем я болен? — спросил он.

— Вы истощены. И у вас небольшое нервное потрясение. Теперь, кажется, все прошло. Только лежите спокойно.

Цейхович вышла. Пожилая сестра Осиповна принесла бульон. Она рассказала: в прошлую субботу он весь день не был в правлении. Захаровна из нижнего этажа стучалась к нему. Старуха решила, что он уехал. Но никто не видел, чтобы он уезжал. Ветеринар Соснин и старик Молочков взломали дверь: он лежал на полу без сознания и с ружьем в руках.

— Отощал ты, Алексей Михалыч,— говорила Осиповна.— Столовался бы у кого... Три раза Моисеевна тебе кровь вливала. Господи, что творится на белом свете!

Через три дня Баранова выпустили на волю.

В деревне было тихо. День был солнечный. Серебрилась мелкая рябь на озере. Голова немного кружилась, его слабо покачивало. Полковничиха выпустила к воде свиней. Сама стояла, подоткнув юбку, держала ладонь над глазами, смотрела куда-то за свинарник. Заметив председателя, проследила за ним, покуда он не скрылся в избе.

В избе было прибрано. Пришла Захаровна, постояла в дверях и сказала:

— Алексей Михалыч, вы бы обедать спустились ко мне... Мне продукты выписали... Я готовить вам буду. Ветеринар так сказал.

— Хорошо, Захаровна. Спасибо!

Вечером навестили бригадиры и пришел ветеринар. Коротко доложили о делах, посидели, переглянулись и ушли.

Вечер провел он за столом. Он писал.

Во всем теле была слабость, да он и не чувствовал своего тела, но мыслилось легко, свободно, и перо торопливо набрасывало мысли на бумагу. На следующий день он опять писал. В те дни он как-то отстранился от дел, посматривал на все со стороны. Деревенских поразила весть, что председатель попал в больницу от истощения. При встрече с ним тихо здоровались, потом удивленно смотрели ему вслед. Делами никто не тревожил.

Писал Баранов о том, что узнал здесь. Получалось что-то вроде историко-психологического трактата. Написал он о Пружанове и ввел термин пружановщина. О Сковородникове, о тринадцати председателях, о Моте Раевской. Все, что он узнал, осмыслил, надо вылить на бумагу, вынести на всеобщее обсуждение. Говорить об этом в беседах — толку мало. Разговор останется разговором с одним, десятью, с сотней людей. Слова быстро забываются, смысл их может быть неправильно истолкован. К тому же этот вопрос касается не только его хозяйства, а многих. Мгновенно, одним махом решить вопрос нельзя. За год-два можно прорубить тоннель в горах, построить шахту, завод, ГЭС. Разработать карьер и добыть пуды золота, тонны руды, угля. Но вернуть людям любовь к земле, веру в нее, в свой труд — одним махом невозможно. Гадилось постепенно, так же постепенно нужно выправлять положение. Не нужна громкая кампания, писал он, а надо выправлять спокойно, без громких фраз, обещаний. Ибо обещания приводят к тому, что люди привыкли думать: стоит где-то там сказать слово и все появится. А люди ни на кого надеяться не должны, они должны верить только в себя...

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Исписал две тетрадки, перепечатал на машинке и отвез в редакцию новогорской газеты. Домой возвращался удовлетворенным. Казалось, вынул из груди что-то тяжелое, давившее все время и мешавшее дышать. Он предчувствовал наступление какого-то нового периода в работе. Возможно, ему будут возражать о наболевшем, тогда можно будет скорей найти выход из создавшегося положения. Сам он решил, прежде всего, просить у государства долгосрочный кредит. Как больному вливают в организм кровь, так и в деревню нужно влить средства, чтобы она свободней, глубже начала дышать. Надо только обдумать: куда, сколько и как влить.

Редактора газеты я знаю. Он бывал в Кедринске, заглядывал в городок. Мы с ним выпивали на рыбалке. Ему уже за сорок. Когда-то в молодости он писал стихи и, конечно, считал их великолепными. Даже напечатал несколько стихотворений в газете. Потом учился в Москве на курсах редакторов. Толкаясь в редакциях журналов, он понял, что стихи его посредственны. А талант если и есть, то не ахти какой. Что поэтом стать нелегко, нужно много-много работать. А где гарантия удачи?

По окончании курсов он женился. Работал в нескольких районных газетах, потом его направили в Новогорск. Он любит литературу, много читает, собрал солидную библиотеку. Изредка пишет передовицы в свою газету. Печатает под псевдонимом стихи. Раза два-три в год публикует «Записки деда Мазая», в них он крючком сатиры поддевает Марфу Нетудыидущую за клубнику; тракториста Рулькина-Непахавшего за пьянство.

Редактор знает, что газету его читают от случая к случаю. Однажды знакомый его, ездивший по области, привез пачку районных газет. Посмеиваясь, передал их редактору. Содержанием и видом газеты были одинаковы: необычайно серьезны, скучны и однообразны. Казалось, будто выпущены они одной новогорской редакцией. Только какой-то шалун переменил названия их, перетасовал заметки. Редактор посмеялся с товарищем, даже сказал какой-то каламбур. И потом добавил:

— Вы заметили, дорогой мой, что чем бессмысленнее должность, занимаемая человеком, тем больше он желает казаться серьезней? Это людская слабость, и надо мириться с ней! — он весело развел руками.

Редактор понимает, что каждая мелочь, созданная разумом человека, имеет свое одно определенное назначение. В душе он не верит, что газета его несет на своих плечах бремя истинного назначения своего. Хотя бы потому, что каждый выходящий номер совершенно не волнует ни сотрудников, ни его самого. Возможно, газета такая вовсе не нужна людям. Взглянуть глубже, даже вредна как в нравственном, так и в материальном отношении. Ну и что ж... «Не мы одни. Не мы первые, не мы последние».

Получив рукопись Баранова, редактор прочитал первую страничку. Закурил. Я так и вижу: глядя в стену, за которой стучала машинистка, подумал. Затем перечитал страничку, надел очки на свою кругленькую маленькую физиономию, угнездился удобнее в кресле и стал читать дальше. Вечером он принес рукопись домой и еще раз ее перечитал. Если бы он не видел автора, подумал бы, что статья написана каким-то юнцом, впервые окунувшимся с головой в жизнь: в ней было столько искренности, прямоты, сколько человеку с положением и солидному не подобает иметь. Но в то же время статья написана с полным знанием дела. Материал подан скупо, сжато.

Жена редактора тоже прочитала рукопись. И опять я вижу, как она, закурив, бросила свою изящную левую ножку на правую, пустила вверх струю дыма и сказала:

— Да, Дима, черт знает что творится. Что ты думаешь с этим делать? — она кивнула на рукопись.

— Посмотрим...

А спустя два дня редактор сидел в кабинете секретаря райкома Холкова, которого я тоже знаю. Внешне он напоминает Гуркина. Носит он широкие костюмы, когда сидит за столом, члены его тела необычно подвижны, когда он сердится, лицо его краснеет. И в разговоре с людьми, когда вопрос касается чего-нибудь существенного, он всегда произносит одну и ту же фразу:

— Ну хорошо. А вы что предлагаете?

Эта стандартная фраза произносится с различными оттенками в голосе, от чего и зависит смысл ее.

— Он принес один экземпляр? — спросил секретарь.

— Один. Видимо, второй оставил у себя, — сказал редактор.

Оба подумали об одном и том же: если оттолкнуть автора от новогорской газетки, он сунется в область. А то и в Москву пошлет. Поднимется шум. Начнут копаться по всему району. Положим, большого дела не создадут, зачем мусор из избы на людях выметать? Но секретаря тряхнут: он руководит районом шестой год. Где был? Куда смотрел? И главное: по шее-то дадут, но все-то остается по-прежнему! Холков сам ужаснулся, прочитав рукопись. До этого он читал о всяких недостатках. Даже в центральной газете протянули однажды район. Но писалось так, как и в прошлом году, и в позапрошлом. Казалось, через двадцать лет будут писать точно так же: так-то ржавеют под снегом сеялки, жатки. Урожай картофеля остался под снегом. А ниже сообщается, что вот, мол, у соседа совсем иначе. Этот же идиот собрал все в кучу, сжал время, вывернул все наизнанку... Эх, лет десять назад сунулся бы он со своей писаниной — загнал бы в такую дыру, забыл бы, как ручку брать в руки!

Трудно стало работать. Трудно. Скорей бы на пенсию... Так подумал секретарь и сказал:

— Вот что: придержи это, а там посмотрим... Время покажет...

Как и Ванька Герасимов, каменщик Борцов, начальник Гуркин, Холков придерживается той же политики: в данный момент как-то отвертеться.

Две недели Баранов ждал появления статьи в газете. Не выдержал, явился в редакцию. Редактор принял его как старого знакомого. Усадил в кресло, с любовью смотрел на автора.

— Да, еще не напечатали, — горестно говорил редактор, — видите ли, наша газетка мала. А у вас листа два печатных будет... Почему вы раньше не зашли?

Баранов пожал плечами.

— Я ждал. Со дня на день ждал... Какой же выход? Знаете, это же очень важно! Чрезвычайно важно! Не только в экономическом отношении. Экономика — это уже результат. Последнее время я много думаю над этим вопросом. Ведь то, что мы назвали культом личности, не только уничтожило тысячи грамотных, вполне сознательных людей, имеющих твердые убеждения. Но этот культ оставил после себя массу крупных и мелких чиновников, тупых и пошлых. Он создал десятки тысяч Моть Раевских, сотни тысяч Марусь, их подруг. Но это слишком большой вопрос. И я скажу о наших делах. Ведь что получается: всюду неполадок уйма, а все сидят, молчат. Ждут, когда вызовут в райком да по шапке дадут. Ну я хоть первый начну, — Баранов засмеялся, потер руки, будто ему стало зябко, — хорошо! Сначала о себе сказал, потом соседа какого-нибудь потереблю, он рассердится, да и примчится к вам. Заволнуются все. Хорошо! А то сидят, как сурки...

— Да, да, — улыбался редактор. Он сказал, что на днях собирается в область, похлопочет насчет бумаги, которой нехватка. И постарается напечатать статью.

А в середине декабря Баранова и других председателей вызвали в область. Привез Баранов в деревню новость: обязательные поставки отменены. Колхозу выдали средства на строительство коровника и свинарника. Райком обязал Кедринский стройтрест построить эти помещения.

— А как же статья? — спросил я Баранова.

— Не знаю, — отмахнулся он, — надоело ездить в редакцию. Да и некогда.

— Сколько же колхоз должен теперь государству?

— Четыре с половиной миллиона.

В этот вечер мы засиделись до часа ночи, я предложил Баранову переночевать у меня.

— Нет, нет, — отказался он, — я решил привить себе привычку: где бы ни быть, а спать дома. Иначе разболтаешься...

Он уходит. Слышно, как он говорит что-то жеребцу. Протарахтели колеса. Я ложусь спать. Долго думаю о председателе, о деревне. Потом мысли крутятся вокруг своих забот. У каждого свои заботы, радости и печали. Радостей у меня мало. Началось воровство. Склад плотники устроили за деревней на выгоне, поближе к дороге. Там стоял когда-то сарай, от него остались столбы. Мы сделали крышу и под ней складываем цемент, шифер и прочее — покуда погода сухая, нужно завезти весь материал. В основном воруют шифер, лист которого котируется на черном рынке от семи до десяти рублей. Я купил себе тульскую двустволку, шляюсь с ней по лесу. По несколько раз за ночь хожу к складу. Стою у штабеля кирпича, прислушиваюсь к шорохам. Дни стоят жаркие, безветренные, а ночи прохладные. Начался сенокос. Поблизости не косят, но воздух насыщен запахом увядшего клевера. Смотрю в сторону кедринского зарева, так поразившего когда-то председателя. К утру зарево исчезает. Из оврага ползут сивые облака тумана вдоль деревни. По пояс в тумане иду в избу. А утром замечаю: из крайней стойки шифера изчезли десять листов. В ответ на мои жалобы Аленкин пожимает плечами. Баранов прямо сказал:

— Борис, я ничем не могу помочь. Это твое дело. Мне бы хоть свое добро сохранить.

Докладывал о воровстве Самсонову, он разрешил нанять сторожа. Я оповестил клинцовцев. В деревне четыре мужика: сосед мой, шестидесятилетний Сергей Никандров, попросту дедка Серега, его ровесники — Ваня, Федя, Яша. Никто из них не согласился сторожить. Бабы интересуются:

— Сколько платить будешь, Борис Дмитрич?

— Четыреста рублей в месяц.

Качают головами: деньги хорошие, на дороге их не найдешь. Прикидывают, сколько и чего можно приобрести за эти деньги в магазине. Решились сторожить Мотя Раевская и ее соседка старуха Васьчиха. Приходят ко мне вечером в избу. Васьчиха останавливается у порога, как-то испуганно смотрит на меня. Мотя решительно подходит к столу, ударяет по нему ладонью.

— Идем сторожить к тебе, Борис, только без обману?

— Какой может быть обман, Мотя?

— Все по закону?

— По закону.

— Сегодня и приступать?

— Приступайте...

Но через три дня приходится уволить сторожей: разгоняя свой страх громкими разговорами, песнями, они бродят вокруг склада только до рассвета. Спешат топить печи, справляться с хозяйством. Утром третьего дня я недосчитался пятнадцати листов шифера.

— Вы должны быть у склада до семи часов утра. Ну хотя бы до шести. Ровно в шесть я к вам буду приходить и тогда расходитесь.

— Не можем. Лучше уж уволь нас, Борис Дмитрич, и денег твоих не надо. Сколько страху-то натерпелись!

Деревенские смеются мне в лицо:

— Борис Дмитрич, ты бы ружо им дал! Как же это Васьчиха без ружья!

Выручил дедка Серега, который часто заходит к Сергеевне. То в хлеву что-нибудь поправит, то в избе. Работает он конюхом, несколько раз за ночь ходит на конюшню. Он высок, сутул, но еще крепок.

— Дедко, возьмись ты сторожить,— прошу его,— тебе, что, деньги не нужны?

Он улыбается:

— Ишь ты, Борис, как рассуждаешь. А подумай о другом: ты-то уедешь, а я останусь. Он-то (вор) память будет иметь, ай нет?

Договорились: сам дедко ловить вора не будет. Как заметит его, скажет мне, и я расправлюсь с ним. Воровство моментально прекратилось. Все пометки, которые делаю химическим карандашом на листах, на кирпичах, вижу каждое утро. Дедко Серега стал чаще заходить в избу вечерком, и мы с ним беседуем. Особенно оживленно и долго протекает беседа, когда старик маленько загуляет.

— Что ты все пишешь? — заявляет он, вырастая в дверях, весело улыбаясь маленькими глазками.— Полно кляузами заниматься! Идем выпьем да побеседуем. Разругался я нынче со своей старухой,— он отчаянно машет рукой,— ну их всех, Дмитрич, мы одни с тобой можем понимать разговор! Танька,— кричит он Сергеевне,— готовь нам закуску! У нас есть вот тут! — он вынимает из кармана бутылку водки.— Пошевеливайся, шевелись, старуха!

И дедко пытается ущипнуть хозяйку за бок.

— Ох ты, идол,— укоряет его Сергеевна, кивая головой и улыбаясь,— уж пора бы забыть такие повадки!

— Это ж почему нам забывать такие повадки, а? Я еще в Тутошино сходить думаю...

До укрупнения колхозов дедко был председателем Клинцовской артели. Часто вспоминает о своей работе.

— ...Теперь-то председателю дивья! — рассуждает он.— Теперь ему что! Живи да и только.

— Чем же ему лучше теперь?

— Да как же ты спрашиваешь об таком, Боренька, нонче совсем другое. Меня, бывало, вызовут в район: «Тудыть твою мать, кулацкая душа, чтоб было сделано!» Да кулаком по столу, да грозят тюрьмой. Ну, вернешься сюда и гоняешь народ без роздыху. Ну и делали, баловства никакого, хоть и не получали ничего за работу... Встану чуть свет, выйду с избы: глядь в один конец — крайняя Федина изба видна, гляжу в другой — изба Дарьи на прицеле. И все у меня на виду, и все меня видят. Все я знал! И в грамоте разбирался. Сколько надо соток отмерять, могу мигом обмерять сено, пойдем, гляну на стожок и хоть на пуды, хоть на центнеры тотчас переведу. Документы вел согласно закону. И до тонкостей знал, где, какое сено, кому сколько надо, чтоб без обиды... А теперь что? Председатель ездит по бригадам командиром, бригадирам дает задания и едет то на совещанию, то еще куда. Да все торопится, спешит. И наторопился: у кого изба тесом обшита? У кого покрашена краской масляной? Вот ты приезжий, скажи мне, у кого? У Ваньки. А у меня как было? Танька! — кричит он.

— Чего, старый, шумишь? Помолчи-то! — отвечает из своей комнаты Сергеевна.

— Ответь вот для него, для Дмитрича, брал ли я хоть клок сена тайком для своего хозяйства?

— Да полно тебе, угомонись!

— Нет, ты ответь, карга старая! Ответь как перед судом!

Сергеевна вдруг решительно входит в комнату и говорит, будто кланяясь:

— Да уж правда, Боренька, уж этого никогда не случалось! И сам-то выйдет на пожню и косит с нами. А чтоб взял чего, этого и понятия не имел.

Толстые сизые губы старика изображают в это время букву О, глаза его смотрят в потолок.

— А у Ваньки своя политика,— продолжает он,— к Дарене таскался по ночам, и у той до самого лета чердак клевером забит. Мы все знаем! Вот он и грамотный, и слово скажет, какое нужно. А я начну, бывало, там выкладывать обстоятельно, без архивов, смеются. А потом: «Что ты мелешь? Ты давай процент! Ты темный, ты неграмотный!» Ну вот он и грамотный: в прошлом годе ссыпали зерно в амбаре, а оно сгорело.

— Почему же?

— Пол был гнилой, просел под тяжестью. От земли сырь пошла...

— Что ж, не видели, что пол гнилой?

— Так ведь бригадир всему указ.

— Ну ты-то видел, дедко? Скажи мне — знал?

— Видеть не видел, знать не знал. А я бы на гнилой пол не ссыпал бы.

— Сказал бы об этом?

— Бригадир должон знать! — ударяет он кулаком по лавке.— Бригадир — знай! Дай наряд, пошли человека лес заготовить. Запиши все это, оплати. Так-то. Не хочешь смотреть, не желаешь быть хозяином, а мечтаешь начальствовать — начальствуй. Но и с других не спросишь хозяйственности. Раз ему укажи, другой — он губы развесит, до смерти начальствовать будет. Да еще за указание обидится. Вот как. А я тебе, Дмитрич, расскажу старую сказку... В давние времена жил один мужик. И вот сидел он однажды на лавочке перед избой со своим сынком. Сынок в годах был, хорош собой, и матушка над ним все охала, ахала, не знала, чем накормить, как от неведомых напастей сохранить. К вечеру дело шло. И едут через деревню купцы. Тогда еще купцы были. Мужик и говорит сыну: «Пойди-ка, сынок, узнай, с чем едут купцы». Побежал сын, приносит известию: везут-де гречиху да овес. «А по какой же стоимости они продают?» — «Не знаю,— отвечает сынок,— я не спросил».— «Ну так побеги, спроси».

Побежал сын. А купцы уж за деревню выехали, по лесу едут. Смеркаться стало. В те времена бога почитали, чертей боялись. «Гречиха по рублю пуд, овес по четвертаку»,— приносит сынок известию. А сам запыхался, язык на боку, от страхов лесных глаза на лоб лезут. «Как же они продают: оптом, либо наразвес можно купить?» — «Не знаю, я не спросил».— «Ну так беги спроси. Беги».

А купцы-то уже верст пять проехали...

Старик хитро ухмыляется, шарит в карманах закурить, не находит, берет у меня папироску.

— Вот так-то бегал, бегал сынок. Взмок. От страхов зуб на зуб не попадает. А в следующий раз уж знал, о чем надо справиться у купцов... Вот оно как, Дмитрич, смекаешь? А ты: «Чего не сказал?» Обо всем разве скажешь? Вот и Федя Стойков, он член ревизионной комиссии. Много чего знает Федя! Много! И документ может представить при надобности. А сидит Федя и молчит. Почему? Да потому, что надо сейчас Феде лошадь, бери да езжай, надо лесу,

иди да руби. А попробуй Федя побуянить насчет правды — палишь, ничего Феде не будет...

— А председателю теперь дивья,— продолжает дедко, помолчав,— деньги вот дают на постройку, корма присылают. А что толку? Хозяйство в долгу, как в шелку. А два года назад вышла как-то заминка, кормов не прислали, за одну весну половину коров под нож пустили. Куда это годится? И поделом: не потакай, не нянчись, но и не указывай, каким манером детей зачинать. Вот оно что бы я сказал начальству... А то вот получилось: колхоз должен государству пять мильонов. Пять мильонов! Шутка сказать! А где они? У меня? У ней, у Таньки? У Моти? В колхозе? Нигде нету. И спросить не с кого. С Баранова? Он недавно приехал, одно время был замотавши, что чуть с голоду не помер, чужую кровь ему дополняли.

— Ты же говоришь, что председателю теперь дивья?

Тут старик вскакивает, хватает ртом воздух, будто задыхается. Начинает кричать о каких-то телегах, о болотах с пеньками, без пеньков, о сенокосах с выездами, без выездов. Я не понимаю его, но молча слушаю, покуда не приходит его жена Аннушка. Худая, лицом похожая на Акиньевну, она заходит в избу с улыбочкой. Быстро по-мышиному осматривает всех. Некоторое время, продолжая улыбаться загадочной улыбкой, смотрит на мужа.

— Ну полно, полно, пора и честь знать,— говорит она,— свою избу остудил совсем. Идем домой...

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

А чуть свет старик является в избу. Спать ложусь я поздно, утром спать охота — нет мочи. Он лезет холодной рукой под одеяло, трясет меня за ногу, ворчит, улыбаясь:

— Все самые ленивые девки давно уж поднялись, а начальник спит... Спит начальник...

Какого черта ему надо?.. Зачем поднимает в такую рань? Ах, дьявол старый!

Я сажусь. Покуда одеваюсь, выслушиваю чрезвычайные новости: бабы уехали сегодня к Дальнему бору, всех лошадей он пригнал из лесу, только один жеребенок запропастился... Высокие голенища сапог старика влажны, холодны. От него пахнет лошадьми, травой, лесом. Вскоре иду через деревню к лесу, потом по ржаному полю. Утром колосья ржи покрыты росой, и похоже, будто они затянуты паутиной. Там и здесь вдруг паутина исчезает, и темные полосы устремляются к лесу — это убегают зайцы. После купанья в озере пью молоко. Потом начинается то, что называют рабочим днем. Весь день я занят, времени мне не хватает, но к концу дня, уставший, я не испытываю никакого удовлетворения. От свинарника спешу к пилораме. К полдню попадаю в Заветы, затем иду в лес. Летом заготовляют бревна здесь только остолопы: лошадью их нужно вытащить за ручей и болотце к Делянином холму. Только сюда может добраться трактор. Нужно достать лошадь. А она вчера была, а сегодня на ней какой-то дядя Матвей уехал за сепом. Приходится отыскивать другую. Потом опять иду в Вязевку, звоню в контору. Нужно как бы невзначай нагрянуть к чикинцам, чтобы они не подумали: «Ага, ушел с утра, до вечера его не будет, можно что-нибудь предпринять...»

Предпринять же они могут что угодно и даже самое невероятное.

В Тутошино живет с матерью придурковатая девятнадцатилетняя девица Клава. Природа наградила ее красотой, стройностью Молдаванки. При желании парни подпаивают ее, насилуют в лесу. Однажды она набрела на свинарник. В истрепанной юбочке, измазанной малиной, и босая, она походила вокруг чикинцев, посматривая на них. Те принесли из магазина вина, пряников. Увели дурочку за овраг, где никто не бывает, бегали туда по очереди. На следующий день она опять пришла.

— Боря,— говорит мне Сергеевна утром воскресного дня,— угомонил бы ты своих разбойников.

— В чем дело, Сергеевна?

Будто не знаешь?..

Собираю чикинцев в избе. Они усаживаются на лавке, на полу, принимают беспечные позы. Худой, серолицый Шевырев — тайный и хитрый зачинщик проказ — косится на меня. Смотрит в окно. Я знаю, к чему они приготовились,— к ругани. Я прочитал на их лицах, не знающих детства, беспечность, равнодушие ко всему на свете и к самим себе. Такое равнодушие часто видят судьи. «Будь что будет»,— говорят эти лица. Да, вот такими они бы сидели сейчас и на скамье подсудимых.

— Ребята,— сказал я, и голос мой дрогнул.

Я мало узнал от хозяйки о Клаве. И я говорю что-то вообще о жизни, о семье. О том, что ждет эту девушку в будущем, и о пьяном цыгане, зачавшем ее. Я сам путаюсь в своих рассуждениях. И когда кончаю, дрожащими пальцами достаю папиросу, на меня смотрят удивленные и даже расстроенные лица. Я выхожу на улицу. Вот изба Дарьи. Сворачиваю. Войченко сидит за столом, перед ним закуска и вдова.

— Вон! Вон отсюда, сволочь! — кричу я.— И если не уйдешь, я подам на тебя в суд. Слышишь?

Пьяный от возбуждения, я иду к себе в избу, беру ружье. Долго брожу по лесу. На берегу болотца расстрелял с пятнадцати шагов спичечный коробок. И особенно приятны были тяжесть оружия, гром выстрелов и фонтан грязи, взбитый пулей, которой был заряжен последний патрон, лежавший всегда отдельно от других в боковом кармане. В сумерках подхожу к деревне. На дороге замечаю Полковника, он что-то несет в руках, плюется во все стороны и рассуждает сам с собой. Он пьян.

— Привет Полковнику,— кричу я почему-то весело,— куда мотор завел?

Он подошел. Осторожно приглядывается.

— А-а! Строителям привет! Нужда мотором крутит, Дмитрич, не возьмешь? За десятку отдам.

В корзинке под травой громадная щука. Я забираю ее. В избе ожидает меня дедко Серега: сидит на лавке, и покуда я мою руки, ужинаю, молча и подозрительно посматривает на меня.

— Какие новости, дедко?

Он качнулся.

— Беда, Дмитрич...

— Что такое?

— Воры придут...

— Когда?

— Ночью нынче.

— Кто ж это?

— Не знаю.

— С чего ж ты взял?

— Известно. Едри их мать. Будут сегодня, Боря...

Мне кажется, старик по каким-то особым причинам не желает сообщать, откуда к нему поступила такая информация. Ну и пусть не говорит. Это его дело. Договариваемся: чтобы не вспугнуть воров, окна в моей комнате будут светиться, как обычно, допоздна. Я лягу спать, потом через хлев, огородами проберусь к складу... И в начале второго я уже у склада. Ружье заряжено холостыми патронами. Воры угадали ночь: на небе ни звезд, ни луны. Хорошо хоть ветра нет. Где-то потявкала собака. Собак здесь в деревнях мало, зимой их поедают волки. Зарево от огней Кедринска кажется сегодня особенно ярким. Чу! Нет, это просто показалось. Закурить бы. Сколько я буду сидеть в этой деревне... Инженер Картавин стоит на страже социалистической собственности. Приклад к ноге. Вот так... Не работа, а черт знает что. Пилорама совсем почти не работает. В каком-то «Красном пахаре» установили новую мощную пилораму, когда она работает, забирает всю энергию. Надо сходить в этот колхоз, договориться, чтобы работать по очереди. Эти переходы отнимают столько времени. А время, выработка рабочих — это деньги. Выработка и деньги. План. Ха-ха! Мне тоже дали план, для проформы. Везде должен быть план, хотя бы липовый. Какой дадут фонд зарплаты? Если не выйдет по тридцать рублей по кругу, брошу все и уйду. Рабочие не виновны. Черт возьми,

сапоги уже разбились. Вторая пара... Я приседаю, взвожу курки. Две тени промелькнули со стороны леса. Одна маленькая, другая побольше. Вот они. Маленькая тень взяла лист шифера, второй. Исчезает в сторону леса. Вторая стоит и не шевелится. На секунду закрываю глаза, огненный столб из двух стволов разрывает темноту. Под моим телом фигурка обмякла, как травинка. Не чувствуя никакого сопротивления, выворачиваю руку, веду пленника в избу...

Сергеевна стоит в дверях, я сижу на скамейке, дедко Серега у порога. Возле печи стоит человек. Он в фуфайке в сапогах; из-под шапки выбились светлые волосы и косички. Это девушка. Она бледна до зелени. Она вся дрожит и прижала руки к груди. Мне даже неловко, помял я ее изрядно. Целы ли хоть руки у нее?

— Катька, да как же ты решилась ночью-то? — глаза Сергеевны выражают неподдельный ужас. Она крестится.— И пошла ночью, глупая! Из Тутошина не побоялась итить?

Я должен быть строгим.

— Отвечай, кто с тобой был?

— Катька, скажи все,— советует Сергеевна,— начальник добрый, расскажи все, и он простит.

У девушки вдруг закатываются глаза. Вскрикнув, она падает на колени:

— Матушка! Ма-а-а-ту-у-шка! Родная моя! Не виновата я, Гришчиха! Не виновата!

Я боюсь, как бы с ней чего не случилось. Втроем успокаиваем девушку. Вливаю ей воды между дрожащих белых губ. Таких белых губ я никогда не видел. Сергеевна уводит девушку к себе, успокаивает ее...

Она и в самом деле не виновна. Еще при Окуневе ходила с дядей Витей к свинарнику. Брали и цемент, и кирпич, и шифер. Окунев часто пил водку у дяди Вити, разрешал ему ночью брать материал.

— Он говорил, чтоб только деревенские не видели...

— С кем ты была сегодня?

— С братеней Васькой.

— Дядя Витя послал?

— Да... Нет... Сегодня нет. Сегодня он уехавши в Новогорск. Он говорил, что ему не хватает на крышу шиферу. Мы с Васькой пошли сами.

— А до этого с кем ходила?

— С дядей Витей. Он говорил, что вы все знаете и бояться нечего...

Уходим с ней на выгон.

— Васька! Васька! — зовет девушка.— Васька, иди сюда! Иди, лядящий!

Маленькая фигурка выплывает из темноты. Освещаю фонариком пухлую ребячью физиономию.

— Принесите шифер на место. И чтоб больше ни шагу сюда...

На другой день Баранов, я, ветеринар Соснин — он же секретарь партийной организации — едем верхами в Тутошино. Председатель и Соснин в седлах. Подо мной костлявая спина старого мерина с разбитыми ногами и шеей. Он целыми днями бродит вокруг деревни, и Полковник поймал его мне к случаю.

— Не ожидал, не ожидал от Бахмачева,— говорит Баранов,— хороший тракторист и вот тебе...

Местные жители все белобрысы или рыжеваты. Полных здесь нет. Полненькие только взрослые девушки и молодые женщины, которые чем старше, тем становятся суше и суше. Бахмачев явно не из местных: прямые жесткие волосы, косой разрез темных глаз, короткая могучая шея. Мы спешиваемся у его калитки, он что-то работает топором. Вгоняет топор в бревно, угрюмо наблюдает за нами.

— Принимай гостей, Виктор Николаич. Приглашай в избу.

— Не ждал гостей в такую рань. Заходите.

— Ждала не ждала, а дала — мужа не вспоминай,— шутит Соснин.

В избе никого нет. Рассаживаемся за столом. Бахмачев сел в сторонке.

— В город, что ли, собрались? — говорит он.

— Вот что, Виктор Николаевич,— Соснин закурил,— остановка у нас вышла на свинарнике — материалу не хватает. Пришли к тебе за помощью... Постой, постой... Я вот их уговорил не обращаться в милицию пока. По-хорошему решим давай: ты нам все отдашь, мы отблагодарим тебя при народе по всей форме — и квиты. Для пояснения: Катьку с братишкой вчера захватили на складе.

— А я при чем тут? — тракторист встал.— Чего вы хотите?

— Отвечай сразу: вертаешь все сам или милицию вызывать?..

Через полчаса возле избы Бахмачева собралась толпа, к ней подходят новые лица.

— Помер, что ли, кто?

— Где горит-то?

— Витю курочат...

Четверо парней выносят со двора мешки с цементом, шифер, кирпич, стекло.

Вскоре три груженые подводы тянутся в Клинцы...

Вечером я сижу за столом в горнице. Передо мной чистые бланки нарядов. Только для сторожа наряд готов. Для него все просто: пятнадцать шестьдесят умножить на двадцать четыре рабочих дня.

Старик молча сидит на лавке, на лице его важность, он оправдал свою должность.

— Вот здесь распишись, дедко!

— Где?

— Вот здесь. Вот...

Пальцы его корявы, не гнутся, покрыты черными морщинками. Он рисует что-то похожее на воробья.

— А я-то сомневавшись был насчет вора, Дмитрич,— говорит он, кладя ручку.

— Почему сомневался?

— Да иду мимо повертки, слышу, в малиннике толкуют про шифер, про склад наш. Я в кусты, а неизвестные бежать от меня. И будто не мужики бежали. А она и вышла проверка в самую точку... Что ж, делом будешь заниматься?

— Да, дедко, надо...

Он уходит. В журнал работ мне не нужно смотреть. Я прекрасно знаю, что сделано и что делают рабочие. Да и не в этом дело, а в том, что мне надо выдумать какие-то работы, которые якобы сделаны. Конец месяца, и рабочие уже толкуют: по сколько мастер выведет?

Чикинцы, как я уяснил, понятия не имеют о фонде зарплаты, о расценках. Они считают, сколько дней работали «дотемна». Толкуют о воде, появившейся в жижесборнике, и как они, по колено в грязи, выбрасывали эту грязь ведрами... По тому, как они уставали, они считают, что заработок должен быть приличным.

— Меньше тридцати пяти не должно быть,— толкует Чикарев,— а валун попался тогда, сколько возились с ним?..

Кстати, об этих валунах. Их здесь много разбросано природой на полянах, в лесу. Прихожу однажды среди дня к свинарнику. Чикинцы перекуривали, о чем-то спорили. Увидев меня, смолкли. Я присел, закурил.

— Борис Дмитрич,— спросил Чикарев,— откуда эти камни берутся?

— Валуны? А ты не знаешь?

— Да вот Швыря говорит, что они растут как вроде картошки.

Я посмотрел на него: ни тени улыбки на лице.

— Ты с чего взял такое, Шевырев?

— Слышал где-то,— ответил тот беспечно.

Я рассказал им о происхождении валунов. Слушали внимательно. После того разговора в избе и изгнания отсюда Войченки они стали внимательней к моим словам. Интересовались мной не только как начальником, но и как человеком.

— Вы правда в институте учились и закончили его?

— Правда.

Молчание.

— А чего же вы здесь с нами, а не в городе?..

Из них только один Двояков не побывал в колонии и острых столкновений с милицией не имел.

Он откуда-то из Владимирской области. Родители его умерли. Повинуясь общему стремлению — уйти в город, мальчишкой он удрал из деревни. Скитался по стране. Побывал в детских домах, нигде не прижился. Наконец попал в Ленинград и с помощью милиции очутился в Кедринске. Он задумчив. Иногда, кажется, он хочет о чем-то спросить, да не решается. Я предложил чикинцам выбрать его бригадиром, те согласились. В тот же день, когда говорили о валунах, Двояков задал неожиданный вопрос:

— А вот скажите: Ленин был умный?

— Конечно, умный.— Я мельком взглянул на него.

— Я не про то... Как бы это... Он учился?

— Учился. И хорошо учился.

— Ну вот он умный был, а если б не учился, он все равно был умным, остался и был бы таким?

Вот оно что! В этой крупной голове, покрытой курчавыми рыжеватыми волосáми, копошатся мысли, сводившие в прошлом с ума изобретателей вечных двигателей, базарных мыслителей, странников: если человек от рождения умен, ему образование не нужно, он своим умом до всего дойдет. Я толковал Двоякову, что такое ум, что такое знания.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

В Заветах рабочие старше чикинцев. Есть там пожилой землекоп-бетонщик Кирьянов. Он слывет знатоком финансовой стороны дела, наизусть знает расценки многих видов работ. Он рассказывает товарищам, что вырабатывают они крайне мало в этих условиях.

— Теперь все от фонду зависит,— распространяется он,— да от мастера,— как он сумеет извернуться. Но заплатят! Иначе нельзя. Иначе мы все снимемся и уйдем отсюда. Мастер выведет. А нет, пойдем к Гуркину. Он не поможет, мы к управляющему. А управляющий мужик крутой, начальников гоняет из кабинета как мальчишек. Он Гуркину по шее, Гуркин мастеру... А зачем им это все? Выведут!

И я вывожу. Особенной изворотливости здесь не требуется. Фонд мне еще не известен. Я кладу на человека тридцать рублей в день, вывожу общую сумму. Затем начинается самое отвратительное: обосновываю сумму, делаю описание «выполненных» работ. Пишу я черт знает что, по возможности близкое к возможной действительности. Если б то, что описываю, было сделано, свинарник давно бы готов был. Немудрено, что настроение у меня падает. В сущности, я жулик, ворую у кого-то деньги. А раз я ворую, то, мысленно оглянувшись, думаю, что и все вот так воруют, то есть обкрадывают сами себя. Все правовые, социальные институты кажутся мне фикцией, нужной теоретикам.

Я разговаривал по этому вопросу с главным инженером. Он сказал: «Трудности есть во всяком деле, а у строителей их особенно много». Но что такое трудности? Они могут быть и у человека умного, и у дурака, и у ребенка. У целой компании людей, не умеющих работать, мало знающих, мало думающих от неумения думать или нежелания. Поди тут разберись! И каждый норовит выставить щит с подписью: «Трудности». И копошится за этим щитом...

А в избе тихо-тихо. Окна открыты, но все равно душно. Земля насытилась за день теплом солнца, теперь отдает его воздуху. И ползет в окно странный, сладкий какой-то ночной воздух сенокосного времени. Сергеевна поворачиваясь во сне, застонала. Что-то шепчет. С сенокоса она возвращается поздно. Управится с хозяйством, подолгу молится, стоя на коленях перед иконой, часто отвешивает поклоны, да через раз — со стуком лба об пол. И шепчет:

— Не сожги, не погуби, отгони, господи...

Просит у бога здоровья дочери, внучку, корове, телушке. Просит не отнимать у нее силу. А если заберет, пусть уже и смерть присылает...

За день Сергеевна устает, но до молитвы держится бодро. Помолившись, вся слабеет. Кряхтя, охая поднимается с колен и ложится спать. Спит неспокойно. То и дело вскрикивает, шепчет. Вдруг приснится, будто телушка подавилась картошкой: лежит телушка на поле у картофельного бурта, сучит ногами по земле, глаза закатила. А она бегает вокруг, кличет мужиков, но поблизости ни души. А то снится ей: хватает она сено из какой-то дыры, бросает его охапками за изгородь. Ей жарко, труха забивает глаза, лезет под кофту. Голос покойного мужа кричит оттуда: «Скорей, скорей, Танька, уже постановление выйдет!» И она, чувствуя, что силы кончаются, хватает охапку побольше, но сено горой валится на нее, придавливает. Смерть. Вскрикнув, Сергеевна просыпается. Проводит ладонью по лицу. Чувствует на пальцах что-то липкое, теплое. Сунув руку под подушку, достает скомканную, хрустящую и в темных пятнах тряпицу. Шепча: «Господи, ох, господи, опять пошла», утирает кровь.

— Боренька, ты не спишь еще? — слышу я ее голос.

— Нет, Сергеевна.

Она шаркает босыми ногами по полу за моей спиной. Черпает ковшом холодную воду из ведра. Жадно пьет. Крестясь и причитая, проходит обратно к постели.

— Ложись, Боря, полно глаза-то портить, завтра день будет.

Она жалеет меня! Зубы мои стискиваются. Я хватаю ручку и быстро чиркаю по нарядам, почти не думая. На следующий день сижу в конторе перед нормировщицей, которая проверяет расценки. В описаниях работ она замечает лишь две неточности. Потом наряды несут на подпись к главпому. Главный смотрит на итоговую цифру, сравнив ее с цифрой, означающей выделенный мне фонд, пишет: «Утверждаю». Затем наряды попадают в бухгалтерию. Через неделю рабочие получают зарплату. Дорога держится, и кассир Машенька приезжает на машине. Я встречаю их на дороге, вначале едем в Заветы. Рабочие здесь всех возрастов, живут все в одной громадной избе, построенной еще во время войны военными. Не успеют все получить деньги, а ходоки уж возвращаются из магазина. Во дворе потрошат поросенка. Различность возрастов создает ту веселую атмосферу, когда старик становится ребенком, мальчишка старается быть важным.

С машиной что-то случилось, шофер копошится в моторе, и мы задерживаемся.

— Борис, маленько с нами,— приглашает Кирьянов.

— Машенька, Машенька, пожалуйста, вот сюда... И никаких, никаких... Все общество наше вас просит. Смотри, какие ребята!..

Я выпиваю стакан водки, слушаю о том, как свалили громадную ель, как она чуть было не убила Федосеева. Сегодня дважды завяз в трясине трактор. Сегодня заготовили кубометров восемь, не больше. Двадцатипятилетний плотник Федосеев, рослый, сильный и красивый, подсаживается ко мне. Он говорит, что два года не был в отпуске, надо съездить домой в деревню. «Ну, так пиши заявление»,— говорю я. «Да вы напишите, вам ничего не стоит написать».— «А самому лень, что ли?» — «Да я не знаю, как писать».— «Не болтай,— говорю я,— сядь и напиши. Вот тебе ручка, вот бумага».— «Не пишите, не пишите ему, пусть сам!» Плотники хохочут. «Да в чем дело?» — спрашиваю я. «Он не умеет писать».— «Верно, Борис Дмитрич, я неграмотный».— «Он в одном только грамотный: у Моти Сидоркиной расписывается по ночам!» Хохот. «Уже так расписывается, что она обед ему приносит. Сегодня в лес приносила, а он расписался под кустом.» «Тише вы, здесь девушка».— «Машенька, ты бы к нам чаще ездила со своей сумкой...»

Я прошу Федосеева сесть рядом. Он родом из Тамбовской области, до войны в школу не ходил, пас скот. Потом наступила война и уж совсем было не до ученья. А после ему стыдно было говорить людям, что он неграмотный, и никому не говорил. Читать научился сам кое-как, буквы знает. Но пишет очень плохо. А в армии служил? Служил. Там, когда нужно, ребята за меня писали...

Вот еще один экземпляр, думаю я, ну и здоров, черт возьми. «И везде удавалось скрыть свою неграмотность?» — «Везде, ха-ха-ха! Везде, Борис Дмитрич! Я стыдился, дурак. А теперь, вот когда некуда деться, и стыд пропал...»

— Машина готова, можно ехать,— говорит вошедший шофер,— а то ночь застанет в дороге.

Мы едем в Клинцы, где чикинцы ждут нас с нетерпением. Получив деньги, они спешат в магазин. Вечером я из деревни ни шагу. Чикинцы и девчата танцуют возле амбара под гармошку. Я стою среди них, потом иду к себе и постоянно прислушиваюсь — не доносится ли шум драки? У каждого из них имеется пика — остро отточенный медицинский скальпель, либо стальная пластинка. Оружие свое они тщательно скрывают от меня, божатся, клянутся, что у них ничего нет. Как это ни странно, но между деревенскими ребятами и чикинцами существует скрытая вражда. Здесь живет легенда о жестокой драке, случившейся три года назад, когда впервые приехали строители в Тутошино. Завязалась драка из-за девчат. Молодежь окружающих деревенек объединилась. Дрались камнями, топорами, свинчатками. Захватывали пленных, выкупали, обменивались ими. Генеральное сражение произошло на берегу озера. Закончилось оно убийством одного из деревенских, нагрянула новогорская милиция, кое-как навела порядок.

Звуки гармошки на некоторое время затихают. Вот слышен говор, смех; кто-то затянул песню. Гурьбой чикинцы проходят под окном, они направились в Тутошино...

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

Приходит очередное воскресенье. Я колю во дворе дрова, складываю их в поленницу.

— Фють, фють,— раздается свист за моей спиной.

Оглядываюсь — Маердсон. Он в белой рубашке, в светлых брюках, скалит в улыбке свои белые ровные зубы. От неожиданности я даже краснею немного.

— Жора, ты как сюда попал?

— Кончай крестьянствовать, пошли на озеро. Все наши приехали, новогорские. Народу тьма. Девчата тоже там, меня за тобой погнали.

Я давно не видел друзей, спрашиваю, как дела.

— Что дела, дела идут, никуда не денутся,— отмахивается Маердсон,— на берегу там одна, откуда она приехала, понятия не имею... Попа, грудь, а глаза — м-м,— стонет он, закатывая глаза,— все отдал бы, и мало было б...

В кустах стоят машины, а весь этот берег усеян людьми. Новогорский горторг здесь, еще какие-то организации. Вот наш трест. Здравствуйте. Привет колхознику! Картавин, приехали к тебе в гости! Вон Жиронкина. Она знает, что у нее фигура великолепна, даже в общежитии любит как бы случайно и вскрикнув мелькнуть перед мужским глазом полуобнаженной. Она где-то успела загореть. В стороне от всех прохаживается у самой воды. Трусики уж больно узки. «Привет, Рита!» — «Ой, колхозничек, какой ты стал! Девчонки, посмотрите на него, он черный, как негр!» — «Здравствуй, Козловская, Машенька. Здравствуй. Эй ты, библиотекарь, здоров!» Латков отрывается от книги, подает руку.

— Скотоводу привет.

Девчата тарахтят. Без одежды Козловская кажется особенно худенькой, стройной, как девочка, и непохоже, что она побывала замужем, вот только морщинки у глаз. В такой обстановке мы никогда не встречались. Все они мне кажутся немного другими, чуть-чуть незнакомыми. Алябьева, всегда ласковая со всеми, добрая, уже возится в сумках.

— Борис, на гостинец,— говорит она.

— Яблоко? Бог ты мой, сто лет не ел яблок!

— Это болгарское.

— Господи, кто это, ребята? — Козловская даже присаживается на корточки, с ужасом смотрит на заведующего Новогорским горторгом Бугача. Громадный, заплывший жиром. Вывалив над трусами брюхо, он движется косолапо у самой воды, вдруг валится в нее, барахтается, поднимая волны. И страшно, дико рычит от удовольствия. А над резвящимися горторговскими женщинами возвышается розовая колонна жира — продавщица из продуктового магазина. Она стоит неподвижно, уперев одну руку в бок, другой подносит что-то ко рту и лениво жует. Стайка ребятишек задержалась позади нее, изумленными глазенками смотрят на диво. Полковник, успев уже продать приезжим рыбакам рыбу, натолкнулся на колонну, огибая ее, несколько раз оборачивается.

— Полковник, нет ли рыбы? — кричу я.

Он подбегает семеня. Присел и осклабился.

— Кто это такая, Борис? Едрить твою в доску, ее надо под ястребцовского жеребца подпустить!

Все искупались, девчата организовали закуску.

— Где же Мазин? — удивляюсь я.

— Он совсем испортился,— говорит Алябьева,— совсем.

— Он на другом фронте,— подсказывает Латков.

— И с кем спутался! — Маша подает мне бутерброд.— А слушать о ней ничего не хочет.

— Кто она?

— А, не стоит говорить. Везет же таким бабам! С Груздевым жила, с шофером из а-тэ-ка жила. Да всех не пересчитаешь. И вот Петька втюрился. Глупо.

— Черезов приехал,— сообщает Латков.

— Николай? Когда? Он мне ничего не писал. Как он?

— Плохо.

— Он не ходит,— сказала Рита,— все-таки что-то с позвоночником. Ездит в коляске. Его санитар привез.

— Жалко парня. Он красивый. Все девки наши были влюблены в него.

Так, так... Сегодня уеду в Кедринск, думаю я.

— Я был у него,— говорит Латков,— держится ничего, бодро. Говорит, что через год, полтора встанет на ноги. Врачи ему так сказали.

— Врачи все врут. В таких случаях они всегда врут. Человек ждет, ждет, потом свыкается со своим положением и живет. Для этого и врут.

— Я бы покончил с собой,— заявляет Маердсон.

— Полюбуйтесь,— говорит Латков. Он указывает глазами на компанию, где сидит управляющий. Худое тело старика нашего бело, он в длинных трусах. Перед ним крутится, то приседая, то вскакивая, умильно улыбаясь, начальник отдела труда и зарплаты Поздньшев.

— Сволочь,— Латков морщится и отворачивается.

Этот Позднышев бездельничает целыми днями в своем кабинете. Когда к нему приходит с вопросом рабочий, он поджимает губы, сводит брови. Откидывается на стуле и сурово спрашивает:

— Ну, что у вас?

А когда его вызывает начальство, его будто током бьет. Мельком смотрится в зеркальце, которое носит в кармане. И к начальнику входит на цыпочках. Черт знает что!

— Мальчики, я хочу малины.

— Сейчас пойдем, Рита.

Потом мы идем в лес, в густой малинник.

— А медведи здесь есть, Борис? — Рита рядом со мной.

— Есть. Много. Они страшно злые.

— Ой, смотри, сколько малины! Иди сюда...

«В какой я деревне живу».— «Близко?» — «Рядом».— «Ты в избе живешь? Можно посмотреть твое жилище?» — «Конечно. Пойдем».— «Это не очень далеко?» — «Да нет же, вот здесь за дорогой, там овраг, ручей и деревня. Хозяйка одинока, и сегодня она на сенокосе».— «Она молода?» — «Очень. Ей шестьдесят лет».— «Ха-ха! Ты скучал здесь? Правда, скучал?» — «Сюда, сюда сворачивай... Вот и деревня... Моя изба. Проходите, мадам, прошу вас...» — «Господи, как ты здесь живешь? Никогда не была в избе.

Окошечки. Печки. Это что?» — «Умывальник».— «Боже мой, сколько мух! И темно... Кто вот здесь спит?» Я взял ее на руки и положил на кровать... «Здесь жестко. Это с непривычки. Ты скучал обо мне?» — «Очень».— «Войти может кто-нибудь?» — «Нет, я запер дверь.» — «Ох, Боренька, подожди, вот так. Милый мой...»

Я стою у окна. На дороге прыгают воробьи. Сколько их? Один, два, три, четыре...

— Борис, ну, может, так... Ведь многие сходятся и живут. А любовь потом приходит...

— Рита...

— Ну, не буду, не буду. Иди сюда. Сегодня мы последний раз встретились. Иди сюда. Я уезжаю.

— Куда?

— Это неважно. Сначала на юг, в Крым съезжу, а там видно будет...

— Ты хороший, Борис, наклонись,— она провела рукой по моим волосам,— ты будешь вспоминать меня? Будешь, я знаю...

Вскоре мы уходим к озеру. Поздно вечером уезжаем в Кедринск.

Квартира Николая на втором этаже. Свет в окне горит. Дверь не закрыта. Он в коляске, которая движется при помощи ручного рычага. Мы здороваемся, как будто ничего не случилось. Я ставлю на стол бутылку, закуски.

— Тебе можно, Николай?

— Вполне.

Он при помощи рук, одним рывком взбирается на стул. Поправляет ноги руками.

— Почему ты мне ничего не писал об этом?

— Я сам не знал,— усмехается он,— будь здоров!

Я шел к нему и заранее бодрился, чтобы и разговаривая с Николаем быть бодрым. Но он коротко и живо говорит о себе: в позвоночнике потревожен нерв, через год там должно набраться какой-то жидкости, потом зарастет, и все наладится.

— А пока,— он задирает штанины и показывает кости, обтянутые кожей, И набрасывается на меня с вопросами о деревне. Он внимательно слушает, сидя на стуле или перебирается в коляску. Покачивая головой, неслышно катается, то и дело задавая вопросы. Когда я рассказал, что и Баранова заставили прошедшей весной посеять кукурузу и на площади в девяносто гектаров ничего не выросло, он тихо произносит:

— Да, старые песни: усердие все превозможет, заставь дурака богу молиться, он и лоб разобьет. Как это страшно! Я слышал об этом. Но говорят как-то со смешком. С особым смешком, от которого пахнет юродством. Да, да. Я теперь читаю много, думаю... Вот и ты говоришь об этих диких вещах с какой-то издевкой над самим собой.

Не юродство ли это, приглаженное образованием? Юродство — древнейшая черта характера русских. «Я вот недавно читал,— кивнул он на стопку книг, лежащих на окне,— как люди, покрытые язвами, искалеченные, с бездумной радостью, паясничая, захлебываясь восторгом, глумились сами над собой перед толпой. И все это от их бессилия. Впрочем, ладно,— он засмеялся,— ты когда едешь в деревню?»

— Ухожу завтра утром. Кто у тебя убирает?

— Внизу шофер живет. Я с ним меняюсь квартирой. Буду на первом этаже жить. Его сестра приходит ко мне.

Он снова забрался на стул.

— У меня к тебе просьба, Борька... Передай Краевской, что я приехал.

— Зачем?

— Мне надо.

— Она сучка.

Он морщится.

— Не надо так. И не паясничай: я больше тебя знаю. Передашь?

— Хорошо.

В гостинице мое место уже занято. Я остаюсь ночевать у Николая. Разговаривали почти до утра. И странно то, что, когда, позавтракав с Николаем,

я ухожу от него, я не испытываю неловкости здорового человека перед калекой: он бодр, впереди меня выезжает на лестничную площадку, энергично пожимает руку.

...Познакомился с двумя молоденькими учительницами, они живут в домике рядом со школой. Двухэтажная, бревенчатая школа стоит на отшибе от Вязевки на берегу озера. Сейчас она пустует. Через школьный двор вьется тропинка, сокращающая путь между Клинцами и Вязевкой.

— Вот полюбуйся,— сказал мне однажды Баранов, когда мы проходили через двор. Я оглянулся, но никого не увидел.— Второй год живут, а окна газетками завешивают. И на кой черт таких присылают сюда?

Комнатка учительниц не велика, но когда заходишь, она кажется просторной. Потому что стены голы. Обстановка студенческая: две кровати, две тумбочки, стол, табуретки. Одежда подруг хранится в чемоданах и на вешалке под простынью. Одну учительницу звать Лениной, вторую Галей. Ленина воспитывалась в детдоме. Душой и внешностью она совсем девочка. Во время моего первого визита в домик говорили о школьниках, о воспитании. Ленина с ужасом на лице рассказывала о том, что творится в ее классе. Она покраснела и вышла из комнаты, сунув мне в руки записочки, отобранные у школьников, и сказав:

— Прочтите. Это ученики пятого класса.

На бумажках были написаны похабные стишки.

— Ходила к их родителям,— говорила Ленина,— те и не удивились ничему. А при мне как загнут, загнут на детей... Я и не хожу больше...

Бранила местных учителей. У всех у них семьи, хозяйство. Ни минутки в школе не задержатся, проведут уроки и разбегаются по домам. Тетради с проверки возвращают ученикам засаленными, в пятнах. Директор школы Гальянов требует от учителей завышения оценок, ведет себя грубо. Учителя молча с ним соглашаются. Ленина пробовала восстать. Сами же учителя сделали ей внушение: «Ты вот выйди замуж, нарожай детей, обзаведись хозяйством. Тогда посмотрим, какую песенку запоешь». А для учительницы Гайдабуровой, правой руки директора, сено — он, зерно — она.

— Я не знаю, как я тут буду работать,— складывает Ленина свои тонкие ручки на груди,— уехать бы. Но куда пойдешь?

Галя старше своей подруги. О школьных делах говорить не любит. Вспоминает Москву, где жила, училась, где остались ее подруги. Даже в магазин она ходит в туфельках на высоких каблучках, с подведенными бровями. И красивое лицо ее постоянно выражает неприступность, гордость и презрение к окружающему. Зашел разговор о деревенских парнях, она брезгливо поморщилась.

— Такие грубияны, хамы... Фу!..

В Заветах живет молодой парень Гришка Миловзоров — плакатно-красивый блондин. После армии он скитался по городам, нигде не ужился с начальством. Вернулся в родные края и ведет жизнь деревенского забулдыги. Портит девок, таскается по вдовам, которые поят, кормят его.

Приехав сюда, Галя ходила в клуб, там и встретилась с Миловзоровым. Теперь сама удивляется: откуда у нее взялось столько сил, что вырвалась из рук Миловзорова, когда тот провожал ее. Недели две Гришка вел вечерами осаду домика. Хрипел за дверью:

— Выходи, Галина, все равно я не отстану. Я жениться на тебе хочу, слышишь?

Пришлось обратиться к участковому Верейскому. Но едва стемнеет, она все равно никуда не ходит одна...

Возвращаясь в Клинцы, я иногда захожу к учительницам «на огонек». Однажды Галя сказала:

— Пойдемте я вас провожу немного...

Вечер был тих и сух. Уже ползли сумерки из леса. Мы пошли по тропинке, бежавшей в сторону от Клинцов. И вдруг тропинка растворилась по поляне.

— Вот это моя полянка,— сказала Галя, останавливаясь передо мной,— правда хорошая?

— Хорошая. Еще не скошена почему-то...

Глядя мне в глаза, она подошла вплотную, вскинула руки мне на плечи и вдруг разрыдалась. Я оторопел.

Потом, утирая ее слезы, что-то говорил и шептал. Мы присели.

— Не плачь, не плачь,— говорил я,— в чем дело?

— Не знаю...

И опять плакала и говорила, сжимая мои руки своими сильными тонкими пальчиками, что она никудышная. Ничего она не знает, всего боится. Всю жизнь она готовилась к какой-то трудной, прекрасной жизни.

— А здесь пошлость, пошлость и больше ничего!

Потом она повела меня дальше в лес, показала сгнивший частокол, за которым домик, сложенный из серых камней, без крыши, с окнами, похожими на бойницы.

— Это монастырек был,— сказала она.

— Почему ты так думаешь?

— Мне так хочется. Я бы сейчас ушла в монастырь. Не смейся. Откуда это у меня, не знаю. Но вот проберусь сюда, стану и стою у стены. Вот здесь. Представляю тихих монашек. Все они в черном, и музыка играет. Нежная, грустная, чистая...

Она вздрогнула.

— Да, был бы монастырь, ушла бы от этой пошлости. Все лгут, лгут.

— Оставь такие мысли, Галя. Все это пройдет. Жизнь чертовски сложна. Ты только со школьной скамьи...

— Ах, какой я ехала сюда, Борис,— говорила она, не слушая меня,— ну ладно,— она улыбнулась,— оставим все это...

Разошлись мы поздно, она просила, чтобы Ленина ничего не знала о нашей встрече.

— Она совсем еще девочка, пусть ничего не знает...

А через неделю Галя уехала в отпуск, не простившись со мной. Ленина живет одна. С вечера запирается, читает книги. Хотела съездить в Тамбов, где находился ее детдом, писала туда. Из горсовета ответили, что детдом переведен куда-то на юг. Без подруги Ленина стеснялась встречаться со мной, боясь разговоров. И я к ней не захожу...

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

В четверг я заглянул утром в правление. Бухгалтер Иваныч подает телефонограмму: Гуркин вызывает меня срочно в контору, на попутной машине доезжаю до Сорокина, от Сорокина пешком. С начальником сталкиваюсь в коридоре конторы.

— А-а, сын, заходи. Заходи, заходи... Экий вы народ пошел обидчивый... все к Самсонову да к Шусту ходишь, а ко мне ни шагу. Садись за стол, пиши докладную о состоянии дел... М-м... Составь список нужных материалов.

— И то и другое я писал уже не раз,— угрюмо говорю я.

— Пиши, пиши, да побыстрей! Приехали из райкома. В два часа планерка в тресте. И ты будешь присутствовать.

Он хватается за голову, берется за телефонную трубку, но никуда не звонит.

— Кто приехал, Холков?

— Нет. Второй секретарь Замятный, зоотехник, еще кто-то.... Черт! Самсонов как знал — уехал в командировку! Пиши.

Он куда-то уносится.

В четырнадцать ноль-ноль сидим с ним за длинным столом, покрытым зеленым сукном. Вон Замятный, зоотехник Варварова. У нее узкое лицо, огромные глаза, окруженные синевой. Она курит и кутается в пуховый платок. Рядом с ней завотделом по строительству в колхозах Иванов, мой ровесник. Я встречался с ним в деревне. Мы киваем друг другу.

Голый череп управляющего поднялся над торцом стола.

— Все собрались. Гуркин, твой мастер здесь?

— Я здесь.

— Начнем...

— Товарищи,— Замятный провел по столу ладонью,— к нам поступили сигналы о том, что строительство свинарника в деревне Клинцы и коровника в деревне Заветы опять затягивается. На носу осень, товарищи. Вы понимаете, чем это грозит? Были постановления, решения, брали обязательства. А дела подвигаются туго. Почему? В чем дело?

Молчание.

— Ну, говори ты,— кивает управляющий на Гуркина.

Гуркин встает.

— Согласно постановлению бюро парткома и решению, принятому на бюро райкома от второго июня сего года, мною были выделены дополнительные бригады рабочих в колхоз. Мы завезли туда весь необходимый материал, начиная, так сказать, от гвоздя и кончая шифером. Мы устроили там складской пункт. Руководит там инженер Картавин,— Гуркин кивает в мою сторону.— За последний месяц выполнено работ на сто пятнадцать тысяч рублей, что по сравнению с прошлыми месяцами есть значительный скачок, так сказать. В процентном отношении...

Он говорит как по написанному. Говорит долго, приводит цифры выполнения. Наконец обрушивается на Баранова, который срывает работу тем, что не дает лесоматериалов.

— Я отослал туда лучшую из лучших бригад бетонщиков! — входит он в раж,— там самые лучшие бригады плотников! Дальше, товарищи, так продолжаться не может. Не может! Люди начинают простаивать, выработка падает. Нужно что-то предпринимать.

Он садится, свирепо озирается, утирая лицо платком.

Замятный обращается ко мне:

— Что вы скажете?

— Нужно вначале заготовить пиломатериалы,— говорю я,— потом присылать две бригады хороших плотников. Они за полтора месяца все там сделают.

— Как же заготовить эти лесоматериалы? Вы же знаете — колхоз не в состоянии сейчас это сделать.

— Этого я не знаю. Пилорама там ни к черту не годится. Ее давно пора сдать в утиль. Энергии там тоже нет.

Управляющий берет трубку, вызывает своего заместителя Брунштейна.

— Ты появился, Марк Осипович? Зайди ко мне.

Толстый Брунштейн, узнав, в чем дело, изумляется:

— Как же так? Что ж это такое? Я сам лично посылаю туда слесаря. Я отослал туда запасные пилы, я достал новый шкив! Почему вы до сих пор молчали? — Это он ко мне.

— Я не молчал. Я докладывал начальнику, обращался в партком.

— Ну почему вы не обратились ко мне?

— У меня есть начальство. И к вам, кажется, никто из мастеров не обращается с такими вопросами.

— Гм...

Управляющий спрашивает меня, сколько выпиливают за смену досок. И этим вопросом выправляет неверный ход Брунштейна. Заговорили о пилораме, об энергии, о ГЭС. Все говорят много, громко, все возмущаются.

Если б сейчас была весна, возможно, основной вопрос опять бы погряз в разборе мелочей, причин. Но...

— Если мы не придем к какому-то решению, придется ставить вопрос на бюро райкома,— Замятный оглядел всех.— На бюро разговор будет серьезный.

Молчание. Управляющий говорит то, что мог бы сказать и полтора года назад:

— Что ж... Придется везти доски отсюда. Повезем в лес дрова.

Все оживились. Брунштейн протягивает мне блокнот, говорит, чтобы я написал, каких и сколько нужно досок.

— Завтра же начнем возить. Дорога как там? Завтра я сам приеду...

На следующий день приползают к складу шесть лесовозов с досками.

Пришла новая бригада плотников. Расселив их, веду к свинарнику. И мне весело, я уже вижу конец работы. Но что это?

В деревню въехал «козел» управляющего. Шофер Николай вылез из машины, озирается. Я спешу к нему.

— Садись, Борис, поехали!

Едем в машине, и Николай рассказывает, что «Восходу» еще выделили деньги на строительство птичника, овощехранилища. В колхозе «Красный пахарь» надо строить мастерские и коровник, в «Искре» — два свинарника, а в «Заре» — телятник и коровник. Начальство все в райкоме, его послали за мной...

А в десятом часу вечера прохаживаюсь в маленькой комнатке, составляющей, наверное, сотую часть объема двухэтажного длинного дома — бывшей солдатской казармы. Здесь живут рабочие разных профессий. В длинном коридоре, разделяющем дом на две половины, у дверей, стоят помойные ведра, детские горшки. Когда кто-нибудь проходит, поднимается туча мух, перегородки между комнатами обшиты сухой штукатуркой. Не надо напрягать слух, чтобы узнать, что творится у соседей. Соседи слева от меня молодожены, справа живет пожилой плотник с семьей. Я смотрю в окно.

«Картавин там освоился в местных условиях, о нем хорошо отзываются, он и будет вести работу».

Это говорил Гуркин, за ним Холков. Составили график. Построить нужно быстро. Холков сказал, что обязательно включат в план тресту колхозную стройку. Если так, то ничего, но когда это включат?

Дверь распахивается. Входит Маердсон, за ним все остальные. Приехал в коляске Николай. Даже Федорыч здесь. Маленькая комнатка, где я изредка буду только ночевать,— солидный предлог для солидной выпивки.

— А ты, братец мой, проспорил,— Федорыч берет меня за плечо и с детской радостью сообщает: — Штойфа-то тю-тю, нету! Убрали!

— Куда ж его? — смеюсь я.

— В сметный отдел перевели. Я говорил тебе...

Маердсон замер со стаканом в руке.

— Тише...

У соседей слева что-то скрипит ритмично и со скрежетом. Стон. Вздохи. Глухой голос, шепот и шлепанье босых ног.

— Спокойно, ребята, за будущего гражданина! Не надо шуметь.

Федорыч еще не знает, какой я ему устроил подвох. Подсаживается ко мне, рассказывает о делах в городке.

— Жуков у тебя работает? Никуда не перевели?

— Нет,— качает прораб головой.

Я говорил с Холковым и с управляющим. Жуковцев и еще одну бригаду плотников обещали прислать ко мне.

Окончание следует



Константин ВАНШЕНКИН

БАЛЛАДА О ДВУХ СОСТАВАХ

...И различил на путях,
Глядя вперед отрешенно,
Слабо дрожащий впотьмах
Свет хвостового вагона.

Кто-то оставил состав,
Как оставляют телегу
В поле, беспечно устав
И приготовясь к ночлегу.

Разные есть рубежи.
Внемля смертельному свисту,
Крикнул помощник: «Держи!»
Тут своему машинисту.

Это на их языке
«Затормози!» — означало.
Но в роковом тупике
Время составы сближало.

Спали и в этом, и в том.
Как под большим напряженьем,
Словно гигантским кнутом,
Било второй торможеньем.

С полок посыпались все
В стоне напрягшейся стали...
В первом, где стекла в росе,
Люди по-прежнему спали.

Поле. Туманный прокос.
Ночь. Деревушка над склоном.
Замерший электровоз
Рядом с последним вагоном.

И бесконечная дрожь,
Что не давала усесться...
Остановившийся нож
В двух миллиметрах от сердца.

⊡ ⊡ ⊡

У колодца и у колонки
Ведры подняты тяжело...
От повестки до похоронки
Время, кажется, вмиг прошло.

Снова ночи весной белесы,
Надрывается соловей,
Снова женские эти слезы
С каждым вечером солоней.

⊡ ⊡ ⊡

В Серпухове или в Оренбурге
Дальний смех звучит на все лады.
Девочек мальчишечьи фигурки
Около мерцающей воды.

Ах вы, салажата-салажонки,
Только б с вами не было беды.

Девочек мальчишечьи саженки
Посреди серебряной воды.

Солнце в воду сесть уже готово.
И почти не видно ничего,
Кроме братства этого святого,
Воробьиных ребрышек его.

ОРАТОР

Элегантен, тщательнейше выбрит,
Болтунов былых от плоти плоть.
Он, как прежде, на трибуну выпрет
И пошел без устали молоть.

Не прими за чистую монету
Мелкую словесную лузгу.
Ничего в действительности нету
В этом гладковыбритом мозгу.

◻ ◻ ◻

Средь поэтов, дивный дар имевших,
Жил в рассветной гулкой синеве
И зверей, как братьев наших меньших,
Никогда не бил по голове.

Но и не читавший это Даррел
Никого из всех своих зверей
Никогда ни разу не ударил,—
Дал бы укусить себя скорей.

Жалко наших северных оленей,
Жалко зайцев средней полосы,
Жалко новых лисьих поколений,
Жалко и разбойницы-осы.

Каждой перевернутой страницы,
Где о жизни сказано светло,
И несчастной маленькой синицы,
Что разбилась сдуру о стекло.

ДЖИНН

Выпускается джинн из бутылки
И отчетливо виден сквозь зной,
Независимо чешет в затылке
Он затекшей своей пятерней.

Но как будто включая турбину,
Выдирает из почвы самшит
И, со свистом вращая дубину,
Он спасителей бедных крушит.

25

Леонид ЖУХОВИЦКИЙ



Повесть

Рис. О. Яхнина

Тогда мне только исполнилось двадцать четыре, и мы впятером — Федька, я и еще трое — были в Крыму на халтуре. Хотя много ли это слово скажет? То была счастливая халтура молодости, когда деньги в общем не так уж и важны, а важно лето, море в полгоризонта, ухоженный пляж в ста метрах от рабочей площадки, набережная с ее пестрым поздним гуляньем, «павильон» под старой шелковицей — наш фанерный сарайчик на четыре койки, не скудеющая бутыль местного вина в ведре у колодца, базарчик, заваленный крупными помидорами, ранними дыньками и золотисто-красными персиками, и горы, горы в близком отдалении...

Да и сама наша халтура давала радость.

Мы подрядились расписать три стены — две в клубе пансионата, одну в столовой,— и эти большие поверхности, доставшиеся нам серыми и шероховатыми, теперь зависели от нас и дразнили обилием возможностей. Утвержденные когда-то эскизы давно затерялись, нам дали чьи-то наброски — ни масштаба, ни цвета,— твори, не хочу! Федька выкинул лозунг: «Сделаем халтуру халтурно!», и мы ухватились за веселую формулировку. Пусть другие обманывают заказчика, выдавая вместо искусства халтуру,— мы тоже обманем: вместо халтуры — искусство!

Главным у нас был мужичок со странной фамилией Бондарюмко — видно, еще над прадедом подшутил какой-нибудь пьяный писарь. Звали его Володя, возраста не имел: может, тридцать, может, пятьдесят. Серый мятый костюм с мятым же галстуком не снимался даже в жару. Единственный из нас он не имел отношения к живописи и единственный из нас уже был членом Союза художников. Как попал? А черт его знает! Год назад он вступил в кооператив на Бульварном кольце — думаю, это сделать было потруднее.

Бондарюмко был человек ценный. Он вел все наши дела, заключал договоры, оформлял бумаги — нам оставалось только расписывать стены. Время от времени он совал нам какие-то ведомости, раза два в месяц давал деньги: то по сорок рублей, то вдруг по сотне. Мог бы, в принципе, не давать ничего — кормили бесплатно, а в Володиных финансовых интригах никто из нас и приблизительно не разбирался.

Жил Володя не с нами, а в отдельной комнатке при клубе — иначе, говорил, местные начальники неправильно поймут...

В тот вечер мы сидели у себя в «павильоне», вернее, рядом, за вкопанным в землю тесовым столом. Попискивал транзистор. Двое играли в шахматы, я «болел». Тут же Бондарюмко что-то делил и множил в ученической тетрадке. Мой друг Федька, приземистый, лохматый, космы на глаза, просто сидел: то молчал, то посвистывал. Медленно пустела бутыль, медленно уменьшалась горка персиков. Большая голая лампа — провод свисал с шелковицы — раскатала по струганым доскам стола словно бы белый блин, ее яркое, с золотистым отливом сияние обесцвечивало звезды.

За полосой зелени, отделявшей наш сарайчик от ограды пансионата, колебался негромкий шумок: то ли дышала набережная, то ли ниже, на пляже, ровно колыхался прибой.

Федька, не умевший пить медленно, был уже хорош, он стал задирать Бондарюмку:

— Сыми галстук! Ну, сыми галстук!

— Не сыму,— бормотнул Володя, не поднимая головы от тетради.
— Тогда погладь.
— Не буду. Платить станут меньше,— спокойно объяснил Бондарюмко. Он был не обидчив.
— Это еще почему?
— Так я ихний. А наглажусь, стану ваш.
— Не станешь,— возразил Федька и шлепнул ладонью по колену: его джинсы были в разномастных заплатах.
— А это одно и то же, что мода, что рванье. Ты вот, надо будет, костюм заведешь. А мятый галстук все равно не наденешь. Не ихний.
Тут из-за ограды, с набережной, послышалось пение: сильный женский голос вел старинный романс. За шумом и шелестом, за голосами, за писком нашего транзистора слова смазывались, оставалось лишь ощущение силы и артистичности. Магнитофон, что ли, врубили?
Я прикрутил колесико приемника и тронул Федьку за локоть:
— Ну-ка, стой.
В тишине сразу понялось, что голос живой.
— Концерт, что ли? — без интереса предположил Бондарюмко.
Романс кончился, на набережной пелось другое, голос поднимался и падал. Я потянул Федьку за плечо:
— Пошли?
Он лениво ругнулся.
Я пробежал между деревьями, между кустами сирени и в два движения перемахнул зубастую железную ограду — мы и на пляж так лазили, чтобы не обходить. На набережной я сразу увидел довольно плотную толпу: человек пятьдесят или больше грудилось вокруг просвета, откуда и слышался голос. Я продавился внутрь и увидел поющую.
Рослая девушка лет двадцати, а может, восемнадцати, сидела прямо на асфальте с гитарой на коленях. Черная майка со странным вырезом сзади открывала загорелые плечи и полспины. Широкие желтые штаны у щиколоток были перехвачены тесьмой, ноги босы.
Даже по вольным южным меркам вид был довольно экстравагантный.
Потом я про вид забыл: уж больно здорово она пела. В то время я больше любил, когда поют как бы для себя, самовыражаясь. Она же свои песни играла: жест, взгляд, придыхание, резкая смена интонации. Иногда она по три раза повторяла ударную строку или вообще переходила на декламацию.
Это было откровенное актерство. Но ведь и актерство — искусство. Довольно быстро я перестал следить за манерой, приемами, сделанностью жеста: захватило. И теперь все казалось уместным: и вырез в полспины, и желтые штаны с завязками у щиколоток, и театральные жесты, и резкие взлеты голоса, и резкий — по контрасту — шепот, и декорация — фонарь сбоку и море за спиной.
Слушатели стояли вдоль парапета, вдоль пансионатской ограды, сидели прямо на мостовой. Я тоже сел на асфальт; он был нагрет за день, а мои шорты если чего и боялись, так уж точно не грязи. Сидя на мостовой, слушалось еще лучше: естественней сочеталось с ее босыми ногами, толпой вокруг и морем за спиной.
Ей хлопали. Она делала паузу для реакции и пела опять.
Потом — песенный репертуар, видно, кончился — она перешла на стихи. Цветаева, Пастернак, кто-то из современных. Читала она хуже, чем пела, с надрывом, и жесты словно выпирали... Но я тут хлопали, я же первый — слишком неожидан был этот подарок, импровизация на асфальте с морем за спиной.
Мимо гуляли. Кто-то останавливался, примыкая к толпе, кто-то проходил, не прислушиваясь, перешагивая через мои кеды. Два парня, сидевшие почти у ее ног, курили; два дымка всплывали от ее колен и тоже, как фонарь или море, казались частью декорации.
Я машинально попробовал схватить ее лицо (уже тогда сидела во мне эта привычка), но не получалось; осталось лишь ощущение щемящей, притягивающей, беззащитной вульгарности — ее было жалко, как ребенка, который кривляется под взрослого, не понимая, что кривляется. В принципе, тогда я ценил в актерах благородную сдержанность — Николай Симонов, Жан Габен. В ней же не было ни сдержанности, ни благородства, она открыто «подавала себя», и я не мог понять, чего в этом больше, наивности или порочности.
Гораздо позже понял — это было нормальное актерское начало.
Благородная сдержанность, если ты не гений, стены не прошибает — по крайней мере, в молодости. А наивность прет, как танк, чем меньше сомнений, тем лучше. Прет, как танк, и попутно учится, обретает опыт, порой даже индивидуальность проявляется быстрей — жизненные углы обдирают наносное, остается свое. Если уж человек занялся искусством и не отступается, рано или поздно хоть чему-то да выучится. Только

один набирает личность в тишине и безвестности и уж потом, если хватит сил и характера, разом прыгает через три ступеньки на четвертую, а другой к тому времени, упорно карабкаясь, оказывается на той же самой четвертой ступеньке. Короче, так на так и выходит. Что лучше? А уж это кому как. Скорей всего, как вышло, так и лучше: опыт безвестности и опыт карабканья стоят друг друга...
Видно, репертуар у юной артистки был невелик, или устала, или еще что — она замолчала и, пока хлопали, отошла шага на три и села на асфальт рядом со скуластенькой загорелой девочкой в коротких черных шортах, черной водолазке и черной же мужской шляпе с вялыми полями. Та курила. Певица в желтых штанах молча взяла ее сигарету, затянулась пару раз и вернула хозяйке. Сидевший тут же громоздкий большеротый малый достал из кармана начатую пачку, но артистка покачала головой.
Скуластенькая поднялась, сняла свою шляпу — и вдруг пошла по кругу, держа ее в руке. Окружающие сперва не поняли. Тогда она сказала с приятной улыбкой:
— Вы не хотите помочь бедным студентам?
Дочерна загорелая и в черном, она походила на ловкого лукавого чертика.
Кто-то отошел. Кто-то растерянно зашарил по карманам.
Артистка крикнула негромко:
— Не надо!
Скуластенькая с той же улыбкой, не торопясь, шла по кругу.
— Ну, я прошу тебя! Иначе больше не буду петь!
Прозвучало резко и чуть капризно. Скуластенькая словно бы не слышала, шляпа в ее руке не дрогнула. Остановившись рядом со мной, она спросила проникновенно:
— Никто больше не хочет помочь бедным студентам?
К счастью, в заднем кармане что-то брякнуло. Я выгреб мелочь и кинул в шляпу. Скуластенькая не поблагодарила, просто повернула голову, и ее приятная улыбка как бы досталась мне.
Я спросил:
— Она артистка?
Вопрос был глуп, но умного в тот момент не оказалось.
— Студентка, ответил чертик со шляпой, первый курс ГИТИСа. Будущая звезда.
А кто ее мастер?
Мой школьный приятель, упорный, но бесталанный, уныло домучивал театральное училище, и это давало мне возможность при случае щегольнуть профессиональной терминологией.
Скуластенькая чуть замялась:
— Мастер? Пока секрет.
— А фамилия? по инерции давил я, хоть и ясно уже было — без толку.
— Тоже секрет, уже невозмутимо ответила скуластенькая.
— А как же ее узнать, когда станет знаменитой? На афишах портретов нет.
Моя собеседница соображала быстро:
— У нее очень редкое имя: Анжелика. Так что узнаете... Может, еще кто-нибудь хочет помочь бедным студентам?
Толстая женщина похвалила талантливую девушку и бросила в шляпу два медяка.
Сидевший с ними малый подошел и тронул скуластенькую за плечо:
— Люба...
Она сказала:
— Ага.
И все трое быстро ушли.
Я медленно поплелся к воротам пансионата — через ограду было короче, но теперь спешить мне было некуда.
Ребята так и сидели за столом, только бутыль опустела.
— С утра сгоняем,— утешил меня Федька и повернулся к Володе: — Пятерку дашь?
— Завтра раздам официально,— возразил Бондарюмко.
Мы пошли спать.
Назавтра я полдня прочесывал пляжи и болтался по набережной. Никого не было — в смысле, не было ее. Но едва стемнело, с набережной опять послышался тот же сильный голос. И как я пропустил?
Перемахнуть ограду было делом секунд.
На сей раз она была в белой юбочке, короткой, как для фигурного катания. Но так же сидела на асфальте, и так же на коленях ее лежала гитара. И так же встала потом легким пластичным движением. И песни пела те же, и жесты были те же. Выступление.
Теперь я захватил место почти у ее ног. Раза два она, вроде, взглянула на меня — впрочем, может, просто проверяла реакцию публики...
Я прекрасно понимал, что это дурость, беспредельная дурость. Ну что я о ней знал?

Будущая звезда, мастер не известен! Словом не перемолвился. А влюбиться в роль — все равно, что целоваться с портретом,— забавы для провинциальной восьмиклассницы...

Понимать-то понимал. Но вот сидел на асфальте у ее колен, и рад был, что одна пыль на моих джинсах и ее юбчонке, и когда, читая стихи, она приближалась на полшага, балдел от счастья, потому что то ли чувствовалось, то ли чудилось тепло ее загорелых ног.

Вчерашние стихи она отчитала, перешла к чему-то новому — и тут вдруг произошел паскудный, мало понятный инцидент.

— Я не приеду к тебе на премьеру! — начала Анжелика с обычной своей аффектацией, и вдруг из слушающей толпы громко прозвучало:

— Ну и не приезжай!

Я растерянно обернулся на голос. Баба лет тридцати пяти в толстых золотых серьгах злорадно повторила:

— Не приезжай, обойдемся! А я пошла.

Это было как непристойный звук за праздничным столом.

От неожиданности никто и слова не вставил, и злобная баба спокойно ушла, победно сверкнув в свете фонаря крупными, редкими, вперед торчащими зубами.

Анжелика сбилась с ритма и все же продолжала читать, будто ничего не случилось, только фразы теперь звучали мертво да жесты смотрелись деревянно.

Стихотворение было длинное. Анжелика дочитала до конца и почти бегом бросилась к скуластенькой подруге. Они быстро пробились сквозь толпу, громоздкий большеротый парень шел впереди тараном, гитара на плече.

Я кинулся следом и, уцепившись взглядом за светлую голову парня, пристроился шагах в десяти сзади.

Парень был в мешковатых, каких-то будничных брюках, в нескладной рубахе с длинным рукавом, и смотрелся, как глава семейства на отдыхе — дачный муж, глубоко свой человек, которому стараться не перед кем и незачем. Вот только кому — свой? Я надеялся, что Любе, с ней он монтировался органичнее, но кто скажет наверняка?

За спасательной станцией начинался дикий пляж, пустой, неухоженный и без фонарей. Они свернули туда, сразу сбавив шаг. Я услышал, как скуластенькая Люба произнесла своим мягким приятным голосом:

— Просто сука.

Анжелика отвечала невнятно, захлебываясь словами.

— Не стоит разговора,— оборвал большеротый парень, и дальше они шли молча.

Я все плелся сзади. Зачем? Ведь прекрасно знал, что подойти нельзя. Кому приятен свидетель позора? Но тащился тупо, как бычок за телегой. Под ногами скрипела галька; я боялся: вдруг обернутся, но никто не оборачивался, наверное, потому, что и у них под ногами скрипела галька.

Потом они остановились.

Чтобы не выглядеть вовсе уж глупо, я сел на камни и уставился на море в лунных отсветах: наблюдать природу — какое-никакое, а занятие. От луны я звезд было довольно светло, но я надеялся, что не слишком уж лезу в глаза, что огни поселка за спиной растворяют и скрадывают мой силуэт.

Парень тоже сел на гальку, осторожно положил гитару и стал швырять камешки в воду. Всплески слышались один за одним, легкий шум наката не перекрывал их.

— Пошли? — сказала вдруг скуластенькая.— Пашка, давай, а?

— Кайфа нет,— возразил парень.

Я сидел неподвижно, тупо думая, что вот они уйдут, а я останусь, чтобы стало ясно: пришел вовсе не из-за них.

Но уходить никто и не собирался.

— Жель! — позвала Люба.— Пошли? Пашка, достань полотенце.

Анжелика не ответила, но встала. Они не спеша разделись, бросив все свои тряпки на гальку, и пошли к воде. А парень все кидал камешки в воду, размеренно и равнодушно.

Ничего необычного в этом не было: традиционное курортное развлечение, невинный вызов условностям, бегство от цивилизации на дикий пляж. И волновало меня не голое ночное купание, а другое: кому этот медлительный малый, свой человек, подаст потом полотенце.

А еще я подумал почти машинально, что все это здорово смотрелось бы на холсте: светлая тьма, лунные пятна на воде и у самой кромки два тела, похожих на лунные пятна...

Молча поплавав, девушки вышли, и парень набросил полотенце на плечи Любе, а Анжелика полезла в сумку за своим.

Люба заметила меня и сказала негромко:

— И тут зрители.

— Лишь бы не ослеп,— безразлично огозвалась будущая звезда.

Они оделись и ушли — теперь парень с гитарой на плече замыкал строй, будто опасался, что я наброшусь сзади.

А я так и сидел на камнях, надеясь, что толком меня не разглядели. Сидел и бессмысленно твердил про себя: «Вот так — луна, блики и две фигуры. Блики по диагонали и две фигуры...»

Любопытно, что лет через пять я это все-таки написал — внезапно, по памяти, дня за два. Кажется, получилось...

Утром я пошел на рынок с холщовой общественной торбой и вдруг увидел их, всех троих, у автостанции. Анжелика была в своей белой юбочке, у ног ее стояла небольшая, туго набитая сумка, тоже белая, с алой пантерой на боку. Громоздкий парень держал два рюкзака, из одного торчал гриф гитары. Скуластенькая Люба, одетая чертиком, даже в той же вислой шляпе, с удовольствием покусывала крупную грушу. Автобус уже фырчал рядом.

С дурацкой своей торбой — хорошо хоть бутыль не взял! — я вскочил в автобус.

До вокзала было минут тридцать, время немалое, и я успел свой поступок обдумать и оправдать.

Ну что я знаю о ней, думал я. Студентка, да? А чья? Секрет! А может, и не студентка вовсе, поступала, да не прошла. И фамилия — секрет. Вот уехала бы сейчас — и с концами. Жди потом, пока появится на афишах редкое имя Анжелика!

Нет, что и говорить, поступок мой был разумен, даже расчетлив, и, главное, в момент сообразил — вот ведь молодец! Но твердя себе все это, я сидел, вжимаясь в пыльную спинку сиденья, и руки терзали торбу, и чувствовалось, как густеет на щеках свекольный жар стыда. Ну, куда еду, дурак?!

Они сидели впереди, парочка рядом, Анжелика через проход, рука на спинке сиденья. Она была в той же черной майке без спины, густые русые волосы схвачены тем же обручем — видно, гардероб будущей звезды был до времени ограничен. Я для нее не существовал, и слава богу — сейчас мне вполне хватало волны волос на загорелом плече и сумки у ног, в проходе. Но скуластенькая оказалась понаблюдательней: чуть повернув голову назад, бегло улыбнулась и, тактично выждав паузу, что-то шепнула подруге через проход. Анжелика едва заметно скосила глаза — и все. Однако рука на спинке сиденья легла безвольней и элегантней. Артистка!

Поезд уже стоял. Они прошли в вагон. Я остался на перроне, а отдалении. Потом все трое вышли, уже без вещей, и, отойдя немного, выкурили по сигарете. Скуластенькая мазнула по мне хватким взглядом — и вновь беглая улыбка. Насмешка? Поощрение?

— ...Остается пять минут,— нечетко прозвучало в вокзальном шуме и, через паузу, еще раз. Люба взяла парня за руку и потянула к вагону. Анжелика осталась на перроне. Мне создавали условия.

Я почти физически ощущал, как рушатся секунды. А, черт с ним!

Я подошел, на ходу придумывая фразу — не успел, только начало кое-как слепилось:

— Простите... Вот вы тогда пели на набережной...

Не знаю, чем бы все это кончилось, но актриса мне помогла — спросила с надеждой и тревогой:

— Вам понравилось?

Надежда была сыграна, тревога сыграна, но как же я был ей благодарен за эту гуманную игру!

— Не то слово! — пролепетал я и развел руками.— Даже не знаю, как сказать...

И снова мне помогли:

— Самое приятное, когда не знают, как сказать.

— Я прямо рядом сидел, как говорится, у ног...

— Я вас помню.

— Вот, как говорится... с тех самых пор... Словом, у ваших ног.

Фраза вышла — пошлей не придумаешь. Хорошо хоть улыбнуться сумел, дурак косноязычный.

Анжелика тут же отыграла мою улыбку своей.

Я все видел и все понимал — молодая актриса играла общение с представителем восторженной публики,— но плевать я хотел на эти детали! Она была рядом, я с ней говорил, да что там, мог, в принципе, и за руку взять...

Все мои тормоза летели к черту, я бормотал, уже не контролируя, что несу и как выгляжу:

— Вообще люблю песню, кого только не слушал... Но вот так никогда не действовало... Вы знаете, может, и не увидимся больше... Глупо, сам понимаю... чистый символ, просто знак благодарности...

Не решившись сделать шаг, я стал целомудренно тянуться губами к ее щеке. И вдруг девушка чуть повернула лицо — мой скромнейший поцелуй пришелся в угол рта. Тогда, наконец-то бросив проклятую торбу, я схватил ее за плечи...

— Молодые люди! — крикнули над ухом. А, проводница! Я оглянулся — поезд уже шел. Анжелика, всплеснув руками, вскочила в тамбур. Я без колебаний прыгнул за ней.

— А как же?..— испугалась она.

— До первой станции!

Анжелика вдруг высунулась из тамбура, крикнула что-то, замахала рукой — другой держалась за поручень,— и рослый морячок, в три прыжка догнав наш вагон, весело швырнул в тамбур мою торбу, большую в грязную. Я стоял ошалело. Будущая звезда наклонилась, подняла с затоптанного пола нашу рыночную тару и вежливо подала мне.

Проводница закрыла наружную дверь — сейчас спросит про билет. Я схватил Анжелику за руку и потащил через весь вагон в дальний тамбур — я не понял, как и почему с ней вдруг стало легко.

Вагон был плацкартный, люди жили своей жизнью, устраивались, молодая мамаша прилаживала на полу между полками дорожный пластмассовый горшок. Скуластенькая со своим парнем сидела у окна, фетровая шляпа лежала между ними на столике. Они проводили нас взглядом и, кажется, не очень удивились.

В тамбуре я стал объяснять:

— Понимаешь, нельзя так. Не могу. Не могу я без тебя. Изуверство! Ведь даже адреса не знаю!

Последний аргумент я почти выкрикнул, и ее глаза послушно округлились, будто и ее привело в ужас, что мы больше не увидимся. Тогда я прижал ее к себе и стал целовать в щеки, в висок, в макушку, бормоча в перерывах:

— Изуверство какое-то, прямо шаманство. Где ты научилась-то? Бьешь прямо наповал! Сдержанности не хватает, но черт с ней, тебе и не надо...

— А вчера одна женщина...— начала Анжелика, и голос дрогнул.

— Да пусть застрелится! — заорал я.

В тамбур вышел какой-то мужик и прочно пристроился курить. Я отвернулся к дверному стеклу. Анжелика попросила у мужика сигарету.

Когда мужик докурил и ушел, я отобрал у нее сигарету, придавил и швырнул в угольный ящик.

— Нельзя, сказал я,— голос огрубеет. Ты жв артистка.

— Уже начал опекать?

— Ага. Холить и лелеять.

Она сказала с улыбкой, но довольно твердо:

— Не надо относиться ко мне лучше, чем я сама к себе отношусь.

Я со вздохом пообещал:

— Ладно. Только ты сама к себе относись хорошо.

Потом она спросила:

— Тебе, правда, понравилось, как я пою?

Я полоснул ладонью по горлу:

— Вот так!

Она вдруг догадалась:

— Вчера ночью на пляже не ты за нами шел?

— Я!

Теперь я произнес это с гордостью.

— Не стыдно? Девушки купаются, а ты смотришь.

— Не-а! — сказал я искренне.— С вами же был парень. Ему можно?

— Он Любин мальчик.

— Тогда, значит, я твой...

Тут же, в тамбуре, я взял у нее координаты. Ручка нашлась, бумаги не было, я записал на ладони. Адрес, телефон — все было чужое и временное. Она действительно училась в театральном и перешла на третий курс, но с двумя хвостами, почему и старалась не афишировать свою принадлежность к славной кузнице сценических кадров. Жила будущая звезда то в общаге, то у подруг — из трех данных мне телефонов главным и самым надежным был Любин.

Я проехал с ней до Джанкоя, уже в сумерках вышел на низкий перрон. Анжелика стояла на ступеньке.

Напоследок я решился:

— Анжелика! Только не ври, ладно? Я — понятно, я слышал, как ты поешь, любой бы одурел. А я-то тебе на фига?

Она, подумав, ответила:

— Я вдохновилась от партнера...

Через три дня, плюнув на все, я вернулся в Москву. Через два месяца она стала моей женой.

Федька, позванный в свидетели, рассудил вполне здраво:

— Старик, это же авантюра. На хрена тебе надо?

Я только улыбнулся дурной улыбкой.

Впрочем, некая прагматическая идея у нашего скоропалительного браносочетания все же была: Анжелика мечтала о кино, плела по этому поводу разные интриги, а кто-то ей сказал, что замужних студенток легче отпускают на съемки и вообще больше считаются. Потом, правда, оказалось, что это не так, но это оказалось потом...

Однако и без всяких практических реаонов я бы все равно женился на ней. Всеми своими костями и мышцами я понимал: с Анжеликой у меня должно быть все, в том числе и это.

Как сперва потянуло ее слышать, потом видеть, потом прикоснуться, так стремительно стало необходимостью ее ночное дыхание на плече. Но и этого было мало, нищенски мало: сжимая ее загадочное тело — и крепкое и безвольное сразу,— я так озверело тосковал по ней, будто она была не рядом, а за семью морями и тремя границами. Как морская вода, она не утоляла, а лишь обостряла жажду.

Чего же мне хотелось?

Наверное, вот чего: взять две жизни, мою и ее, и вмять их друг в друга, как два куска теста, перемешать, перемесить, чтобы и комка обособленного не осталось, чтобы все ее стало моим.

Странно, но она этому не противилась, наоборот, легко подчинялась и даже шла навстречу, так что довольно быстро в мое владение и пользование перешли ее актерские планы, женские тайны, привычки, слабости, подруги, соперницы, покровители, обидчики, успехи и провалы. Я узнал до тряпочки ее туалеты, что, впрочем, было не так уж сложно, ибо почти все они умещались в той самой белой сумке с алой пантерой на боку. В минуту спешки я даже гладил самый роскошный из ее концертных костюмов — желтые штаны с завязками у щиколоток...

Актриса, десять часов в день учившаяся притворству, Анжелика, тем не менее, не была лживой и, если я о чем-то спрашивал, отвечала правду, даже когда не хотелось. Впрочем, не хотелось ей редко: по женскому обыкновению, она практически всегда казалась себе правой, и все ее поступки были справедливы и хороши, и просто не было причин что-либо скрывать. О трех своих прошлых мужиках она рассказывала спокойно, анализируя и советуясь, как о прошлых ролях, неудачных, но все же сыгранных, из которых надо извлечь урок.

Почти сразу же по возвращении в Москву Анжелика переселилась ко мне. Хотя «переселилась» — слишком торжественно и неточно: просто я снимал комнату, она же кочевала, и как-то в субботу осталась у меня, в воскресенье тоже осталась, в понедельник пришла снова, а к четвергу это стало традицией и нормой.

Анжелика — вот уж не ожидал! — вкусно готовила, легко мыла полы и была экономна. Вообще наше с ней хозяйство с первого дня процветало, ибо мне заплатили за два плаката, потом пришел перевод от добросовестного Бондарюмко, да и будущая звезда хоть не много, но регулярно подрабатывала.

Дело в том, что в окраинных клубах, иногда в общежитиях Анжелика давала концерты на не ясных мне, да и ей самой, основаниях: пела под гитару, читала стихи, после чего ей из лапки в лапку совали конверт, в котором было рублей десять, порой и пятнадцать. Случалось, не совали ничего, просто пожимали руку. Эта лотерея разнообразила сценическую жизнь и приятно волновала.

Я, конечно же, ездил на все эти концерты, садился где-нибудь с края и зорко ловил реакцию зрителей, то есть делал примерно то, что скуластенькая Люба тогда на набережной, только пристрастней и суетливей, и с шапкой не ходил. Анжелика пела, читала, энергично жестикулировала, а сама время от времени косила глазом на меня, и я условным знаком командовал, петь ля еще или уйти, чтобы выйти на «бис», или исчезнуть вовсе — пусть зал досадует, что рано кончилось, а не что слишком затянулось. И до чего же сладко было, когда она подчинялась легкому движению кисти, как кукла-марионетка ниточке кукловода. Не из гордыни — какая уж тут гордыня! — просто казалось, что самое сокровенное в Анжелике, ее профессия, неверное, коварное ремесло лицедея, тоже отходит в мою собственность.

А после, ночью, мы часами мусолили детали концерта и нюансы приема, выискивали свои — ее! — промахи и жестко анализировали поведение зала: тут всегда было, о чем подумать, эта крепость без боя не сдавалась.

Мечтам о будущем, как правило, не предавались: в деле своем Анжелика, надо отдать ей должное, была трезва и знала, что между пьянящим успехом начинающей и устойчивой славой зрелого мастера лежит такая полоса пустынь и болот, что дай бог ноги донести...

Дней за пять до загса как раз и выпал такой концерт. Мы опаздывали, Анжелика металась по комнате, натыкаясь на мои подрамники и картоны, я ходил за ней, как костюмерша, с невесомыми деталями туалета, а скуластенькая Люба невозмутимо курила, сидя с ногами на низкой кушетке. Она училась на одном курсе с будущей звездой, но не на актерском, а на администраторском, в дальней перспективе директор театра — должность не бабская, говорила она, но ведь и я не баба.

Вообще в Любе что-то было, даже много всего. Ее ореховые глаза смотрели на мир с прищуром, безошибочно взвешивая и оценивая, что почем. Людей она понимала сразу, хотя, может, и не слишком глубоко, но в будущей деятельности ей глубже и не требовалось. А в приятной улыбочке ощущалась уверенность и даже некая опасная сила — ни разу не видел ее ни растерянной, ни обозленной, ни хотя бы раздосадованной. У меня даже шевелилась идея написать ее в тех летних шортиках и маечке, но с ружьем в маленьких руках: юная охотница с нежной кожей и бесстрастными, бесстрашными глазами. Дурак был, что не написал, все надо делать вовремя...

Анжелика вдруг остановилась и шлепнула себя по лбу. Люба поинтересовалась со спокойной иронией:

— Что еще?

— А телеграмма?

— Какая?

— Ну, маме же надо послать! О свадьбе.

— Не надо,— возразила Люба и не спеша затянулась.

— А обидится?

— Не обидится.

— Все равно же придется сказать.

— Когда придется, тогда и скажешь.

Я вмешался:

— Думаешь, разойдемся? Не надейся.

Люба красиво выпустила дым:

— Поживем — увидим.

Она многое делала красиво — сидела, двигалась. И это была не выучка, а естественная пластика ладного, в каждой своей мышце уверенного зверька.

Анжелика вдруг заметалась взглядом:

— Носки!

Я взял их с подоконника и подал.

— Неплохо устроилась,— похвалила Люба подругу.

Я отбрехнулся:

— Сбруя — дело хозяина, а не лошади.

— Ну, ну,— усмехнулась скуластенькая.

— Опоздаем,— бормотала Анжелика,— вот увидите, опоздаем.

— Еще ждать будем десять минут,— невозмутимо отозвалась Люба.

Анжелика вдруг схватила свою белую юбочку и, путаясь в завязках, стала снимать желтые штаны.

— Ты зачем? — не понял я.

— Там же вечер учителей!

— Ну и что?

— Так лучше. А штаны на второе отделение.

Я развел руками. Люба пригасила окурок и сказала с обычной своей улыбочкой:

— Дурак, что женишься.

— Почему?

— Такую любовницу теряешь!

Анжелика, застегивая юбочку, серьезно возразила подруге:

— Ты не права. Первый брак обязательно должен быть по любви.

Как и предвидела скуластенькая, на вечер мы приехали вовремя, еще ждали десять минут...

Телеграмму матери Анжелика так и не дала. Я, поколебавшись, тоже не стал тревожить своих: видно, не одному Федьке светила в глаза авантюрность нашего «первого брака». И все же, когда в такси, по дороге в свадебную контору, Анжелика вдруг спросила: «А как ты думаешь, у нас это надолго?», я ответил, честно прикинув варианты:

— Не хочу загадывать, но, скорей всего, на всю жизнь.

— И мне кажется! — счастливо выдохнула она у моей щеки.

Я и в самом деле так думал: слишком многое за два месяца успело нас связать, слишком плотно и прочно две наши жизни сплелись мелочами, кожей вросли в кожу. Было трудно представить долгую жизнь с ней, но и вовсе непредставима была долгая жизнь без нее. Авантюра? Конечно, авантюра. Но ведь и манная кашица раствора глядится авантюрой, пока не схватится в бетон...

В загсе было зябко, смешно и немного стыдно. Мы расписались в большой книге, похожей на амбарную, Федька внес за что-то пять с полтиной, полная женщина поздравила нас с самым счастливым днем в жизни, махнулись одолженными кольцами... Кто-то разбитной совал шампанское; Люба, ласково глядя ему в глаза, отвечала, что молодые не хотели бы омрачать алкоголем первый день совместного счастья — денег у нас даже на водку было в обрез. Свадебный фотограф сделал три торопливых щелчка, вдруг

узнал Анжелику (был на каком-то концерте), сказал комплимент, смутился и пригласил заходить еще...

А я поглядывал вокруг и рассеянно думал: мне бы этот зальчик под ритуальную роспись! Их стены, моя идея, четыре цвета, четыре возраста, четыре грани любовной тайны. Год готовиться, год писать... Да ведь не дадут. Своя контора, значит, и идеи свои, кто начальник, тот и художник...

Свадебный стол был накрыт в общежитии, в комнате у девчонок, на двадцать кувертов, как выразилась эрудированная Люба, или, как уточнил Федька, на двадцать рыл. А под медовую неделю один хороший человек уступил пятиметровой высоты мастерскую, в качестве подарка выставив три чистых холста — вдруг вспомню, что все-таки художник! Подарок был царский, но озадачивающий.

Эта мастерская серебряным гвоздиком вколотилась в башку, и когда после загса сели в такси, я вдруг кинул водителю неожиданный адрес.

— А что там? — удивилась молодая жена.

— Мастерская.

Люба, сидевшая впереди, на рискованном месте телохранителя, посмотрела на меня с любопытством.

— Пока шель да шевель,— сказал я,— заедем на полчасика. Хозяйка на свадьбе все равно ты. Вот и давай там команды, с нас сейчас какой толк?

У Любы в глазах дрогнула искорка азарта, она ответила безмятежно:

— А хоть вообще не приходите.

Высадила нас и уехала.

Начинающая супруга, неслышно ступая, походила по мастерской — обживалась. Руками не трогала ничего, как в музее. Похоже, ее подивило количество холстов: хороший человек и работник был хороший.

— Это все он?

Я недобро пообещал:

— У меня так же будет. Наше ремесло не барское.

Она молча разглядывала развешенные холсты.

Одна модель повторялась многократно.

— Жена? — спросила Анжелика.

— Примерно.

Она чуть помедлила.

— Теперь небось позировать заставишь?

— А ты думала!

— И голой, да?

— Естественно.

— А потом выставишь на всеобщее обозрение?

— Само собой.

— А если я не хочу?

Я сказал:

— Плевал я на твое хотение!..

Мы задержались не на полчаса. А когда пришли в себя, выяснилось, что опаздываем на столько, что приличней не приезжать совсем. Я вертикально закрепил на мольберте узкий картон: почему-то казалось, что качавшая меня волна уложится именно в этом нелогичном пространстве. Работал быстро, надеясь на накат. Анжелика стояла у стены, как поставил, почти не шевелясь.

Через час я отошел к окну и засвистел. Мысли расплывались, кисть болталась в руке, как сосиска.

Анжелика поглядела и кинулась мне на шею:

— Ты гений! Вылитая я!

— Ага,— кивнул я, высвобождаясь.

На картоне было полное непотребство, кисель эмоций, сентиментальная истерика в красках.

— А ну, быстро,— сказал я,— люди ждут. Какое-никакое, а событие...

Скуластенькая девушка слов на ветер не бросала: на нашей свадьбе прекрасно обошлись без нас. Из кучи гостей — «рыл» — набралось куда больше двадцати — выбрали вполне пристойную пару и назначили женихом и невестой. За них пили, им желали счастья, орали «горько» и спорили, сумеют ли дублирующие «молодые» достойно довести роли до финала. Так что мы с Анжеликой даже несколько испортили спектакль.

Впрочем, к нашему приходу ритуал уже порядком размыло спиртным: шампанское наш праздник не омрачило, но водки хватало. Общие забавы были уже позади, поток разбился на рукава, событие выродилось в обычную вечеринку. Подставные жених и невеста с некоторым недоумением поглядывали друг на друга: интрига иссякла, а вне сюжета никаких связей явно не возникало. Громоздкий Паша мучил гитару, клоня ухо к повизгивающим струнам — и зачем ему это? Маленький очкарик в розовых прыщах

сухо поздравив Анжелику с событием (с каким, не уточнил) свысока, почти презрительно втолковывал ей разницу между маской и полнокровным образом — для Анжелики, он полагал, на теперешнем ее уровне сойдет и маска. Тощая дурнушка с манерами красавицы повисла у меня на шее и, в перерывах между мокрыми поцелуями, допытывалась:

— Вы счастливы? Ну, признайтесь, счастливы?

От нее несло спиртным — хоть закусывай. Я признался, что счастлив, кое-как вывернулся и подсел к Любе.

Она разговаривала с крупной рыхлой девицей, прокуренной, умной и злой. Пьяна Люба не была, трезва тоже, ее ореховые глаза поблескивали решительно и жестко.

— А мне плевать на жизнь,— говорила она,— я знаю себя. Вот увидишь. В двадцать четыре буду замом, в двадцать шесть директором, к двадцати девяти сделаю театр.

— Основания? — холодновато поинтересовалась собеседница, прикуривая одну сигарету от другой. Чувствовалось, что недобрый ее мозг работает быстро и точно.

— Увидишь!

— В директорах, может, и увижу. Но театр...

— Три года,— сказала Люба,— ровно три года. Сперва пресса — это я сделаю. Второй год какая-нибудь премия, любая, тоже сделаю...

— Допустим.

— А третий год — скандал. Настоящий творческий скандал.

— Скандал тоже сделаешь? — скептически поинтересовалась толстуха.

Люба посмотрела на нее ласково и бесстыдно:

— Скандал мне сделаешь ты.

Та несколько растерялась:

— Даже так?

— А что? Тебе имя, мне театр.

Толстуха сделала затяжку:

— Для скандала нужна трибуна.

Люба только усмехнулась:

— Неужели к двадцати восьми годам у тебя — у тебя! — не будет трибуны?

Грядущая скандалистка прикинула варианты и усмехнулась в ответ:

— Ладно, скандал за мной.

Подошел Федька, почти трезвый. Мы чокнулись без тоста. Он похлопал меня по плечу и почему-то утешил:

— Ничего!

Потом довольно неприязненно заговорил о деле: есть шанс подзаработать, Бондарюмко забил халтуру где-то под Калугой и теперь сколачивает артель. Платить обещает больше, чем в Крыму, но с эскизами построже, никаких гогенов, сугубый реализм. Излагая детали, Федька почти полностью перешел на мат: халтурил он тяжело, с отвращением и потому всегда сидел без денег, что и вынуждало его к новой халтуре.

Я слушал невнимательно, со всем соглашался и в разгар Федькиной речи вдруг полез к нему обниматься. Он вырвался, сплюнул и сказал, что в теперешнем моем состоянии (он определил его кратко и точно) реализма от меня не дождешься, мне сейчас только барокко лепить.

Тут кто-то вспомнил, что все же свадьба, нас с Анжеликой потащили на почетные места. Чуть поколебавшись — хоть и в шутку, но торжество уже отработали,— заорали: «Горько!». Потом произнесли два нудных тоста. Я пожалел, что ушли из мастерской.

Нашу послесвадебную жизнь я запомнил смутно. Логики не было, последовательность рвалась, события путались и сливались, словно их выхватывал из темноты фонарь в пьяной руке: Анжеликины песни на концертах, какие-то жуткие неприятности в институте, которых, как вскоре оказалось, в общем-то и не было; то ревела, билась у меня в руках, порвала единственную выходную рубашку, потом хохотала и обнимала Любу, принесшую хорошую весть, требовала, чтобы я ее тоже обнимал; поиски какой-то особенной гитары, поход к знаменитому мастеру, который оказался не знаменитым и не мастером, а просто барыгой, причем гитарами не торговал. На обратном пути упал ливень, я мы, наверное, час целовались в старинном, с чугунными ступеньками, подъезде. Я одалживал деньги где попало, и для убедительности записывал собственные долги синим фломастером на ладони; Бондарюмкина халтура валилась, Федька ругался, потом перестал; «медовая» неделя в мастерской, пространство, высокий потолок, в темноте как бы вообще не существующий — иногда среди ночи Анжелика вдруг включала низкий свет и, дурачась, начинала «представлять», потом увлекалась, и шла яростная пантомима с заламыванием рук, с губами, как бы замершими в крике, со страшноватым, почти трагическим стриптизом — борьба, бессилие, падение на колени, на пол... я спросил, что это, любовная игра или гибель — она устало ответила, что не знает сама, все равно что — хоть землетрясение на Таити...

Приходила Люба, одна, хотя громоздкий Паша существовал по-прежнему, ставила чай, усмехнувшись, стелила газеты на заляпанных краской табуретках.

— Не разбежались еще? — спрашивала.

— Мы будем любить друг друга всегда! — почти клятвенно произнесла Анжелика.

— Ну, ну,— говорила скуластенькая и смотрела на нас, как биолог на кроликов.

Я старался работать и писал много, в общем-то не меньше, чем всегда. Анжелика опасалась не зря, позировать ее я действительно заставлял. Сходство давалось легко, суть уходила. Я утешал себя: плевать, просто сейчас не время анализа, я пишу не ее, а свое отношение к ней. И писал — цветные пятна, блики на коже, почему-то вдруг хотелось поместить ее в световую спираль...

Она смотрела, восхищалась:

— Я! Вот до кончика носа — я!

Я хмуро отвечал цитатой:

— Если похоже нарисовать мопса, получится еще один мопс.

Анжелика довольно улыбалась, она принимала это за скрытый комплимент.

Я писал ее в желтых штанах, писал босую, растрепанную, завернутую в махровое полотенце. Писал обнаженную — эти картинки вполне можно было выставлять в актовом зале ГИТИСа: Анжелики там все равно не было — была юная актриса в роли натурщицы. Я клял ее за лицедейство, требовал естественности — она не понимала, смеялась, все кончалось поцелуями...

Странно: она была студентка, всего лишь студентка третьего курса, но я всегда воспринимал ее как артистку. Когда она готовилась к зачетам или беспомощно кудахтала перед семинаром по политэкономии, я воспринимал это почти как блажь: актриса играет роль испуганной студентки.

Я пробовал все, и натюрморты, и городской пейзаж, но вещи уходили так же, как уходила она. Разучился, что ли? Или — новый, еще самим не понятый период? Взрыв подспудного, мир без теней, откровенность насыщенного цвета — может, сегодня я и должен писать именно так?

Пришел Федька. Я расставил картинки. Анжелика суетилась с едой.

— Н-да,— протянул Федька неопределенно.

— Как ты велел,— сказал я, подлизываясь,— барокко.

Федька хрипловато вздохнул.

— Нет, старичок,— возразил он,— это не барокко. Это — на нервной почве.

Анжелика позвала есть.

— Жаль,— сказал я,— месяца три вылетело.

Я разом ощутил какую-то тупую пустоту. В общем-то, и раньше догадывался, но надежда была. Теперь же, рядом с Федькой, я все видел сам.

Уже за столом Федька вдруг рыкнул с неожиданной агрессивностью:

— Ну, чего? Чего скис? Плохо живешь, что ли?

— Да нет.

— А тогда чего?

Я кисло усмехнулся:

— Я все-таки еще и художник временами.

— Ишь ты! — сказал Федька неодобрительно.— Художник он! Многого хочешь — и рыбку съесть, и птичкой закусить. Счастлив ты? Счастлив или нет?

Это популярное слово я слышал от него впервые.

— Ну, допустим.

— Допустим! — передразнил он. И посмотрел почти зло.— Тогда какого рожна тебе надо?!

Анжелика засмеялась, глядя на нее, и мне стало смешно. Мы поели, выпили бутылку «сухаря» на троих, потрепались не о живописи и Федька ушел.

Картинки так и стояли у стены. Пока я их складывал, настроение снова упало.

— Ну что, моя радость? — сказала Анжелика.— На хрена мне это счастье?

Я покраснел, она словно услышала мою мысль.

— Что делать,— сказала она,— и у меня ведь такое. В отрывке почти завалилась. А Любка, знаешь, что сказала? Ты послушай, она ведь умная. Я дура, но она-то умная. Так вот она сказала: «В профессиональном смысле любовь себя всегда окупает». Здорово?

— Ничего,— пробурчал я. В тот момент меня мало волновали Любкины афоризмы.

— Она права,— сказала Анжелика убежденно,— полностью права. Вот мне, например, еще лет тридцать играть любовь. А как я сыграю, если сама не любила? Тут халтурить нельзя, все равно вылезет наружу, в чем-нибудь да вылезет.

Анжелика подошла сзади, обняла меня, ткнулась губами в затылок:

— Не переживай. Ну, потерял три месяца. Сделаешь потом. Ведь ты талантливый, все равно сделаешь. А это... Это тоже что-нибудь да стоит — не каждый год у тебя будет Анжелика.

Я повернулся и посмотрел на нее. Она тут же поправилась:

— Новая Анжелика.

Я молча продолжал на нее смотреть. Она виновато улыбнулась:

— Я не то сказала? Может быть. Никогда не обращай внимания, я ведь дура.

Она вдруг хлопнула в ладоши:

— Ой, рассказать тебе? К нам приходил один кинорежиссер, была такая полуофициальная встреча... Знаешь, что он говорил? Я бы, говорит, думающих актрис выгонял еще из института за профнепригодность. Актрисе, говорит, не нужен ум, актрисе нужен умный режиссер. Здорово, а?

Я взял ее за локти:

— Уйти намыливаешься?

Она широко раскрыла глаза:

— Да ты что?!

— И думать не смей,— сказал я почти серьезно,— живой не уйдешь.

— Я не могу даже представить, как буду без тебя,— жалобно проговорила Анжелика.

Шероховатость сгладили традиционным путем...

Я уже сказал, что Анжелика мечтала о кино. Впрочем, «мечтала» — слово не для нее. Не копила в тишине сладкие грезы, не утешалась иллюзиями, а еще с прошлого года, со второго курса, развила бурную деятельность: знакомилась с разными полувлиятельными людьми вроде администраторов киногрупп или дипломников ВГИКа, проникала на студии, заведя блат в Доме кино, регулярно ходила на обсуждения новых фильмов — конечно, не обсуждать, а знакомиться. В столь частую сеть не могла не попасть хоть какая-нибудь рыбешка, и вскоре после нашей свадьбы Анжелику взяли на эпизод. Эпизод был маленький и в общем-то типажный: певичка в кафе, где выясняют отношения герой и героиня, бытовой фон для лирической сцены. Коротенький крупный план, две песенных фразы (песня плохая) и ни слова кроме. Но она ухватилась за эту певичку, как за Офелию.

Я спросил:

— Думаешь, это тебе что-нибудь даст?

Она ответила рассудительно:

— Может, и не даст. Но другого же мне не предложили.

— А если провалишься?

Подумав, она твердо сказала:

— Нет, проваливаться нельзя.

Надо отдать ей должное: работать актриса умела. Уже на следующий день после этого разговора в нашей комнатке появилась Веруша, прокуренная толстуха в вязаной кофте, похожей на купальный халат — она была на нашей свадьбе. И не просто появилась, а стала главным человеком в доме. Анжелика тут же усадила ее на нашу супружескую кушетку, придвинула под спину подушку, торопливо подала теплые, с собственной ноги, тапочки и протянула зажженную спичку: сигарету Веруша, едва переступив порог, извлекла машинальным жестом усталого фокусника. Я побежал к соседям, нужна была кофемолка — Анжелика заранее предупредила, что растворимый, а тем более в пачках Веруша презирает.

Светский разговор гостьи с хозяевами (погода, здоровье, новости) был длиной в одну сигарету. Затем сразу, без раскачки, пошла работа. Пролистав сценарий, Веруша вынесла приговор: текст — барахло (она употребила другое слово), режиссер — дурак (она употребила другое слово), фильм провалится (она употребила другое слово).

Анжелика истово закивала.

— Так,— сказала Веруша задумчиво,— нужен ход. Фильм гробанется, и черт с ним. Но ты гробануться не должна. Знаешь, почему он взял тебя?

Моя жена замотала головой.

— За вульгарность. Эта сцена в кафе — сплошная парфюмерия. Столько духов, что нужно хоть немного дерьма. Могучая задача, можешь гордиться.

Анжелика с готовностью засмеялась.

— Между прочим, задача действительно интересная,— строго оборвала Веруша,— только необходим финт. У него своя цель, у нас своя. Ему нужен фон — нам роль. Ему типаж — нам образ. Сейчас придумаем.

Анжелика смотрела на нее, как мусульманин на пророка.

После свадьбы я видел Верушу раза два и не мог толком понять, кем она собирается стать. С одной стороны, числилась на театроведческом, печатала рецензии на спектакли и что-то успешно делала на радио, с другой — ходила на занятия к знаменитому режиссеру (в частных беседах он именовался то «классик», то «наш маразматик», то почему-то «Вася», хотя звали его Евгений Николаевич). В принципе, современный театр она считала развалиной, которую необходимо взорвать, чтобы расчистить почву, но, видимо, еще не решила, с какого фланга вести под эту развалину подкоп.

Анжелика говорила, что Веруша про театр знает все, а про кино еще больше. И даже трезвая Люба как-то в разговоре бросила:

— Верка-то? Верка — светоч!

Лет ей, между прочим, было двадцать...

Веруша придавила очередной окурок и сказала:

— Так. Ясно. Текста тебе не добавят, и думать нечего. Значит, остается пластика. Образ через жест.

— Гениально! — всплеснула руками Анжелика.

За вечер Веруша придумала три варианта биографии Анжеликиной певички, довольно любопытно предложила характер и стала пробовать на будущей звезде походку и жест. Почти после каждой Верушиной реплики рефреном звучало Анжеликино: «Гениально!».

Я выманил жену на кухню и сказал:

— Не увлекайся, она девка умная.

Анжелика посмотрела на меня, как взрослый на ребенка, и снисходительно проговорила:

— Можешь поверить на слово — от лести еще никто не умирал...

Веруша завелась и ходила к нам почти каждый вечер: сидела на кушетке в своей кофте-халате, курила, пила убойной крепости кофе, болталась по комнате в Анжеликиных тапочках. О фильме могли не говорить, просто подруга пришла в гости, но посреди праздного разговора Веруша вдруг кидала новую идею, которую Анжелика тут же цепко хватала и пробовала. Так продолжалось до самой съемки.

Эпизод, кажется, получился: на студии прокрутили отснятый материал, меня смотреть не взяли, но Люба ходила и сказала, что вполне и даже весьма. Однако главное было не в этом: крохотная ролишка в плохом фильме неожиданно многое решила в судьбе будущей звезды.

Дней через десять Анжелика пришла домой бледная, пока расстегивала плащ, пальцы дрожали, и, постучав по всем нашим табуреткам, тускло сказала, что, кажется, выиграла сто тысяч по трамвайному билету. Я помог ей раздеться, она взобралась на кушетку и стала рассказывать.

Собственно, вся информация состояла из нескольких фраз.

На том рабочем просмотре случайно оказался другой режиссер, известный, только что запустившийся в производство с фильмом на современную тему. Он увидел эпизод и тут же пригласил Анжелику на настоящую большую роль. Через три дня сделали пробы — она не рассказывала мне об этом, чтобы не волновать. Сегодня пробы утвердили. Вот и все.

Наверное, надо было заорать от восторга. Но я не обрадовался, я растерялся. Я смотрел на Анжелику и тупо молчал.

Все это было слишком уж неожиданно. Конечно, я верил в ее талант, верил, что пробьется, и мечтал, чтобы это произошло быстрей. Но в такой скоропалительности и в общем-то, незаслуженности успеха было что-то тревожное и даже как бы нечистое.

— Так понравился эпизод? — неуверенно спросил я.

Она отмахнулась:

— Эпизод как эпизод! Я его не переоцениваю. Просто стечение обстоятельств. Я узнала — у них там произошло че-пэ.

— А что такое?

Анжелика объяснила. Дело в том, что выпускница ВГИКа, утвержденная на роль, забеременела. Само по себе это еще не было ЧП. Но она отказалась делать аборт, и вот тут-то киногруппа была повергнута в гнев и панику. Время идет, план летит, премия горит синим пламенем — а сопливая девчонка не хочет сбегать в больницу на вычистку! Пришлось в пожарном порядке искать замену...

Я кивнул — понятно, мол.

Видимо, Анжелика почувствовала мое состояние — меня всегда поражала в ней, при в общем весьма рядовом уме эта мгновенная эмоциональная проницательность, способность, как она сама объясняла, «сыграть от партнера». Вот и сейчас она сказала, поморщившись:

— Неприятное ощущение. Радоваться надо, а — нет радости! Будто чужое украла.

Я не совсем искренне утешил:

— Ты-то при чем?

— Все-таки,— сказала она.

Лицо у нее было такое унылое, что я махнул рукой:

Ладно, плюнь и забудь. Ты же не напрашивалась! Ну, вышло так. Зато есть роль. При всех оговорках сегодня счастливый день. Поздравляю!

Остановив меня жестом, она сказала озабоченно:

— Не надо. Это еще не все. Могут быть осложнения.

Анжелика как в воду глядела: осложнения начались сразу же.

Съемки с перерывами должны были длиться около четырех месяцев, вариант «между делом» тут не проходил, пришлось бы уезжать на неделю, а то и на три. Она пошла к руководителю курса просить разрешения.

Мастер, шестидесятилетний красавец, выслушал Анжелику, благосклонно кивая. Но оказалось, у него просто манера такая — благосклонно выслушивать все, что говорят. Зато потом он неторопливо и с удовольствием объяснил нестандартной студентке, что считает своим долгом художника воспитывать в стенах театрального института актеров с большой буквы, а не марионеток для белой простыни — прозвучало двусмысленно, и мастер тут же пояснил, что имеет в виду только киноэкран.

Он говорил долго, Анжелика нервничала, и на момент ей изменила обычная проницательность: она напомнила мастеру, что ведь и сам он замечательно играл в кино. Ей казалось, что этот аргумент должен собеседнику польстить. Но мастер не любил, чтобы его ловили на противоречиях. К тому же его не приглашали на съемки уже лет пять, и у него были все основания обидеться на такой вероломный вид искусства, как кино. Уже раздраженно он объяснил, что начал сниматься в тридцать пять лет, уже зрелым профессионалом, и что вообще уважающий себя человек к камере снисходит, а не карабкается. Кончил он тем, что посоветовал юной коллеге на студенческой скамье думать о профессии, а не о славе. Если же ее тяга к кино непреодолима, он от всей души пожелает ей творческих успехов, но в других стенах и под руководством другого мастера.

Словом, или — или.

Пересказав мне все это, Анжелика взобралась с ногами на кушетку и долго сидела молча, закусив губу. Да и что было говорить? Тут не говорить, тут решать. Или — или.

— Ну, и как ты думаешь? — спросила она наконец.

Вздохнув, я сказал, что, пожалуй, все-таки институт. Была бы профессия, остальное приложится.

Она взглянула задумчиво:

— Ты считаешь?

Больше мы об этом не говорили.

Но утром, за чаем, она сказала решительно, что, если все-таки придется выбирать, уйдет из института.

Я пожал плечами:

— Не уверен. Фильмов может быть двадцать, а институт — на всю жизнь.

Анжелика подумала немного и убежденно проговорила:

— Ты не прав. Это институтов может быть двадцать. А вот фильм — на всю жизнь.

Спорить я не стал. Все-таки это был ее институт, ее фильм, ее жизнь. И решать надо было ей.

В конце концов, как это часто и бывает, проблема решилась обходным путем. Практичная Люба пораскинула мозгами, достали справку, хоть и сомнительную, но врачебную, поостывший мастер сделал вид, что в нее поверил, и Анжелика получила академический отпуск для поправки истощенной нервной системы.

Она тут же принялась укладывать все ту же сумку с красной пантерой на боку: надо было срочно ехать в заповедник под Ставрополем, где торопливо доснимали конец листопада.

Я заикнулся, что мог бы поехать с ней — устроюсь в группу рабочим или просто попишу натуру в том же заповеднике. Но Анжелика положила ладони мне на плечи:

— Милый! Ведь это первая моя настоящая роль...

В общем-то, она была права, и мне рядом с ней не работалось. Вот уедет, подумал я...

Анжелика уехала. Но воля мне впрок не пошла: к мольберту тащил себя чуть не силой. Были начатые вещи. Были замыслы. Все было, но ничего не шло. Женщина уехала, но все равно осталась, и мир по-прежнему был плоским, ярким, аляповатым. Все вокруг, как прямой луч прожектора, заливал слепящим сиянием дурной огонь страсти.

К счастью, оставался благородный принцип свободных художников: когда не можешь работать, зарабатывай.

Федька оставил мне адрес их нынешней халтуры, но бумажка с координатами исчезла куда-то, как исчезало в эти недели все: время, деньги, дела, планы. Я узнал новый телефон и позвонил Бондарюмке.

Подошла жена и сказала, что Володи нет в Москве. Какую-либо иную информацию по телефону она давать отказалась — выучка почти шпионская! Пришлось подъехать.

Дом был шикарный, светлого кирпича, с кирпичными же полукруглыми балконами. После беглого допроса на площадке я был впущен в квартиру.

Баба у Володи оказалась довольно молодой и габаритной, такой бы ядро толкать! Ее импортная юбка была напряжена во всех швах, как граната перед взрывом. Еще раз переспросив фамилию, хозяйка полезла в большой блокнот и долго его листала. Потом сказала:

— А, ну да, есть.

После чего успокоилась, заулыбалась, дала адрес и даже предложила чаю.

Я решил, что предложение из вежливых, но она настояла. Может, просто было скучно одной.

Мы пошли на кухню. Квартира была хорошая, три комнаты с холлом, но мебелишка старая — видно, и Володя деньги не лопатой греб.

Хозяйка заварила чай, поставила варенье трех сортов. Теперь, когда личность моя опасений не вызывала, ее щекастое лицо было доброжелательным и простодушным.

— А то, может, пообедаете?

Тут уж я отказался решительно.

После первой чашки я похвалил чай.

— Так ведь импортный,— сказала хозяйка,— из железной банки.

Я похвалил варенье.

— Так ведь свое,— было отвечено,— для себя старались.

Я похвалил квартиру.

— Площадь хорошая,— согласилась Бондарюмкина жена,— но в такие деньги стала...

Опять ответ был исчерпывающий, и опять на второй фразе тема иссякла. Я стал думать, что бы еще похвалить.

Выручила хозяйка:

— А у вас с Владимиром Андреевичем давно сотрудничество?

Последнее слово вызвало у нее некоторые затруднения.

— Да уже года три,— ответил я и стал хвалить Владимира Андреевича. Эта тема была побогаче: и какой он серьезный, и какой старательный, и как заказчики его уважают...

— Так ведь сколько лет занимается,— объяснила хозяйка. Чем занимается, она не уточнила — впрочем, и я бы не решился определить словом Володину профессию и жизненную роль.

Она положила мне еще варенья, и я сказал, что все мы за ее мужем, как за каменной стеной. Она охотно поддержала тему:

— А потому, что ответственный. Другие абы как, а он — нет. Так воспитан, что одно к одному. Что положено — все в архив. Если вдруг чего, другой бы забегал, а у Владимира Андреевича — будьте любезны! Полки сделали, и все в архив.

— Архив — великое дело,— согласился я с не совсем искренним подъемом, ибо не мог представить себе Володин архив — тетрадки свои с подсчетами, что ли, собирает?

Хозяйка налила еще по чашке.

— Это я слежу. Чтобы, как говорится, ни моли, ни пыли,— сказала она и вдруг засмеялась, видимо, просто от удовольствия, что все вышло так хорошо, и человека впустила в дом не абы какого, и разговор за чаем приличный и правильный, и варенье вкусное, и архив мужнин в порядке — слава богу, есть чем хозяйке похвастаться!

— Помогаете, значит, мужу?

Неудобно было спросить, работает она или нет.

— А как же,— отозвалась она,— муж-то свой.

— И много бумаг набралось?

— Каких бумаг? — удивилась хозяйка.

— Ну — архив?

Она с достоинством усмехнулась:

— У кого, может, и бумаги, а у нас с Владимиром Андреевичем все в натуральном виде. Не экономим!

Она вывела меня в коридор и открыла дверь шкафа-кладовки. Я не сразу понял, что к чему. Справа на полках стояли рядами банки с вареньями и соленьями, а слева — холсты на подрамниках. Неужели наш шеф все же балуется художеством?

— Чтоб бумажки не отклеивались, опять я,— заметила хозяйка,— а то затеряется — гадай потом, кто чего.

— Вот это архив?

— Все по годам, по порядку.

Я наудачу вытянул один холст. Это был эскиз доски почета. На обороте бумажка — фамилия и год. Что за странности!

Я поворочал картинки и вдруг увидел знакомую руку. Глянул на бумажку: точно, Федька. И уже целенаправленно достал следующий холст. Все верно — я.

Ситуация прояснялась. Но — зачем? К чему эта странная коллекция?

Хотя, впрочем...

Я вспомнил: года три назад, первая наша халтура с Бондарюмкой. Как-то вечером сидели, травили байки. И — кто-то вспомнил сентиментальную историю, а может, легенду: как в Париже благодушный трактирщик из жалости кормил нищих молодых художников, а они расплачивались этюдами, которые хозяин, в живописи не сведущий, сваливал на чердаке. Впоследствии некоторые из голодных клиентов оказались гениями, и добрый трактирщик неожиданно превратился в миллионера. Вот такой у нас тогда шел треп. А на следующий день Бондарюмко сходил на почту и принес известие, что для заказчика требуется эскиз нашей росписи, причем маслом по холсту, иначе бухгалтерия не переводит деньги. Мы поворчали, посмеялись, кинули жребий, и самый неудачливый из нас взялся за кисть. А потом эскизы для заказчика вошли в норму.

Так вот, значит, кто заказчик...

— Образцово! — похвалил я хозяйку.

Мы пошли допивать чай, а Бондарюмкины лотерейные билеты остались в кладовке рядом с засахарившейся малиной и маринованными помидорами. Теперь только ждать, пока кто-нибудь из нас выйдет в большие люди, и предусмотрительный трактирщик получит, наконец, свой законный миллион...

На сей раз халтура была без всяких сопутствующих прелестей: грязь, дожди, первые хлопья мокрого снега. А, главное, сама работа — по чьим-то вялым шаблонам, ремесленная, почти малярная.

Федька матерился, я малярил безропотно. Эта убогая пахота на чужом поле была мне заслуженным и потому справедливым наказанием. Как говаривал еще в училище один разумный человек, если душа ленится, пускай рука ишачит...

Я вернулся через две недели. Спеша вечером по переулку, издали вроде бы нашарил взглядом слабый свет в окне. Но, подойдя ближе, понял, что это всего лишь отблеск фонаря напротив.

На тумбочке у двери лежали два ее письма — про то, как любит меня, как интересно сниматься в кино и какое это трудное, ни на что не похожее искусство. Я посмотрел даты: второй и четвертый день по приезде на место, последнее пришло полторы недели назад. Я ей писал почти ежедневно.

Но, с другой стороны, мои вечера были пусты, а у нее там — ни на что не похожее искусство кино, черт его знает, какие у них условия...

Утром я побежал к почтовому ящику. Ничего.

Послал телеграмму, здорова ли. Ничего.

Она приехала на пятый день. И не открыла дверь своим ключом, а позвонила. Прошла коридором в комнату, бросила на пол сумку с пантерой, прикрыла за собой дверь и, прислонясь к ней спиной, сказала:

— Если хочешь, можешь меня убить.

...Все же странно, как сразу, всем своим клубком врывается в человека сложное событие. Она еще не договорила свою, видимо, заготовленную фразу, а я уже знал, что произошло, в чего хочет она, и чего захочу я. Потом так и вышло с малыми неточностями.

Но в тот момент, словно соблюдая какой-то неизбежный ритуал, я спросил ее с чем-то даже вроде улыбки:

— За что же тебя убивать?

— Ты имеешь право,— сказала она.— Я полюбила другого.

— Режиссера, что ли?

Мне не хотелось называть фамилию.

Она спросила растерянно:

— Тебе написали?

Я пожал плечами:

— Кто мне станет писать?

— А тогда откуда знаешь?

— Не осветителя же тебе любить.

Она опустила голову:

— Я понимаю, ты вправе со мной так говорить — я тебя предала. Но это было сильнее меня.

Она говорила сдержанно, но как-то слишком уж сдержанно. И поза у двери была слишком уж повинна. Текст, думал я, текст.

— Ну раз уж так вышло,— сказал я,— что ж, любовь дело святое.

— Можешь презирать меня, ты вправе... Только не ненавидь!

Я думал — уйти? Но комната не моя, снимаю. Ей уйти? А куда? Не назад же в общежитие! Впрочем, может, теперь и есть куда...

— Тебе с ним хорошо? — спросил я довольно равнодушно.

Она ответила:

— Хорошо мне было только с тобой. Но не в этом дело, это все не имеет значения. Я даже не знаю, какой он человек. Может, плохой, может, бабник, даже наверняка бабник. Но это сильнее меня. Понимаешь, он гениальный режиссер.

Я видел парочку его фильмов: яркие краски, громкая музыка, многозначительные жесты. Он не был гениальным режиссером, даже хорошим, пожалуй, не был — просто он дал ей большую роль. И то, что с ней произошло, была не плата за место в кадре, не взятка телом, а просто внутреннее рабство начинающей актрисы, оглушенной случайной удачей. Я понимал, что все это у нее наверняка кончится, может быть, даже скоро — и, наверное, стоило хотя бы объяснить ей происходящее с ней самой. Но всем своим существом, всем порядком и сумбуром в голове я ощущал другое: что меня это больше никак не касается. Ревности не было, боли, пожалуй, тоже, лишь отчуждение да легкая брезгливость. Чужая женщина стояла, прислонясь спиной к двери, манерно опустив голову, и произносила всякие манерные слова. Я чувствовал, какой результат разговора ей нужен, и тупо искал фразу, которая помогла бы ей побыстрей этот результат достичь.

— Любовь — дело святое,— повторил я, не найдя ничего лучшего,— раз уж так вышло...

— Я даже не прошу прощения,— проговорила она своим сильным, как бы пружинящим голосом,— я обязана уйти. Рядом с тобой я бы всегда чувствовала себя грязной, а я не хочу быть грязной рядом с тобой. Ты — самое чистое, что у меня есть.

Текст, думал я, текст...

Я сказал:

— Лишь бы тебе было хорошо.

И пошевелил ладонью в воздухе, как бы на расстоянии похлопал ее по плечу.

Она вдруг быстро шагнула вперед и, упав на колени, обняла мои ноги, волосы коснулись пола. Я стоял столбом. Тогда она легко поднялась, словно скользнула вверх, положила руки мне на плечи и сказала неожиданно просто:

— Я знала, что ты поймешь. Спасибо.

И влажно посмотрев мне в глаза:

— Милый, давай попрощаемся!

Я обнял ее, провел ладонями по спине. Чужое тело прижималось ко мне, не вызывая никаких эмоций.

— Счастливо тебе,— сказал я и осторожно отстранился.

Она усмехнулась, горько скривив губу:

— Наверное, ты прав.

Схватила сумку с пантерой и выбежала.

Тем же вечером у меня пошла работа. Почему, не знаю: как прежде ушло, так теперь вернулось. Часа за три с чем-нибудь я написал «Натюрморт при электрическом свете» — написал сразу, почти безошибочно, словно кто-то, все заранее знающий, водил моей рукой. Старая четырехногая табуретка, заляпанная краской, на ней две кисти, несколько полувыдавленных, смятых тюбиков, краюха черного хлеба на куске газеты и полстакана остывшего, словно загустевшего чая. А сверху — пыльная голая лампочка в шестьдесят свечей.

Умотался я так, что уснул мгновенно.

Дня через два забежал Федька, постоял, посмотрел.

— М-да... Это у тебя просто символ веры. Страшновато...

Подумал и сам объяснил:

— А что делать — жизнь такая!

Полтора месяца я работал почти непрерывно. И не то, чтобы наверстывал упущенное — просто шло. Все предметы вокруг обрели свой цвет, все тени легли на положенные им места. Подсохшие холсты ставил в угол, что вышло, разберусь потом. Вроде, колорит получался потемнее, чем прежде, но это не была какая-нибудь там вселенская скорбь: просто ноябрь, низкие облака, узкое окно в затененный переулок. Ну, отчасти и настроение: полоса анализа, трезвости, раздумья. Жизнь такая.

Была и еще причина редкого моего трудолюбия: пока работал, почти не думал

о постороннем. «Натюрморты при электрическом свете» затягивались до полуночи — писал, пока в глазах не поплывет. Зато засыпал сразу, ни снотворного, ни спиртного не требовалось.

А утром — утром было нормально. Вот уж не думал, что так нетрудно терять...

Один раз я все же сорвался — неожиданно, без всякого повода, примерно, через неделю после ее ухода.

В тот день у меня была студентка ветеринарного, плотная молчаливая девушка, почти не знакомая, и писал ее, усадив на ту же старую табуретку. На девушке была стереотипная джинса в самом дешевом варианте, грубая, с перебором, косметика, слишком яркий маникюр на крупных руках. Но вся эта неумелая амуниция начинающей горожанки лишь подчеркивала ее человеческую надежность, внутреннюю порядочность, способность до конца тянуть свою лямку, что я и положил на картон.

Когда стало темнеть, я вымыл кисти, вымыл руки — и вдруг почувствовал, что не могу остаться один. Ночь маячила впереди черным колодцем, бесконечной гулкой дырой. В первый раз за время без Анжелики я физически, звериным стоном под ребрами, почувствовал, что ее рядом нет.

Сбивчиво упросив студентку не уходить, я побежал в магазин. Купил водки и что-то крепленое, судя по цене, скромных достоинств — на лучшее денег не осталось.

Когда вернулся, стол был накрыт, то немногое, что имелось на подоконнике и между рамами, было настругано и разложено по тарелкам. Хлеб был нарезан большими ломтями, так режут в семьях, где привычен физический труд. Вот и возникла кратковременная современная общность; пока мужчина бегал в мужской отдел «Гастронома», женщина занималась женским делом, в меру возможностей облагораживала быт...

Видимо, девушка что-то поняла. Она не противилась, когда я плеснул водки и в ее стакан, и потом тоже ничему не противилась. Каким именем я называл ее ночью, что бормотал, что орал о вечной любви, до синяков сжимая терпеливые плечи?

Утром, готовя завтрак, она сказала:

— Ты так бредил во сне, даже плакал. Я думала, заболел.

Она спешила в институт, я проводил ее до метро.

Заболел? Может, и было, вполне могло быть. Но как в парной бане пóтом выходит простуда, так той ночью криками и слезами вышла болезнь...

Еще оставались кое-какие житейские мелочи — пяток книг и второстепенное Анжеликино барахлишко. Тряпок было мало, но месяц спустя что-то из оставленного, видимо, все же понадобилось.

Была проявлена тактичность: за вещами пришла Люба.

То есть, пришла она как бы не за вещами, а просто повидаться, попить кофе и так далее. Я как бы в это поверил и поставил на огонь турку, приобретенную еще в эпоху умной прокуренной Веруши. За столом положено о чем-то говорить, и мы о чем-то говорили.

Но не в характере скуластенькой девушки было ходить вокруг да около.

— А ну его к черту! — вдруг сказала она резко.— Работаешь?

Я взглядом указал на подрамники у стены. Она — взглядом же — их пересчитала.

— Ну и молодец,— сказала Люба.— И ноги унес, и голова цела.

— А что, были опасения?

— Еще какие! Наша девушка не для слабых. Кстати, сама Анжелика просто умоляла меня хоть на неделю переселиться к тебе, чтобы не покончил с собой. Не отставала, пока Пашка не взбунтовался.

— Взбунтовался?

Мне трудно было представить бунтующим этого нескладного флегматика.

— Ага,— кивнула Люба,— он у меня лапочка. Всегда скандалит, когда я попрошу.

Помолчали.

— Она сама-то как?

Это прозвучало почти безразлично, и особых усилий к тому прилагать не пришлось: в месяц, прошедший с разрыва, как в яму, ухнуло столько жизни, что теперь история ощущалась как давняя.

— А все в порядке,— странно, с каким-то даже вызовом, сказала Люба.

— Тогда слава богу. Лишь бы ей хорошо.

— А ей хорошо.

— Ну, и хорошо.

— Почти как с тобой.

— Тогда действительно все в порядке.

Она сказала не сразу:

— Может, уже и заявление подали.

Вот это меня удивило.

— Даже так?

— А как же еще? Он сейчас холостяк, а у него язва. Значит, без жены нельзя. А Анжелика девушка не легкомысленная: уж если любовь, то навек.

Наверное, вид у меня был достаточно растерянный, потому что Люба резко повернулась и спросила почти зло:

— Ты что, дурак? Неужели ты так ничего в ней и не понял? Она актриса! Понимаешь, актриса, и талантливая. Только техники пока мало. Поэтому берет эмоциями, в любую реплику вгоняет себя целиком. Просто не умеет наполовину. И во всем так. Влюбилась — значит, по уши и на всю жизнь. То есть до новой роли. Потому что новая роль — это новая жизнь...— Подумала, вздохнула и заключила: — Впрочем, с ним это, может быть, надолго, ведь он режиссер.

Я не совсем понял:

— Нужный человек, что ли?

Люба отмахнулась:

— При чем тут это! Нет, наша девушка не продается. Но он режиссер! Командует ею. Орет, дергает, как марионетку. Хозяин. Думаешь, легко беспрекословно подчиняться мужику, в которого не влюблена?

Она вдруг заскучала, заторопилась и вот тут-то как раз сказала про барахлишко, объяснив, что Анжелика не пришла сама, чтобы меня не травмировать.

Я сложил вещи. Из-за книг узел получился увесистый. Я предложил донести куда надо, и тут же понял, что ляпнул глупость: куда надо, мне как раз и не надо.

Люба сказала:

— Еще чего! Пашка донесет.

— А где он?

— Там гуляет.

— Так ведь холодно. Не обидится?

Она возразила несколько даже высокомерно:

— У нас это не принято.

— В строгости держишь?

Это ее почему-то задело. Ореховые глаза сузились, и она проговорила напряженно-ласковым голоском:

— Дай бог, моя радость, чтобы к тебе кто-нибудь относился так, как я к Пашке.

Я забормотал, что ничего такого не имел в виду...

— Вот и прекрасно,— оборвала она. Еще раз глянула и то ли серьезно, то ли с издевкой объяснила: — Вы люди творческие, вам нужны страсти. А мне эти возвышенные терзания абсолютно ни к чему. Я даже болею при температуре тридцать шесть и шесть.

Последнее слово осталось за Любой, поэтому ушла она улыбаясь. Узел с Анжеликиными вещичками мотнулся в дверях. И — сдавило, сдавило грудь, словно бы именно сейчас происходила хирургическая процедура разрыва.

Так хоть что-то от нее в комнате оставалось. Теперь — все...

Впрочем, и это было не все.

Через несколько дней Анжелика позвонила, мы встретились у метро и в углу возле ряда автоматов сдержанно обсудили формальности развода. Впрочем, «обсудили» — это слишком сильно; просто Анжелика принесла готовые бумаги, я расписался, где положено, и еще на отдельном листке написал, что прошу оформить развод в мое отсутствие, поскольку никаких претензий, в том числе имущественных, к бывшей супруге у меня нет.

Простились вежливыми улыбками, как сослуживцы из разных отделов,— за руку было бы еще нелепей. Поколебавшись, Анжелика чмокнула меня в щеку. Вполне интеллигентно расстались.

Через несколько месяцев я узнал, что она вышла замуж за того режиссера.

Вскоре выяснилось, что в важном для себя выборе Анжелика была права: фильм для нее оказался если и не на всю жизнь, то уж точно — надолго.

Правда, получился он средним, газеты отзывались кисло. Зато саму Анжелику заметили, похвалили за молодость и темперамент, а осенью на фестивале в Средней Азии она получила премию местной газеты за удачный дебют. Федька рассказал, что видел ее по телевизору: две песни под гитару в передаче для тружеников села. А молодежный журнал даже напечатал кадр из фильма и короткую беседу с актрисой-студенткой.

Журнал этот мы просмотрели вместе с Федькой — собственно, просмотрел он, а я прочел. Анжелика говорила, что в ее возрасте главное не успех, а учеба и работа над

собой, благодарила всех своих учителей, особенно строгого, но справедливого руководителя курса, а в конце признавалась, что самая заветная ее мечта — сыграть в кино роль нашей замечательной молодой современницы. К счастью, именно такая работа ей в ближайшее время и предстоит в новом фильме режиссера, открывшего робкой дебютантке путь к большому экрану,— шла фамилия мужа...

— А чего,— сказал Федька,— все нормально. Выползла на орбиту!

Я хмуро промолчал — Федькина неприязнь меня задела. Почему? Это было бы нелегко объяснить даже самому себе.

С одной стороны, все кончилось, чужая женщина, в чем-то даже неприятно чужая. Но с другой-то, все равно своя, как сестра или дочь, завертевшаяся, загулявшая, заблудившая, шлюха проклятая, но — куда от нее денешься! — всей злостью, всей болью, всей обидой своя...

Она возникла года через два, летом, в самую жару — асфальт лип к подметкам, мелкая пыль постоянно висела в воздухе и въедалась в сохнущие холсты.

Той комнаты в коммуналке у меня уже не было, приходилось платить за квартиру в новостройке — хозяева сдали ее, не въезжая, и была она совершенно пуста — мебелишку собирал по знакомым, одно резное креслице даже подобрал на помойке, отмыл, залакировал и выдавал за семейную реликвию.

Она позвонила среди дня:

— Балмашов?

— Я.

— У тебя есть холодильник?

— Допустим.

— Тогда поставь туда стакан обыкновенной воды.

Только тут я узнал ее окончательно. Собственно, голос определился сразу, сильный, наполненный, казалось, даже хрипловатый, словно энергия, наполнявшая мою бывшую жену, с трудом проталкивалась сквозь гортань. Ее был голос, ее, а вот интонация новая и для меня чужая: не девочка, тревожно и жадно открывающая мир, а уверенная в себе женщина, практически сделавшая свою жизнь.

— Ладно,— сказал я не сразу,— поставлю.

Тут вышла маленькая пауза, после чего она спросила:

— Может, я не вовремя? Ты не один?

— Один.

— Так я зайду?

— Давай, если хочешь.

Она фыркнула в трубку:

— Ох, Балмашов, не слишком-то охотно приглашаешь!

— Ладно, приходи,— буркнул я и сказал адрес.

Два года прошло, дело давнее...

Уверенно постучала, уверенно вошла, уверенно повисла на шее:

— Ох, и соскучилась по тебе!

Сбросив серебристые босоножки, босиком прошла в комнату и сразу же уверенно плюхнулась в кресло-реликвию:

— Подыхаю! Я прямо со съемок. Мало того, что жара, так еще и ночь не спала.

— Издалека?

— Ялта. Видишь?

Она дрыгнула загорелой ногой.

Будущая звезда — впрочем, теперь, пожалуй, просто звезда — была и одета позвездному: что-то дырчатое с яркой вышивкой, живот открыт...

— Есть будешь?

— Не! Тащи воду.

Напившись, потрясла в воздухе потными ладонями и возмутилась:

— Ну и жизнь тут у вас! Жара хуже Ялты, а моря нет.

Замечено было совершенно справедливо, но в тот момент говорить о погоде мне не хотелось.

— Может, все же поешь?

— Успокойся.

Тут ее интонация мне совсем перестала нравиться. Я сел напротив и уставился ей в глаза:

— Ну?

— Что?

— Выкладывай, зачем пришла?

— Ого! — сказала она.— А просто так уже нельзя?

— Можно. Но ты-то пришла не просто так.

Разбираться в ее делах мне вовсе не хотелось. Но еще меньше хотелось слушать ее покровительственно-барственный тон.

Видно, она хотела опять ответить на фразу фразой, даже фыркнула для начала, но передумала, вздохнула, скривилась, и сказала с досадой:

— Хреново мне, Балмашов, понял?

После этой фразы разговор стал неизбежен, и я спросил:

— А что случилось?

Она отмахнулась:

— Да ничего, все нормально.

— Со съемок выперли?

Анжелика засмеялась так искренне, словно сама мысль о подобном была полной нелепостью.

— А чего приехала?

— Эпизод озвучить, ерунда. Я там почти отснялась, мелочь осталась.

— С институтом что-то?

Она удивилась:

— А что с ним может быть?

— Ты учишься?

— Конечно.

— А этот твой...— я назвал руководителя курса.

Анжелика пренебрежительно усмехнулась:

— А-а... Нас с ним теперь водой не разольешь. Строгий наставник и любимая ученица. Зимой был его юбилей — полчаса поздравляла под гитару. Успех, овация, не отпускают... Встал, подошел и даже чмокнул в лобик. А я — ну вот наитие просто! — упала на колени и поцеловала ему руку. Что началось... В зале одно старичье, и, конечно, каждому хочется, чтобы вот так, под занавес... Слезами истекли.

Она зевнула и закончила буднично:

— Я теперь на заочном, снимаюсь, когда захочу.

— А чего во ВГИК не перейдешь?

— Тут марка солидней.

Я пожал плечами:

— Не понимаю. Выходит, у тебя все хорошо. В чем же хреново?

Она снова вздохнула, наморщила лоб и прямо на глазах стала проще, озабоченней и — тусклее, что ли? Да, молодая, но уже не девушка, уже баба тертая и мятая жизнью.

— В общем-то, во всем,— сказала моя бывшая жена.

Я молчал, приготовился слушать.

Она пошевелила пальцами и вдруг отвернулась:

— Не могу я так! Будто у начальства на приеме. Погоди, дай обжиаусь. У тебято как?

— Живу, пишу.

Ни малейшей потребности исповедываться у меня не было.

— Выставляют?

— Умеренно.

Это действительно было так: какие-то физики во имя общего развития вывесили в коридоре НИИ по десятку моих и Федькиных работ и обсудили, почему-то назвав модернистами, после чего наградили бесплатными путевками в свой спортлагерь и передали с рук на руки в соседний институт...

— Родители как?

Надо же — вспомнила!

— Вроде, нормально. Осенью съезжу. Сколько лет в Москве, а дом все-таки там.

Она сказала:

— А у меня даже не знаю, где. Вот приехала, а туда так неохота! Мамаша его... Четыре комнаты, а с Прасковьей Васильевной не разойтись.

— Не ладишь?

— Наоборот, любовь взасос. Просто сегодня неохота кривляться. Хотела к Любке, а она в убытии до вторника. Хоть на вокзале ночуй.

Если это и был намек, я его не понял.

Помолчали.

— Не могу! — вновь сказала Анжелика, но уже по другому поводу.— Как ты существуешь в такой духоте? Хоть бы окно открыл.

— Еще хуже будет.

— Можно, душ приму?

Я указал на дверь ванной.

Она словно бы только заметила грязные газеты на полу:

— Ремонтировать собираешься?

— Наоборот, чтобы не пришлось ремонтировать. Через месяц хозяева вернутся.

— А мне на старом месте сказали, что у тебя теперь своя.

— За шестьдесят в месяц — своя.

Анжелика оглядела комнату — мольберт, подрамники, груду тюбиков на газете в углу — и произнесла неодобрительно:

— Пора бы и мастерскую заиметь.

Поскольку это не был вопрос, то и в ответе не нуждался.

— Ладно,— сказала она,— отвернись.

Я подошел к окну и смотрел во двор, пока за спиной шуршало и взвизгивало, видно, барахлила «молния».

Двор был малолюден, жара к лишним движениям не располагала. Тем не менее, четыре девчонки прыгали в классики, а наискосок от меня, возле старого двухэтажного флигеля, мужик мыл машину, выведя шланг в окно первого этажа. Это явно был не просто частник, а любитель, умелец и хозяин: шланг кончался специальной щеточкой, в двух пластмассовых ведрах роскошно пузырилась разная пена, а сам владелец, в оранжевом комбинезоне и высоких красных сапогах, походил на водолаза или космонавта.

Машина, охристый «жигуленок», мокрый, в парчовой пене, сиял и зеркалил, празднично собирая вокруг себя весь двор с его дорожками, скамейками, серой зеленью и сухими короткими тенями. Вот бы рядом два холста: машина в полдень, солнечный зайчик, елочный шар, веселый «анфан терибль» неряшливого двора — и машина в полночь, пантера во мраке, тревожная тень со слепящими фарами, грозный ночной хозяин того же малого пространства... Я как-то разом увидел обе картинки, два городских мотива в одинаковых рамах, двух ангелов, белого и черного, как бы сомкнувших плечи — то ли диалог, то ли заговор...

Могло, вполне могло получиться.

Но что-то осталось не понятым в этом пиршестве мокрых плоскостей, да и занят я был иным, поэтому, поманив богатым ощущением, купающийся этот автомобиль тихо проследовал в запасники души — до востребования. Авось, когда и понадобится...

— Всё! — услышал я разрешающее слово и, не спеша обернувшись, увидал, как не спеша же исчезло в двери ванной загорелое предплечье и бледная округлость бедра. Чужая женщина вела себя, как своя, а, может, я просто был для звезды вроде костюмерши или мальчишки-осветителя, которого стесняются не больше, чем его треноги, ибо они вместе как бы и составляют подставку для фонаря.

Ладно — ее дело...

Тут позвонил Федька. Ему не писалось, и он минут десять материл себя, меня, прочее человечество, а также изобразительное искусство всех времен и народов. Пока он отводил душу, я вдруг подумал, что будущее будущим, а машину в полдень надо бы набросать именно сейчас: ведь может не повториться эта жара, свечение и сияние, эти расплавленные цвета, яркое пятно «жигуленка» и, ему в поддержку, яркие пятнышки играющих девчонок. А главное, может не повториться мое теперешнее ощущение — его-то как раз и надо схватить хоть в беглом, небрежном этюде. Вот уйдет она...

Я даже придумал, как выпровожу ее, не обижая. Пока будет одеваться, я, глядя в окно, скажу как бы между прочим...

Анжелика одеваться не стала, прошла по комнате, оставив на газетах влажные следы, сцепила руки у меня на затылке и в третий раз сказала:

— Не могу!

Я растерялся и снова подумал: чужая, а ведет себя, как своя. Она не отпускала, и я, чтобы успокоить, стал гладить ей плечи, но кожа узнала кожу...

...и тут мне стало страшно. Ведь так, как с ней, не было ни с кем, и не будет — точно знаю, не будет. Как же я отпустил ее тогда? Почему отпускаю теперь?

Она застонала просто от боли, так я прижал ее к себе, будто это судорожное объятие могло хоть что-то решить. Стон, крик, слезы — и два имени, как два заклинания...

— Не могу! — Это она повторила в четвертый раз, но уже потом, когда кровь словно бы ушла из тела, а кисти рук тряпично лежали на простыне — повторила негромко, почти не шевеля губами, и затылок ее не шевельнулся на моем плече.— Чего-то не то. Хреново мне, Балмашов.

Она не жаловалась, не ждала моего решения, просто советовалась, как с хорошим приятелем: чужая женщина больше не вела себя, как своя. Да и я легко принял эту интонацию — близость кончилась, как только кончилась близость.

— Уж если у тебя хреново! — сказал я.

Анжелика поморщилась:

— Да, понимаю. Повезло, еще как повезло! Другие в мои годы... А тут и имя, и вообще. Недавно ставку повысили.

— А тогда чего же?

Она вдруг повернулась ко мне и приподнялась на локте:

— Ну-ка скажи: ты веришь, что я талантлива?

Я ответил, что верю.

— А по фильмам моим это видно?

Даже не спросила, смотрел ли я эти фильмы...

Тут я замялся:

— Н-ну...

— Видно или нет?

— Что способная — видно.

— Все верно,— сказала Анжелика,— способная, и больше ничего. А способных каждый год тридцать штук кончает. Каждый год!

Я не слишком понимал ее проблемы, но то, что понял, мне не понравилось.

— А ты хочешь быть единственной?

— Я хочу сниматься! — с силой и даже болью сказала она.— Неужели так трудно понять? Вот ты художник, да?

— Допустим.

— И пишешь!

— А что же мне еще делать?

— Так вот я актриса и хочу сниматься!

Я жестом погасил ее возмущение:

— Стоп, согласен. Но ведь ты и снимаешься. Сколько у тебя всего ролей?

— Не считая эпизодов, сейчас третья.

Тут уж возмутился я:

— Тогда какого черта тебе надо? Тебе же двадцать два.

Она сказала:

— Да! Двадцать два! Наташу Ростову я уже не сыграю.

— Ничего, сыграешь Анну Каренину.

Анжелика угрюмо возразила:

— Анну Каренину дают той, которая сыграла Наташу Ростову.

Разговор шел довольно бестолковый. Я потряс ладонью:

— Ну-ка, стой. Давай сначала. Ты сказала: хреново, так? Валяй объясняй, почему.

Она села на кровати спиной к стене, ноги по-турецки — поза автоматически получилась красивой, видно, за эти годы немало занималась пластикой. Подумала о чем-то, усмехнулась, вздохнула и заговорила спокойно, без пауз — видно, все это было думано-передумано:

— Понимаешь, я не бездарна. И многое умею. Двигаюсь, пою. Голос, фактура, темперамент — по крайней мере, не ниже нормы. Все, что говорят, делаю, пока не завалилась ни разу. Но я не гений. Мировоззрения у меня нет. Когда-нибудь, может, и будет, а сейчас нет. Чтобы поднять роль по-настоящему, мне нужен режиссер.

— Так он же у тебя есть.

Я не подкалывал, просто уточнял, однако прозвучало двусмысленно. Анжелика, к ее чести, на возможные нюансы не отвлеклась.

— Он не тот режиссер. Он знает, где мне встать и как повернуть голову. А про что играть...

Мне не нравились его фильмы с их яркой показушностью, с шумными холодными страстями. Но у разговора своя логика: поскольку ругать его стала она, мне для объективности оставалось только защищать. Что я и стал делать без особой охоты.

— Но ведь тебя же хвалят.

— Кто? — возразила она с горечью.— И как? Последний раз хвалили за то, что мне двадцать. Но сейчас мне, извини, двадцать два. Через три года двадцать пять. А за это уже не хвалят.

— Ну, до того-то времени... У тебя уже сейчас имя.

Она проговорила не сразу:

— Две недели назад худсовет смотрел материал. Фильм почти снят. Знаешь, что было сказано?

— Про фильм?

— Про меня.

— Ну?

— Это не роль, а позы под музыку.

— Кем сказано?

— Редактор один.

Справедливости ради я заметил:

— Ну и что? Ведь один! А их там, небось, человек десять.

— Неважно. Я-то знаю, что он прав. Сегодня сказал один, завтра скажут все десять... Сигареты есть?

Не дожидаясь ответа, она потянула ящик тумбочки.

— Нету,— сказал я,— здоровее будешь.

Анжелика сбросила ноги на пол, потянулась и встала:

— Черт с ним, придется курить свои. Вставать не хотелось.

Прошла по комнате и достала из сумочки сигареты. Закурила, снова легла.

— Ну-ка, скажи честно: тебе эти мои роли правились?
Я ответил честно:
— В общем, нет.
— Вот видишь...
Потом она, похоже, устала сомневаться в себе или просто разозлилась, что я согласился с ней, вместо того, чтобы спорить и хвалить ее роли. Во всяком случае, глаза стали жестче, поза нахальней, она вольготно привалилась спиной к относительно прохладной стене и, с подчеркнутым удовольствием выпуская дым, стала вещать. Конечно, говорила она, ей не восемнадцать, ей двадцать два, не так уж мало. Но, с другой стороны, девочки, с которыми она училась, к этому же возрасту не добились ничего, прозябают в провинциальных театрах. Так что некоторая фора у нее все-таки есть. Разумеется, этим нельзя обольщаться, она и не обольщается, напротив, если она чем и грешит, то скорей излишней самокритичностью...
Анжелика совсем успокоилась, и с ней стало неинтересно.
Кроме того, смешила и раздражала сама картина: сидит голая по-турецки, машет сигаретой и при этом рассуждает о собственной самокритичности...
Я сказал:
— А чего ты, собственно, суетишься? Не вижу трагедии. Ну, прервешься года на два. Поснималась — дай другим.
Я откровенно заводил ее. Но она не завелась. Она ответила назидательно:
— Это, мой милый, кино. Тут каждый только о себе. Так что о других пусть думают другие.
Наверное, чем-то я ее все же задел: немного погодя она спросила достаточно агрессивно:
— Ну, а ты? Ты как? Скоро выдашь что-нибудь эпохальное?
Я пообещал:
— Как только, так сразу. Вот уйдешь, и начну.
Видимо, молодая звезда к таким разговорам не привыкла — не столько обиделась, сколько удивилась:
— А если не захочу уходить?
— Пойду писать к Федьке.
Она все же нашла способ оставить последнее слово за собой:
— Поцелуй, тогда уйду.
Я поцеловал ее, и она ушла.

Анжелика вернулась часов в семь, вечером еще и не пахло. Как и утром, туфли полетели в угол — это у нее было вроде приветствия.
— Балмашов, говори честно: кормить гостью собираешься?
И тон, и улыбка были помягче, чем утром — отношения определились, актриса приняла предложенную трактовку роли.
Я ответил, что придумаю что-нибудь, голодной не останется. Анжелика хмыкнула:
— Представляю себе! Ладно, давай сумку. Можешь спокойно писать свою эпохалку.
Я протянул и деньги, но она посмотрела свысока:
— Обижаешь, начальник!
Она накупила всякой всячины, и минут сорок с удовольствием возилась у плиты. Потом накрыла стол, и не просто накрыла, а изысканно, что при моих посудных возможностях было нелегко. Получился как бы прием на две персоны.
— Научилась,— похвалил я.
Она ответила без радости:
— Жизнь-то идет.
И словно мимоходом попросила:
— Переночую у тебя, ладно?

Она прожила у меня четверо суток, и я постепенно привыкал к этой новой Анжелике. Пожалуй, первое впечатление после разлуки меня подвело: чужая женщина вовсе не вела себя, как своя. Ни выглядеть, ни, тем более, быть моей она не старалась. Но и еще чьей-то, как будто, тоже не была. Нынешняя Анжелика принадлежала самой себе. Повзрослела.
У нее были дела, целыми днями она упорно моталась по жаркому городу. Я пару раз спросил — отмахнулась: «А, интриги!». Приходя, лезла под душ, потом довольно споро возилась по хозяйству. Готовила, даже выстирала подвернувшуюся под руку рубаху — заботилась, как бывшая одноклассница. Вечером заваривала крепкий «мужской» чай. После чего ложилась ко мне в постель и принималась обсуждать накопившиеся проблемы увлеченно и откровенно, как с задушевной подругой. Случайное

касание бросало нас друг к другу, разговор обрывался на полуфразе. А потом возобновлялся с той же, приблизительно, полуфразы.
— ...Он, к сожалению, не мой режиссер,— говорила Анжелика.— Анекдот! Мой муж, но не мой режиссер. Он слишком любит себя. Ты слишком любил меня, а он слишком любит себя, поэтому вы оба не могли мне помочь. В принципе, мне нужен режиссер типа...— она назвала фамилию,— вот он работает через актера.
— А ты не пробовала к нему?
— Не только пробовала — у меня полгода назад был с ним роман. Вот бы за кого мне замуж!
Я не понял, говорит она всерьез или дурачится, и на всякий случай отозвался столь же неопределенно:
— И за чем дело стало?
Она ответила серьезно и грустно:
— Он не захотел.
— Почему?
— Он сказал: ты, как яркая люстра. А жена должна быть, как тусклая лампочка в туалете...
Все дни, что она была у меня, мы говорили только о ней. Похоже, думать о ком-то другом она просто не умела. Это стало надоедать.
В конце концов, я спросил резко:
— Тебе чего надо — играть или пробиться?
Анжелика, почти не думая, твердо ответила:
— Пробиться. Пробьюсь — буду играть. А не пробьюсь...
Она посмотрела на меня с досадой:
— Как ты не понимаешь разницу? Ты художник, а я актриса, у нас все по-другому. Ты можешь писать и складывать про запас, когда-нибудь выставишь. А я не могу играть про запас! Не помню, кто сказал, но очень точно: у актера есть только сегодня, поэтому высказаться он должен сегодня.
— Ну, и что ты хочешь высказать?
Она немного растерялась:
— Как — что?
— Так — что?
— Это же зависит от роли!
— У плохого актера от роли, у хорошего — от личности.
Анжелика задумалась. Потом проговорила:
— Наверное, ты прав. Конечно, надо вкладывать себя, иначе нельзя.— Она вдруг посмотрела на меня.— Ты как думаешь: я личность?
Я пожал плечами.
— А раньше говорил — личность.
— Раньше я так и думал.
— А теперь?
— Теперь никак не думаю. Не знаю.
— А все же? Я не обижусь.
Я немного подумал:
— Личность обычно несет какую-нибудь идею.
— А ты несешь?
Это было сказано без подвоха, просто для уяснения истины.
— Несу.
— Какую?
— Как-нибудь в другой раз.
— А я — совсем никакой?
— За три дня уловил только одну идею — пробиться.
Анжелика вдруг почти закричала:
— Ты что думаешь, я сама не знаю? Конечно, лучше сперва учиться, развиваться, а уж потом выдавать. Но где оно, это «потом»? Сегодня меня зовут, а потом, может, никто и не захочет. Люди по десять лет без ролей сидят, за паршивый эпизод в ножки кланяются!
Она дернула губой, словно отгоняя ругательство, и закончила с мрачной убежденностью:
— Пока идет карта, надо играть.
Я машинально удивился:
— Ты играешь в карты?
Она ответила нехотя:
— Муж играет...
Потом она прибирала постель, а я смотрел в окно. Было жаль уходящего времени, холст, начатый еще до ее приезда, отдалялся от меня и мог уйти совсем — при Анжелике не работалось, ее яростный эгоцентризм словно выжигал все вокруг. «Черт

с ним,— подумал я,— будем считать «отпуск».
Она сказала за моей спиной:
— Я буду иногда приходить, ладно? Мне ведь никто не скажет правды, кроме тебя.
Я обернулся:
— А зачем тебе эта правда?
Восходящая звезда жалковато улыбнулась:
— Все-таки...
Анжеликины дела в Москве кончились, и она быстро собрала свою сумку с пантерой. Накануне она встречалась с Любой и Верушей и теперь, укладываясь, рассказывала мне про их дела. Новости в основном были нерадостные.
— У Любки плохо,— говорила Анжелика,— по-моему, просто сломалась. Сидит в Росконцерте, место ничего, но... Инерция вышла!
Я удивился, а еще больше огорчился: образ скуластенькой девушки с бесстрашными глазами охотницы, неуклонно взбирающейся по жизненной крутизне, стойко держался в моей памяти и чем-то помогал жить — может, служил примером прочности и хладнокровия в разнообразных и довольно частых передрягах. Жаль было терять такой симпатичный идеал.
— А что у нее?
— Они же с Пашкой разбежались.
— Почему?
— Сложно... Понимаешь, у нее характер. Ну, и давила мужика помаленьку. А Пашка терпел, терпел, и вдруг...
— Может, помирятся?
— Вряд ли, поезд ушел. Пока она выдерживала характер, он женился.
— Он что, так много для нее значил? — спросил я с сомнением: уж очень не походил на рокового мужчину этот громоздкий большеротый увалень.
— Дело не в нем, дело в Любке,— объяснила Анжелика,— она не умеет перестраиваться. На первом курсе подружилась со мной и с Верушей — так и дружим до сих пор. Любка только кажется такой самоуверенной, а на самом деле очень привязчивая. Вот посмотри, кто у нее всегда на дне рождения: мы с Верушей, трое одноклассников и еще подружка с детского сада. Она теперь в Перми, но на день рождения всегда приезжает.
— Ну и кто же теперь у Любки?
— Пусто,— сказала Анжелика,— можешь попробовать. Но честно скажу, шансов мало. Не исключено, что она вообще однолюбка.
— А вы с Верушей не могли их помирить?
Наверное, в голосе моем прозвучало осуждение, потому что она стала оправдываться:
— Ты Любку не знаешь. Замкнулась, грызет себя, а попробуй слово скажи...
Потом Анжелика рассказала про Верушу. У той тоже было не блестяще. Место в общем нашлось пристойное: отдел литературы и искусства в отраслевой газете. Но зав — старый маразматик, на мысль ему чихать, на стиль чихать, требует прописных истин и ничего более. Контора как контора, говорила Анжелика, но у Веруши талант, а там талант не нужен, слишком выпадает из общего уровня. Отсюда нервотрепка и прочие прелести. К тому же, к ней лезет один жлоб, ответственный секретарь.
— К Веруше?
— А ему плевать,— сказала Анжелика,— ему важно, что ГИТИС закончила. Большой любитель культурного общества!
Я хорошо помнил Верушу, прокуренную, толстую и неряшливую, помнил резкие вспышки ее неожиданного ума, слепящие, как мигалка милицейской машины. Талант был ее единственным козырем и единственной жизненной ставкой — никакой подстраховки...
— Паршиво,— сказал я.
— Просто черт-те что! — тут же подхватила Анжелика.— Они ведь обе умней меня в десять раз, особенно Веруша. Скажи мне на втором курсе, что так повернется...
Что-то в ее интонации было мне неприятно. Слишком охотно возмущалась она несправедливостью судьбы, в голосе сквозила не боль за подруг, а покровительственная жалость к неудачницам, поотставшим на житейских виражах.
Она уложила сумку и поставила ее на табуретку у двери. Я понимал, что время прощаться, что надо обнять ее и поцеловать, но ни обнимать, ни целовать не хотелось.
— А сумка все та же,— сказал я.
— Талисман,— объяснила Анжелика.
Она села в кресло, и ноги ее автоматически приняли самую красивую из возможных позиций. Она была актрисой, и хорошей — чего уж там! — и на какой-то момент я понял ее жадный эгоцентризм: это талант, может, и не умный, и не наполненный духовно, но все равно реально существующий, требовал работы на пределе возможностей.
— Значит, перезвонимся,— сказала она,— перезвонимся, встретимся и будем говорить правду.

Но произнесено это было рассеянно — какие там звонки, какая правда! — вся она была уже в завтрашних заботах. Да и куда звонить? Эту квартиру я терял через месяц. Телефон Анжеликиного обиталища я не спросил, а она не предложила. Перезвонимся, конечно, перезвонимся!
Она поцеловала меня в губы легким приятельским поцелуем. Да мы сейчас, пожалуй, и были приятели. А кто же еще? Прошлое прошло, будущего не будет, а кровать у стены — дело житейское. Перезвонимся...
Все же я думал, что расстаемся месяца на два, ну, на три. Москва есть Москва, где-нибудь да столкнемся.

Москва есть Москва. Мы действительно столкнулись с Анжеликой, столкнулись зимой, на Тверском бульваре, засыпанном пуховым снегом, но не через три месяца, а через четыре с половиной года. Дела мои к тому времени стали налаживаться, уже была мастерская, уже прошла в ряду других на редкость шумная молодежная выставка, отбросившая на пять-шесть лиц, и мое в том числе, веселый и обнадеживающий отблеск скандала. Уже в разных полемиках позванивало и мое имя, уже довольно регулярно являлись интеллигентные ходоки из разных мудреных институтов — химики, генетики и кибернетики торопились приобщиться к искусству, прогрессу и злобе дня.
Я как раз и шел из одного такого института, помещавшегося в древнем, неудобном, но престижном особняке — относил четыре картинки на полуофициальную групповую выставку. По этому случаю был в брезентовой ветровке и старых заплатанных джинсах, в руках оберточная мешковина: развешивать картины, как, впрочем, и писать, занятие сугубо пролетарское.
А тем же самым бульварчиком шла мне навстречу моя бывшая жена — в серебристой дубленочке с белой опушкой, в красных сапожках, сверкавших, как новый автомобиль, и с красной сумочкой, сверкавшей, как сапожки. Гуляющие бабуси и молодые мамаши с колясками оглядывались, и притягивало их не богатство наряда, а очевидная, несомненная известность. Они могли не помнить Анжелику, могли и не видеть прежде, это значения не имело: известность стала органической чертой ее лица, как у других бледность или румянец. Звезда, без всяких оговорок звезда!
Я встал у нее на пути, раскинув руки — в правой болталась мешковина. И любовь, и боль остались в дальнем прошлом, их как бы заслонило и теперь четко помнилось лишь ближнее прошлое, наша последняя, почти дружеская встреча, четыре дня в моем временном пристанище, легкий приятельский поцелуй в дверях. Тот прощальный поцелуй стал как бы выводом из всего, что случилось между нами, и новый поцелуй, откровенно радостный, был логическим его продолжением. Друзьями расстались, друзьями встретились...
Балмашов! — завопила популярная актриса и кинулась мне на шею.— Гад несчастный! Ты что, только из тюрьмы?
— Приблизительно,— улыбнулся я, бережно сжимая ее пушистую дубленку.
— Зек,— сказала она,— типичный уголовник. Повыпускали вас на нашу голову!
Анжелика здорово изменилась за эти годы. Не постарела, нет, тут время почти не сказалось — но ее по-прежнему свежее лицо теперь сияло уверенной силой. От угловатости начинающей не осталось и тени — состоявшаяся, зрелая актриса, молодая женщина в полном расцвете могущества и в идеальном оформлении. Облик сложился, все было точно по ней: и сапожки, и дубленка, и улыбка, и та радостная естественность, с которой она обнимала и тормошила меня.
— Сейчас ты куда?
Вопрос был вовсе не праздный — энергичный и даже требовательный.
— Домой,— ответил я не слишком уверенно, ибо приятелю столь шикарной женщины уместнее было бы направляться на закрытый просмотр или, как минимум, в финскую баню.
— А я хочу есть!
— Желание дамы...— забормотал я автоматически, абсолютно не представляя, каким образом я мог бы желание такой дамы удовлетворить.
Анжелика безапелляционно прервала:
— Кормлю я!
Снег, на бульваре пушистый, на тротуарах был размят, растоптан, тек и скользил. Мы пешком прошли до Маяковской, потом переулком и очутились перед серым кубом Дома кино.
— Сюда, что ли? — испугался я. Мешковину, младшую сестру моей давней торбы, я свернул и держал под мышкой, но и свернутая она куда больше гармонировала с моей брезентовой ветровкой, чем с Домом кино.
— Куда же еще? Даром, что ли, я плачу деньги в этот паршивый Союз киношников?

На это возразить мне было нечего — вопрос о моем приеме в «паршивый Союз художников» еще только решался...

Тетка в дверях брезгливо глянула на мою мешковину и недоуменно спросила Анжелику:

— Это с вами?

— Я с ним,— шевельнула бровями актриса, и я прошел за нею в мраморное нутро здания, чувствуя себя мальчиком, которого ведут за руку. В раздевалке я положил было проклятую мешковину на барьер, но ястребиные глаза лысого гардеробщика азартно блеснули, и он сказал, с элегантным полупоклоном:

— А это попрошу с собой!

И опять за меня вступилась Анжелика:

— Хорошо. *Это* возьму с собой я.

Гардеробщик без тени смущения возразил:

— С вами совсем другой разговор.

В большом ресторанном зале было пустовато, но Анжелика не колебалась в выборе места, сразу же уверенно прошла к столику за колонной. Подошла худая, лет пятидесяти, официантка с большими изумрудами в ушах, поздоровалась со мной и расцеловалась с Анжеликой.

— Дашка, спасай,— сказала Анжелика,— жрать хочу — подыхаю! Мне большой набор, ему — с поправкой на мужика.

Я раскрыл было рот, но официантка одной фразой подавила мой робкий бунт:

— На нас с Анжеликой еще никто не обижался!

— Дашка! — возмутилась актриса.— Что значит — никто? А если он — единственный?

— Сделаем, как единственному,— сказала Дашка и отошла, играя тощим задом.

Я вопросительно посмотрел на Анжелику.

— А мы подруги,— объяснила она,— уйма общего, от парикмахера до гинеколога. Железная баба! У нее любовнику двадцать семь.

Анжеликин большой набор оказался достаточно скромен (героиня должна быть хрупкой, объяснила актриса), мне железная Дашка принесла полный поднос.

— Ну,— сказала Анжелика,— рад хоть? Представить не можешь, как мне тебя не хватало! Народу тьма, а поговорить ведь не с кем. Тряпки, интриги, ставки... Сколько раз вспоминала те наши с тобой дни! Мало ли что случается, плевать, правда? Главное — искусство, твое и мое. Ну, давай. Как ты, что ты?

Я развел руками:

— Нормально.

А что еще сказать, когда не виделись четыре года?

— Мастерскую дали?

— Дали.

— Женился?

— Нет.

— Выставляют?

— Про «Десятку» слыхала?

— Это что?

— Выставка наша была.

— А,— сказала Анжелика,— ну вот видишь! Я всегда знала — пробьешься. Ты талантлив, это главное. Просто время сейчас такое — надо хватать на лету... Ну, а я как? Как выгляжу? В конце концов, мужик ты или нет? Где комплименты?

Я сказал комплименты, и разговор про искусство, ее и мое, на этом кончился.

Про Анжеликину жизнь я кое-что знал: доносилось, долетало... Знал, что с делами в общем нормально, снимается, выступает с концертами, что с режиссером своим разошлась. Последнюю новость я услыхал недавно и понятия не имел, что за ней стоит: поражение в житейской войне или, наоборот, продуманный шаг на иную, высшую ступень.

— Ты-то как? — спросил я.

— Сложно,— ответила она.— Больше хорошо, чем плохо. Можно даже считать, что хорошо.

— Рад за тебя.

Я проговорил это без иронии. Довольна, и слава богу. Когда мы познакомились, я был требовательней, но с тех пор прошло время. Теперь я знал, что кто-то для искусства живет, а кто-то при искусстве кормится, и даже в этом ничего страшного нет. Люди кормятся при любом деле, даже при тюрьме, даже при кладбище, и почему бы искусству быть исключением? И если человека устраивает его положение в искусстве или при искусстве, уже хорошо. Одним довольным больше — чуть спокойнее на земле.

Я так и произнес вслух:

— Довольна, и слава богу.

Она холодно вскинула глаза:

— Балмашов, не хами. Довольной я не буду никогда. И ты это отлично знаешь. Хорошо — значит, приемлемо. Работа есть. Концерты идут. Принимают. С квартирой налаживается.

— Размениваетесь?

— Уже слыхал?

— Ты человек заметный.

— Нет,— сказала она,— решили проще. Воткнул меня в кооператив.

— А пай?

— Там видно будет. Могу и сама, мне ставку повысили.

— Кооператив далеко?

Она сказала равнодушно:

— Близко, далеко — какая разница? Дам три концерта для жилуправления — будет близко.

Лицо у Анжелики словно погасло, видно, я тронул неприятную тему. Меньше всего мне хотелось ее огорчать. Я попробовал утешить:

— Плюнь и забудь. Я еще тогда почувствовал, что это рано или поздно произойдет. Детей ведь у вас нет?

— Нет,— сказала она,— чего нет, того нет. Один раз наклевывалось, но...

— Случилось что-нибудь?

Она усмехнулась:

— Что может случиться у актрисы? Пятисерийка для телека. Или — или...

Тут к нам подсел мужик лет тридцати в красивой кожаной курточке, со значительным и глупым лицом. Анжелику он назвал Желькой и поцеловал в щеку, а знакомясь со мной, не назвался, словно его фамилию я сам должен бы знать. Руку он мне пожал, будто подарок сделал. Машинально схватил маслину из розетки и, держа ее в длинных пальцах, стал возмущаться бардаком в автосервисе: он гонял машину на техобслугу, и там ему что-то сделали не так. Впрочем, этой незадачей наш собеседник был не слишком удручен, ибо получил возможность рассказать, как ему делали техобслуживание в Польше и Чехослоакии, а его приятелю в Мексике. Выходило, что в далекой тропической республике дела с автосервисом поставлены лучше всего.

На куртке у него была длинная «молния», он дергал застежку вверх-вниз. У мужика был низкий баритон, рассказывая, он заглядывал в глаза то мне, то Анжелике. Я кивал, актриса была непроницаема.

Потом он сменил тему: стал рассказывать, что приглашен в политический детектив, сценарий дерьмо, группа дерьмо, все дерьмо, зато два эпизода в Голландии. Жаль, нельзя туда на собственной машине, ибо уж там-то с автосервисом...

— Слушай, милый,— вдруг ласково сказала Анжелика,— а не пошел бы ты...

Она назвала точный адрес, и я удивился, что неприличное слово не звучит в ее устах неприлично — разве что непривычно, раньше такого не замечалось. Возраст? Отпечаток среды? Издержки жесткого и нервозного искусства кино?

Мужик растерянно умолк, длинная «молния» дернулась в последний раз.

— Можешь ты понять,— глядя ему в глаза, проговорила Анжелика,— я любимого человека встретила, четыре года не видались...

Наш собеседник щедро развел руками:

— Старуха, об чем речь! Сказала бы сразу...

С интересом глянул на меня и отошел.

— Извини,— поморщилась Анжелика,— с ним иначе нельзя.

А мне вдруг стало легко и удобно в этом чужом Доме, чужом зале. Все же приятно, когда тебя публично объявляют любимым человеком, даже если это вовсе не так...

В первый раз за обед я спокойно и обстоятельно огляделся. Две трети столиков были пусты. Официантки, завсегдатаи. Кто-то сосредоточенно пилил антрекот, кто-то решал дела за бутылкой, кто-то просто потягивал пиво, убивая незанятый день, но у всех у них на одежде и лицах лежала печать причастности общему ремеслу, как бы невидимый кастовый знак. Ни одной случайной фигуры. Только я.

Впрочем, теперь, освоившись, я понял, что заплат и старого свитера мне стыдиться нечего, ибо здесь, за привилегированным столиком профессиональной харчевни, я тоже играл некую роль и своим непотребным видом не только не компрометировал известную кинозвезду, но, напротив, подчеркивал ее демократичность, широту взглядов и свободу в общении с массами.

Поджарая Дашка принесла мороженое — в вазочке у Анжелики был один шарик, у меня четыре.

— До чего же приятно кормить мужика! — с удовольствием произнесла актриса.

— Раз в год в ресторане,— сходу отозвалась официантка, подмигнула мне и ушла с подносом грязной посуды.

— Вот нахалка! — вслед ей восхитилась Анжелика.

А мне было совсем хорошо. Я смотрел на свою бывшую жену и думал, что теперь, пожалуй, я бы мог ее написать. Хотя бы вот так, за ресторанным столиком, за спиной

колонна, на скатерти «большой набор» — осторожное пиршество актрисы. Платье обобщу, скатерть обобщу, колонну обобщу. Белая скатерть, белая колонна, пятно платья, пятно лица. А глаза, настроение, суть, все то, что прежде не давалось — это получится. То ли модель стала понятней, то ли я умней. А может, просто взгляд мой теперь свободен. От чего свободен? Да от любви, всего лишь от любви...

Я спросил:

— Часа два на той неделе найдешь?

Она вскинула глаза, не понимая:

— Два?

— Ну, четыре. Максимум, шесть. Три сеанса. В любое время. А?

— Опять голяком?

— Нет, зачем. Вот так, как сейчас.

— Если не уеду,— сказала Анжелика,— перезвонимся.

Я не обиделся, все было логично. У актрисы свои резоны и свой ритм, карта идет — надо играть. Три сеанса — это три дня, немалое время, и стоит ли терять его на холсты, которые, вполне возможно, так и останутся у стенки в углу мастерской?

— Я прикину,— уклончиво пообещала деловая женщина,— мы ведь еще не прощаемся?

— Как выйдет,— успокоил я.

Я смотрел на Анжелику и видел уже свое. Резкое пятно помады на фоне обобщенной колонны, резкие пятна ногтей на обобщенной скатерти... обойдусь и без трех сеансов, даже без одного. Уйдут детали, уйдет имя, «Портрет актрисы» — более, чем достаточно.

Когда-то в детстве я верил в страшную уличную байку, будто в зрачках убитого застывает лицо убийцы. Здесь, в ресторане, не было ни убитого, ни убийцы, просто приканчивали мороженое, но я смотрел на Анжелику, и ее лицо застывало в моих зрачках.

Я смотрел на нее и вдруг заметил, что она подняла глаза и тоже смотрит, то ли оценивая, то ли решая. Кто же убийца и кто убитый?

— Слушай, Балмашов,— решив, сказала актриса,— выполни долг любимого человека, а?

— Что за долг?

— Ты свободен?

— Когда?

— Сегодня. Прямо сейчас.

Я не успел ответить — тощая Дашка принесла счет. Я полез в карман, но Анжелика решительно одернула:

— Ты мой гость!

Не глянув на счет, она кинула на скатерть бумажку, Дашка в ответ кинула три, мелочь в этих расчетах не участвовала. Деньги инородным пятном лежали на скатерти, еще резче и вульгарней будут они смотреться на холсте: лепешка запекшейся крови, вылезшая в прореху жесткая подкладка судьбы. Не символ, не дай бог — просто характерная деталь, одно из цветных пятен удачи...

Дашка отошла. Анжелика повернулась ко мне.

— Ну, идем?

— Куда?

— Мы сегодня встречаемся: Любка, Веруша и я. У Любки. Составишь компанию девушке?

— А кто меня звал?

— Я зову.

— Во сколько?

— Сейчас. Посмотрим в малом зале две французские короткометражки, и туда.

— Переодеться хотя бы...

— Хочешь понравиться кому-нибудь, кроме меня?

И вот мы опять на улице. Мы идем пешком, после обеда актриса всегда ходит пешком, то есть всегда старается, но, увы, не всегда удается... Сейчас вот удалось, и мы идем пешком по Садоао-Триумфальной, правда, под ногами теперь вовсе слякотно, народу-то вон сколько! Мы идем рядом, я держу ее под руку, а мешковину мою тащит Анжелика.

— Для меня ведь припас? — говорит она.— Тогда мешок, сейчас мешок, не случайно, а?

— Не случайно,— отвечаю я, глупо улыбаюсь — идти с ней рядом приятно.

Анжелика задумчиво покачивает головой:

— А ты изменился. Не пойму в чем, но изменился.

— Время-то,— говорю,— идет!

Я действительно изменился. Годы не виделись. А годы эти — целый период жизни. В общем-то, ее бывший режиссер сказал дело: когда идет карта, надо играть.

Вот уже четыре года я играю. Играю так, что самому страшновато, а карта все идет и идет. Трудно бывает, но провалов нет, каждая новая картинка хоть чем-то, да уходит от предыдущей. В мастерской сколотил стеллаж — вот-вот придется ставить новый. Два десятка картонов лежат у Гришки на антресолях, он настоял, страховка на случай пожара: дескать, твой дом сгорит — так у меня что-то останется. Анжелика углядела точно: теперь я художник. Хороший, средний? Не те слова. Как говорит Гришка, искусствовед без места и степени, теоретик и лидер нашего поколения, художник не бывает ни хорошим, ни плохим, он бывает незаменимым...

— Ну-ка, рассказывай! — требует Анжелика.— Что изменилось, а? — Она взмахивает моей мешковиной, как матадор плащом.— Давай, давай, признавайся!

А в чем признаваться-то? Просто — художник. Пишу много. Выставляюсь мало. Зато признан — безоговорочно признан Федькой, Гришкой, Ольгой Лукьяновой и еще десятком тридцатилетних мастеров, которые, по сути, и составляют наше поколение...

— В чем,— говорю,— признаваться-то? Все то же самое. Живу, пишу.

Анжелика останавливается и пристально смотрит:

— Темнишь, Балмашов! Ну-ка, погоди: тебе премию никакую не дали?

— Нет,— улыбаюсь.

— Ничего,— утешает она,— когда-нибудь дадут.

И почему-то успокаивается.

На перекрестке она вдруг обнимает меня за шею и целует в губы — мешковина болтается у меня за спиной. Я ее тоже обнимаю, и так мы стоим на мостовой, на неудобном месте, на самом проходе, мешая гуляющим и спешащим. Что за поцелуй, зачем он? Не любовный, не дружеский, не прощальный... Ладно, мы люди искусства, мы эксцентричны, мы можем себе позволить — постоим на перекрестке.

— Я рада, что мы встретились,— в третий или пятый раз, словно пробуя интонации, повторяет Анжелика, и я — а что делать? подаю ответную реплику:

— Тот же самый вариант.

Эпизод отыгран, и мы идем дальше. Актриса рассказывает про фестиваль в Кишиневе, я задаю вопросы. У магазина Анжелика просит подождать, заходит внутрь и решительно шагает в щель между прилавками. Я покупаю две бутылки, заворачиваю в мешковину — вот и нашлось ей применение,— и тут как раз возвращается актриса с огромной круглой коробкой, в которую, наверное, можно упрятать даже небольшую стиральную машину.

Мы идем дальше, потом сворачиваем. Переулок, двор, подъезд. Дом старый, с широкими солидными лестницами. Лифта нет.

Любка теперь здесь? — удивляюсь я, хотя чего удивляться-то — годы...

— Они снимают, говорит Анжелика.

Кто *они*, спросить не успеаю: актриса давит на звонок. Тяжелые быстрые шаги за дверью, щелчок замка... Веруша.

Она изменилась не слишком, взгляд стал пожестче, вот, пожалуй, и все. Даже кофта та же самая, похожая на халат, только малость обтрепалась, да замшевые нашлепки на локтях.

— Не торопишься,— говорит она Анжелике, после чего жесткий ее взгляд с недобрым недоумением упирается в меня: видимо, посиделки предполагались без посторонних.

Да ты что,— удивляется актриса,— не узнаешь? Ну, мать... Не так уж много у меня было мужей!

— Балмашов?!

В голосе Веруши искренняя радость — с чего бы это? Она хватает меня за шею, прижимает к себе, и я словно окунаю нос в пепельницу.

Мы отдаем Веруше бутылки и торт, раздеваемся в коридорчике, из кучи ветхих тапочек выбираем подходящие пары. Затем проходим в комнату.

У стола, спиной к дверям, хлопочет девушка в белесых истертых джинсах. Она оборачивается, и я с удовольствием вижу знакомое скуластенькое лицо, к сожалению, заметно тронутое возрастом. Сколько же не виделись? Да лет пять, пожалуй.

А за спиной у Любы глыбится нечто большое и нескладное. На секунду я застываю и даже прищуриваюсь, хотя нужды в этом нет. Потом говорю, стараясь, как ни в чем не бывало:

— Здорово, братцы. Привет, Паш.

Громоздкий Паша старательно жмет и встряхивает мою ладонь.

— Сюрприз,— говорит Люба без выражения, оставляя за мной, да и за собой право эту реплику впоследствии как угодно истолковать.

— Сюрприз,— киваю я, улыбаясь растерянно и глупо, ибо кого-кого, но Пашку встретить тут никак не ожидал.

Анжелика целует Любу, целует Пашку, целует, чуть помедлив, и Верушу —

в щеку, которую та подставляет холодновато и даже высокомерно. Случилось у них что? Этого не знаю, времени-то сколько ушло...

Скуластенькая женщина споровисто налаживает ужин, Паша ей помогает, Анжелика выходит покурить на кухню, Веруша курит прямо в комнате, а я сажусь на диван, осматриваюсь, осваиваюсь, привыкаю.

Большое окно, низкий широкий подоконник, истоптанный, выбитый дубовый паркет. Хорошая комната, с лицом и историей. Мебель разномастна, скатерть заштопана, посуда бедна, а стол хорош — стол, что надо: миска картошки, миска капусты, миска соленых огурцов, банка холодного томатного сока, вареная колбаса так нарезана и так уложена, что малое количество кажется большим. В семейный дом я попал, вот куда — в семейный дом, где всегда все есть, даже если ничего нет.

Возвращается Анжелика, устраивается рядом со мной, красиво садится, иначе, наверное, уже и не смогла бы, кладет голову мне на плечо и мы образуем как бы пару, что очень удобно, ибо оба при деле.

Веруша, докурив, садится напротив. Ветхое кресло стонет и вздрагивает, а Веруша располагается поудобней и спрашивает весело и энергично:

— Ну, знаменитость, как дела?

— Да, вообще-то...— начинает Анжелика и умолкает, потому что Веруша смотрит не на нее, а на меня.

— Привык уже к славе? — продолжает Веруша.— Была на вашей выставке. Любопытно. Язык есть. А дальше?

И опять, как когда-то, меня поражает способность ее стремительного ума прыгать через двенадцать ступенек. Куча вопросов, куча ответов — все мимо: Веруша сразу попадает в узел наших сегодняшних забот. Да, язык найден, мы пробились сквозь привычное, заставили себя смотреть и узнавать. А дальше? Смотреть заставили — но что покажем?

Веруша ждет ответа. К счастью, вот уже года два я довольно регулярно слушаю Гришкины проповеди.

— А дальше,— говорю я, почти цитируя,— налаживать связь времен.

Веруша настороженно вскидывает брови:

— С прошлым?

Она явно в курсе словесных баталий вокруг той нашей выставки.

Успокаиваю:

— Мы мощами не торгуем. Хорош сегодняшний мир или плох, но он реален, другого у нас нет. Человек должен знать, куда ему жить.

Гришкины формулировки в моем изложении Верушу, похоже, не задевают.

— Позвал бы в мастерскую.

— Приходи,— говорю я и диктую адрес, который Веруша записывает на клочке газеты. Но по тому, как четко выводит цифры, чувствую — придет.

— А вот меня не зовет,— подает голос Анжелика.

— Ты же не просилась.

— Считай, что прошусь. Я тоже не прочь наладить связь времен,— говорит она то ли с горечью, то ли с вызовом. Но адрес не записывает.

Люба зовет за стол.

— Вообще-то, мы только из-за стола...— начинает Анжелика. Но скуластенькая женщина обрывает, не оборачиваясь:

— Это твое сугубо частное дело.

— ...Однако за такой стол я готова хоть каждый час,— заканчивает фразу актриса и улыбается.

Мы рассаживаемся — Анжелика рядом со мной. От картошки идет пар, водка в стопочках ледяная. Пьем за встречу, хрустим огурцами, наливаем по второй, и вдруг наступает заминка. Люба смотрит на Верушу, а та молчит.

— Вроде бы, налито! — весело напоминает Анжелика — но реакции опять никакой. И я вдруг понимаю, что пауза не случайна. В самом деле, за что же пить? За успехи? Но как в этой сложной компании понимать успехи? За хозяев? Но может проаучать двусмысленно и даже бестактно, я не знаю, как у Любы с Пашкой сегодня, не знаю, кто он в этой квартире — может, просто пришел на вечер и уйдет вместе со мной. Абстрактно за любовь? Но стоит ли даже так невинно касаться подсохших болячек?

— Может, мужчина выручит? — как бы предполагает Люба и краем глаза косится на меня.

Я выручаю:

— За женщин!

Веруша говорит в пространство:

— Прекрасный тост! Для любой компании и любой политической системы.

Мы пьем за Любино кулинарное искусство — тоже прекрасный тост, за картошку — вообще великолепный. Впрочем, неважно, за что, важно, что пьем, напряжение спадает, атмосфера теплеет. Веруша, видимо, устыдившись своей резкости, задает



Анжелике какой-то вопрос, и та обрадованно, торопливо отвечает. Что у них, какая кошка пробежала? Понятия не имею, ведь годы прошли...

Снова говорят про нашу выставку, про меня, Люба сама не была, но что-то слыхала, достаточно, чтобы поддержать тему. Потом обсуждаем Любины новости, а они есть, и любопытные. Какой-то театрик в подвале на юго-западе, сто двадцать мест, статус любительский, уровень профессиональный, уже пошли слухи, а скоро все заговорят — так вот Люба там директор, правда, пока оформлена сантехником при ЖЭКе, но это даже хорошо, ибо идет премия за безаварийность.

— Ты довольна? — требовательно спрашивает Анжелика.

Люба задумывается и отвечает:
— Понимаешь, это — театр.
Под горячую картошку пьется легко, мне тепло и уютно. Я с удовольствием смотрю в непроницаемые глаза скуластенькой женщины и пытаюсь поддразнивать:
— Я-то думал, ты уже во МХАТе.
Она невозмутимо возражает:
— Когда-нибудь окажусь и во МХАТе. Не уверена, что там мне будет лучше.
— У вас что, компания хорошая?
И опять она отвечает:
— Это — театр.
Я понимаю не до конца, и она снисходит до объяснения:
— Служба никуда не уйдет, все там будем. А это...— она ищет слово,— это как вторая молодость.
Я киваю — теперь дошло. И вдруг до меня доходит еще одно: что мы, собственно, не так уж и молоды, мне почти тридцать, девчонкам где-нибудь по двадцать шесть, зрелый, вполне зрелый возраст. Если вдруг и случится молодость, то— вторая... А еще мне жалко, что в первую молодость, в ту нашу общность и дружбу, не написал их портреты — одну Анжелику, и ту плохо. Если бы схватить тогда, и теперь, в потом... Вот так бы всю жизнь писать пять-шесть лиц, ну, десяток, эпоху в движении, рождение и подъем поколения, а в конце — победу или распад.
Вот и еще одним экспонатом пополнилась моя коллекция невоплощенного.
Люба идет ставить чай, я увязываюсь за ней. Зачем? Да так. Даже не поговорить, просто приятно на нее смотреть, на скуластенькое лицо, на спорые движения, на ореховые, с неуловимым лукавством глаза.
На кухне она закуривает и через плечо ловко пускает дым в форточку, бедром опираясь о подоконник. Я смотрю на нее и улыбаюсь просто от удовольствия.
Она спрашивает:
— У вас опять медовый месяц?
— Да нет,— говорю,— просто встретились. Почти друзья детства.
— Ну, ну,— то ли верит, то ли сомневается скуластенькая женщина.
Ее вопрос дает и мне право на аналогичный:
— А вы снова с Пашкой?
— Уже третий год.
— Ну и правильно,— киваю. Что правильно, не уточняю, ибо не знаю сам.
— Жизнь одна,— замечает Люба.
И я охотно соглашаюсь:
— Это точно.
Она молчит, и я начинаю как бы оправдываться:
— Ты не думай, я не из любопытства, просто я же ничего не знаю, не ляпнуть бы какую-нибудь глупость...
— Мы полтора года жили порознь,— говорит Люба и поднимает взгляд к форточке, вслед струйке дыма.— Знаешь, можно. Но я подумала: а зачем?
— Не разлюбила?
— Это все не те слова. Пашка — это я. Часть меня, как рука или нога. Конечно, можно ходить и на протезе. Но зачем?
Гасит сигарету и спокойно формулирует:
— Для меня Пашка незаменим.
— А как помирились?
— Очень просто. Проснулась как-то — солнышко, в окно зелень лезет. Ну, думаю, все, пойду к Пашке. И так сразу стало легко...
— Пришла и что сказала?
— А ничего говорить не пришлось. Взялись за руки, и чувствую — все, дома.
Она достает новую сигарету и, поколебавшись, сует назад, в пачку.
— Надо бросать.
— Надо,— говорю.— И худеть надо. Начинаешь терять форму.
— Через полгода похудею,— с усмешкой обещает она.
Потом мы пьем чай с роскошным Анжеликиным тортом, причем Анжелика берет крохотный кусочек без крема, Веруша ни в чем себе не отказывает, а Люба аккуратно намазывает крем на тонкий ломтик черного хлеба.
— Хорошо, что я не пошла на актерский,— комментирует Веруша Анжеликины ограничения.
А я вдруг думаю, что, может, и не так уж хорошо, что из Веруши с ее стремительным умом и грубой фактурой вполне вышла бы сильная неожиданная актриса, и режиссер вышел бы, вообще в театре она могла бы быть всем — мала ей, думаю, тесная площадка театрального критика.
— Ты где,— спрашиваю,— работаешь, все там же?
— Там я служу,— надменно отвечает Веруша,— а работаю дома.

— Она написала гениальную статью,— говорит Люба,— просто гениальную. Прочла бы, а?
— Не хочу.
— А я хочу,— невозмутимо возражает Люба.
— Ты хочешь, ты и читай.
Веруша нехотя достает из хозяйственной сумки пачку машинописных листков, протягивает Любе, но тут же отбирает назад и читает сама. Через минуту я понимаю, почему: такие фразы приятно произносить вслух. А через пять минут понимаю, что Люба не преувеличила: Верушина статья действительно гениальна.
Она не о спектакле и даже не о конкретном театре, а о театре вообще. Статья так и называется: «Театр на сцене жизни». Чем был театр вчера, как приспосабливается к эпохе сегодня, какую роль получит — или отвоюет — завтра. Верушина мысль густа и тяжела, она пригибает и давит, как толща воды на водолаза.
Я подавленно молчу. Люба говорит примерно то же, что мог бы сказать и я:
— Старуха, все-таки это расточительство: столько мыслей на одну статью.
— Ничего,— пренебрежительно успокаивает Веруша,— на вторую тоже хватит.
— Когда это напечатают? — с жаром произносит Анжелика.
Веруша пожимает плечами.
— Но ведь это же очень талантливо! Когда напечатают, а?
Веруша смотрит на нее почти с жалостью:
— А какая разница? Когда-нибудь напечатают. Никогда не напечатают только то, что не написано.
Я вспоминаю, что за весь вечер Пашка не сказал ни слова, становится неудобно, и я спрашиваю его про дела. Он неопределенно шевелит пальцами, а отвечает Люба: в общем, в порядке, работает, диссертацию закончил, одна статья напечатана, другая выйдет вот-вот, в мае обещают защиту. Она приносит сборник с Пашкиной статьей, предмет ее мне не понятен, а вникать не хочется.
Мы допиваем чай. Люба вдруг оживляется и требует танцев. Пашка налаживает проигрыватель, довольно шаткий — к головке примотан грузик в виде согнутого гвоздя.
Анжелика взрывается:
Ребята, имейте совесть! Обо всех говорят, а обо мне ни слова. Я что, рыжая? Почему вы не говорите обо мне?
Искренне она возмущена или шутит, понять трудно.
О тебе все газеты говорят, суховато, но в общем дружелюбно отмахивается Веруша.
Плевала я на газеты! Мне важно, что скажешь ты.
Похоже, искренне...
Веруша молчит.
— Тебе совсем не нравится, что я сейчас делаю?
— Как тебе сказать,— разводит руками Веруша.
— Правду!
— Мне кажется, ты была способна на большее,— отвечает Веруша, и в голосе ее скука.
— Способна или только была?
— Ну...
— Ты в меня веришь?
Веруша вдруг бросает холодно и зло:
— А почему я должна в тебя верить? Ты что, икона?
Анжелика теряется, беспомощно смотрит на Верушу и становится чем-то похожей на ту, какой раньше была. Теряюсь и я: не могу понять, почему Веруша так агрессивна к бывшей однокурснице и подруге, и почему Люба, так здорово умеющая одной репликой снимать напряженку, сейчас молчит и не вмешивается. А больше всего не могу понять себя самого: мне жаль Анжелику, но я не возмущен Верушиной резкостью, и ее злое лицо чем-то ближе мне, чем растерянные глаза Анжелики. Это тем более странно, что жалость во мне, пожалуй, всегда была сильнее чувства справедливости, в детских драках я автоматически принимал сторону слабого, даже если он неправ. Так почему же теперь вот так?
Может, думаю, дело в том, что Анжелика слаба только в этой комнате? Ведь вне ее она состоявшаяся актриса, состоявшаяся и количеством ролей, и уровнем известности, и просто обликом. Неужели обычная зависть объединила сейчас ее подруг, меня и безмолвного Пашу, зависть непризнанных к признанной?
Пытаюсь честно заглянуть в себя — нет, ни оттенка, ни намека. Разного хотим, к разному идем. Чему завидовать?
Мы все молчим, хотя молчание становится неловким, даже неприличным. Хоть что-нибудь надо сказать. Ищу фразу, а фразы нет.
И тут вступает Паша. Первое высказывание за вечер — и в самый момент.

— Давайте выпьем,— говорит Паша и, чуть помедлив, добавляет: — За мир и дружбу.

Мы смеемся, мы пьем за мир и дружбу, не чокаясь, но все же пьем. Становится свободней и легче.

Я с благодарностью смотрю на Пашу и вдруг замечаю, что взгляд у него умный и снисходительный, будто в комнате этой он один — взрослый. Люба всегда говорила, что Пашка умный, и Анжелика говорила. Может, и вправду я в нем чего-то не углядел?

Я смотрю на Пашку и вижу, что он спокоен, ни напряжения, ни тревоги. Я живу хорошо, а Пашка, может, еще лучше. Мне непонятна его диссертация, но и его, похоже, не слишком колышат наши радости и хлопоты. Я покрываю холсты и картоны разноцветными пятнами, Веруша пишет статьи о театре, Анжелика заполняет своим лицом и телом сотни метров прозрачной пленки, ищем, творим, рискуем, а у Пашки работа, у Пашки зарплата, у Пашки весной защита. Мы трое одиночки, обмылки, обломки распавшегося, а у Пашки жена беременна, у Пашки семейный дом, хоть подержанная, но мебель, хоть разномастная, но посуда, груда тапочек у двери. Пашка — муж, его легко представить в скверике с коляской, за тесной партой на родительском собрании. За нескладной Пашкиной спиной детенышу будет легко и безопасно. Вот мы творим и рискуем, а для кого? Да, пожалуй, как раз для Пашки, не друг для друга же. Вот и сейчас спорим, тревожимся, скандалим, а он молчит, в игры наши не вступает, свой козырь бережет. Мы гости, Пашка хозяин...

Пить больше никому не хочется, но мы все же пьем, не для радости, а за идею, чтобы в бутылках не оставалось. Страсти утихли, разговор мирный, про однокурсников, что у кого и как. Ни оценок, ни сравнений, просто обмен информацией.

Девкам, может, и интересно, а мне скучно, однокурсники-то не мои. Впрочем, скучно слушать, а не смотреть. Скромный стол, три женских лица, одно мужское. И все — лица, и все — личности...

Стоп, думаю вдруг, а зачем все это Анжелике? Зачем пришла? Зачем смиренно терпит Верушины закидоны? Конечно, в полемике актриса перед Верушей ноль, но ведь то в полемике, а не в скандале...

Я тихонько трогаю Любу за локоть:

— Молодцы, что собрались. Твоя идея?

Как я и думал, она качает головой:

— Анжелика. Нашла меня, а уж я позвонила Веруше.

— Молодцы,— снова говорю я.

Значит, Анжелика. И меня вот позвала. И с Верушей в общем-то не случайно вышло, сама к ней приставала. Да и сейчас опять пристает:

— Веруша, только не злись, ладно? Я же сама понимаю — не то. А вот что — не то? Где — не так?

Веруша до банальностей не опускается.

— Что такое искусство? Ну, что? — спрашивает она и смотрит на нас.

Мы молчим, не знаем — ее ответа не знаем.

— Так вот, если хотите, искусство — это страх. В том числе, если не в первую очередь. А страх придумать нельзя, его можно испытывать или не испытывать. Ты форсируешь,— говорит она Анжелике,— ты рубаху рвешь, ты кожу рвешь, но что толку, если под кожей у тебя не кровь, а сало? Где твой страх?

— Почему именно страх? — озадачена Анжелика.

— Потому что все мы люди. И все за что-нибудь боимся. За истину, за искусство, за ребенка, за друга, за человечество, за кошку хотя бы. А ты? За что боишься ты?

— Ты имеешь в виду — боль? — переспрашивает Анжелика: она честно силится понять.

— Хорошо,— кривится Веруша,— если тебе так привычней, назови — боль.

Анжелика думает.

— Да, я боюсь,— говорит она наконец,— я действительно боюсь. Я боюсь не состояться.

Веруша вздыхает, во взгляде ее сразу и жалость, и скука.

— Нет, милая,— поправляет она,— проще: ты боишься не попасть в следующий фильм.

Анжелика хочет что-то сказать, даже рот раскрывает, но не говорит, только сглатывает.

И тут что-то во мне ломается. Удобная площадка любопытствующего зрителя уходит из-под ног. Я вспоминаю, что мужик, что пришел с женщиной, и женщина не чужая, а ее бьют.

— Стоп, Веруша,— говорю я,— погоди. Ты во всем права. Но есть нюанс: Анжелика уже пробилась! Мы с тобой нет, а она пробилась.

Веруша враждебно вскидывается:

— Для тебя это так важно?

— Мне,— говорю,— плевать. Но это факт. Она свой путь прошла. Пробилась.

Я говорю это почти зло, и Анжелика смотрит на меня с робостью и тревогой. Но Веруша уже поняла.

— Так,— произносит она,— ну и чем же ты собираешься за пробивание платить?

— Ничем.

— Тогда где противоречие?

— Так это,— говорю,— я думаю, что ничем. Продерусь сквозь кусты и клочка шерсти не оставлю. А как получится — посмотрим. Тогда будет больше оснований говорить об Анжелике.

Кинозвезда глядит то на Верушу, то на меня, даже взглядом боясь выразить собственное мнение, лишь пальцы ее благодарно касаются моего мизинца.

— Лично я,— говорит Веруша, и глаза ее леденеют,— лично я ногтя ломаного не отдам...

Анжелике пора, Веруша не торопится. Одеваемся, прощаемся, целуемся. Рукопожатия чуть крепче, поцелуи чуть нежней, чем необходимо: стыдно недавней горячности и резкости. Ведь все друг с другом чем-то да связаны, близкие люди, я и то не чужой, так стоило ли бить наотмашь, когда достаточно спокойно сказать? Оно, может, и не достаточно, но теперь, когда все обговорено и понятно, кажется, что достаточно, и Веруша целует Анжелику почти виновато и еще щелкает по носу снизу вверх, как бы ободряя. Потом она поворачивается ко мне, и я еще глубже окунаю нос в пепельницу.

На улице темно и светло. Луны нет, звезд мало, зато снегу присыпало, и под фонарями он тускло зеркалит, как перекрахмаленная скатерть.

Анжелика опаздывает, мы срезаем углы дворами и переулками. Я люблю быстро ходить, всегда хожу быстро, но сейчас с радостью сбавил бы шаг. Не для того, чтобы растянуть удовольствие от прогулки с красивой знаменитостью. Просто что-то еще не понято, и с каждым шагом все короче путь вместе и все меньше шансов непонятое понять.

Анжелика поскальзывается, я ловлю ее и удерживаю на ногах:

— Чего бежишь? В крайнем случае, такси поймаем.

— Тут близко,— отмахивается она,— так редко удается пешком...

И опять мы мчимся по переулку.

— Как здорово, что мы с тобой встретились,— говорит Анжелика,— без тебя меня бы там просто убили.

— Веруша тебя любит,— успокаиваю я без особой уверенности.

— Какая разница! — хладнокровно отвечает Анжелика.— Любит, ненавидит. Важно, что она права. По крайней мере, наполовину. Кончатся съемки, будет о чем подумать. Самое время взяться за себя. Пока не поздно.

Я молчу — не соглашаюсь и не возражаю. Я знаю, что съемки не кончатся никогда. Идет карта — надо играть, а она идет, и чем больше идет, тем больше играешь, а чем больше играешь, тем больше идет. Всем нам идет карта — и Анжелике, и Веруше, и Любе с Пашкой, и мне — всем идет, и все играем, вот только в разные игры...

На перекрестке, не отличающемся от других, Анжелика останавливается.

— Спасибо,— говорит она,— дальше не надо.

Она забрасывает руки мне на плечи, мы целуемся и стоим, обнявшись. Даже не обнявшись, а вцепившись и вжавшись друг в друга, и не губы слились с губами, а щека со щекой. Зачем? А это прошлое наше вопит и стонет, и старается удержать то, чего давно уже нет.

Наконец щека Анжелики отрывается от моей, актриса легонько, быстрым касанием целует меня в губы и идет, почти бежит в глубь переулка, все дальше от меня, от моей жизни, от всего, что было, от вечерней июльской набережной, от песни, долетающей сквозь листву парка, от рослой девочки в коротенькой белой юбке. Бежит, бежит...

1983 г.



Дмитрий ТОЛСТОБА

ФОТОГРАФ

Установив свою треногу,
он поселил в душе тревогу
и дал не двигаться приказ.
И не моргать. Заныло тело,
такой свободы захотело,
что зачесались нос и глаз.

Он желтым черную коробку
накрыл и стал давить на кнопку
мизинцем — красным, как пятак.
И сжался миг. И воздух треснул.
И он сказал: «Покиньте кресло».
Сказал: «Исправлю, что не так».

Сказать сказал, но не исправил.
Он исключил меня из правил.
Надул, не ведая стыда.
И потому на снимке этом
я получился не аскетом,
каким считал себя всегда.

Я вышел толст и слеп. Горюя,
теперь фотографа корю я,
зачем не двигаться велел?

Зачем не сделал передышки?
Зачем от жуткой лампы-вспышки
мой нос навеки побелел?

Что взять с фотографа? Он частник.
Не сват, не брат, не соучастник —
не современник. Там — в щели —
он всех по-своему снимает.
Он в лоб фактуру понимает,
хоть ты ничем не шевели.

Пойду к хорошему. К такому,
чтоб вправил нос, убрал саркому,
нехарактерный вывел жир,
чтоб жизни высветлил потемки,
чтоб долго помнили потомки,
какой орел на свете жил.

Фотограф бродит со счетами
в подвале, стиснутом щитами.
Он однорук. Он инвалид.
Он всех неправильно снимает.
На кнопки жмет. Рубли снимает.
И шевелиться не велит.

УРОКИ АНГЛИЙСКОГО

Олегу Левитану

Займусь английским языком.
И как-нибудь весенним утром
мы с незнакомым мужичком
разговоримся за ларьком
на языке Шекспира мудром.

Он скажет: «Sorry, я небрит»!
А я, обкатывая фразу,
отвечу: «Don't mention it.
У вас вполне приличный вид.
Я в вас признал собрата сразу.

На взгляд ваш пятая строка
в восьмом сонете у Шекспира
не слишком тоном высока?..»
И донесется от ларька:
«Мой друг, звучна Шекспира лира...»

Мы эту тему углубим.
Затем он скажет, как отрубит,
Что принца Гамлета сгубил
вопрос: «To be, or not to be?» —
а нас такое — не погубит.

И важно вымолвит: «Of course»,—
приблудный старец с тонким слухом.
«Наивен,— скажет,— сей вопрос.
Нам доводилось хлебнуть до слез
того, что Гамлет и не нюхал».

И соглашусь и, может быть,
чуть покривив душой из такта,
что всех сомнений — не избыть,
но, что, конечно, надо быть,
коль ты поставлен перед фактом.

Что жизнь сложна, как спортлото,
не всяк сыграть сумеет классно,
но, заложив в ломбард пальто,
нельзя со счетов сбросить то,
что и такой она прекрасна.

Пройдет высо́ко самолет.
Протащит кадры электричка.
И песню звонкую споет
для нас не знающая нот,
но петь умеющая птичка.

И, пожелав друг другу благ,
мы сдвинем грузные стаканы.
И хрустнет чей-то, словно в знак,
что это «быть» с приставкой «как»
в наш быт стучится постоянно.

Займусь английским. Быть так быть!
Пусть мне сопутствует удача.
Пусть всем, кто хочет говорить,
«Для тех, кто хочет говорить»,
поможет телепередача.

▣ ▣ ▣

Ирине Моисеевой

Деньги подержал и отпустил.
Полетели в стаи собираться.
Им еще до места добираться.
Им сквозь всю Россию продираться
в южный край, где как-то я гостил.

И потом — в моем полуподвале
все равно б они не зимовали,
все равно б я их не разместил.

Пусть летят до самых до границ.
Я скажу своим, чтоб не искали.
Мы и не таких держали птиц.
Мы щеглов снимали со страниц.
Да и тех, подумав, отпускали.

ТЕННИС

«Я лечу!» —
говорит летчик.
«Я лечу»,—
говорит врач.
«По лучу!» —
говорит летчик.
«Получу»,—
говорит врач.

Мячик справа,
потом — слева
по гудрону
гремит вскачь.
«Залечу!» —
говорит дева.
«Залечу»,—
говорит врач.

То ли визг,
то ли так — скрежет.

Воздух крепок.
Лучист спирт.
Дева держит,
а врач — режет,
летчик любит,
бульдог — спит.

Все — собачье.
Нигде — волчье.
Можно шапку
скроить,
сшить.

Нас учили
играть молча.

А пришлось не играть.
Жить.

Василий ЦЕХАНОВИЧ



Рассказы

ТЕЧЕТ РУЧЕЙ ВДОЛЬ ЕЛЬНИКА

Где я мог быть в это время? Там же, где вся наша рота. Где-то в походных порядках Кемеровского стрелкового добровольческого полка. Где-то в пути, на подходе к прифронтовой полосе.

Никогда не забуду мгновения, когда я впервые услышал скрадываемые расстоянием постукивание и потрескивание пулеметов переднего края. Был уже, помнится, вечер. Ранний октябрьский вечер. Солнце светило в упор. Старшинка нас вывел из темного и как бы оглохшего леса к ручью с бочажком, из которого глядело еще одно солнце. Вывел к еловой опушке, где стояла походная кухня — она наконец-то нашла нас. От кухни тянуло дымком. Смолистым дымком и горячим ароматом пшена и тушенки. И все-таки те отдаленные, тогда еще нам непривычные постукивание и потрескивание заставили нас приглушить пустое, голодное звякание ложек и котелков. И все-таки те отдаленные, ломкие звуки стрельбы заставили нас замереть, заставили остановиться в десятке шагов от попыхивающего дымом и паром, побулькивающего кухонного котла.

На что они были похожи, те звуки далекого боя? На что-то житейское, мирное. На тарахтение обоза по свежепроложенной гати. На похрустывание хвороста в разгорающемся костре. На нервное, нетерпеливое, нацеленное биение пневматического молотка. Порою казалось, что рвется раздираемое полотно. Порою казалось, что слышится стрекотание швейной машинки. Рядовой Колотилов, стоявший у меня за спиной, шевельнулся и многозначительно хмыкнул:

— Пошивочная мастерская...

Нужна была только затравка, а там и пошло, и поехало.

— Ателье...

— Фронтовая портновская...

— Шитье на глазок, без примерки, из материала заказчика...

— Последний крик моды...

— Распарываем, перекраиваем, лицуем...

Началась говорильня. Рассыпался неуемный трезвон котелков. Точно танковый люк, отворилась железная крышка котла. В руках у проворного повара ходуном заходил порционный, насаженный на укороченное, подрезанное косовище алюминиевый черпак. Он то поднимался, то кланялся. Мы дорвались до еды.

В этот момент и наметилось начало той вроде бы легкой, вроде бы мало что значащей, а по сути совсем непростой и отнюдь не забавной истории, о которой я к месту, не к месту ли, а все же хочу рассказать.

Из книги «Назови меня братом», выпускаемой издательством «Советский писатель».

Ели мы, сидя врассыпку между елочками у ручья. Ели болтушку из пшенки, сдобренную консервами. За ручьем было поле. За ним видны были избы деревни. Ребятишки, игравшие в поле, поглядывали на нас. Поглядывали, не выказывая особенного любопытства. Должно быть, мы не были первыми на военной дороге, которая проходила по здешним местам. К ручью поспешала чернявая, простоволосая женщина с ведрами на коромысле. В ведрах что-то белело. По узенькой, вытоптанной до земли и как бы натянутой стежке она подошла к бочагу. Отодвинув в сторонку свой новенький, опустевший уже котелок, старшинка привстал.

— Э, хозяюшка!.. С бельем тут негоже...

— А что?

— Вода для питья.

— И куда же мне?

— Немножко левей, по течению.

— Фу ты!..

Смягчая досаду, она широко улыбнулась. И похоже на то — между ними проскочила какая-то искра. Разговор стал игривым.

— А в общем-то... Я могу проводить, показать...

— Еще чего вздумаешь?

— Вздумаю. Вдвоем прополощем.

— Да ну тебя.

— «Фу ты» да «ну ты». Беда. Муж-то, наверно, на фронте.

Она промолчала.

— Безмужняя?

— Вдовая я.

— Ну, тем более.

— Как это?

— Так. Если вдовая. Вдовой не грех и помочь.

— Ой, не могу. Балаболка. Подь-ка ты. Ну тебя к лешему.

— Можно, конечно, и к лешему. Только на пару, вдвоем...

Мне было тогда девятнадцать. И я с полудетским почтением глядел на нее, эту женщину. Глядел, как и все остальные мои сослуживцы и сверстники, не то чтобы робко, но скованно. По всей вероятности, сказывалось возрастное ее превосходство. Ей было за тридцать, не меньше. Нам и в голову не приходило судить, хороша ли, красива ли эта тетечка в сером платке, покрывающем ее плечи, в меховой кацавейке и пышной оранжевой юбке с каймой. Наверно, была хороша и, может быть, даже красива. Красива своей деревенской уверенной статью и силой — с удивительной легкостью, запросто перекидывала она коромысло с одного плеча на другое. Красива своей смуглотой и жарким, каленым румянцем. И еще чернотою волос, закрученных сзади в небрежный, тяжело отвисающий ком. И еще неуместной какой-то, вроде бы противоречащей этой ее черноте синью веселого взгляда.

Удивил нас старшинка. Пошучивая, он спустился к ручью, перешел его и, что называется, с ходу, не дав ей опомниться, выхватил, отнял у женщины ведра, а с ведрами и коромысло. Не грубо, скорей даже ласково, но все-таки отнял. Она какое-то время противилась внезапному этому натиску, потом уступила. Старшинка был мужик еще тот — не обиженный ни здоровьем, ни ростом, ни силой. По неписаному обычаю, мы звали его старшинкой, но вкладывали в это слово особый, обратный смысл. И по годам, и по опыту, воинскому и житейскому, и по выправке, и по характеру, и по чину он был старшиной. Крутым, самовластным, горячим, боевым старшиной. И недаром он носил комсоставский, нарядный, с латунной надраенной пряжкой, строченый ремень. В то военное, в то небогатое время иной командир батальона не имел такого ремня.

— Ну-ну, не дури, не дури!..

Женщина оборонялась, увертывалась от старшинки. Увертывалась и смеялась. Старшинка дурил. Он тянулся к ней, прихватываясь за ее плечи, прихватываясь за бока. Тянулся свободной, не занятой ни ведрами, ни коромыслом правой уцепистой лапищей. Вслед за шлепками ладоней на лапищу эту посыпались кулачные, тоже дурашливые, тычки и удары. Но лапища казалась

бесчувственной. Женщина отрывала ее от себя и никак не могла оторвать.

— Ах ты, смола!.. Прилипала... Ой, не могу!.. Навязался... Ну надо же!.. Хуже репья...

Она и ругала, и била его. Но шли они рядом и вскоре потерялись в еловом подлеске за поворотом ручья.

— Сейчас он ее...

Ну, конечно же, это был голос Клеща. Его тары-бары. Его бессовестная и беспутная, необузданная фантазия. Казалось, он видел невидимое. Видел со всеми подробностями. Кто-то шумнул на Клеща. Кто-то его оборвал. Кто-то послал куда следует. А кто-то кривился, но слушал. А кто-то валялся от хохота, подыгрывая Клещу. Валялся и время от времени подбрасывал слово-другое в круговорот разговора, а проще сказать, болтовни. Болтовня эта вмиг прекратилась с приходом старшинки. А он — по-моему, был он рассеян. Был он задумчиво замкнут и потому не заметил ни шкодливого любопытства в глазах рядового Клеща, ни скользких усмешек на шалых, легкомысленных физиономиях некоторых бойцов. Рассеянность и отвлеченность прикрывал он как истый служака строгостью и распорядительностью. Незамедлительно, с ходу устроил старшинка проверку оружия и снаряжения, обуви и вещмешков. Рота готовилась к маршу. Она зашивала прорехи, заклеивала мозоли, перематывала портянки. Потом, по команде старшинки, мы выстроились в две шеренги, протянувшиеся вдоль ручья.

— Рота, равняйсь!.. Рота, смирно!..

Шумок прекратился. Мы замерли. И тут-то, приняв уставную одеревенелую позу, я снова увидел ту женщину в серой шалюшке, ту тетечку с ведрами на коромысле. Нас от нее отделяла каменистая мель ручья. Рота стояла на левом, а она, как и раньше, на правом пологом его берегу. Похаживавший перед строем старшинка насторожился. Он резко скомандовал «Вольно!» и повернулся к ней. Они постояли в молчании, потом перебросились несколькими сдержанными словами. Словами, не очень серьезными, но что поразительно — начисто лишенными прежней веселости, легкости и озорства.

— Уходим вот...

— Вижу... Счастливо...

— Может быть, с нами?..

— А дети?..

— Ну, я к тебе... После войны...

— Ой ли?..

— Приду...

— Приходи...

Старшинка неловко примолк. И тетечка тоже примолкла. И рота стояла в молчании. И было оно, многолюдное, строевое это молчание, почти ощутимым на слух. Разрядило его отдаленное, торопливое «та-та-та-та». За краем земли, превратившимся в пышущий солнечный тигель, снова возник металлический прерывающийся стукоток. Продолжала работать портновская мастерская переднего края с ее нескончаемым треском распарываемых швов и недобрым машинным татаканием.

А впрочем, оно уже сделалось вроде бы даже привычным. «Та-та... та-та-та... та-та-та». Неожиданности в этом не было. Для меня, для таких же, как я, желторотиков, молокососов, облаченных в шинели юнцов, неожиданным было другое — перелом в настроении женщины, только что ровно и сдержанно разговаривавшей со старшинкой. Только что — долю минуты, ну, может, минуту назад. И вот тебе на — встрепенулась, вскинулась, насторожилась. Как будто впервые услышала те отголоски пальбы. Ткнулась в ладони лицом, уронила с плеча коромысло — ведра ударились оземь. А через мгновение-другое была уже возле старшинки, повисла на нем, обливаясь и захлебываясь слезами. До нас доносилось тяжелое, задыхающееся всхлипывание. Нас будоражило ласковое, неразборчивое бормотание, адресованное не нам. Адресованное старшинке, за час до того незнакомому, неизвестному ей человеку. А теперь вот она провожала его и, провожая, оплакивала. Оплакивала, как оплакивают брата, отца или мужа.

Для нас это было загадкой. Мы были немножко растеряны, и тронуты, и смущены. Мы силились что-то понять. Но где там! Оно, это что-то, не укладывалось, не умещалось в наших стриженых головах. А у Клеща умещалось. А Клещ ухмылялся — ему по-прежнему все было ясно. А Клещ, предвкушая потеху, посматривал в сторону леса. Оттуда должны были выйти командир нашей роты и взводные, еще перед ужином вызванные к начальнику штаба полка.

ТВОЙ СМЕРТНЫЙ МЕДАЛЬОН

Был такой случай — близ гати, которую мы подновляли, ухнул в болото снаряд. Дальнобойный снаряд. Он взорвался, но захлебнулся в грязи и никого не затронул ни ударной волной, ни осколками. Затронул своим непонятным — как гром среди ясного неба — неожиданным появлением. Гром-то мы, правда, слыхали. Звуки пальбы долетали до нас. Долетали и раньше. Все явственней становились они с каждым часом, с каждой пройденной нами верстой. А снаряд — это было впервые.

Вспоминаю о нем — как он падал с нарастающим свистом и шелестом, как он вспучил трясину и канул в ней, как покачнулась под нами, точно плот на воде, жердяная непрочная гать,— и невольно вспоминаю другой эпизод, чем-то связанный с этим. А чем? Наверно, всего только временем. В тот же день, даже, может быть, час получали мы индивидуальные смертные медальоны. Так их у нас называли — смертные индивидуальные. Медальоны не медальоны — выточенные из дерева крошечные пенальчики. Были они зелеными, как гороховые стручки. В целом на роту нам выдали каску такого гороха. Достался стручок и мне.

Я с любопытством рассматривал этот стручок, этот смертный фронтовой медальон. Состоял он из патрончика с крышкой. Эмалевая бледно-зеленая краска не успела на нем затвердеть. Медальон был пахучим и липким. Я его открывал, закрывал и опять открывал. То же самое делал боец Косолапов. Мы сидели спина к спине. По-ребячьи худой и нескладный, он сидел, пребывая в бесцельном и беспокойном движении, задевая меня то локтями, то костлявым хребтом, то лопатками, острыми, как лемеха.

— А зачем она, эта игольница?..

Рядовой по фамилии Клещ, оседлавший сухую валежину и взиравший на нас свысока, ухмыльнулся.

— Ты что? Не догадываешься?

— Не догадываюсь.

— Ха-ха!..

Смеха не было. Было надменное, деланное «ха-ха». Клещ умел это.

— Ты, сосунок. Молоко на губах. Покумекай. Поскреби в черепке-то.

— А что?

— Ну, поскольку он — как это? — смертный. Медальон-то. Смикитил, салага? Скажем, кокнут тебя. Ну, убьют. А в медальоне-то адрес. Чей? Забота твоя, не моя. Сам проставишь. Заранее. Понял? Точный адрес — кому и куда. Сообщат по нему. Так и так...

— Ну и что?

— Ничего. Сообщат.

— И должны сообщить.

— Губошлеп...

Что-то было ему не по нраву, рядовому Клещу, в Косолапове. Да и во мне, вероятно. Он сердито умолк и нахохлился. Тем временем ротный старшинка, раздавший бойцам медальоны, подошел к нам опять. Подошел, чтобы выдать нам по небольшому, умещавшемуся на ладони кусочку тетрадной бумаги. Была она, эта бумага, нарезана вкривь и вкось. По-видимому, он кромсал ее своим финским ножом. Этот нож с наборной цветной рукоятью висел у него на ремне. Висел, придавая старшинке что-то лихое, черкесское.

Он коротко все объяснил нам. Он сказал приблизительно то же, что услышали мы от Клеща. Но просто сказал, без подвоха. Сказал, как скомандо-

вал, сухо, начальственно и грубовато. Да, адрес. Да, в случае гибели. Да, надо. А как же иначе?

— Пишите. На все это дело дается пятнадцать минут...

Развязав вещмешок, я достал из него забитый в тугой наконечник колышек карандаша. Прибереженный для писем, был он не то чтобы главным, но незаменимым предметом в походном моем обиходе. Я достал карандаш. А бумагу — тот тетрадный, в косую линейку, размером, должно быть, не больше, как на одну самокрутку, наспех выкроенный листок — положил на приклад карабина. На листке написал я сначала, как это и было нам велено, свое полное имя и звание. Потом аккуратно, по буквам, вывел я мамино имя. Вывел имя отца. Вывел адрес. Далекий их адрес. Немыслимо, невообразимо далекий. Давно ли он был и моим! Свернув тот кусочек бумаги с тремя именами и адресом в тугую, короткую трубочку, я вложил его в мой медальон. Вложил, как взрыватель в гранату. Вложил, поплотнее закрыл и спрятал в укромном кармашке на поясе брюк, под ремнем.

Вскоре мы снова тащились по зыбкой болотной дороге. Тащились — иначе не скажешь. Шли, как попало, не в ногу. И без того временами настил проседал и раскачивался. Колонна слегка растянулась, сохраняя, однако, упругое внутреннее сцепление, выработанное в пути. Первый в четвертом ряду, я должен был волей-неволей держаться у края настила, шагая вдоль брусьев поребрика. Точно рожь над поваленным тыном, склонялась над гатью густая, перешептывающаяся осока. Я слышал его, этот шепот. И слышал сыпучее, липкое чавкание наших ботинок, и захлебывающиеся вздохи жердяного покрова дороги. Что удивительно — все эти слабые в общем-то звуки были как бы на равных с тяжелым погромыхиванием орудий и трескотней пулеметов, раздававшимися впереди.

Там, впереди, были немцы. Были и наши, и немцы. Но наши, похоже, отмалчивались, экономили боеприпасы. А немцы палили вовсю. Если судить по снаряду, взорвавшемуся в трясине, били они наобум. Но были другие приметы. На обочинах нашей дороги, выкарабкавшейся из хляби на небольшой островок, увидели мы невысокие глинистые бугры. В окружении блеклого папоротника темнели они под сосновыми грубо вытесанными обелисками, под фанерными звездами, вырезанными неумело и второпях. В сумерках не прочитать было поименные списки погибших. Коммунальные, общие списки, начертанные на затесах химическим карандашом.

Два похожих на грядки бугра. Взбитые, пухлые грядки. Мы постояли немножко возле каждой из них и тишком, молчаливо пошли, без команды неторопливо выравнивая сгрудившиеся ряды. Как если бы вся наша рота, вся целиком окунулась в какое-то оцепенелое и нерадостное размышление. Да так оно в общем и было. Все замолчали, задумались. А вместе со всеми и я. Где-то на том островке, среди перьев осеннего папоротника, среди циркульных бомбовых ямин, среди мелких, как лунки, окопчиков, под гул отдаленной пальбы пришла ко мне та нехорошая, беспокойная мысль, которую я всегда от себя отгонял. «Может, и ты?» Я и тут попытался ее отогнать. «Может, и ты?» Я отбросил ее. Отшвырнул, точно мерзкий ошметок чего-то густого и липкого. Точно выбравшуюся из болота гадкую жабу. Выбравшуюся и шмякнувшуюся мне под ноги. Но она не отстала, та жаба. Была она где-то поблизости. Мокрая, скользкая тварь, она прыгала вдоль по обочине, прячась под листьями папоротника. Прыгала, грузно, расслабленно плюхала брюхом о землю.

«Может, и ты?» Я ладонью потрогал укромный кармашек под брючным ремнем. Я нащупал припрятанный в этом кармашке кругляшок медальона. Припрятанный до поры, до особого случая. Какого такого особого, не было больше загадкой. Но я не хотел о нем думать. Ни думать, ни знать. Несуразица! Как будто его, этот случай, кто-то заранее вычислил. Как если бы там независимо ни от чего на свете все было уже подготовлено и намертво предопределено. Предопределен был день. Предопределен был миг. Предопределен был выстрел среди миллиона выстрелов. А может быть, штык или хитрая, прозванная недотрогой противопехотная мина. А может быть, авиабомба. Взрывная ее волна. Мелкие клочья железа, зазубренные и накаленные. А может быть, танк с его гусеницами, утюжащими окопы. Или струя огнемета, охватывающая, обволакивающая все на своем пути.

Эти нелепые страхи, навязчивые, преждевременные. Эта пустая и нудная, бессмысленная ворожба. Я от нее не отключался и никак не мог отключиться. Как от тех разговоров, с которыми к нам иногда набивался неугомонный Клещ. Что тяжелей и опасней — осколочное или пулевое? Слепое или сквозное? В кость или в мягкие ткани? Он заводил эту музыку с какой-то угрюмой ухмылкой, которая — что удивительно — чувствовалась даже в голосе, улавливалась на слух. Клещ мог толковать о серьезном, больше того — о прискорбном, а получалась подначка. Он мог заморочить вам голову, не расставаясь с ухмылкой. Вечной своей ухмылкой, может быть, и не зловредной. Но она придавала словам его оттенок ехидного вызова. Хочешь не хочешь, а втянешься в заведомо вздорный спор.

Увы, в ожидании боя чего только не передумаешь, о чем не переговоришь! Случалось в иные мгновения — накатывала неуверенность, накатывала боязнь. Но словно бы в противовес им жила в нас — я думаю, в каждом — мальчишеская бесшабашность. Жила и во мне. И по-видимому, она-то подчас и внушала мне то целебное чувство, которое не давало закиснуть. Внушала веселое чувство надежды. Веселое, но потаенное. Веселое, но молчаливое. И я его тоже утаивал. И я о нем тоже помалкивал. Почти суеверно помалкивал. Казалось, оно улетучится, если о нем напрямую, как о чем-то реальном, помыслить или заговорить. А я без него не мог. Я должен был жить и надеяться. На что? На удачу, по-видимому. И верить, что мне повезет. Что со мной ничего не случится. Ни пулевых, ни осколочных, ни слепых, ни сквозных — ничего.

Как все мои кореши-сверстники, перед отправкой на фронт прошел я весьма основательный, хотя и довольно поспешный курс боевой подготовки. Меня научили стрелять. Научили бросать гранаты, окапываться и маскироваться. Научили лазать и прыгать через заборы и стенки на штурмовой полосе, цевьем и прикладом винтовки отбивать штыковые удары. Научили бить и колоть. Я не был таким уж беспомощным, когда уходил на войну. Ни беспомощным, ни беззащитным. Салага, боец-новобранец, я кое-что знал и умел. Но мог ли я знать, подсечет, подкосит меня или нет злая немецкая пуля? А что, если да? Это «да» не укладывалось в голове. Не укладывалось и все тут. Не укладывалось и шабаш.

Раньше-то я, если честно, ни о чем таком не задумывался. Серьезная эта проблема пока что меня не касалась. А тут вот коснулась, затронула. А что, если? Нет, не представить, не вообразить ни в какую. Мысль упиралась во что-то. Как это вдруг без меня? А все остальное по-прежнему? Что было, что есть и что будет. И всходило бы солнце и снова опускалось за край земли? И так же синели бы сумерки и в сумерках пленкой наслаивался над пойменным лугом туман? И ухал бы где-то удод, как ухал вчера и сегодня? И белело бы кружево папоротника, пахнущего огурцом? И распарывала бы край неба падающая звезда? И рота шагала бы так же, как шагает теперь, машинально, с клейким подошвенным чавканием. И кто-то же шел бы, наверно, первым в четвертом ряду. И гремела бы передовая, и бушевала война.

И когда-то, конечно, сработала бы полевая военная почта. И за тысячи километров от этих тверских лесов, в сибирской глуши, возле дома, в котором прошло мое детство, знакомо, немножко расхлябанно стукнула бы калитка. Стукнула бы и тотчас же послышался бы распевный, не по старушечьи звонкий голос Татьяны Пахомовны, уборщицы из сельсовета: «Дуня... А Дуня... Письмо...» Мама выбежала бы из дома, на ходу подбирая волосы и затягивая у подбородка повязанный наспех платок. Трясущимися руками расправляла бы мама, развертывала бы треугольник письма. Непослушный, коробящийся листок. Несколько строк обо мне и адрес — тот самый, который лежал до поры в медальоне.

Казалось, я вместе с письмом перенесся домой и, не в силах ничего изменить и поправить, невидимкой стоял у калитки. Стоял перед мамой, в испуге обессиленно свесившей руки и жалко, потерянно, обморочно вглядывавшейся в никуда. Когда-то с ней было такое же. Было что-то похожее. Было лет двенадцать назад. Мне запомнился солнечный день и дорога, запорошенная

бабочками, и фигура отца, уходящего в синюю чащу кедровника. Жители нашей деревни послали его делегатом на какой-то крестьянский съезд. Он ушел и не возвратился ни на третий, как предполагалось, ни на четвертый день. Возвратился на пятый. По-видимому, съезд чересчур затянулся. А мама два дня и две ночи оплакивала отца. Оплакивала как погибшего от злодейской руки, от медвежьих или рысьих когтей и зубов — на таежных глухих перепутьях такое случалось нередко. На всю свою жизнь я запомнил те страшные слезы. Те крики. То горячечное бормотание. У мамы был жар. Тетка Ольга отхаживала ее.

С другого конца земли я перебросился снова на то же, на прежнее место, привычное место в строю. Было уже к полуночи. Дорога тянулась вдоль речки. Проклюнулся месяц. Он ковшиком качался на черной воде. Я достал медальон. Я открыл его. Бумажный рулончик слежался и не очень охотно раскручивался. Какое-то время я нес его, держа на ладони, потом порвал на кусочки и выкинул. В прибрежные заросли тала бросил пустой медальон.

ЧЕЛОВЕК, НЕ ВЕРИВШИЙ В УДАЧУ

Непросто было осваиваться с окопным житьем-бытьем. С кротовьим житьем-бытьем. Осваиваться, свыкаться с затхлостью и полумраком землянок переднего края. С песчаным дождем, надоедливо просеивающимся сквозь перекрытия и сыплющимся за воротник. С грохотом мин, от которого хочешь не хочешь, а горбишься. С фурчаньем осколков. Фурчаньем, обманчиво мягким и трепетным, точно полет куропатки. С хроническим недосыпанием. С кровавыми, незаживающими мозолями на ладонях. С грязью траншей. С бесприютностью этих земных коридоров. С их теснотой, от которой ноют намятые ребра.

Сквозь полосу чернолесья, отделявшую нас от окопов, минных полей и заржавленных проволочных заграждений, от ходов сообщения первой оборонительной линии, пули к нам не прилетали. И снаряды к нам не прилетали. Они пролетали над нами и рвались в полковых тылах. Случались порой промежутки всегда ненадежного, ломкого неуверенного затишья. В такие часы и минуты командиры у нас проводили разного рода занятия по боевой подготовке. Назывались они тренажами. Обычно у нас отрабатывались приемы стрельбы, маскировки и рукопашного боя. Тренаж, на котором впервые показали нам противотанковое, длиной, вероятно, с оглоблю, пудового веса ружье, врезался в память особо. Была она, эта стальная, огнестрельная эта оглобля, устроена грубо и просто. И чувствовалась в ней такая же, простая и грубая, сила. Мало того, что чувствовалась. Там же, на том же тренаже, она безотказно сработала. Сработала так неожиданно, что мы не успели и ахнуть.

По-видимому, необычное складывается из обыкновенного. Был обыкновенный день — осенний, холодный, бессолнечный. Было привычное место, где шли тренажи,— потайной, укромный закуток опушки того чернолесья, которое загораживало нас от пуль. Зеленый закуток — в колючей оторочке из маленьких елочек, недавно еще народившихся, выкарабкавшихся из земли. Была дупловатая ива, сгорбившаяся, надломленная. Был ровик на случай обстрела. Ровик, рассчитанный точно на бойцов одного отделения и немножко похожий тем самым на винтовочную обойму. На раздвинутых лапах, как ящерица, стояло ружье. Стояло оно на аккуратно расстеленной лоснящейся плащ-палатке. Ружье и само лоснилось, новенькое, не опробованное, деревянный приклад полумесяцем, угловатый прицел набекрень.

— Ничего себе дура!..

— Бердана...

— Плюнет — утрись и помалкивай...

Стоявшие кучкой бойцы обменивались впечатлениями. Старший сержант Куриленко начальственно вскинул глаза.

— Разговорчики!..

— Нет, почему же?.. Главное — чтобы по делу. Если вопросы — пожалуйста...

Занятия вел сухощавый, невыспавшийся человек. Глаза у него были красные. Кожа под ними набрякла. Был он в шинели. В петлицах ее, точно зубья ножовки, торчали эмалевые треугольники. Эмалевые, темно-вишневые, по четыре в ряду. По четыре с той и с другой стороны. А шинелька была на нем тесненькая. И носил он ее не по-воински. Носил, как пальто или куртку, опоясываясь по крестцу. Натянутая на большелобую, уже седоватую голову, раздувшаяся пилотка похожа была на колпак.

Говорил человек скуповато. Говорил только самое главное, выдавая нам точные сведения, касающиеся ружья. Вес и длина, назначение, скорострельность, прицельная дальность. Начальная скорость пули, ее пробивная способность. Как заряжать. Как прицеливаться. Как нажимать на спуск. Он объяснял нам все это. Объяснял и показывал, падая на замасленную плащ-палатку и распластываясь на ней. Лязгал затвор. Вхолостую срабатывала пружина. Ружье по-гусиному низко тянуло железную шею к невидимой нам цели. Человек управлялся с ним запросто, как хороший солдат. Управлялся заученно и легко.

Кто же он был? Мы догадывались, что был он каким-то инструктором, оружейным специалистом. Причем не военным, а штатским, всего лишь на время, по случаю надевшим военную форму. Невозможно было представить, чтобы он крикнул «ура» или стал в положении «смирно». Был он технарь технарем. И был он в годах, и немалых, этот, должно быть, семейный и, конечно же, детный дядек.

— Вопросы...

Он ждал их, вопросов. А мы в это время рассматривали ружейный патрон. Передал его, тишком передал нам застенчивый, сумрачнолицый боец, молчаливый напарник инструктора. Патрон походил на винтовочный, но был тяжелей и крупней. Я взвесил его на ладони, ощупал и даже понюхал. От пули, впрессованной в желтую, как видно, латунную гильзу, ничем, кроме смазки, не пахло. Разве что только металлом.

А говорок продолжался. Инструктор ему не препятствовал. Сержант наш казался обиженным.

— А вообще-то, скажу я вам... В сравнении с танком — ну что это?..

— Муха.

— И верно, что муха.

— Броня у него — представляешь? Тесина дюймовая...

— Ха, дюймовая! Где и потолще...

— В три пальца. Как сало на борове...

— Скорость у пули. Ты понял? Скорость. И в этом все дело. Километр в секунду — не шутка...

— А как она по самолетам?

— Никак.

— Почему?

— Потому что. Прикинь, поскреби в черепке. А лучше — попробуй навскидку семнадцатикилограммовую железную эту дубину.

— После тебя.

— Привет!..

Инструктор, устало прислушивавшийся к взбалмошной той пикировке, не глядя на нас, усмехнулся. В усмешке была снисходительность. Снисходительность и терпимость.

— Разумеется, можно при случае и по воздушным целям...

Сумрачнолицый напарник помог ему вскинуть ружье. Теперь его ствол опирался на скрюченную, опустившуюся почти до самой земли ивовую вершинку. Инструктор прирос к ружью. Он по-охотничьи ищуще, прицельно повел им по небу, затянутому прозрачной, белесой облачной марлей. Повел и приостановился.

— Это я так, для примера... А можно иначе — с подвеской...

Но он не успел показать нам, как подвешивается ружье. В небе с тоскливой размеренностью, натужно — «уу-уу» — заныл самолет, надоедливый, прозванный «рамой» немецкий высотный корректировщик. Неуклюжий, как бы раздвоенный, зловещий его силуэт скользил в облаках. Скользил, уверенно

и неторопливо пронизывая их марево, как пронизывает основу хорошо, аккуратно направленный ткацкий челнок.

— У, гадина!..

— Припола, паразит окаянный...

— Разнюхивает, снимает...

— Долбануть бы его...

— Разбежался!.. На что уж зенитки... Припомни-ка... Постучали вчера, постучали... Припугнули его... А никак...

Мы поглядывали на небо. Мы поглядывали на инструктора, прилепившегося к ружью. На вытянутую шею, на крепкие, круто приподнятые, худые плечи инструктора. На шинелишку, туго охватывавшую костлявые эти плечи. На новенькую пилотку, натянутую до ушей. Он на миг обернулся, и прежняя снисходительная усмешка сдвинула его губы и сузила покрасневшие, невыспавшиеся глаза.

— Сбить не берусь... Высота... А так... Почему?.. Это можно...

Он вывернул в сторону руку открытой ладонью вверх. Кто-то из наших догадливо положил на нее патрон. Загоняя его в патронник, инструктор следил за «рамой». Сначала следил в открытую, потом сквозь прорезь прицела.

— Смотрите... Ну, вот... Навожу...

Временами «рама» скользила куда-то за лес, к горизонту. Временами опять выползала и вскарабкивалась в зенит. Ружье задирало свой нос, точно собака, увидевшая летящую в небе ворону. Коробка ружейного тормоза, похожая на утюжок, поглаживала облака. Поглаживала то за «рамой», то, видимо, чуть впереди.

— Сперва расстояние... Сколько же?.. Ну-ну, глазомер, глазомер... А скорость?.. Припомним, подумаем...

Он обдумывал это один. Но обдумывал во всеуслышание. Было сравнительно тихо. Передовая молчала. Все так же — «уу-уу» — ныл в высоте самолет. Ныл, приглушая инструкторский порыкивающий басок, грудное его бормотание. Бормотание, не очень-то внятное, но строгое и сосредоточенное. Было оно назидательным. И было оно цифровым. Инструктор делил и складывал. Он вычитал и множил. Он не на глазок и не наспех прикидывал, определял точку возможной встречи пули и самолета.

В какой-то момент бормотание неожиданно оборвалось. Ружье шевельнулось и замерло, опять шевельнулось и плавно подвинулось в сторону «рамы». Плавно, почти незаметно, как секундная стрелка часов. Были другие движения, вкрадчивые и выжидательные. Были другие недолгие упреждающие остановки. Казалось, ружье присматривалось и принюхивалось к чему-то. Присматривалось, принюхивалось и вдруг громыхнуло, откупорилось. Упругий и собранный выстрел был не то чтобы очень уж сильным, но все же сильнее винтовочного. Воздух заметно сместился и как бы умыл наши лица. Мгновение-другое в нем чувствовался пороховой перегар. Инструктор стоял возле ивы, не снимая ружья с плеча.

— Поняли, как это делается?.. Находите точку наводки... Придерживаете дыхание, прицеливаетесь и нажимаете на спусковой крючок... Нажимаете мягко, плавно...

Он что-то еще нам втолковывал. Но мы его просто не слышали. Мы глядели на «раму».

— Уходит...

— Разворачивается...

— Чадит...

— Дымовая завеса...

— Выдумывай... Какая еще завеса!..

А «рама» и вправду чадила. За «рамой» куделью тянулся серый, примятый след. Теперь уже все это видели. Все, исключая инструктора. Он сгорбился над плащ-палаткой, укладывая ружье. Он не спеша уложил его. Он разогнулся, и тут-то до него, вероятно, дошло. Он глянул на небо. Глянул да так и остался, и замер с запрокинутой вверх головой.

«Рама» горела. Сначала по ней пробежали слепящие молниеносные вспышки. Потом появилось лохматое черно-багровое пламя. Как бы надутое ветром, оно трепетало и вскидывалось, оттягиваясь назад. Там, за хвостом самолета, в жирном чаду возникали, исчезали и вновь возникали крупные клочья огня. Обожженная ими зарделась кисея облаков. Самолет превращался в какой-то ошметок, меняющий форму комок. Падал он в сторону немцев. По инерции падал, описывая кривую, наклонную линию, опускавшуюся за лес.

Мы ошалело глазели на закоптелое небо. Мы стояли, разинув рты. Сбить самолет — это да! Сбить его с первого выстрела и как бы нечаянно, походя — пулей, которую только что мы разглядывали и ощупывали. Пулей, которая только что была у меня на ладони. Пальцы еще ощущали прикосновение к ней. Маленький, конусовидный кусочек металла и «рама». Летающая громадина — сложней, тяжелей и мощней его в тысячу тысяч раз. И громадина эта низвергнута, сброшена с неба на землю. Удача? Наверно, удача. И наверно, не только удача. Было чему удивляться. Такого я больше не видел вплоть до конца войны.

Несколько слов напоследок о том человеке, которого мы между собой, не сговариваясь, именовали инструктором. Как он держался, как выглядел в момент своего торжества? Случись это с нами — уж мы-то, наверно бы, покрасовались. Не обошлось бы, я думаю, без ухарства и похвальбы. А он был таким же, как раньше. Таким, как до выстрела, тихим и даже немножко занудным.

— Вы не обратили внимания — зенитки не били?.. Уверены?.. А может быть, все-таки били?..

Он не поправил пилотки, и она, как и прежде, сидела на нем колпак колпаком. И шинельку следовало бы поправить. Следовало бы одернуть. Но он не одергивал, занятый какой-то навязчивой мыслью. Инструктор искал, вероятно, объяснения случаю с «рамой». Что-то смущало инструктора. Проглядывало недоумение в его воспаленных глазах. Вряд ли он верил в удачу. Он верил в точку наводки. Верил в ружье и пулю, в ее пробивную силу. В мушку прицела и палец на спусковом крючке. Но этого было мало, чтобы во всем разобраться и все до конца объяснить.

ПЕРВЫЙ СНЕГ, ПОСЛЕДНИЙ СНЕГ

Помнится, долго томиться, пересчитывая мгновения, изнывать в ожидании боя мне не пришлось. Для связиста наступление — это работа. Она целиком захватила меня еще до сигнала атаки, в минуты артподготовки, в самый ее разгар.

Орудия и минометы били с неслыханной силой. На ближайших немецких позициях дыбом стояла земля. Стенки нашей траншеи вибрировали. Мой напарник, боец Косолапов, дежуривший у телефона, не отрывался от трубки — должно быть, твердил позывные. Но вряд ли их кто-нибудь слышал. И телефоны, и люди на какое-то время оглохли от сумасшедшей пальбы. Я поглядывал на Косолапова, на его простецки открытое, бесхитростное лицо. Внезапно на нем появилось озадаченное выражение. Озадаченное и беспомощное. Оно означало, по-видимому, что связь вообще прекратилась. Я выкатился из траншеи и поднял с земли просмоленную, пружинящую нитку кабеля. Пружинящую, как тетива. Я побежал вдоль нитки, пропуская ее сквозь горсть. Метрах в двухстах от траншеи была она рассечена. Чем? Вероятно, осколком. Рядом чернела воронка. Чернела средн поваленной и расчесанной на все стороны, блеклой, сырой травы. Была та воронка, как лысина, на плоском затылке земли. Зажав в кулаке концы провода и зачищая их финкой, я увидел, как неподалеку обозначилась новая лысина. Одна, и вторая, и третья. Они возникали во вспышках и желтоватых дымках.

Рвались немецкие мины. Рвались они как-то беззвучно. Втихую рвались, придавленные грохотом артподготовки. Поле подернулось терпким, рассеивающимся туманцем. Оно на глазах лысело. Нитку мою то и дело приходилось прозванивать, сращивать, а местами и надставлять. Разбросанные концы ее схлестывались, перепутывались с концами других проводов. На тех параллельных линиях суетились связисты соседних стрелковых подразделений. Стрелковых и артиллерийских. С одним из них, шустрым малым, мы, словно

глухонемые, гримасничая и жестикулируя, что-то друг другу втолковывали. Не помню уж, что. Мы распутывали поврежденные взрывами нитки — его и мою. Распутывали, пытаясь понять, где чья.

Уходя от него, я нечаянно, ни с того ни с сего обернулся. Как если бы кто-то позвал меня. А может быть, кто и позвал. Но разве бы мог я услышать! Воздух и землю по-прежнему сотрясал орудийный гром. И все-таки я обернулся. Где же тот малый? А, вот он где. Я к нему подошел. Он лежал возле свежей овальной проплешины, на приглаженной взрывом траве. Он лежал на спине, как бы взнузданный тугим ремешком подбородника. До бровей погруженная в каску голова тяжело запрокинулась. Глаза неподвижно и тускло глядели в лохматое небо. Между левым виском и скулой багрово зиял кровоточащий, внутрь уходящий пролом. Каска стояла, как миска, наполненная до краев.

Было такое мгновение — самое-самое первое, когда я над ним наклонился, над тем незадачливым малым. И было такое намерение — не то его потормошить, не то приподнять. Безотчетное, подсознательное намерение. Оно вспыхнуло и перегорело. Я как бы опомнился. Малому помощь была без надобности. Он больше ни в чем не нуждался. Ни в этой нескладной попытке хоть как-то ему пособить. Ни в бинтах, ни в лекарствах. Ни в чем. Все санитары полка не смогли бы вернуть его в мир, от которого он отключился. Вернуть его в эту железную, оглушительную кутерьму. И он не нуждался во мне. И он не нуждался в подушечке перевязочного пакета, которую я потянул было из кармана моей гимнастерки.

Кто-то толкнул меня в спину. Толкнул кулаком, не иначе, и сам придержал за плечо. Сзади стоял отделенный. Он что-то свирепо сказал мне. Я не понял ни слова. Он выругался — это было понятно. Он выругался, сплюнул и взял меня за ухо. Взял, чтобы крикнуть мне в ухо, как в телефонную трубку:

— Тютя!.. Слюнтяй!.. Желторотик!..

Он обварил мне ухо горячим своим дыханием. Горячим, прерывистым, загнанным.

— Ты!.. Заруби себе!.. Слышал?.. По-пластунски, ползком, перебежками!.. Или будешь вот так же лежать...

Мне запомнилось это, как многое из того, что там было. Запомнилось и не могло не запомниться. Все-таки первый бой. Первый и есть он первый. Еще до начала атаки я измотался донельзя. Еще до атаки, которой мы ждали с особой тревогой, как боевого крещения. Но крещения не получилось. Вышло иначе. Атака то ли была, то ли нет. Она уложилась в какие-то считанные минуты. Началась и тут же закончилась. Не было ни штыкового, ни гранатного боя. И немцев увидеть нам не привелось. В покинутой ими траншее, наполовину разрушенной, не осталось даже убитых. Осталась какая-то рвань. Остались ошметки шинелей, одеял и пятнистых накидок, обрывки газет и журналов, продырявленные противогазы, термосы и котелки. Немцы ушли из траншеи. Мы ее с легкостью заняли. «Ура» потонуло в грохоте орудий и минометов, перенесших огонь в глубину. Почему мы не двинулись дальше? Это осталось загадкой. Что-то в тот раз не сработало. То ли у нас не сработало, то ли у наших соседей.

Размотав свою нитку, я спрыгнул в земляную глубокую щель, видимо, ход сообщения. Спрыгнул, включил аппарат, протянул телефонную трубку оказавшемуся поблизости командиру стрелкового взвода, худенькому лейтенантику с «кубиками» на петлицах. Тот ее передал ротному. Связь, как ни странно, была. Минометы и пушки умолкли. Прибежал командир батальона. Он приказал закрепляться и готовиться к новой атаке. Бойцы разгребали завалы, выбрасывали лопатами песок и глину на бруствер, оборудовали площадки для противотанковых ружей, устанавливали пулеметы. Излишки неизрасходованного воинственного запала растрачивались на шутки. Растрачивались на горластый, чересчур возбужденный смех.

Над землей невесомо кружились первые снежные хлопья. Лейтенантик подставил ладони: «Белые мухи... Зима...»

Белые мухи летели, залепляя шинели и каски, ложась на траву, на воронки, на вывернутые снарядами груды земли, маскируя глинистую желтизну не прикрытого дерном бруствера. Белые мухи роились, заслоняя и небо, и поле, и молодой березняк, вклинивавшийся в наши позиции на левом фланге траншеи. Становились почти незаметными неустроенность, грязь, ералаш, мусор переднего края. Все погружалось в прохладную умиротворенную белизну. Потом снегопад поредел. И тотчас же вдоль по траншее полетело тревожное: «Что это там?..»

Ротный приподнял бинокль. Но теперь уже и без бинокля сквозь снежную сетку видны были — смутно, но все же видны были человеческие фигуры.

— Наши?..

— Какое там наши!..

— Немцы, наверно...

— Откуда?..

Как бы выпавшие со снегом и, по всей вероятности, выбеленные, запорошенные снегом, немцы какое-то время маячили, как привидения. Постепенно они приближались, неуловимо мелькая между стволами берез. Приближались, то возникая, то пропадая, то снова очерчиваясь, обозначаясь на матовом снежном экране. Была между ними какая-то незримая взаимосвязь. Все вместе они составляли колеблющуюся цепь. Колеблющуюся, похожую на растянутую, суматошную стаю летящих птиц.

Кто-то, видимо, ротный, дал сигнал пулеметчикам. Гулко, перебивая друг друга, застучали «дэпэ». И немедленно где-то там, впереди, на невидимых, скрытых за снежной завесой дальних немецких позициях в ответ раздались недовольные — «ду-ду-ду, ду-ду-ду» — басовитые пулеметные голоса. Над траншеей послышались тенькание и пощелкивание пуль.

Дул в телефонную трубку и что-то кричал комбат. Что-то не очень понятное, а для стороннего слуха даже, быть может, нелепое. Называя то буквы, то цифры, он кричал о квадрате и роще. Он просил приказать самоварам подбросить в квадрат огурцов. До меня эта абракадабра не сразу дошла. Я не сразу разобрался, в чем дело. Тем временем послышался минный вой. Березняк содрогнулся, прохваченный сизым взрывным дымком. Вернее, не весь березняк, а только ближайшая часть его. Потом громыхнуло и дальше. Несколько раз громыхнуло. Взрывались, должно быть, те самые загадочные огурцы. Последний из них взорвался, и тотчас сквозь стук пулеметов над траншеей взлетел лейтенантский срывающийся тенорок:

— Взвод!..

Лейтенант приподнялся и как бы взлетел над траншеей. Он распрямился на бруствере и, лихо рванув неподатливую кожимитовую кобуру, вознес над собой пистолет: «В атаку!..»

На бруствер полезли, торопливо полезли бойцы. Непроизвольно сомкнувшись, взводная цепь удлинялась. Она на ходу удлинялась и выравнивалась на ходу. Забирая левей, развернулась в сторону березняка. Вскоре его огласило надсадное и нечленораздельное, воинственное «А-а-а!». Оно возникало дважды и больше не возобновилось. Усиленное, умноженное легким березовым эхом, просыпалась и покатилась, словно сухой горох, винтовочная и автоматная беспорядочная трескотня. Временами ее заглушали хриплые взрывы гранат. Наконец стало тише. Лишь изредка, точно древесные сучья, обламывались отдельные, как бы случайные выстрелы. На каждый из них отзывались автоматы и пулеметы. Неистово и остервенело.

Через некоторое время два мокрых от пота, распаренных, задыхающихся бойца приволокли на шинели кого-то, на скорую руку, по гимнастерке обмотанного, опутанного бинтами. Приволокли, оставили за грязным, затоптанным бруствером, а сами сползли в траншею. Где в одиночку, где по двое от опушки березняка вразброд потянулись раненые. Следом за ними, подхлестываемая пулеметными очередями, вымахнула из-за деревьев, как видно, последняя, жалкая горстка стрелков — отделение или, может быть, чуточку больше. Бойцы то бежали, то падали, купаясь в раскисшем снегу. В траншею они не спрыгивали, а бессильно съезжали, соскальзывали. Два-три человека свалились, и мы подхватили их на руки. Они не могли отдышаться. На вопросы комбата и ротного отвечали угрюмо и резко

— Ну, дали им, так их растак?

— Дали...

— А выбили?
— Дудки!..
— Автоматчики...
— Много?
— Порядком...
— И еще прибывают...
— Окапываются...

Все косили глазами за бруствер. Я привстал на носки и вгляделся в лежавшего там человека. Лицо его было бескровным, белым, почти как снег. Белым, почти как бинт, оплетавший его крест-накрест. В оттопырившейся петлице комсоставской, диагоналевой, новой еще гимнастерки блестели эмалью два «кубика». По ним я признал лейтенантика, недавно еще по-мальчишески радовавшегося снегопаду. Сначала по ним, а потом уже по вытянувшимся и затвердевшим линиям носа и скул, пепельно выцветших губ и вздернутого подбородка. Лейтенантик лежал навытяжку на заляпанной глиной шинели. Лежал головой на снегу. Ему уже не было холодно.

А меня пробирал озноб. Причем пробирал основательно и драл не по коже, а глубже. Я его ощущал не хребтом. Я его ощущал не лопатками. Он давал себя знать изнутри. Как у нас говорят, из души. Что-то с ней стало, по-видимому. Быть может, она прохудилась, продырявилась, словно ботинок на сотой походной версте. Надо бы ею заняться, продырявившеюся душой. Но было мне не до нее. И она на ветру холодела. Она выстывала. Над нею, как и над нашей траншеей, как и над этой унылой, рябой от воронок «нейтралкой», кружились и мельтешили белые мухи зимы.

Откуда-то сзади и слева — от полосы чернолесья, которая к тому времени осталась у нас в тылу, послышались странные звуки. Это было похоже на хрюкание. Кабанье свиреное хрюкание, оно приближалось, усиливалось и превращалось в рев, в металлическое рычание. К березняку шли танки. Три танка. Три многотонных стальных кабана. И за ними, по гусеничному следу, в дымных моторных выхлопах, среди вскидываемых траками комьев лохматого дерна, бежали бойцы. Бежали, подпрыгивая и спотыкаясь. Но не они, а танки всецело и безраздельно завладели нашим вниманием. Мы не видели их перед боем. Увидели только теперь.

Были они приземистыми. Были они горбатыми, неказистые эти громадины. Зеленовато-черные, как бы покрытые копотью, они шли по снежному полю и клевали носами, покачиваясь на свежих буграх и воронках. Глухо ревели их двигатели. Ритмично гремели и лязгали железные их суставы. На орудийном дуле ближайшего к нам танка в какой-то момент мелькнула мягкая, блеклая вспышка. Мелькнула, как взмах платка. В следующее мгновение до нас долетел звук выстрела. Подрагивающее свечение перекинулось на малоприметное пулеметное жало танка. Малоприметное, высунувшееся над ходовой его частью. Пулевая длинная очередь ударила по березняку.

Танки не то что вошли, а вломились в него, приминая, прибивая березы к земле. Податливые, тонкоствольные, они падали, словно подкошенные, выстилая дорогу танкам. И в этом падении, в этом торопливом чередовании тяжких ударов о землю было что-то от молотьбы. Молотили березы, и сами же были они цепами. Один за другим опускались те березовые цепы. Причем опускались на немцев — потрясающая подробность того первого боя, навечно врезавшаяся в мою память. Березы хлестали немцев и, казалось, гнались за ними. Те пытались уйти, врассыпную устремляясь к своим позициям. Бежали они без оглядки, просеиваясь между деревьями. Бежали, как сумасшедшие. Бежали, не останавливаясь ни на одну секунду. Но березы легко настигали их. Настигали и били, били. Довершали дело грохочущие танковые жернова.

Все это длилось минуту. Длилось не больше минуты — пока впереди сквозь дымку, сквозь снежную кисею не проступили громоздкие силуэты немецких танков. Мы насчитали их семь. Танки ползли и стреляли, обходя березняк стороной. Походило на то, что ползли они в направлении к нашей траншее. При этом за каждым угадывалось вкрадчивое мельтешение. Пехотинцы трусили за танками, беспокойные, как толкунцы...



Николай Кононов, Алексей Машевский, Алексей Пурин — молодые поэты, живущие в Ленинграде. Представляя читателю их поэтическую работу, хочу предупредить его, что чтение этих стихов — не легкая забава, стихи требуют сосредоточенности, внимания, интеллектуального и душевного напряжения. Таковы настоящие стихи в любые времена, в этом их отличие от вульгарных поделок, от стихотворной болтовни.

Это только кажется, что Баратынского или Мандельштама легко читать, очень многие из тех, кто сегодня клянется им в любви, обманывают себя, скользят по строчкам, не понимая их,— на самом деле в глубине души предпочитая совсем иную, легкую поэзию, не требующую осмысления.

Поэзия, как и всякое искусство, не стоит на месте, в ней идет непрекращающаяся борьба за овладение новой поэтической речью, связанной с новым жизненным, психологическим, историческим материалом. В то же время новизна эта несостоятельна, если не опирается на надежную поэтическую традицию.

Надеюсь, читатель, любящий стихи, расслышит в предлагаемых стихах и новизну, и перекличку с поэтами-предшественниками: И. Анненским, М. Кузминым, О. Мандельштамом и другими, более ранними и более поздними поэтами,— мне не хочется подсказывать имена.

Понимаю, что по нескольким стихотворениям нелегко уяснить их содержательное, образное, интонационное своеобразие. Поэты не похожи друг на друга, хотя, конечно, как у всех современников, у них должны быть и есть точки соприкосновения. У читателя есть возможность проверить мои утверждения: на правах первой книги большие циклы стихов Кононова и Пурина опубликованы в сборнике «Дебют», выпущенном издательством «Советский писатель» в минувшем году в Ленинграде. Стихи Машевского публиковались в журналах «Аврора» и «Новый мир», выход первой книги его стихов — не за горами.

Молодым поэтам, живущим в Ленинграде, труднее обратить на себя внимание, нежели их собратьям по перу — в Москве. И все-таки молодая поэзия, растущая сегодня в нашем городе, представляется мне необычайно одаренной и перспективной.

> ...Но ни на что не променяем пышный
> Гранитный город славы и беды,
> Широких рек сияющие льды,
> Бессолнечные, мрачные сады
> И голос Музы еле слышный,—

сказала Ахматова. «Голос Музы» вообще невозможно представить крикливым. Чтобы его расслышать — требуется многое, в том числе, как известно, отказ от «суеты». Что ж, суеты и впрямь в Ленинграде меньше,— следовательно, больше времени остается для уединенного поэтического труда.

Александр КУШНЕР

Николай КОНОНОВ

◘ ◘ ◘

Вот уж не гадал, что учителем стану, что планктон
Нежных формул курчавых буду цедить, пропускать
Под мертвеющим нёбом — поползли под уклон
Пионерские треугольники, не удержать.

Два года назад и не приснилось бы... В цепкий ил
Педагогики погружаюсь, вот даже, извините, ученика
Репетировать взялся, переехавшего с Курил —
Не голова у него, а сопка Ключевская, дремлющая пока.

О, утробная глупость, провинциалочка — за пять рублей
Чайник его булькающий на два градуса подогреть.

Кто из нас больше обижен? Догадываюсь. Борей
Хмурые воды приносит к Курилам заснуть, а потом умереть.

Вот и денег в конверте ничуть не боюсь. Разговор
В тиховейной учительской страстно могу поддержать.
Кто в тростник параллельных певучих влюблен? В нежный бор?
В степь тетрадную, в топкую гать?

Я заставить сумел, пересилить... А как же они,
Шелестящие пасынки чинных наук?
Помню — в детстве тянулись свинцовые тяжкие дни.
Незалеченный ужас, трудолюбивый испуг...

◻ ◻ ◻

Разговоры все к одному сползают — видно тема такая покатая...
Неужели к бурным тополям так за всю жизнь и не привыкну?
Ах, что за ночь — едва горчит, словно звезда зеленоватая!
А я даже с самой утлой из них не вспыхну.

Как они свои мелкоячеистые сети легко набрасывают
На безутешные тополя. Или смерть разлита так внятно?
Полуотравлен, полуотравлен дикими восьмыми классами...
В какой-то рукав запрятан.

Что ж для них не приберег ни одного довода веского?
Так, наверное, с эпохой говорят полувоенной, на что-то похожей...
Или во сне ее видел? Кружится голова от такого резкого
Перепада высот, и комнатный век все топчется в прихожей.

Так ли пчелиную мастику втирают в планочки узкие
Чуть синеватого ночного паркета? Педагогики частая гребенка
Расчесывает чуть замстные прокуренные молочные усики
Недорослей переговаривающихся, словно звезды, негромко.

И они переживут в конце концов прививки детские,
Пару дней потемпературят. Вот и ночь наклонилась привычно
Над тополями. О, эти ветви изломанные, резкие,
И мириады звезд, зажигающихся педантично.

СТИХИ, СОЧИНЕННЫЕ ПО ПОВОДУ ПОСЕЩЕНИЯ МОЕГО УРОКА ИНСПЕКТОРОМ ГУНО

«Счастье какое, Николай Михайлович, удача какая, везение,
Под счастливой звездой вы, Николай Михайлович, родились.
К вам прогрессия благосклонна, убывающая в упоении,
Над вами дроби колосками нежными сплелись, склонились!»

Так мне завуч Майя Борисовна говорила, от ужаса
Оправляясь после ухода инспектора. В этом роде
Что-то такое твердила, поощряла — ведь в луже вся
Школа могла оказаться. О, апрель на исходе.

Вот уж никогда б не подумал, что всю пыль мельчайшую,
Клейковину педсоветов в хмурые стихи вложу, не надеясь
На весенние воды стыдливые. Ладогу не раскачаешь всю
Ледоколами редкими. Дни растут, собой не владея.

Какое небо бледное, анемичное, подростковое,— ну, ни кровиночки...
Еще Анюта, как хмурый день, руки не поднимала

За третьей партой у окна.
Деточка моя, сыночек, травиночка,
Что-то покашливает, хнычет, ночью сбрасывает одеяло.

Редкие трамваи, всполохи, голоса чьи-то, безветрие...
Разве на каждую звездочку хватит цифры из таблицы
Слабовольного Брадиса? Поросли алгебры, планиметрии
Холодов не переживут, с юга не вернулись сойки, синицы...

Алексей МАШЕВСКИЙ

◻ ◻ ◻

Вчера заметил, что хожу по коридору,
Слегка прихрамывая; Игорь, кстати, тоже...
Начальник наш, когда он был моложе,
Слыл альпинистом, часто лазил в гору,
Сорвался, ногу повредив. Как странно...
Откуда обезьянничанье это?
Или похожесть нам всегда желанна —
Охранный признак, добрая примета:
«Я свой». Или от долгого общенья,
От воздуха, которым вместе дышим,
От тесноты мышиной превращенья
Случаются. И говорим и пишем
Похоже... О рассадник тихий, пыльный
Привычек с трафаретными чертами!..
Никто не принуждает нас насильно
Жить так, как все,—
мы сами, сами, сами...

КОЛЫБЕЛЬНАЯ

Посапывает, чуть хрипит в кроватке за пеленкою,
Импровизированным пологом, от света закрывающим...
Сквозь сон измотанный, глухой, с подкладкой тонкою,
Прислушиваешься к неясным звукам тающим:
Не мокрый ли?.. Что за необъяснимое волнение,
Скулящий полумрак, живой, так в сердце входит жалостно!
Двенадцать? — Да. Уже последнее кормление.
— Заплачет если, разбуди меня, пожалуйста.
Все тени ночи, все пеленки высыхающие,
Все перепончатые крылья тьмы капроновой
Над головой на кухне. Нет, не та еще
Любовь моя — привычкой не затронута.
Я поднимусь. Кричит. Как мне доверено
Такое маленькое тельце, ручки-варежки.
Мне еще кажется порой, что это временно,
На месяц, на два... Тише, баю-баюшки...

КИНОТЕАТР

Или за руку водят меня эти тени? — Густой хоровод.
Не боясь их сплетений, иду, оступаясь, вперед.
В темном зале экрана кипит ледяная струя.
С того берега машут мне... Странно, не чувствую я
Ни обиды своей, ни заботы, ни тела, ни тяжести рук.
Кресла — черные соты, застывших голов полукруг.

Словно ждем переправы, за лодочкой утлой следим.
Там — сомлевшие травы, там — каждый павек невредим.
И рукой не коснуться, лишь бродят во тьме голоса.
Я хотел бы проснуться, но как же — открыты глаза:
Лица, отблески, пятна... Да жив ли? Да точно ль знаком?..
Неужели отпустят обратно, обдав холодком?

Все забуду, как выйду на свет, теребя свой кушак.
Что же, только для виду пугали, сажали во мрак?
Или просто по краю прошелся, ступая след в след,
Мглы, где тени, играя, волнуются, сходят на нет.

Алексей ПУРИН

ОТПУСКНИК

Когда вернешься в дом в погонах, то чужой
покажется тебе младенчества обитель:
какой-то все не тот, как в джемпере, покрой,
как в почерке, нажим, наклон... Повесишь китель
на старый венский стул и в кресла сядешь (так
вернувшийся с войны садился в них) — у шкафа.
И отрешенный взгляд скользнет поверх бумаг,
казавшихся судьбой... Убивший Голиафа —
нерадостен. Забыв о жуткой голове,
он смотрит в сторону, вернее, видит что-то
открытое ему, что к майской синеве
восторженной подшить нельзя. Его забота —
вниманье это скрыть от взоров дорогих.
Он трогает перо, и книги он листает
всю ночь, но ничего уже не ищет в них,—
Туда косят глаза и память отлетает...

. . . .

Нет, я не о себе... нет... боже упаси!
Но так вернулся дед. И так отец вернулся.
И не было еще пробелов на Руси...
И радио спешишь включить, едва проснулся.

⊡ ⊡ ⊡

Свалка стрекоз в саквояжах трамвайного парка.
Пакля и пыль. Тополя выпускают волокна.
Вот и курсантам не терпится, как же им жарко
в плотном сукне! Облепили огромные окна.

Осточертела зубрежка, скорей бы на воздух!
Осатанели от лекций, галдят обалдело.
До повседневной заботы о будущих звездах
и назначениях нет, что ли, нынче им дела?

Так разморило, что даже вагоновожатым
хочется быть. С ветерком все же едет! Так душно,
тесно, как в кронах июльской листве, салажатам.
Школьницам вниз поцелуй посылают воздушный.

За стадионом Нева неподвижно разлита,
так же, как жизнь, серебрится, широкая, праздно.
Много работы, пожалуй, у их замполита —
кажется, воздух и тот преисполнен соблазна.

НОЧНОЕ ЧТЕНИЕ

Читающему журналы нынешние никак
не утвердиться в уверенности, что *это* на самом деле
на линотипе набрано — сонный мак,
галлюцинация, фикция только?.. А как хотели,

в очереди стояли, ждали и, наконец, журнал
жеваный получили на ночь, привили вирус
сами себе бессонницы. И Беломорканал,
лагерный, папиросный, вдруг перед взором вырос...

Господи, сколько жидкой обложечной синевы
и буреломного текста! — Снега, заносы...
То, что Толстой записал в дневнике, увы,
верно — ухлопаем жизнь на новинки прозы...

В пять прояснится насквозь, но ведь весь заспишь
зыбкий хрусталь и проснешься с дурной башкою...
Как же истории гладь заглушил камыш
и мифотворчество, липкое, воровское!

Или и дальше примерно в кроватке спать —
баюшки-баю, блаженно смежив ресницы:
все наступаем мы, дескать, за пядью пядь
память теряем, и склеились все страницы?..



Сергей КАЗИМИРОВСКИЙ

Вокруг КАРТОШКИ

Однажды по весне, перебрав трехкилограммовый пакет картофеля, купленный в универсаме, и отобрав в кастрюльку четыре клубня, я не без горечи подумал о предыстории пакета, о том, каково же было — уютно или нет? — этому самому клубню в земле, где он рос, на плодоовощной базе, где хранился, и почему вижу картофель в таком, мягко говоря, нетоварном виде?

Ведь прежде, чем он дошел к покупателю, его кормила и поила специально для него подготовленная земля, и долежал он до своего часа в специально подготовленном «прохладном и темном» месте...

Мне, как, вероятно, и многим из читателей, приходилось встречаться с ним, всеми любимым, но не слишком уважаемым нашим клубнеплодом на совхозном поле и на городских овощебазах, и прежде всего запомнилась существенная разница между картошкой осенней, вполне «товарной», крепкой, и той, которую зимой и весной, купив в магазине, я видел гнилой, синюшной, осклизлой.

«Картошку едят все» — эта банальная в общем истина дает право полагать, что заботы людей, которых я встретил в поисках ответов на свои вопросы, будут если уж не близки, то хотя бы небезынтересны для широкого круга читателей.

«Картофель — второй хлеб» — вот другая истина, которая как будто общеизвестна и не требует комментариев, но, думаю, что не каждый представляет последствия, которыми обернется (допустим!) неожиданное исчезновение из нашего рациона «второго хлеба». Что было бы? Мы не знаем, как-то не представляется...

«Картошка начинается с науки»,— подумал я, входя в тяжелые двери Всесоюзного института растениеводства имени Н. И. Вавилова, чтобы побеседовать с заведующим отделом клубнеплодов академиком Константином Захаровичем Будиным.

Нет, мы не говорили о «трудовых успехах» (хотя и успехи, и победы были налицо), беседа носила, что называется, деловой характер.

Отнюдь не все благополучно в нашей науке о картофеле. Но и ученые резонно предъявляют свои претензии к организациям, обязанным тем и заниматься, что претворять науку в практику, и к тем, на ком лежит очень нелегкая ответственность смотреть далеко вперед в развитии производства «второго хлеба».

— Вопрос первый: чем объяснить, что урожайность картофеля по стране в среднем по годам остается низкой в сравнении с ведущими картофелепроизводящими странами?

К. З. Будин: Знаете, здесь есть парадокс: если взять новые сорта, то можно сказать, что по продуктивности мы продвинулись вперед. В прошлые годы урожайность на сортоучастках была сто пятьдесят — двести центнеров с гектара, а ныне мы получаем до пятисот — шестисот. Однако одно дело сортоучасток, в производстве же — совсем другое. И все же я считаю — даже уверен! — что получать *двести* центнеров с гектара можно на любом сорте.

— Тогда в чем же дело?

К. З. Будин: Первая причина невысоких урожаев — низкое качество семенного материала, то есть клубней для посадки. Картофель подвержен множеству болезней и из-за вегетативного способа размножения они накапливаются во всех последующих репродукциях.

Существуют методы оздоровления картофеля, поддерживающая селекция. Мы выращиваем элиту, далее суперэлиту, которая и передается в хозяйства, но что происходит с ней потом? Погодите, расскажу чуть позже.

Вторая причина: необходимо отладить внутрихозяйственное семеноводство. Честно говоря, семенные участки существуют только на бумаге, редко в каком хозяйстве их и найдешь.

Доходит иногда до смешного. В совхозе спрашиваешь: «А где же у вас, товарищи, семенной участок?» И бригадир у агронома (или агроном у бригадира) удивленно спрашивают: «А где же у нас, в самом деле, семенной участок?»

Естественно, что суперэлита, выращенная на сортоучастках, попав в общий посев, за два-три года совершенно вырождается. Вот вам и выброшенные на ветер деньги, и низкие урожаи.

Причина третья: подготовка клубней к посадке. Мы собираем картофель в сентябре-октябре, а высаживаем в мае-июне. За эти восемь месяцев даже у хорошего хозяина в сухом песочке и то часть урожая портится, а ведь в совхозах семенной материал часто хранится в буртах, без вентиляции...

А что весной? Для посадки нужно не меньше тридцати центнеров клубней на гектар, на тысячу — стало быть, три тысячи тонн. Попробуйте-ка сделать перед посадкой их ручную переборку! Да и кто же будет этим заниматься: не хватит ни пионеров, ни бабушек — некому это делать! Картофель, как есть, прямо из хранилища грузят в самосвалы и везут на посадку: вот и вся «наука»...

Ныне пошла мода на загущенный посев: сажают по семьдесят тысяч кустов на гектар, а ведь это — не от «хорошей жизни», а потому, что заведомо знаем: какой-то процент вообще не взойдет, брак закладывается заранее!

Ну, и последняя причина: большие потери при уборке. Картофель у нас убирают комбайном или копалкой. Я все же за то, чтобы комбайном, хотя он повреждает клубни сильнее. Но за копалкой надо подбирать картошку, а кто этим занимается? Все те же шефы...

— Мне как-то пришлось наблюдать сцену, когда «находчивые» шефы не подбирали, а, наоборот, зарывали часть клубней в землю...

К. З. Будин: Печально, но бывает и такое... Недавно в Минске я побывал на международной выставке, где демонстрировались картофелеуборочные машины Финляндии, Франции, Австрии, ГДР. Наших же машин не было: их просто неудобно было показывать...

Конечно, уборку картофеля механизировать трудно, но надо же что-то делать! Наши комбайны безбожно повреждают клубни, на импортных стоит отличная эластичная резина. Картофель сохраняется значительно лучше.

Есть и еще одна причина наших низких урожаев, действительно объективная: очень короткий вегетационный период. Например, для широт ГДР он в среднем на пятьдесят дней больше, чем по нашему Северо-Западу.

Кстати, в ГДР картофельная ботва уничтожается химическим путем за месяц до уборки: это устраняет опасность переноса фитофторы — «картофельной чумы» — с ботвы на клубни. Ботва картофеля, между прочим, содержит много ценных питательных веществ и, при нашей скудной кормовой базе, могла бы быть отличным кормом для скота, если ее силосовать, скажем, вместе с зеленым капустным листом.

Мы же вынуждены убирать картофель незрелым, «голеньким». Ботва скашивается за два-три дня до уборки и, в лучшем случае, тут же размельчается на удобрение. Клубни, которые убирают при температуре ниже плюс десяти градусов, не эластичны, сильно повреждаются, а ведь убираем мы — и это не секрет — часто при температурах гораздо более низких. Бывает, уже летают «белые мухи», а шефы выковыривают картошку из подмерзшей земли...

Я, между прочим, покупаю картошку в магазине и знаю, какого она качества: огромные потери урожая происходят после доставки картофеля на овощебазы. Тот самый «голенький», беззащитный клубень после чудовищного комбайна беспощадно обдирают и оббивают на базе при переборке механизмами, на транспортерах, в инерционных разгрузочных машинах, при засыпке в контейнеры. Картофель не должен падать с высоты более тридцати сантиметров. А вы поезжайте на базу и посмотрите, как там с ним обращаются...

Академик взглянул на часы и, замолчав, виновато развел руками: я вспомнил, что в этот час Константин Захарович должен был быть уже в другом месте, где защищалась какая-то диссертация. Мы распрощались.

Побывав в разных хозяйствах в разных районах Ленинградской области, я понял, что академик Будин, сидя в институтском кабинете в самом центре Ленинграда, знал, что говорил. И сам я, потратившись на новые — повыше — резиновые сапоги, тоже уже знал, на что

смотреть и куда заглянуть, даже если не покажут.

Читаю в газете сообщение статуправления: «В среднем по Ленинградской области с 1986 года собрано по 145 центнеров с каждого гектара».

Сто сорок пять, да с учетом плохой погоды — это очень неплохо. Но что значит с каждого гектара! Есть в области передовики, берущие и по двести семьдесят центнеров, но есть (иногда в одном районе и почти что рядом) хозяйства, не добирающие и до семидесяти: в четыре раза разрыв по урожайности!

И картошка — тоже из одного района — и по качеству, и по готовности к хранению очень разная: это лучше всего знают девочки-товароведы, принимающие ее на овощебазах. Иногда настолько разная, что те же девочки-товароведы, ни разу не бывавшие в совхозе, без всяких анализов могут сказать: вовремя убирали эту картошку или уже после заморозков, в меру применили азотистые удобрения или «перекормили» ими поле, комбайном собирали урожай или копалкой. Совхозы отчитываются за выполнение плана по валу, а не по качеству продукции. Чем больше сдал, тем больше и прибыли, и чести. Конечно же, устанавливаются и сроки сдачи картофеля, существует и его сортность и другие показатели, но главное все же — его величество вал.

Картошка на восемьдесят процентов состоит из воды — этот факт знают люди, даже не имеющие высшего сельхозобразования. А если ее как можно больше подкормить азотом, дать еще органику в придачу, то, имея толковых механизаторов, по осени можно брать неплохие урожаи. И вид у такой картошки вполне товарный: клубни размером чуть ли не с маленькую дыню, и на ощупь тверда, и на срезе бела. Значит — принимай на хранение без проверки, не задерживай очередь машин? Но у товароведа даже при виде такой продукции закрадывается сомнение, которое, однако, он не смеет высказать вслух, пока образчик корнеплода не свезут на химанализ. Здесь-то тайное и может стать явным: картофель хранить нельзя, он перекормлен азотом.

Итак, мы незаметно, но логично подошли к овощебазе — следующему звену картофельного конвейера.

Войдем на базу, где, быть может, нам удастся уж коль не разгадать, то хотя бы приподнять завесы над некоторыми тайнами. Одиннадцать овощных баз Главленплодоовощпрома — крупное и многосложное хозяйство, которое первой и основной своей задачей считает снабжение плодоовощной продукцией пятимиллионного населения нашего города.

Отдадим должное его работникам. За последние годы они подтянулись, больше стало продукции в магазинах, однако претензии наши к магазину (а через него — косвенно — к базе и главку) многие годы остаются почти теми же: всегда где-то чего-то не хватает (за картошкой едем в соседний район, за луком — через весь город). А то и лук, и та же картошка вообще исчезают и их можно купить втридорога только на рынке.

Есть у нас продукты, к дефициту которых мы, к сожалению, привыкли. И относимся к этому терпимо, наверное, так же обреченно терпимо, как воспринимает свою болезнь давно сраженный каким-нибудь недугом человек.

Я не помню случая, чтобы картошку, даже если она временно исчезла в продаже, бросались закупать впрок, выстраивались за ней с мешками в очередь. Поэтому за нашу обеспеченность «вторым хлебом» был всегда спокоен. Но с некоторых пор меня начали одолевать сомнения.

Ведь и сахар у нас никогда не был дефицитом. Мы его не «доставали», мы его свободно покупали ровно столько, сколько нужно на день насущный. И вдруг мы его начали выкупать по талонам, считай, по тем же карточкам, которых не знаем, слава богу, вот уже сорок лет.

Они ли это так устроили, нас кормящие, или это мы сами уже так напуганы, что при возникновении очередного дефицита («запасайся, кто может!») бросаемся с мешками на соль, спички и сахар?

Массовый психоз, низкое сознание, отсутствие культуры? Кому-то, наверное, можно поставить и это в вину. Но кто бросит камень в людей, еще помнящих стылый ужас блокады или голодное деревенское детство, приученных страхом «дальнейшего исчезновения» чего-то жизненно необходимого к элементарной запасливости и пропускающих мимо сознания оптимистические обещания «дальнейшего улучшения»? Нет, «дефицитная болезнь» — даже не психологический феномен: это социальный синдром «воспитания унижением».

Испуганного легко запугать еще больше, а также сделать более покладистым и послушным: скажем, лишить чего-то и, хорошенько «выдержав», вернуть это «что-то» на прилавок по *другой* цене. Возросшей по причине улучшения качества или даже без оного: и так довольны будем. Нам, ох, как часто, не продают за деньги, а за деньги *подают*: мы привыкли и к этому.

И ленинградская картошка как-то почти незаметно вместо привычного гривенника стала стоить в два раза дороже: если хлеб «первый», насущный, вздорожал, то почему бы не подняться в цене и «хлебу второму»? Тем более, что все можно списать на «нетерпимую» при хозрасчете убыточность его производства...

...К новому начальнику Главленплодоовощпрома Вячеславу Павловичу Лазаряну главк перешел в весьма неприглядном виде: свыше ста пятидесяти работников было привлечено к уголовной ответственности и предстало перед судом. Десятки увесистых томов «морковкиного дела», как неофициально окрестили его работники милиции, вызывают невольное почтение: оказывается, и невинная «морковка» при известной смекалке способна давать солидный приварок.

Меня поразило даже не количество «дающих» и «берущих», не баснословные суммы взяток и хитроумная система надувательства, а та непреложная обязательность и даже стройность «взяткосистемы», твердость установленных «норм» взяток, как будто некий невидимый, но точный прейскурант был утвержден и спущен «сверху»...

И еще запал в памяти бесхитростный отзыв жены директора одной из ленинградских овощебаз о своем супруге-взяточнике: «Он олицетворял собой настоящего коммуниста, способного руководителя производства...»

Начальник главка В. П. Лазарян торжественно и принародно обещает снизить цену на ленинградский картофель до «законного» гривенника: что ж, как говорится, посмотрим. Ныне же и двадцать копеек за килограмм — цена убыточная, потому что не только чистенький, «умытый» польский картофель, но и закупаемый в Белоруссии обходятся нам чуть не вдвое дороже. Если цены «придут в соответствие» с нынешними затратами на производство картофеля, то без «дальнейшего улучшения» качества мы будем покупать его по самой что ни на есть *рыночной* цене редиски и яблок.

Не будет у нас и предусмотренного постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР завода картофелепродуктов: срок его окупаемости, как подсчитали проектные организации, составит 66 (!) лет, таким образом, предприятие сможет окупить себя в середине XXI века: воистину жизнь фантастичнее выдуманных сюжетов!

Подобный завод, как сообщил начальник главка, предполагается построить на территории Польши, откуда и будет, по замыслу, доставляться в Ленинград готовая картофелепродукция. Тоже неплохо, ведь везут же к нам польские друзья букеты живых цветов и парфюмерию.

Итак, войдем на базу. При входе — «вертушка», как на солидном предприятии, при въезде — наряд милиции: дежурят с утра до вечера; у ОБХСС, как оказывается, здесь немало хлопот.

Середина октября — самое горячее время на базе: идет «закладка продукции на хранение», или, попросту, закладка, чтобы заложить в хранилища сотни тысяч тонн «плодоовоща», должны согласованно потрудиться и совхозы (поставщики), и шефы, и транспортники, и торговля, и весь аппарат главка.

База работает круглосуточно. В три смены. Без выходных. Отгулы — это потом, к зиме, когда поспокойнее будет, потише.

То и дело открываются ворота, въезжают переполненные машины с тоннами нового урожая. С другой стороны, по железнодорожной ветке, медленно вкатываются, устало клацая на стыках, пропыленные вагоны со всех концов Союза: Молдавия, Украина, Белоруссия, Грузия, Узбекистан...

Осенью 1986 года Ленинград получил тысячи вагонов с белорусской бульбой; вереницы вагонов по всем железнодорожным отделениям ждали своего часа (вернее, дня) разгрузки: базы не успевали сладить с гигантским наплывом продукции — таких темпов поставок город еще не знал.

Да тут еще и синоптики припугнули ранним морозцем: Белоруссия и Ленинградская область спешно убирали оставшуюся в земле картошку почти одновременно. Вот и скопились вперемежку лужские и витебские составы на запасных путях. Осели довольно прочно, неслышно и незримо давая десятки тысяч рублей убытка от «хранения» на колесах, загружая работой Госарбитраж и заставляя перекладывать миллионные штрафы из кармана одного «заинтересованного» партнера в карман другого.

— Видите хранилище? — начальник цеха Ждановской овощебазы Ю. М. Старосельский взмахивает рукой (жест не то гордости, не то безнадежности).— Финский проект, между прочим, вмещает десять тысяч тонн,— добавляет он и бегло взглядывает на меня.— Ну как, впечатлительно?

Я соглашаюсь и с интересом рассматриваю «финский проект»: огромное хранилище из профилированного алюминия, похожее больше на авиационный ангар, серебристо отсверкивало под тусклым осенним солнцем.

— Так вот,— продолжает начцеха, успевая между делом бросать короткие распоряжения товароведам и на ходу подписывать какие-то подкладываемые ему под руку бумаги.— Это хранилище у *них* десять тысяч вмещает, а у меня только восемь. Ну, от силы, если поджаться, восемь триста.

— Это почему же?

— А потому, что хранилище финское, а контейнер — наш, родной. У финнов контейнер совсем другой конструкции и размеров: шире, но ниже, стенки сплошные, а наш — посмотрите — весь решетчатый...

Я осмотрел «родной» контейнер, хотя достаточно хорошо знал его конструкцию, работал не раз на овощебазах и даже чинил ломаные контейнеры, которых на любой базе предостаточно.

— Ну вот,— продолжает Старосельский, подмахнув на колене очередную пачку накладных.— Чтобы нам «выйти на режим», соблюсти нужную температуру, контейнеры с картофелем нужно поставить в камеры вдоль вентиляционных решеток. Сейчас покажу...

Мы стремительно, чтобы начцеха не успели «зацепить» и отвлечь, «пролетаем» фасовочный участок и скрываемся за тяжелой дверью холодильной камеры.

— Вот, видите: решетка,— показывает он.— Снизу нагнетается холодный воздух, дальше, по идее, он должен «пробить» все ярусы, охладить картошку и выйти наружу. Но это «по идее»...— Юрий Михайлович саркастически улыбается и, махнув рукой, неожиданно засовывает толстый палец в контейнер с картошкой.— А на самом деле — что? А то, что наш контейнер, решетчатый, пропускает воздух со всех сторон, он и не попадает внутрь, в массу клубней, а в основном обдувает углы. Компрессор дует во всю мощь, а внутри, в серёдке, картошка теплая... Дальше. У нас в ярус по высоте встает только пять контейнеров, у финнов — шесть. Почему? А потому, что наши контейнеры выше ростом и шестой ярус уже упирается в потолок! Да и, сними мы крышу, шестой ярус все равно нельзя ставить: нижние контейнеры раздавит своей тяжестью... Вот и выходит не десять, а только восемь тысяч тонн. Вам ясно?

— Мне ясно,— киваю я и опускаю глаза, чувствуя себя виноватым в чьем-то грубом просчете.

— Тогда запишите в свой блокнот. Закупая импортный проект, надо помнить о технологии, предусмотренной проектом. Согласны? А вообще хранение в контейнерах — не лучший способ. Вот в ГДР, к примеру, хранят очень просто: натягивают сетки в двадцать — тридцать ярусов, картофель лежит на них тонким слоем в один-два клубня. Вентилировать легко, любую сетку можно выдвинуть, проверить. Кстати, охаянный в нашей печати бурт с успехом используют на Западе. Не тот, конечно, бурт, не просто кучу. Большая камера загружается транспортером «внавал», но в массу клубней подается воздух, аэрозольная вода для увлажнения, устанавливаются датчики влажности и температуры, устройства для выемки очагов болезней. Вот так...

Старосельский махнул рукой и, обтерев ладони тряпочкой, откатил дверь камеры. Мы вышли в коридор.

— Еще проблема: базам хронически не хватает контейнеров, хотя главк закупает их ежегодно по сто тысяч штук. Контейнеры вечно в обращении, часть даем совхозам под овощи, часть ломается, и так из года в год... Но общий план закладки мы всегда выполняем, а то и перевыполняем. В этом-то и беда!

— Это почему же беда?

— А потому что я не знаю, куда мне эту — сверхплановую — картошку разместить, если плановую уже некуда ставить! Видите: ставим в коридоры. Недельки через две все проходы будут забиты, и нам, чтобы в эту камеру попасть, бочком идти придется, прижимаясь к стенке...— Юрий Михайлович дал указания двум женщинам в ватниках и подписал очередную пачку прямо на контейнере.— Вообще закладка — всегда аврал, ситуация почти военная... Сегодня у нас на базе продукции уже на девять тысяч тонн больше, чем мы можем принять, а вот привезут капусту — тогда, наверное, и бочком не пройдем...

Юрий Михайлович заглядывает в мой блокнот и, подумав, просит «заострить» еще одну проблему.

— Посмотрите, какая у нас техника, автоматика, климат, управляемый микропроцессором. Нам нужны опытные инженеры-электронщики. Но попробуйте-ка затащить таких специалистов на овощную базу. На наши оклады — не идут... Или вот: мы даем очищенный картофель ресторанам. Работает целый цех: подача, мойка, чистка и фасовка, все на автоматике. Только глазки вырезают женщины. А куда идут очистки? Выгребаем, простите, лопатами и отдаем в корм свиньям, а можно б было делать из этого прекрасный крахмал! Базе нужен хозяйственный расчет, только настоящий, во всех звеньях, снизу доверху. И чтоб в этом хозрасчете был заинтересован каждый работник.

Я записываю и, пожав его горячую руку, выхожу на воздух. Оборачиваюсь на ходу: алюминиевый торец хранилища торжественно сияет в лучах заходящего солнца. Кто бы мог подумать, что под этой импортной крышей столько отечественных проблем!

На следующий день в противоположном конце города, на Фрунзенской овощебазе, я обнаружил точно такой же «финский» цех. Начальник цеха здесь, однако, скромно именуется «завскладом». Знакомимся: Роланд Орденович Хахубия.

— Скажите, все, что вам привезут, вы обязаны заложить на хранение? — сразу же спрашиваю я.

— Все! — уверенно отвечает завскладом.— Обратной дороги нет! Видите: хранилища уже забиты, а разгружают картошку из вагонов в мешки. У нас на сегодня пятьдесят семь тысяч тонн продукции, мы же можем вместить только сорок четыре... Картофель в мешках, на эстакаде, практически на улице. А если вдруг мороз?.. Понимаете?

— Понимаю. Но эту же картошку можно хоть сейчас везти прямо в магазины...

— Возим, часть фасуем в пакеты. Но магазин тоже не резиновый: у них же складов нет, только что в подсобке запас на два-три дня. Мы бы сейчас могли реализовать по тридцать-сорок тонн картошки ежедневно, а продаем всего пять-шесть: больше торговля не берет — куда ее девать?

Роланд Орденович улыбнулся в усы, поманил пальцем девушку в вязаной белой шапочке.

Представил: «Товаровед, Иванова Людмила Васильевна. Она вам расскажет про другие наши заботы»...

Людмила Васильевна, слегка покраснев, присела к столу, вопросительно посмотрев на меня прекрасными голубыми глазами.

— Вы после техникума? — спрашиваю я.

— Да, два года надо отработать... Год еще остался.

— А потом?

— Потом уйду, конечно. Куда-нибудь,— поспешно добавляет Людмила Васильевна и, опуская глаза, розовым ноготком выковыривает из стола старую канцелярскую кнопку.

— У нас специфика. Словом — овощебаза, молодежь не держится... Самые крепкие остаются,— извиняющимся голосом говорит Хахубия.— На автопогрузчиках — девчонки-лимитчицы, там хоть зарплата побольше, а ручной работы на базе еще очень много... Шефы — почти одни женщины, что с ними делать? Ну, ставим на фасовку, а мне картошку, лук разгрузить надо, мешки на поддоны — мне, дорогой, мужики нужны!

— Дефицит?

— Дефицит,— вздыхает завскладом, бросая на стол пыжиковую шапку.— Всенародная проблема! Какой, скажи, из шефа работник? Он деньги там, у себя на службе получает, как за полный рабочий день. А на базе что? Он мне нафасует на рубль, а убытка на пять... Чтоб нестандарт отобрать, тоже квалификация нужна.

— Что отобрать?

— Нестандарт. Ну, термин такой,— завскладом делает кислое лицо и неопределенно играет пальцами.— Понимаешь, картофель, отвечающий стандарту,— хороший картофель, он сразу закладывается в хранилище. А в магазин, конечно, сначала вот это даем,— Хахубия кивает за стекло конторки.— То, что лежит на эстакадах, в проходах... Ну, а «нестандарт» — это ясно: картофель мелкий, подгнивший, машиной подпорченный... «Нестандарт» — это... это всенародная проблема! — патетически восклицает завскладом и решительно рубит ребром ладони свою пыжиковую шапку.

— А все же — почему «всенародная»? — допытываюсь я.

— Людочка, расскажи товарищу,— просит завскладом и переворачивает шапку подкладкой вверх.

— По договорам на базу должен поступать картофель с содержанием «нестандарта» не более пяти процентов,— без запинки говорит Людмила Васильевна, будто читает текст из студенческого конспекта.— На самом же деле...

— ...Нестандарта гораздо больше? — тут же догадываюсь я.

— Конечно!..— восклицает Людмила Васильевна.— Картофель идет со всего Союза, ранний — из Грузии и Прибалтики, сейчас — из Белоруссии и Ленинградской области. Часть его испорчена гнилью, порезана, с душком...

— ...Да что там с душком! — яростно врезается Хахубия.— Вчера открыли вагон — сорок процентов нестандарта! Ребята мне говорят: «Давай противогазы, начальник, иначе не будем разгружать! Картошка прямо в вагоне течет...»

— То есть как это течет? — удивленно переспрашиваю я.

— Да вот так! Течет — и все! Как вода. Понимаешь, было сорок тонн, ушла вода — десять осталось. Нет картошки — грязь со шкуркой остается. Это уже не нестандарт, а отход. Картофель течет — значит, задохся в пути, или перекормили азотными удобрениями... Бывает такая картошка, на вид хорошая, крупная, а химанализ показывает: азота больше нормы. А бывает, что и по нормам прошел картофель, красавец, заложишь на хранение — а через месяц вдруг потек — и все, нет контейнера!..

— Ну, а что же делать с нестандартом? Его ведь в магазин не отдашь?

— Конечно, нет! Нестандарт идет на корм скоту,— вздыхает Людмила Васильевна и в упор смотрит на меня, моргая прелестными голубыми глазами.— Мы продаем его совхозам по шестьдесят рублей за тонну, и они охотно берут...

— Это почему же охотно?

— Картошкой, говорят, хорошо коров кормить. Надои повышает. А богатые совхозы на корм иногда даже стандарт берут, по сто рублей за тонну.

— Это что же: из совхоза везут продавать на базу, а потом у базы покупают, чтобы отвезти в совхоз? — спрашиваю я и чувствую, что в мире удивительных вещей уже и устаешь удивляться.— А что — совхоз совхозу так продать не может? Без перевозок туда-сюда?

— Не может, дорогой! — завскладом прищелкивает пальцами и смеется, покачивая языком.— Не может! У них план: у этого по мясу, у того по картошке.

— А «отход» куда деваете? Уж «отход»-то коровы есть не станут?

— Коровы не станут, зато свиньи едят, дорогой! У них, знаешь, претензий поменьше, отход продаем по рублю за тонну. Так крутимся... Бывает еще абсолютный отход — с примесью земли, этот уже не продашь, идет на городскую свалку. Вчера открываем вагон, а там — представляешь? — сорок процентов земли!

— Но есть же у вас какие-то санкции против этого... Против *такого?!*

— Нету санкций,— торжественно говорит завскладом и отдает кому-то короткий приказ по селектору.— Ну, иногда заявляем претензии. Вот в прошлом году заявили, но в магазинах от этих штрафов картошки не прибавится! Если бы ты знал, дорогой, что такое о-во-ще-ба-за!..— продекламировал он и покачал головой.— У нас вагоны стоят, а разгружает кто?

— Шефы,— рассеянно киваю я, что-то записывая в блокнот.

— Шефы,— вздыхает Людмила Васильевна.— Вон, смотрите, шефы-то уже намылились, двух часов еще нет!

Мы дружно привстаем и втроем заглядываем в окно, где слева наискосок, если постараться, можно увидеть проходную. Шефы спешили из проходной навстречу подоспевшему автобусу.

— Раньше им хоть платили за работу наличными: разгрузил вагон — получаешь деньги, но теперь заработанные деньги перечисляют на предприятие по безналичному расчету.

— Наверное, у базы есть претензии к магазинам?

— Бывают, дорогой, кто ж нынче без претензий,— завскладом широко разводит руками.— Вот мы даем в магазин фасованный картофель, они нам говорят: сырая картошка, плохо вымыта — это та, которую машина фасует. Есть у нас такая финская линия: картофель моет, подсушивает, сама развешивает по три, по пять кило в сетки. Поставили нам эту линию, отладили, смотрим: плохо моет, остается грязь. Ну, вызываем представителей финской фирмы. Приехали они, посмотрели, покрутили что-то. Потом говорят: все в порядке, работает. Только что у вас за картошка? Молчим. Оказалось, что у них на картофель стандарты другие, а такую, как у нас — ни один магазин не возьмет... Так, дорогой. Замучились с этой линией: фирменная лента, латунная, для вязки сеток у нас скоро кончилась, где взять? Стали искать предприятие. Хорошо еще, что Металлический завод дал ленту, только не латунную — стальную. Хуже, конечно, ножи каждый день тупятся. А потом сетка кончилась, с трудом в ГДР закупили. Что еще рассказать, батано, всю ночь могу рассказывать,— завскладом устало улыбнулся и, пригорюнившись, подпер рукой шершавую щеку.— Бывает, знаешь, транспортники подводят: у нас же нет своих машин, всех обслуживает Главленавтотранс... Машины приходят из совхозов, будто их черт в кучи сбивает: то почти никого, то вдруг по двадцать-тридцать с утра пораньше. Конечно, очередь получается. Автопогрузчиков у нас не хватает, на складах тесно: значит, опять очередь на весовой... Шоферы не любят на картошке-овощах работать. Невыгодно. Груза стараются брать поменьше, говорят: «покрышка села» или «рессора сломалась». Им за количество ездок платят, а не за вес. Машина в день должна делать три ездки, а делает, дай бог, две: какая тут ритмичность? Нам магазины каждый день дают разнарядку — сколько куда везти, а потом вдруг сами отказываются принимать продукцию, «заворачивают» машины обратно: класть некуда! Вот сегодня нет реализации — значит, магазины забиты, и у нас картофель чуть не на крыше лежит, а бывает наоборот: пищеторг просит картошку, а транспорта, как нарочно, нет...

— Ну, а если продукция у вас на складе портится, кто отвечает?

— Да я, конечно, отвечаю. Головой! Чуть что испортилось, температура изменилась в хранилище или картошка потекла — подать сюда завскладом! Значит, меня на ковер.

— И что, сильно бьют?

— Еще как! — Хахубия резко взмахнул рукой, и Людмила Васильевна, подтверждая, убедительно кивнула головкой.

— Санкции применяют?

— Полный набор! Лишение премии, устное предупреждение, выговор, строгий выговор, штраф, передача дела в ОБХСС...

— За что так строго — передача дела?

— А за то, что потек картофель, вода ушла — картошки нет. Как докажешь, что вчера там, в контейнере, четыреста кило лежало, а сегодня мокрое место? У нас же материальная ответственность, а оклад, знаешь, какой? Сто двадцать пять рублей. Только сейчас, в закладку, полтора оклада дают — до ноября. А если еще премию снимут?..

— Последний вопрос: как у вас с несунами?

— В корне не изжито. Вор, понимаешь, остается вором. В душе. Если он не вынес — это не потому, что вдруг честным стал, а потому что проверяют...

— Что ж, спасибо за информацию,— я прячу в сумку блокнот и откланиваюсь.

— Приходи, дорогой. У нас каждый день информация. Свежая,— сказал Роланд Орденович и, нахлобучив на голову пыжиковую шапку, с чувством пожал мне руку.

Женщина на проходной, заглянув в мою сумку с тощим блокнотом, молча выпустила меня за территорию. У ворот базы и на весовой по-прежнему мелькали фигуры двух старшин и бравого лейтенанта милиции, который весьма энергично руководил работой своих подчиненных: один из них, неожиданно отделившись от группы, вскочил на подножку груженой машины, быстро просмотрел документы водителя и, заглянув в кузов, молча соскочил на асфальт.

Нет, не зря дежурили на овощебазах наряды милиции: из сообщения прокурора Ленинграда следовало, что на предприятиях Главленплодоовощпрома «... за последние годы привлечены к уголовной ответственности за хищения и взяточничество около ста шестидесяти должностных и материально ответственных лиц».

Признаюсь, я уходил с овощебазы с нелегким и сложным чувством: много, слишком много случайных и «запрограммированных» бед приключается с картофельным клубнем по пути с поля на базу. А на этом его злоключения не заканчиваются. Расфасованный на базе в пакеты или же просто загруженный в машину «внавал», он, подчиняясь дирижерской палочке районных пищеторгов, при содействии Главного управления торговли и торговых отделов райисполкомов поступает в магазин, и только оттуда — в руки покупателя... Что ждет его на этом пути?

На следующий день захожу в выбранный наугад маленький овощной магазинчик Петроградской стороны и в подсобке, в темной выгородке из оргстекла, знакомлюсь с директором Виталием Михайловичем Петросяном. Из краткой беседы с ним выясняю, что заявки райпищеторгов по объему продукции база выполняет почти на сто процентов, однако по ассортименту — только осенью, в сезон. Очень мало фасованных овощей, редко поступает и фасованный картофель.

Мы дружно сошлись на том, что если базе трудно фасовать ровно по три килограмма, то можно делать, скажем, 2,8 или 3,2, приставив к фасовочной машине обыкновенное чекопечатающее устройство, которое, вероятно, было бы никак не сложнее медлительного электронного весонаборщика.

Иногда магазин получает овощи по прямым поставкам, из совхозов. Конечно, это хорошо, и овощи куда свежее, чем с базы, но нет твердых гарантий, что совхоз доставит в магазин продукцию в такой-то день и к такому-то часу. Директор между тем мечтает о твердых, гарантированных поставках «прямо с поля», да чтобы в расфасованном виде — ведь в магазине по штату нет фасовщиц, а торг заставляет фасовать (какими силами, какими средствами?).

Но главное зло, конечно, нестандартный картофель, особенно тогда, когда его поступает гораздо больше, чем записано в накладной. Магазин шлет телеграмму на базу (телеграмма надежнее: база, зная, конечно, о качестве своей продукции, часто просто не реагирует на телефонные звонки).

А как, какими силами и в какое время расфасовать продукцию, которая идет «навалом», часто совсем в «непотребном» виде? И стоят в подсобке продавщицы с тяжелыми тесаками в руках, «подрабатывая» тяжелые кочаны малопривлекательной капусты. (На овощебазе, захлебнувшейся в своих недоработках, не успели обрезать с кочанов зеленый лист, который почему-то не хочет приобретать в качестве «довеска» привередливый покупатель.)

Директор «крутится». С покупателем ссориться — жалоба обеспечена, базе предъявлять претензии — испортишь отношения, продавщиц отрывать от прилавка на переработку и фасовку овощей и картофеля — некому будет торговать, выполнять план.

Увлекаясь газетными фельетонами или фабулой сенсационных разоблачений последних лет в системе торговли, поставим только один вопрос: всегда ли конкретный директор конкретного магазина настолько бесчестен, что, забывая обо всем на свете, непременно жаждет личного обогащения, спеша как можно скорее запустить руку в государственный (и наш с вами) карман? Я далек от мысли защищать обманывающих, ворующих, «вяткодающих» и «взяткобсрущих» — сейчас речь не об этом,— но на одной немаловажной детали из области «директорских тайн» все же остановлюсь.

Чтобы справиться со всеми непредусмотренными бухгалтерской сметой расходами, директору необходимо иметь *наличные деньги*, которых у него, вообще говоря, нет. Их нет, но поскольку они *необходимы* — они появляются и, не будем скрывать, за наш, покупательский, счет. Предприятия и организации обычно имеют так называемый безлюдный фонд — это знает любой бухгалтер. Из безлюдного фонда можно заплатить наличными за некоторые услуги, например, за сбрасывание снега с крыши и тому подобное. Директору любого, особенно продовольственного, магазина таких услуг (без кавычек, именно услуг!) каждый день необходимо множество. Нет, это отнюдь не «личные» услуги, а те конкретные работы, которые должны выполняться в магазине и для магазина, но выполнить которые просто некому — таких людей нет в штатном расписании!

Не хватает рабочих — приходится нанимать со стороны (оплата наличными). Шофер расторопно доставил хороший товар, помог его разгрузить (оплата наличными). «Поддержание добрых взаи-

моотношений» с поставщиками (оплата опять же наличными). И это далеко не все непредусмотренные «статьи расхода»...

Нарушение закона? Да, безусловно. А где выход? Испортить «отношения» с базой — магазин может не выполнить план товарооборота. А ведь есть еще план по прибыли, который тоже надо выполнять. Не выполнишь то или другое — магазин лишается премии, директора будут склонять в торге, потребуют объяснений, нагрянут с ведомственными проверками...

А теперь еще об одном шлагбауме на пути картофеля к покупателю. Констатирую печальный, но проверенный факт: *торговать картошкой магазину не выгодно.* Не выгодно не только магазину, но и государству: картофель почти повсеместно, при существующих закупочных ценах, нерентабелен, то есть приносит убыток. План товарооборота (и план по прибыли) гораздо проще сделать магазину на винограде или грушах, а не на картошке. Но будет ли покупатель всю зиму брать к столу виноград, даже если бы им аккуратно торговали всю зиму до весны? Ведь ему нужен именно картофель! И как удовлетворить интересы торга, магазина и покупателя?

— Я знаю как,—твердо ответил мне директор.— Магазину нужен хозрасчет! И чтоб полный, без дураков!

Как-то само собою получалось, что к какому бы звену «картофельного конвейера» ни начинал я осторожно «подкапываться», везде вопросов было больше, чем ответов. С несколькими такими вопросами я, решив, что «сверху» все же виднее, направился в Главленплодоовощпром, выше которого был лишь Горагропром и где мне вряд ли смогли бы помочь. Первый заместитель начальника главка Александра Ивановна Шамшина согласилась выкроить час для беседы, что было — я это понял — совсем не просто.

Попав в кабинет первого заместителя и сразу ощутив по непрерывно гудящему селектору и то и дело звенящим телефонам напряжение *общегородской закладки*, я невольно сократил количество вопросов еще наполовину.

— Александра Ивановна, на базах считают, что закладка — всегда аврал, и аврал ежегодный. Так ли это?

— Так, извините, могут говорить только неграмотные люди. Нет, каждый на базе знает, сколько и чего ему придется заложить в такой-то год, все рассчитано, все предусмотрено... Конечно, это трудно, люди работают круглые сутки, у нас ведь один месяц год кормит!

— Есть ли в вашей работе такой неразрешимый вопрос, который сегодня не под силу решить ни главку, ни Ленгорагропрому?

— Есть. Это кадровый вопрос. Мы не имеем по нашему профилю ни специального училища, ни техникума. Торговый институт дает нам в год от силы одного-двух выпускников. Наши попытки обратиться в Министерство просвещения покуда безуспешны...

— Может ли главк своим решением вернуть поставщику «лишнюю» продукцию, если план закупок уже выполнен?

— Пришедшие из Ленинградской области машины можем «завернуть», но если прибыли вагоны, то разгрузить обязаны, необходимо освободить подвижной состав. Обязаны мы принимать и сверхплановую продукцию из других республик и областей РСФСР. Это закон для нас.

— Как вы считаете, заинтересованы ли совхозы Ленинградской области в качестве своей продукции?

— Конечно. Ведь впредь «нестандарт» им засчитываться не будет. Хотя, если честно, есть уже отступления: засчитываем...

— Базы жалуются, что приходится принимать картофель «теклый» и с большим содержанием земли...

— Да, «течет» картофель — это беда, а недавно — в который раз — вновь пересмотрели нормы на содержание азотистых веществ и — в сторону увеличения! Разве так мы можем снизить процент отхода?..

Вас устраивает качество закупленных в Финляндии хранилищ-десятитысячников?

— В общем, да. Они мне нравятся, и я считаю, что решение об их закупке было принято верно: в свое время нам надо было резко увеличить емкость наших овощебаз.

— Как вы считаете, эффективно ли работает руководство овощных баз города?

— Да, люди работают много, выкладываются. Бывает, конечно, что ругаем, и требуем, и наказываем. Работа все же очень трудная, большая нагрузка, физическая и нервная, отнюдь не все выдерживают...

Сердечно поблагодарив первого заместителя начальника главка, я поспешил удалиться: близился «селектор», и телефонные звонки в приемной раздавались все настойчивей и чаще.

Спустя три дня я позвонил в экономический отдел главка:

— Скажите, сам главк, то есть Главленплодоовощпром, можно считать хозрасчетной организацией?

— Конечно, мы давно на полном хозрасчете,— услышал я очень милый, но несколько нерешительный женский голос.

— Ну, хорошо, тогда скажите: вы получаете дотации от государства?

— Простите, но это уже не телефонный разговор,— женский голос прозвучал приглушенно и, как показалось мне, уже не столь мило.

— Ну, что ж, благодарю за информацию,— я положил трубку на рычаг и растерянно перечитал свои торопливые записи из блокнота.

В конце концов мне удалось установить, что Главленплодоовощпром в некотором смысле действительно хозрасчетная организация. Правда, в том, что в «некотором», а не в полном, я так и не убедил работников экономического отдела аппарата главка: для заполнения прорех в экономическом образовании мне настоятельно предлагали какой-то пыльный учебник по хозрасчету, но я вежливо отказался.

Из краткого интервью с П. Ф. Тараном, заместителем начальника главка по экономическим вопросам, мне все же удалось узнать «гостайну», которую ни за что не хотели выдавать по телефону: да, главк действительно получает дотации от государства по позиции «картофель». Это понятно: картофель не рентабелен, убыточен и требует вложений из казны.

И вот что мне подумалось: сдвиги к лучшему в нашем плодоовощном хозяйстве произойдут лишь тогда, когда не где-то и не как-то, а по всей стране радикально будет изменена система хозяйствования во всем агропромышленном комплексе. Именно на это направлены недавние постановления партии по Агропрому и торговле.

Директивность в экономике обходится дорого и нам, и государству. Необходимы надежные рычаги, способные эффективно управлять хозяйством. Что же подразумевают экономические методы управления? *Полный* хозяйственный расчет во всех звеньях системы. Вы помните, читатель, как ратовали за хозрасчет работники нашего «картофельного конвейера», которые ближе всех «стоят к картошке»? Именно им в первую очередь нужны, очень нужны *реальные* права, возможность распоряжаться без подсказок «сверху» теми реальными средствами, которые зарабатывает для себя их небольшая, но самостоятельная хозрасчетная единица.

Конечно, чтобы это стало реальностью, чтобы картошка могла «зарабатывать», стать прибыльной, необходимо пересмотреть закупочные и розничные цены, крепко увеличить отдачу гектара, занятого под картофель, это — вопросы интенсивного земледелия, о чем в начале статьи горячо говорил академик Будин.

Кто из вас, читатель, может сказать, откуда, из каких краев, с какой овощебазы попала в вашу авоську купленная в магазине картошка?

Давайте помечтаем. Да, именно сейчас, когда вас, вероятно, изрядно утомили неутешительные цифры, длинные и неудобопроизносимые названия, да и сами бессчетные проблемы картофельного клубня.

В конце концов, как бы ни складывалась его судьба, извлеченного из земли, проданного совхозом или через заготовителей, перепроданного магазину и перепе-репроданного нам, мы, покупатели, видим *конечный* результат: увы, он как-то не радует нас. Быть может, мы привыкли и смирились с тихой, утешительной мыслью, что по-другому и нельзя?..

Представим себе пусть небольшой, но уютный магазинчик, куда вы (почти без очереди) входите через широкую дверь и прямо попадаете в хорошо освещенный торговый зал, где без спешки и нервоа среди других выбираете нужный вам полиэтиленовый, заваренный по шву (во избежание «недоразумений») пакет картошки, чисто вымытой, с клубнями почти одинаковой величины.

В пакете изнутри вклеена красочно оформленная этикетка, где, в частности, указаны сорт картофеля, совхоз-производитель, овощебаза-хранитель, вес и цена: такой вариант, мне кажется, не так уж фантастичен.

Я, покупатель, допустим, приобрел пакет картошки сорта «изора», выращенной, к примеру, в хозяйстве «Пламя», расфасованной Выборгской базой весом 3,08 килограмма. Плачу, скажем, восемьдесят шесть копеек. Плачу в кассу и бросаю чек в сумку. Покупка совершилась. Можно еще взвесить на контрольных электронных весах, но я не взвешиваю — я просто верю Выборгской овощебазе. Я верю, потому что базе очень *невыгодно* обманывать нас: о ней пойдет дурная слава, а это сразу (слухи ходят быстро) повлияет на ее жизненно важный показатель: объем реализации.

И за такой пакет я, человек, скажем, среднего достатка, быть может, не глядя отдам и рубль. Почему? А потому, что кроме прочего я, допустим, люблю «изору», а не «гатчинский», и знаю, что в хозяйстве «Пламя» мою «изору» вырастили как надо. Без лишней воды и лишнего азота, который мой организм вообще не устраивает. И тогда ради такого пакета картошки я, может быть, поеду и на Ржевку, если его не найду в ближайшем магазине...

«Второй хлеб», как, несомненно, и «первый», требует *человеческого* отношения каждого из нас. «Теклый» картофель и горбушка хлеба, которую пинает ногой упитанный подросток — взывают к нашей совести. Продукты питания — хлеб, картошка и все остальное — это жизнь. И от того, как мы будем беречь их, зависит не только продовольственное благополучие страны, но и наше нравственное здоровье, которое также подлежит охране и заботе.

Михаил МИШИН

Пишите записки

Писатель должен писать...

Эта славная мысль укоряюще царапает меня каждый раз, когда я собираюсь на встречу с читателями. Именно писатель должен сидеть в более или менее уединенной тиши и рождать более или менее прекрасные творения, для чего, в свою очередь, предварительно проникать в толщу жизни, в гущу событий, в дебри характеров, и при этом неустанно думать — то есть, конечно, не думать, а размышлять, писатели не думают, а размышляют. Он должен лепить, исследовать, на худой конец, отображать, то есть заниматься своим делом. А вовсе не «встречаться с читателями», проще говоря, не напяливать костюм, не ехать черт знает куда, не кашлять у микрофона, срывая голос в попытках сорвать хлопки...

В очередной раз отогнав эту мысль, я в очередной раз кладу в папку листки с худ. произведениями, напяливаю костюм и еду «встречаться». И по дороге, поскольку всем грехам, кроме чужих, можно найти оправдание, я оправдываюсь перед собой так.

Всякий пишущий имеет в своем воображении некую умозрительную фигуру читателя, которой он мысленно адресует свои писания. Фигура эта расплывчата, неконкретна, а приглядеться — как правило, сильно смахивает на самого пишущего. И порою приходит в голову, что живые читатели, возможно, совсем другие, и становится очень интересно — какие именно, что они думают про жизнь вообще и про твои писания в частности.

Возникает, как теперь пишут в произведениях изящной словесности, проблема обратной связи.

Вообще говоря, обратная связь для литератора существует — и замечательная: письма читателей. Чудная обратная связь. И вот лично я не могу сказать, что мне приходит мало писем. Ибо это было бы преувеличением: мне они вовсе не приходят.

Тут, конечно, я могу предположить множество причин. Возможно, я столь глубоко исчерпываю тему, что никаких вопросов ко мне уже не остается. Или думают, что принято писать только тем, кто пишет толстые книжки. Или, что мне писали, но наша почта...

Короче, факт такой, что обратной связи у меня нету. А должна быть! Именно в этом, убеждаю я себя, и лежит причина того, что я периодически обязан «встречаться», а вовсе не в легкомысленном характере и жажде суетного успеха.

Но как все-таки налаживается на встречах с читателями эта самая обратная связь?

Очень просто.

«Товарищи,— бодро заявляешь ты,— если по ходу встречи у кого-нибудь возникнут вопросы — ради бога: пишите записки, передавайте». Можно еще добавить шутку: «Ответы уже заготовлены».

Шутка, разумеется, высшей пробы, но вполне проходит. И так как наш читатель (зритель, слушатель), как мы давно для себя постановили, самый лучший в мире (а уж тот, кто пришел на встречу с тобой, тем более!), то на твой призыв откликается.

И пишет.

И мало-помалу набралась у меня дома целая папка, забитая листками, листочками и листиками, то есть записками, полученными мною в разное время и в разных местах. И стал я как-то их читать и перечитывать. И убедился, что большинство вопросов повторяется. Или почти повторяется. И я подумал: если одно и то же интересовало двоих, троих, то вполне может быть, что и другим это тоже небезынтересно. Например, мне самому... И почему бы тогда не ответить на эти вот записки еще раз — письменно? Во-первых, во время выступления думать над ответом особенно некогда. Иногда с ходу такое ляпнешь!.. А если письменно, то можно предварительно спокойно все обдумать и уже потом ляпнуть. Во-вторых, прошло время, и на многие вопросы у меня уже другие ответы. В-третьих, тогда я был обязан отвечать кратко, а теперь, на бумаге, могу как хочу — если что, никто не скажет: «регламент!».

В общем, много плюсов.

Итак, я взял эту самую папку с торчащими оттуда записками за несколько лет. Стал читать, сортировать на кучки — по схожести.

Кучек образовалось семь.

В первой кучке — записки с серьезными сравнительно вопросами. То есть возвышающими автора в собственных глазах. Хорошая кучка.

Кучка вторая — с персональными вопросами. В смысле, о персоне автора. Тут главное — поверить, что это не любопытство, а любознательность.

Третья кучка — жанровая. Вопросы о сатире и юморе.

Четвертая — уже не о юморе, а именно «с юмором». Цель — самая провокационная: «Сейчас мы тебя проверим, какой ты там сатирик-юморист! Засылаю свою пиковую хохму! Давай попробуй перешибить — чтоб весь народ впокатуху!.. А то я тебя не уважаю!».

Пятая кучка — вопросы экономические, типа: «Сколько писатели имеют?»

Кучка шестая — несколько записок: «Кто разрешил этот вечер?», «Кто утверждал то, что вы читаете?» Веселая такая кучка.

И последняя, седьмая кучка. Тут записки последнего времени. Насчет перестройки, гласности... Эти, само собой, после восемьдесят пятого. Их много, но злоупотреблять не будем, чтоб не слишком забалтывать тему. И без нас есть кому заболтать.

Сперва я так и хотел отвечать — по кучкам. Потом подумал: на реальном-то выступлении записки приходят без всякой системы. И снова все записки перемешал. И стал тащить из общей уже кучки — по одной. И отвечать подряд. И никакой хронологии тут не соблюдено. И никакой географии. Записки все подлинные, «своих» записок я себе не посылал.

Подозрительный читатель может, конечно, не слишком этому верить. На то он и подозрительный.

И первая записка оказалась — как вы, надеюсь, понимаете, случайно — персональная.

«Извините, мы Вас знаем. Мы тоже окончили Ленинградский Эстрадно-Танцевальный институт. Как получилось, что сменили профессию?»

И тут сперва надо пояснить непосвященным. Нет, товарищи, в Ленинграде никакого Эстрадно-Танцевального. А есть ЛЭТИ — Ленинградский электротехнический институт имени В. И. Ульянова (Ленина). Который уже с давних пор имеет такое вот прозвище — «эстрадно-танцевальный». И не зря.

Учился я, кажется, на первом курсе, когда был в институте устроен такой вечер: встреча с выпускниками, которые, окончив ЛЭТИ, потом поменяли профессию и ушли в разные сферы искусства. Это было потрясающе: выходили один за другим на сцену известные литераторы, композиторы, спортивные комментаторы, оперные певцы, кинорежиссеры и критики... Помню писавших тогда для Райкина писателей Гиндина и Рябкина, поэта Рыжова, композитора Колкера, любимца ленинградских болельщиков покойного комментатора Виктора Набутова. ...И кто-то из них, кажется, кинорежиссер, получивший тогда какой-то приз в Канне, сказал: «Очень радостно выступать в этом зале, где я получал диплом инженера, и очень стыдно смотреть в лицо преподавателям, которые столько лет учили меня совсем не тому». Впрочем, особенного стыда, похоже, он все-таки не испытывал.

Но когда не так уж давно мне самому пришлось выступать в ЛЭТИ, я его слова вспомнил...

Вторая записка была лирическая:

«Верите ли Вы в любовь с первого взгляда?»

Ох, много таких записок в папке! Каждый раз пытался отшучиваться: мол, верить-то верю, но сперва хорошо бы на нее посмотреть... А серьезно — верю. Если любовь — так скорее всего с первого взгляда. Это уже потом, со второго, третьего разочарование...

«Вам бывает грустно?»

Прямо какое-то сомнение в нормальности. Где вы видели нормального человека, которому не бывает грустно! Если ему всегда весело, значит, он или нездоров или ведет передачу «С добрым утром»...

«Представьте: Вы стоите на берегу обрыва и любуетесь природой. И тут Вас сталкивают вниз. Ваша первая мысль?»

Первая мысль такая: «Писать надо, а не „встречаться“! Зачем ты сюда пришел? Чтобы вот это получить — насчет графина и обрыва?»

А вторая мысль, что все нормально. Всегда должны быть люди, которым желательно выделиться. Неважно чем. А тут сам бог велел: «встреча»-то с юмористическим вроде уклоном! Сказали б нам, что ты серьезный писатель, мы тебя насчет серьезного спрашивали.

Это еще что! Как-то раз вообще пришла записка — сплошные точки и тире. Морзянка. Прихожу домой, беру справочник. Ну, думаю, сейчас прочту нечто сокровенное. Час расшифровывал. Но дело того стоило. Вот что сообщалось в записке:

«Шаланды полные кефали на берег Костя привозил. Будь здоров, писатель. Пиши, не кашляй».

Что тут скажешь? Остается быть здоровым и не кашлять.

«Самое сильное ваше впечатление в детстве от литературы и искусства».

От литературы помню точно. Смерть д'Артаньяна. Когда дочитал в девятилетнем возрасте третий том «Виконта де Бражелона», был безутешен. Не имел права его убивать папаша Дюма! И Портоса тоже!

Потом уж никогда искусство так не потрясало.

«Я все думаю, почему как писатель, так борода?»

Вот это правильно — о главном надо думать.

«Что есть надежда?»

Видимо, требуется какая-то философская формула... Может быть, надежда — это разность между тем, чего хочется, и тем, что есть?

«Если бы вам разрешили обратиться ко всему человечеству и сказать только три слова, что бы вы сказали?»

— Спасибо за внимание.

«Отразилась ли как-нибудь гласность на сатире и сатириках или никак?»

Гласность ударила сатиру подвздох.

Наша сатира жила намеком. Стоило только чуть намекнуть на то, о чем все знали (но говорить — ни-ни!) — и успех обеспечен. Сатирик ощущал себя смельчаком, ну просто робеспьером. Какие-то люди подходили, заглядывали в глаза, жали руку. Щекотало ощущение опасности переднего края.

А теперь? К чему намеки, когда в газетах все то же — с именами и адресами?

В общем, девальвация аллегорий. Падение курса жареных тем.

Это первое. Второе — сатира, по сути, жанр опережающий. Раньше опережать было легко. Застой обеспечивал актуальность. Теперь все устаревает моментально.

Что делать? Как ни досадно, потребуется качество. Бо́льшая глубина плюс бо́льшая скорость, то есть зоркость.

Такова теория. На практике кто-то вытянет, выживет, угонится. Кто-то соскочит с дистанции. Поменяет жанр, сделается певцом перестройки.

Тоже неплохо.

«Расскажите немножко о своей личной жизни».

Чтобы сделать ее немножко общественной?

«Будут ли после встречи с вами танцы?»

Спасибо, хоть не во время встречи...

«Можно ли чувство юмора считать признаком ума?»

Необходимым. Но не достаточным.

«Где взять вашу книжку? Оля».

Вот он — самый приятный в мире вопрос для пишущего!

Спасибо, Оля!

«Что бы вы сделали, если бы вам дали миллион?»

Учредил бы премию — «Самому умному Читателю года».

«А кем вы вообще работаете?»

Ну, правильно. То есть это, мол, все ясно, эти ваши рассказики. А общественно полезным трудом занимаетесь или нет?

«Откуда вы берете темы? Из жизни или из головы?»; «Как вы сочиняете свои темы?»; «Почему вы пишете на сатирические темы?»

Никаких специальных сатирических тем нет. И поэтому я ниоткуда их не беру, тем более из головы. Свою голову я знаю... Что есть, так это взгляд, отношение. Один увидит солнце — жмурится: «Травка зеленеет, солнышко блестит!». Второй щурится: «Зеленеет, блестит. А тента не поставили, кондишн не работает, мороженого не завезли...» Кто прав? Оба. При этом надо помнить, что черные очки ничуть не хуже розовых. Но с розовыми охотнее мирятся. Лирика поэтому живет спокойнее сатиры.

«В чем выражается премия „Золотого теленка" „Литгазеты"?»

Ставят бюст теленка на родине лауреата...

«Что такое, по-вашему, современное мещанство?»

Интересный вопрос. Он как бы автоматически отделяет автора от принадлежности, хоть малейшей, к этому самому мещанству. «Я — не мещанин!» У вас насчет себя есть такая стопроцентная уверенность? У меня насчет себя — нету... По-моему, так: мы тем больше мещане, чем менее способны уважать то, что вылезает за пределы нашего кругозора, мнений, вкусов. И чем сильнее в нас развит хватательный рефлекс. Хватать, хапать — и вовсе необязательно материальные ценности. А что касается современности — мещанство всегда со-временно. Шагает со временем в ногу. Лучше сказать, плывет на волнах времени, как нефтяное пятно на воде. Суть одна — очертания пятна меняются. Так что уж если мы мещане, то несомненно самые современные. Про вас я, впрочем, пошутил. Вы никакого отношения...

«Как вы считаете, вы счастливый человек?»

Считаю, что счастливый. Тем более, что до полного счастья все время чуть-чуть не хватает. Так что счастье имеет еще перспективу роста.

«Что делать, если у человека нету чувства юмора?»

Лучше, чем Ежи Лец, не скажешь: тогда должно быть чувство, что нету этого чувства. У многих, увы, и того нет.

«Чего вы хотите добиться своей работой? Какая у вас цель?»

Добиться... Цель... В принципе, хочется, чтобы все, что уже и так замечательно, становилось еще замечательнее. Вот и все.

«Вам не кажется, что вы берете мелкие темы и сюжеты?»

А ведь был же человек, который первым

придумал это гадкое слово: «мелкотемье»! Что-то прямо вроде плоскостопия... Неужели так трудно сообразить, что если получается мелко, то не из-за темы!.. То же и сюжеты... Уж, казалось бы, что за сюжет — орет ребенок в колыбели, а рядом девочка сидит, сильно спать хочет...

Несколько записок почти идентичных. Вот одна:

«Выступая по телевизору, Юрий Власов сказал, что он не верит в коллективное прозрение (насчет перестройки). А вы?»

Что значит телевидение! Все смотрят. И я смотрел.

И я не понимаю, о каком прозрении речь? Прозреть может тот, кто был слеп, кто не видел.

А кто из нас не видел?

Кто не видел, что неоспоримой правдой стало вранье?

Что ворье жиреет — не столько к ненависти, сколько к зависти обворовываемых?

Кто не видел в газетах этот ежедневный «небывалый подъем»? И кто не видел этот «подъем» в жизни?

Кто не видел этих «походов за качество»? Кто не видел этого «качества»?

Кто не видел, что никак не кончается все то, с чем, по официальным заявлениям, давно покончено?

Кто это не видел, что нынешнее поколение советских людей не будет жить при коммунизме? Ну просто не успеет. И что объявленный «развитой» социализм, пожалуй, еще чуток недоразвит?

Кто не видел всего, что все мы видели? Кто, наконец, не видел себя самого в зеркале?

Все видели. Но видели *молча.*

Были отдельные выкрики, нарушавшие всеобщий тихий час, но все видели, что у крикунов была нервная жизнь.

Так что разговор — не о «прозрении». Об обретении голоса. Именно о коллективном. Ну да, обрели его, как бы «сверху». Ну, не до конца еще и обрели. Но уже — говорим, говорим, говорим... Что ж в это не верить?

И тут у меня — другой страх. Похоже, что на смену безгласному безделью приходит всеобщая деловитая болтовня.

То же самое молчание. Хотя и более трескучее.

Причем именно те самые люди, которые раньше...

Может быть, Власов это имел в виду?

«Расскажите про Аркадия Райкина и вашу работу с ним и его театром».

Таких записок — много. И давно я написал ответ. Думал, вот напечатают, я ему подарю. Но пока рукопись лежала в редакции...

Грустное занятие — переправлять глаголы на прошедшее время. Не знаком, а был знаком...

Но даже и тогда было как-то неловко говорить о знакомстве с ним, о сотрудничестве. Все равно как довольный турист фотографируется рядом с Медным всадником.

Спасает слово «впечатления». Впечатления могут быть у кого угодно. Даже у туриста. Даже о всаднике.

Первое впечатление — от первого знакомства. То есть он-то ничего об этом знакомстве не узнал: просто сидел в зрительном зале мальчик и вместе с тысячей зрителей сотрясался от хохота. Что это был за спектакль, где, когда — не помню. Ощущение осталось какого-то невероятного фейерверка, разряды смеха, грохочущий зал. Фамилия впечаталась: Райкин.

Второе впечатление. Приехал к нему на Кировский, домой. Привез только что написанные вещи для спектакля «Его Величество Театр». Райкин усталый был, неважно себя чувствовал. Взял один из монологов, стал читать. Вслух, монотонно, без единой эмоции. Сижу, злюсь, нервничаю — и ему, видно, не нравится, да и мне уже — тоже. И вдруг... Несколько строк он прочитал иначе — с легким намеком на игру, на образ, может быть, почувствовал...

Ну, что может быть глупее, чем сидеть и в голос хохотать над собственным текстом? И вот я сидел перед ним — единственный зритель — и хохотал, как тот мальчик в зале...

«А какой он дома?»; «А какой у него характер?»; «А как он репетирует?»

Был... Репетировал...

Дома был тих, даже вял, нетороплив, экономен в движениях. Видно, шла перезарядка аккумуляторов, которые потом мощно выплескивали энергию на сцене. Но всегда, повсюду, в каждом движении — августейший артистизм. Он мог находиться в тени, в углу огромного помещения, заполненного людьми — он неизбежно оказывался центром.

Характер... Сложный, разный. В каждого нового автора своего поначалу влюблялся. «Такого талантливого у нас в театре еще не было!» До автора доходило, он начинал мнить о себе. Потом автор узнавал, что то же самое говорилось обо всех его предшественниках. И тут не было лицемерия — спаси бог! Райкин в тот момент искренне так думал — иначе зачем бы он стал работать с этим человеком? Но вот спектакль сделан, начиналась работа над новым — и Райкину хотелось нового «романа» с новым автором. Прежний мог обижаться — как можно обижаться на ветер, поменявший направление.

«Чуткость, скромность, отзывчивость...»

Не знаю, всем ли он помог, кому мог помочь. Точно знаю: многим. Какие только ходатайства он не подписывал! Куда

только не ходили и о чем только не просили от его имени!

До анекдотов. Один прорвался к нему перед спектаклем:

— Товарищ Райкин, и извиняюсь, сам с Киева, помогите, двое суток билет взять не могу!

Райкин даже оробел:

— Да? Ну, конечно, я попрошу администраторов, вас где-нибудь посадят, может быть, за кулисами...

— Да нет! Вы ж не поняли! Мне до Киева билет надо!..

Достали ему билет...

Как он репетировал? Лучшее для актеров его театра было, если он им просто на словах что-то объяснял. Там можно было что-то выяснять, спорить. Но если он начинал им — за каждого — показывать!.. Представляете, к а к он показывал? Вообще, актерам с ним было жить непросто... Впрочем, это лишь мои впечатления — я опять укрываюсь за этим словом.

Но вот — не впечатление: за полвека существования театра *ни на одном спектакле с участием этого человека не было ни одного пустого стула.* Назовите второй такой театр.

«Знаете, когда я выхожу на сцену,— сказал он мне как-то,— я становлюсь на тридцать лет моложе». Я был за кулисами. Он вышел на сцену, встреченный овацией, и я увидел, что он стал моложе на тридцать лет...

...И вот — я позвонил узнать, как он себя чувствует, он должен был скоро выйти из больницы.

И услышал это дикое сочетание слов. Райкин умер...

Именно — дико! Ибо мы привыкли, что он — всегда. При нем рождались, взрослели, старели. А он — был. Как аксиома. Как «Последние известия». Как Консерватория.

Он исключил однофамильцев. Кто-то сказал: «Паганини эстрады». Никто не спрашивал — какой Паганини. Никто не спросил — какой Райкин. Я видел у него письма — с одной фамилией на конверте. Почта не ошибалась.

Райкин — это было больше имени. Это действовало уникальное учреждение. Учреждение надежды, радости и здравого смысла, полвека сражавшееся против... мы все знаем, против чего.

При жизни он стал фольклором. «Помнишь, как у Райкина...» Единственный артист, имевший полное авторское право на каждое произнесенное им слово.

Жаль детишек — они увидят лишь пленку, услышат лишь записи. Им достанется легенда, которую мы видели своими глазами.

Как он прорвался? Как выстоял?

Кто станет теперь вспоминать имена тех, кто что-то запрещал ему, что-то вычеркивал, что-то кромсал... Паганини эстрады — он мог сыграть все, что хотел, и на одной струне.

Наше счастье, что еще при жизни его нашли звания, титулы, награды. Что не нужно увенчивать посмертно...

Как же мы смеялись вместе с ним! «В греческом зале, в греческом зале...». «Личный покой — прежде всего...»

Эти невозможные глаза. Эта магическая улыбка. Эта чудная хрипотца. Ах, Аркадий Исаакович!..

Повесят мемориальную доску, напишут воспоминания, откроют музей-квартиру. Но можно не особенно тревожиться об увековечении его памяти. Он увековечил ее сам. Ибо личный покой — лишь когда пришел вечный...

Общенародный артист.

Труженик и патриот.

Райкин.

«Скажите, а лично вы уже перестроились?»

Жуть какая-то! Слово «перестройка» понято как команда «поворот — все вдруг!» Кто бежал направо — побежал влево.

Надеюсь, в этом смысле не перестроился.

Другое дело, на человека — если он нормальный — не могут не влиять перемены в окружающей среде. От его рождения — до самой последней безвозвратной перестройки...

Надеюсь, в этом смысле я нормальный...

«Бывали у вас неприятности из-за юмора?»

Не бывают их «из-за юмора». Бывают из-за отсутствия юмора у других.

Вот и он — любимый вопрос истинного книголюба:

«Сколько вы имеете в один месяц?»

Как ни ответь — не поверит. В общем, так: в один месяц иногда имею больше, чем в два.

«Почему в прокате нету вашего фильма „Голос"?»

Потому что он, увы, телевизионный. А «увы» — потому что комедия требует компании. Ее надо смотреть в зале. А так — сидит человек, один, в пустой комнате... Что-то в таком сольном смехе есть, знаете...

И опять:

«Что такое, по-вашему, любовь?» «Как вы относитесь к любви с первого взгляда?» «Верите ли вы в любовь на всю жизнь?»

И еще:

«Никак не могу выйти замуж. Что мне делать?»

Скорее всего, конечно, для смеха пишет. Но смех — смехом, а вдруг, и правда, не может никак выйти замуж? И хочет, чтоб посоветовали? Смеяться — не рискую, а советовать — я же не молодежная газета, чтоб брать на себя...

Одна из старых записок:

«Водка — зло. Если это так, какие меры борьбы вы предлагаете?»

Это писано еще задолго до...

Одна из недавних:

«Как вы относитесь к очередям за водкой?»

Долгие годы вроде бы уверенности полной, что водка — зло, не было. Об алкоголизме то запрещалось писать, то разрешалось. То объявлялась борьба, то объявлялось, что в общем-то не с чем особенно и бороться — есть отдельные, нетипичные... В зависимости от начальствующих воззрений сатирическое освещение темы называлось или очернением действительности или зубоскальством на больную тему (что, впрочем, бывало). Бороться было легко: пока одни вырабатывали «меры», другие вырабатывали литры.

Но вот — грянуло!..

И я — за! В принципе — за! Но...

Один алкаш, проживающий в километровой винной очереди, с сочувствием сказал томящимся рядом случайным «стояльцам»:

— Четко они вас прижучили, да?

Четко, да. Как всегда — запрет вместо альтернативы.

Когда же, интересно, те, кто принимает решения, станут решать с учетом возможных последствий — прежде чем последствия наступят?

Какая может быть стратегия и тактика без прогноза специалистов?

Где эти специалисты? Или прогнозы были, но на них по-деловому плюнули?

Раз — и все! Здесь — закрыли, тут — ликвидировали, там — отменили. Разрубить топором! По-нашему! Не решать проблему — запрещать ее! Вчера — круглосуточное повсеместное застолье, сегодня — чтоб и Новый год с морковным соком. Вчера — общий хмель, сегодня все — в списках общества трезвости.

А потом, как обычно: «Борьба не бывает без ошибок!»

Очень удобно. Позволяет бесконечно вести борьбу с ошибками, сводящими на нет борьбу...

Еще одна любимая записочка:

«Расскажите о своих творческих планах».

Надо бы все-таки научиться быть осторожным со словом «творчество». Каждый раз прямо восхищаюсь, когда кто-нибудь заводит: «Мои творческие планы...», «мое творчество посвящено...». Творчество Шекспира — это я понимаю. Творчество Бетховена — понимаю. Творцы — миры создавали!.. А тут — какое творчество? Дай бог, чтобы не стыдно было назвать работой.

Ну, а что до планов, то как-то я люблю говорить про те, что уже выполнены, так безопаснее. Мало ли что хотелось бы сделать! Рассказы, повести, сценарий, пьесу. Автобиография — хороший жанр. Жаль, не принято сочинять самому на себя некролог. Такое бы накатал — все бы обревелись!

«Не подскажете ли, есть ли среди ответственных работников министерств и ведомств юмористы и, наоборот, среди писателей-юмористов ответственные работники?»

Насчет вторых — что-то не встречал. Насчет первых — да вы вокруг посмотрите!

«Что такое, по-вашему, талант? Только не отвечайте: „Талант — как деньги". А серьезно!»

Как раз серьезно-то он — как деньги... А если не серьезно, а с умным видом, то талант — это ответ. Ответ на духовную потребность общества. Один талант — ответ на всеобщий запрос. Другой — на частный и временный.

Скажем, тот же Высоцкий. Это был лучший всеобщий ответ на всеобщую потребность в Голосе во времена безгласья.

Но люди выбирают, а утверждает время. И корректирует масштаб.

Будет Высоцкий так же отвечать всеобщей потребности через двадцать лет? А через пятьдесят? А вдруг опять будет? Время покажет.

Вот таланты, которые «ответы» на самые всеобщие и вечные запросы людей,— это, видимо, гении. Они нужны всем и всегда.

Ну, насчет «всем и всегда» — это, конечно, фраза. Ибо во всех временах повсеместно прописан бессмертный гражданин Какашкин, который замечательно обходится без всяких ваших моцартов. Правда, и он не может обойтись без ответа на свой запрос — без сочинителя, например, матерных песенок.

Тоже потребность. Тоже талант...

«Можете сказать, чего вам лично больше всего не хватает?»

И лично, и общественно — того, чего всем. Культуры.

«Расскажите о ваших впечатлениях о поездке в Габрово!»

Впечатления неописуемые. Одно из них то, что я сроду там не был...

Еще из недавних:

«Не боитесь, что сейчас вам дали открыть рот, а скоро возьмут и обратно закроют этот рот?»

Этот обратно закроют — другой обратно откроется. Неизбежно, как жизнь.

«Как вы относитесь к критике в свой адрес?»

Когда ругают — не нравится. Когда хвалят — нравится. То есть причудливое отношение... Хотя, знаете, когда хвалят, стоит понять — кто, как и почему.

Как-то давно уже в одном городе артисты приготовили небольшую композицию — по моим рассказам. Приготови-

ли — пошли показывать худсовету. Ничего хорошего они не ждали. Материал по тем временам считался слишком острым. Но им повезло. То ли именно в том городе тогда такая сложилась ситуация, что мои рассказы были в тот момент ко двору, то ли над всей гладью нашей культуры в очередной раз заструил зефир либерализма, короче говоря, худсовет сложился так. Сперва похвалил самый главный. Потом еще больше похвалил менее главный, и так далее. Чем менее главный выступал, тем больше он хвалил, как бы суммируя похвалы выступавших до него более главных.

Но артисты мои с трепетом ожидали выступления последнего члена совета. Он хотя был уже совсем не главный, но зато очень оголтелый. От него никто никогда не слыхал ничего, кроме слов «идейная диверсия», «пошлятина» и «фига в кармане».

Выступал он по тезисам, держал в руке листочек. И потом он этот листочек забыл на столе, а мои друзья нашли и мне подарили. Вот этот исторический документ — с орфографией подлинника:

«1. Дурновкусие билибирда сплошная пошлятина.

2. По моему у автора не все в порядке с психикой!

3. Люди с разными характерами подумаешь открыли америку. Кривлятся зачем?

4. Несмешно.

5. Сплошная фига!

6. Невозможно! Ересь мрачность всей жизни ни одного светлого пятнышка.

7. Ни в коем случае нельзя!»

И страшно, конечно, не это. Мнение есть мнение. «Эхинея», так «эхинея», «ересь», так «ересь».

Страшно, что, держа перед собой эти вот разгромные тезисы, их автор произнес самый сладкозвучный панегирик! И артисты, мол, качаловы все и ермоловы, и автор — Гоголю делать нечего...

Если тогда он так на ходу перестраивался, чувствуя атмосферу, то теперь, когда сам бог велел... А?!

Алмазная принципиальность. Устрашающий профессионализм.

«Несмешно»...

«Как бы вы определили — что такое чувство юмора? И какая разница между юмором и сатирой?»

Две вещи вызывают у меня сходное ощущение — холодная манная каша и теоретические рассуждения о юморе. Но кашу хоть можно подогреть...

Но если без определений никак, попробую.

Юмор — смех, помогающий приспособиться к трудностям.

Сатира — смех, помогающий их преодолеть.

И если вам покажется, что этим вопрос исчерпан, то вы — юморист, а если нет — сатирик...

«Перед какой аудиторией вы предпочитаете выступать — перед мужской или женской?»

Вопрос не лишен... С женской аудиторией вообще-то контакт возникает быстрее. Все же они, женщины, как-то живее, меньше в них скепсиса. Зато, сказать по чести, иногда вовсе не то слышат, что им говоришь... Где-то я вычитал,— кажется, Анри Аллег привел пример, как женщины умеют слушать. Они с приятелем пришли на званый ужин с опозданием. И извинились так:

— Просим простить за опоздание, мадам, но по дороге к вам мы ограбили старушку, и немного задержались.

— О, ничего страшного! — замахала руками хозяйка.— Мы еще даже не садились за стол!..

Поэтому предпочитаю смешанную аудиторию.

«Что-то вы давно не приезжали к нам в Одессу. Одессит». «Скажите, вам понравилась Одесса? Только честно!»; «Как вам наш одесский юмор?»

Записки присылали в разных городах. И спрашивали: как вам у нас?

Но это — не путевые заметки, и я не буду про другие города. Но вот Одесса... Тут я не могу отказать себе...

...Хотя что же могу я сказать о ней, когда сказано уже столько всего — и про эту улицу, и про этого Дюка, и про Привоз, и про легендарную Молдаванку? И какие имена возникают в памяти, в какие дивные книги, и какие незабываемые песни с этим именно одесским акцентом! И все это — с юмором,— ну да, тем самым одесским юмором, который, как я теперь думаю, для них вообще не юмор, для них — это манера жить... И про все это уже все сказано, все написано, воспето в стихах, ариях оперетт, и в тех самых песнях, и все это ты, конечно, знаешь, помнишь, читал и слыхал... Но вот сейчас ты впервые летишь в Одессу, и думаешь, что сейчас ты сам все это увидишь и свежим глазом откроешь то, чего до тебя еще никто и никогда... Наивный!.. Ты приземляешься, и у самолета тебя и твоих друзей встречает ваш одесский знакомый, и у него машина, и он ведет вас к машине и говорит: «Сейчас я покажу вам Одессу, вы уже чувствуете, что вы в Одессе?» Ты лицемерно киваешь, потому что вообще-то ты ничего не чувствуешь, ты устал и хочешь есть, но он говорит: «Друзья, вы в Одессе, это мой родной город, и хочу, чтобы вы для первого впечатления посмотрели ее хотя бы штрих-пунктирно». И вы садитесь в машину, и он садится за руль и начинает ехать. Он именно не едет, а «ехает», это точное слово. Машина едет сама по себе, а он осуществляет показ Одессы — он вертит головой во все стороны, машет знакомому водителю троллейбуса, ругает горсовет, что-то говорит про миллионера Бродского, кроет всех встречных пешеходов, таксистов и гаишников, успевает рассказать про Оперный театр («Такого же нигде в мире больше нет по красоте, но теперь они там так поют, что лучше бы они пели в нашей Филармонии, у нас шикарная Филармония, там такая потрясающая акустика, что уже в двух шагах никто ничего не слышит, потому что вообще ее строили, чтобы там была биржа») — и он снова орет на все виды транспортных средств, попадающих в поле его зрения («Эти жлобы способны доехать только до кладбища»), и при этом сам он двигается вперед только по красному сигналу светофора...

Наконец, когда, по мнению вашего знакомого, вы насмотрелись на Одессу штрих-пунктирно, вы попадаете в ресторан «Братислава», и буквально уже через сорок минут к вам неторопливо приближается хладнокровная девушка лет сорока пяти и произносит: «Ну?» И ты ей говоришь насчет чего-нибудь горячего, ты говоришь: «Принесите всем „люля"». Улыбка сожаления является на ее лице, и она молвит: «Если вы имели в виду горячее, то при чем тут люля?»

...Одесса! Проходит день и другой, и ты понимаешь, что все твои впечатления даже не штрих-пунктирны, ты выхватываешь только то, что лежит на поверхности и бросается в глаза, а на большее у тебя нет ни времени, ни возможности, ни таланта... Но поверхность, в конце концов, тоже выражает суть, больше или меньше. Может быть, в Одессе больше?

Вот ты стоишь на улице и смотришь на рекламный щит возле той самой Филармонии; афиши каких-то ансамблей, каких-то гастролеров — культурное лето в Одессе. И рядом с тобой возникает в черной тройке сухой старичок с тросточкой. И он стоит и долго смотрит на этот щит, и ты физически чувствуешь, как старичок наливается каким-то сарказмом. Он наливается, наливается и потом смотрит на тебя и вдруг вопит: «Ну?! Они хотят, чтоб я на это пошел! Так они могут хотеть дальше!» И повернувшись к тебе спиной, удаляется, тут же забыв про тебя и про щит...

А потом ты знакомишься со знаменитым администратором одесской Филармонии (в Одессе не бывает незнаменитых администраторов, но этот особенно знаменитый, про него говорят, что сам Миша Япончик считал его бесчестным человеком — и он это знает и, похоже, сам про себя этот слух и распустил), и ты встречаешь его и говоришь: «Здравствуйте, как вы себя чувствуете?» И он мгновенно отвечает: «Они не дождутся...» Или ты говоришь ему: «Вы чудесно выглядите». И он отвечает: «Я моюсь мочалкой». И это говорится так, что тебе почему-то безумно смешно...

А потом вы целый день проводите спаянной кучкой друзей — настоящих хороших друзей, живущих в этом жарком летнем городе — вы проводите вместе целый день, и ночь, и следующий день, вы не успеваете выйти из одного дома, как вас уже встречают в следующем, где снова застолье, и все шутки удачны, и все слова умны, и тосты — неподражаемы, и с каждым новым тостом взаимная всеобщая любовь делает невозможным расставание, и общение хочется длить и длить... И тогда один из твоих одесских хороших друзей говорит: «Еще не вечер». И это святая правда, потому что уже половина второго ночи. «Сейчас,— говорит он,— мы идем в один чудный дом, там нас ждут, там день рождения, они будут жутко рады». У тебя возникает мимолетное сомнение — вас все-таки двенадцать человек, и все-таки время уже два часа, и ты точно знаешь, что ты-то сам был бы не слишком рад принять в это время новых гостей, если бы у тебя был день рождения... Но — сомнения прочь! И вы уходите в одесскую ночь, темную, теплую, полную любви, дружбы, сладкой грусти и желания, чтобы это не кончалось, и вот все вы — ты, твои друзья из Ленинграда и одесситы, друзья и подруги — вы уже идете сквозь эту ночь к неведомым новым друзьям вашего замечательного друга, и пахнет морем или влажным асфальтом, который освежила поливальная машина, освежив заодно и всех вас — вы идете по улицам, вы слегка пьяны, веселы, и ночь, как сказал писатель Фицджеральд, нежна — и вдруг из этой ночи навстречу вам выплывает холодильник, он стоит посреди мостовой, молочно-белый, стоит, как будто это его законное место, непостижимый и загадочный, и не меньше получаса вы все проводите возле него, состязаясь в шутках, гипотезах и остротах, и все побеждают, а когда тема исчерпана, и все догадки о том, как попал этот белый истукан на ночную мостовую города-героя, высказаны,— нет, разве только Бабелю было бы под силу описать этот холодильник и эту ночь! — когда, говорю я, тема исчерпана, вы продолжаете свой путь, вы идете какими-то черными улицами и переулками и выходите, наконец, к дому друзей вашего замечательного друга, и поднимаетесь по лестнице, и открывается дверь — и все вы, двенадцать друзей и подруг, попадаете в свет, музыку, шумные реплики и живые взгляды двадцати пяти человек — хозяев и гостей, и оказывается, конечно, что «это гениально, что вы пришли», что «почему же так долго?», что «сейчас, сейчас...» И вот уже приставлен еще один стол к тому, что стоял, и уже готовят мясо, и «вот еще пироги», и «за знакомство». «Миша —

Миша,— Оля — Сеня — Витя — Зоя...» И «за именинника!» — «Ах, именинница? Тем более!» — «Мы вас так ждали!..», «Как вам у нас в Одессе?».

И вам прекрасно, и ваш замечательный друг, который привел всех вас в этот дом, светится самодовольством: мол, как вам приемчик? мол, я же говорил!.. Но все же что-то во взгляде хозяина дома заставляет тебя насторожиться, какую-то заминку ты чувствуешь в том, как обращается он с вашим замечательным другом. И еще через час, наконец, ты слышишь вопрос хозяина, обращенный к нему, к другу вашему замечательному: «Слушайте, ну где же я вас мог видеть?»

И выясняется, что никто вас здесь не знает — ну вас-то ладно, вы с севера, вы вообще ни при чем,— «попробуйте салат с орешками!» — но никто толком не знает и ваших друзей из Одессы, и только после долгих разбирательств ваш замечательный друг и хозяин дома находят, наконец, общих знакомых, и оказывается, ваш друг просто случайно знал, что тут день рождения, и случайно помнил адрес, потому что когда-то много лет назад он был здесь, «но вас тогда не было, была только ваша жена» и... И этого достаточно, чтобы он решил, ваш замечательный друг, забежать с вами — «это наши гости из Северной Пальмиры — чудные ребята»,— на огонек, посидеть немного...

«Ах, Одесса, жемчужина у моря...» Я позволил себе — и меня понесло...

Я давно не был в Одессе. Я обязательно поеду. Хотя боязнь разочароваться существует во мне. А с другой стороны, можно ли разочароваться городом, где на литературном вечере тебе пришлют такой литературный вопрос:

«А как накрутить гайку на гвоздь?»

Мне нечего ответить на это, и я говорю себе:

— Регламент!..

— Регламент,— говорю я. Хотя мог бы остановиться и раньше. Но мог бы и позже — ибо записок еще множество на моем столе. Листки, листики, листочки... Одни настолько глупые, что сам факт ответа был бы еще большей глупостью. Другие — умнее моих возможных ответов, и поэтому я тоже не отвечаю на них.

А интересно было бы собрать их всех вместе — авторов этих давно написанных посланий:

«А как вы относитесь к Набокову?»

«Халтура в городском масштабе!»

«А Юрия Бондарева вы в жизни видели?»

«Напишите на тему: как у нас в столовой кормят!»

И еще одна.

«Вот вы все это пишете, пишете... Что, по-вашему, это дает результат?»

И это не вопрос. Это ироническое пожатие плеч. Это, слабо говоря, сильное сомнение.

И это — мое сомнение тоже. Я тоже сомневаюсь — возможен ли результат. Но еще раньше — в том, что же считать результатом.

Чтобы кто-то прочитал, ахнул, взвизгнул и, задрав штаны, понесся искоренять, исправлять и совершенствоваться? И чтобы все, что еще не очень, вдруг застыдилось и сделалось — очень? Насчет такого результата можно, конечно, сомневаться. Вернее, смешно даже сомневаться...

Но если результатом считать не это, а то, чтобы хоть некоторые из тех, кто читает тебя (или слушает), хоть немного и недолго (и даже несогласно), но все же подумали вместе с тобой о вещах, которые тебя беспокоят, тогда другое дело. Такой результат, наверное, только и можно иметь в виду.

И когда вдруг приходит записка — или, не дай бог, письмо! — где ты обнаруживаешь интерес (пускай и сиюминутный) к тому, что ты делаешь, то начинает мерещиться, что такой результат возможен. И тонус повышается, самооценка качается в сторону положительных значений, в общем, появляется стимул продолжать заниматься тем, чем занимаешься, а не послать все к черту, что бывает.

И хочется что-то еще написать, и еще «повстречаться», и пообщаться, и снова позволить себе это: «Пишите записки, если захотите»,— и хочется, чтобы захотели...

И не слишком пугают упреки в легкомыслии. Мысль не обязана непременно быть тяжелой — не была бы уже слишком глупой. Впрочем, и тут все зависит, конечно, от точки зрения.

И — закончим на этот раз. Будем надеяться, «еще не вечер». Повезет — встретимся. И снова установим связь — прямую и обратную.

А пока — спасибо за внимание. Если оно было.



Евгений ЕРМОЛИН

СОКРОВЕННАЯ ЯЗЫЧЕСКАЯ ТАЙНА, ИЛИ ЗВЕРЬ НА КОТУРНАХ

Едва ли кто не слышал имени писателя Петра Проскурина. Как-никак тридцать без малого лет работает он в литературе. На счету Проскурина — несколько романов, повести и новеллы; не столь давно писатель подвел некий промежуточный итог своим трудам «автобиографической книгой» «Порог любви»... А не попробовать ли и нам, читатель, резюмировать вклад Петра Проскурина в отечественную словесность?

Настоящий художник узнается по нескольким фразам. Для нас же довольно будет в основном одного произведения. Одного — но зато наиболее известного, отмеченного премией, экранизированного и переизданного! В романе «Судьба», первой части трилогии, как в капле воды, различим, на мой взгляд, образ мира «по Проскурину».

Сначала имеет смысл хотя бы вкратце освежить в памяти основные сюжетные оси, представить читателю главных персонажей «Судьбы».

Время действия романа — это мирные годы (с конца 1933-го) и война. Место действия — западнорусская деревня Густищи, райцентр Зежск, областной город Холмск и Москва. На селе события разворачиваются вокруг председателя колхоза коммуниста Захара Дерюгина. Он сошелся с молодой односельчанкой Маней Поливановой, а у самого семья: жена Ефросинья да четверо детей. Поливановское же семейство у людей на подозрении: разит кое-кому от Акима Поливанова кулацким душком. Не прочь использовать в своих видах эту сложность в жизни Захара затаившийся враг, предсельсовета Анисимов. Бродит рядом бежавший из ссылки кулацкий сынок Федька Макашин. Не может понять Дерюгина и его давний, еще с гражданской, дружок, секретарь Зежского райкома Тихон Брюханов. В итоге Захар выбывает из партии, становится рядовым колхозником. Крепко бит он братовьями Мани, родившей от Дерюгина сына. Маня покидает Захара, уезжает на строительство завода в Зежске, которым руководит еще один герой романа — энергичный энтузиаст Чубарев. Тем временем Брюханов растет по службе, его переводят в Холмск, под крыло первого секретаря обкома Петрова — учителя и советчика Тихона. Здесь разворачивается скоропалительный роман Брюханова с женой редактора местной газеты Клавдией Пекаревой. Немало мы узнаем и о самом Пекареве, об его творческих амбициях и непростых отношениях с Петровым. Петров же выводит нас на еще одного персонажа «Судьбы» — Сталина.

Началась война. Захар попадает в плен. Основные события происходят на оккупированной территории. Брюханов — руководитель партизанского движения, Федька Макашин стал прислужником врагов, он принуждает Маню отдаться ему, точит зуб на детей Захара. Трудно приходится дерюгинскому семейству. Уходит в партизаны дочь Захара Аленка, судьба сводит ее с молодым разведчиком Алешей Сокольцевым, а после его гибели — с Тихоном Брюхановым, женой которого она и становится, чуть затих шум боев...

Автор водит нас здесь и там — а мы тем временем невольно производим «опознания». В «Судьбе» то и дело узнаешь что-то из некогда уже читанного. Тут зачастую идет строительство по шаблону, работа на стереотипах — и мало-помалу на наших глазах созидается объемистая антология общих мест. Проскурин лихо катит по уже готовым, давно положенным рельсам. И вот вам, к примеру, набросок производственной повести о строительстве моторного завода, где все «вплетало свой голос в единое напряжение большой работы». Мне трудно представить, как можно вплести голос в напряжение, но легко заметить сходство этой части романа с произведениями тридцатых годов.

Если что и достигается богатой залежью вторичности, так это некоторое сходство общей картины, нарисованной в романе, с реальной жизнью народа и страны, а также определенная широта оценочных критериев. Причем, я бы сказал, это сходство с действительностью и уровень критерия прямо зависят от качества того источника, который послужил на сей раз основой для самостоятельного — где более, где менее умелого — сочинительства, вышивания, так сказать, нового узора по старой канве.

Обычно тут все делается словно наспех. Проскурин дает конспект. Мы становимся свидетелями трудового энтузиазма, заражающего массы, внимаем толкам о законспирированном вредительстве — но конфликты так и не успевают развиться всерьез, нам предложена словно бы сокращенная стенограмма знаменитой литературной темы. Авторский интерес к своим персонажам чрезвычайно непостоянен. И если Проскурин выводит деятелей областного масштаба, рассказывает об их трудах и личной жизни,— то все это без той сосредоточенности, которая характерна для не столь уж малочисленных произведений о партийных и советских работниках. Все — в спешке, крайне избирательно. Оттого невозможно четко уяснить ни характер деятельности руководителя на своем ответственном посту, ни степень его человеческой значительности.

Наиболее убедительны в «Судьбе» моментальные зарисовки. Например, рассказ о том, как у приехавшего в Москву на съезд колхозников Захара берет интервью «бритый молодой человек с холодными узкими стеклышками очков на глазах». «Бойкий газетчик» вытягивает из Захара не то, что тот мог бы сказать, а то, что н у ж н о, что соответствует политическому моменту, предусматривающему «ликвидацию кулачества».

Но от беглых штрихов эпохи необходимо перейти к главным проблемам жизни. К коллективизации, например. В этом случае не обойдешься общим контуром ситуации: «вокруг много и настойчиво говорили о внутренних врагах, газеты ежедневно писали о кулацкой хитрости, коварстве и жестокости». Вряд ли кого удовлетворят теперь такие констатации. Однако пределы вхождения в роман истории довольно-таки очевидны. Проскурин талантливо недоговаривает, умело касается многого намеком, краем. Писатель виртуозно обходит острые углы, мастерски обтекает зоны риска, умело лавируя и неуловимым движением рук сшивая крайне приблизительную картину действительности.

Лишь три дня длится, например, ссылка семьи Поливановых, записанной в кулацкие: начальство в районе разобралось и вернуло раскулаченных было крестьян в родное село. Чуть дольше продолжались и мытарства обвиненного во вредительстве начальника стройки Чубарева: нашлись влиятельные заступники, и его немедленно освободили из застенка НКВД... Заступником, собственно, был известный нам Петров, специально ради этого ездивший в Москву. Но автор, умеющий быть чрезвычайно подробным, как раз тут пустился в умолчания — и мы ничего не узнали о средствах, которые использовал ходатай в благородной борьбе за освобождение невинного человека. Курьерским поездом, на полном ходу проскакивает писатель мимо репрессий тридцатых годов. Бледным эхом проходит на первых страницах и весть о страшном голоде 1933 года на Украине. Весть эта не вызывает в героях ни сочувствия к жертвам, ни даже долгого раздумья, хотя места-то, кажется, не столь уж дальние, если занесло сюда, в Густищи, нищенку, померщую в стогу. Один сболтнул что-то на сей счет. Захар его одернул: «разговорчики у иных... дерьмом начинены». Напугал этот укорот и автора, который тоже замолчал про голод.

Позади оставляет Проскурин самые драматичные события коллективизации. К началу действия все в основном уже совершилось и завершилось. Мельком, без особого интереса, коснулся автор выселения раскулаченных семей — а дальше удалился в перипетии Захарова сердечного романа и Захаровых неладов с Анисимовым.

Итак, романная панорама у Проскурина — как правило, конспективный обзор того, что сотворили его предшественники, с некоторыми личными прибавлениями и большими убавлениями. Однако предтеч немало, а перо не любит остановок — и отсюда объем изделия.

«...Под окном стоял сколоченный из неровно вытесанных досок стол, он сейчас не был виден в темноте. На нем остались лежать с вечера несколько затрепанных книжек, два тома сочинений Сталина в темно-красных переплетах, роман Островского „Как закалялась сталь“ и почему-то „Тиль Уленшпигель“». Переплеты и названия, выходит, легче увидать в темноте, чем стол. Но это мелочь. А главное, роман Проскурина часто напоминает этот самый неразличимый стол: всего тут много, а присмотришься — все «почему-то», постольку-поскольку.

Где же в таком случае искусство, где творчество? Искусство сводится к искусному умению угодить официальным требованиям и в то же время заинтересовать читателя. Первое требование предполагает, в частности, политически безупречный, идеологически на все сто процентов «верный» характер конфликтов — пусть и ценой утаиваний, а то и противоречий. Второе — интригующий читателей открытый драматизм, контрастность противостоящих персонажей, привлечение в герои исторических деятелей... Событийности, броским эффектам отдается здесь явное предпочтение перед социальным анализом, духовным наполнением повествования.

Похоже, что писателю попросту неинтересно возиться с неподатливыми историческими реалиями: он дает намек на них, а сам увлечен другим. И тут приходится сделать вывод. Да, концепции в романе нет. Но — в масштабе целого повествования. Однако в отдельных фрагментах довольно настойчиво пробивает себе дорогу весьма определенное понимание человека и истории. Я не могу сказать, что оно утверждается сознательно. Но эта тенденция — часто подспудная, не всегда, возможно, ясная и самому автору — наиболее последовательна. Складывается впечатление, что именно она является адекватным отражением того, каким видится писателю мир.

Но обо всем по порядку.

В 1933 году Аким Поливанов, «мужик в хорошем достатке», чувствуя, что над его головой сгущаются тучи, «егозит» перед председателем Дерюгиным: поит его, кормит, тешит своим страхом. Чего не содеешь, когда семье грозят Соловки? У Захара же своя думка. Весь он налился «тягостной дурнотой» и на вечеринке не отводит глаз от «крутобедрой девки с высокой ждущей грудью», дочери Поливанова Мани. В атмосфере разлито эротическое томление, и описано это вкусно, со смаком. С застолья Захар идет не домой, где ждет его жена с детьми, а...

«— Ты, Захар? — спросила Маня испуганным шепотом и в то же время почти обрадованно ⟨...⟩

⟨...⟩ и лег рядом на теплую перину, и едва успел дотронуться до ее разгоревшейся груди, как уже больше ничего не помнил... лишь почувствовал, как по ее телу прошла дурманящая боль; жадно дыша ему в лицо, она затем почти в забытьи шепнула: „Больно, Захар!“, и он поцеловал ее в губы; в его дыхании смешивалась горечь самогона и махорки».

Вот такой он, этот Захар: злой и дерзкий мужик, жадный до бабы. Весь-то он в горячке, «словно молодой зверь, учуяв где-то рядом дразнящий запах». Писатель не поцеремонится и уточнит устами героев: «кобель».

И Захар не один такой. Тот же Аким «по себе знал о той безудержной, слепой тяге к приглянувшейся бабе». А отец его, дед Макар, «в устранении от всяких человеческих страстей... в ожидании смерти» вещает, что «мужицкое дело... оно того... Удержа-то и не осилить в самый сок».

Потом живописуются немецкие охальники и насильники. Однако молодой и сильный партизан Алеша Сокольцев тоже желает время «по-человечески провести», а именно: «он отодвинул от себя автомат и принял ее в руки и почувствовал теплоту ее слегка вздрагивающих плеч; он потянул ее к себе и уже ни о чем больше не думал...»

Подробно, вдохновенно, хотя и однообразно описывает Проскурин эти игрища плоти. И когда видишь, что даже сам холостой товарищ Брюханов втайне завидует безответственному Захару, что и его «дичь распирает», и он, наконец, соблазняется Клавдией Пекаревой, а после, «не в силах справиться с собой», «подхватил на руки и понес» дерюгинскую Аленку, когда замечаешь, наконец, нешуточную увлеченность автора этим скоромным предметом, то начинаешь догадываться: именно тут и выпевается лучшая проскуринская песня! Здесь писатель выкладывается до конца. Где теперь те извне навязанные шаблоны, о которых мы толковали вначале? Там мы заставали автора словно бы за выполнением обязательного задания, соцзаказа — здесь он поет от души, в полной мере самовыражается (и постольку даже по-своему интересен).

Относится сказанное не только к эротическим сценам, в обилии которых Проскурин не знает себе равных в нашей литературе последнего времени. Нередко он просто внимательно вслушивается в «сладкое, звенящее от молодости и силы напряженно в теле», не пренебрегает возможностью продемонстрировать обнаженное тело, обычно мужское. С упоенной кропотливостью описывает автор драки, четко фиксируя момент и способ смертоубийства: «...он ухватил его пятерней за лицо и, не обращая внимания на впившиеся в край ладони зубы, рванул голову в сторону и назад, ломая шейные позвонки...»

Проскурин и у читателя пытается вызвать шоковые ощущения. Он фиксирует моменты страдания, физической боли, немощи, уродства — и «мучительно яркого» плотского наслаждения, телесного восторга.

Присмотримся к самоощущению Захара после того, как он влез в окно к Мане. Никаких сомнений, никаких угрызений совести от жизни на два дома. «В его глазах это было делом житейским и простым», «вины за собой он никакой не чувствовал и не мог чувствовать». Перед нами, читатель, особенный случай: положительный герой, открыто, бесстыдно (подлинное проскуринское словцо!) изменяющий жене.

Ах, обаятельная стихия! «Видишь, контру нашли: здоровый мужик к девке ходит, спит с нею. Великое преступление!» Деяния Захара тщательно реабили-

тируются. И Маня-то его любит аж с детства, и жена Ефросинья не может уже вполне удовлетворять его — «ухайдакалась», да и что мужику одна баба?

Не пора ли отменить стыд и вину как религиозные предрассудки? У Проскурина в случае с Захаром и Маней все равно правы. Знан, как такое получается в жизни, подкачав сюда воздуха эпохи, и мы готовы все понять и оправдать. Пробегает, правда, ветерок Акимова страха, его страдания и жертвы. Но был ли мальчик? У писателя — и не было. Все довольнешеньки, сочувствия никто не просит. Ведь вины, как говорилось, на свете нет: Захар отдался страсти, потому что молод и здоров, Маня отдалась Захару, потому что пришла ее пора, Аким отдал Маню, потому что хочет жить. Иногда, если верить автору, Акиму Маню жалко. Вероятно, сказывается дореволюционная привычка, дает о себе знать проклятое прошлое!

Проскурин любит сильных, любит энергичных. Истинный пафос писателя в романе — апофеоз плотского начала, когда бродит витальная брага, а заряды чувственности разряжаются в поток страсти. То пьянящие, то жестокие мистерии плоти в романе — не какая-то случайная черта, некритично перенятая у предшественников. Да и трудно припомнить такое упоение, такую назойливость. Тут мы приближаемся к самому заветному. К тому, что прежде всего знает автор о человеке. Это — истина о человеке-звере.

Там, где некогда шел поиск духовных начал, Проскурин открывает нам звериное — «животное»,— оно таится в человеке под пленочкой всяких там условностей, «в каждом оно шевелится, только послабление дай», по мысли Брюханова. Про того же Захара сказать: «где-то глубоко в нем дремала, просыпалась временами слепая, звериная сила...». Согласен с Брюхановым и скрытый враг, «умный, осторожный человек» Анисимов: «в человеке, Захар, много от зверя осталось, полыхают в нем подчас протуберанцы доисторических времен». Захар, как мы видели, и сам про себя это знает. А мы узнаем еще и про необычайную его прозорливость: ни в чем не может он подкопаться к Анисимову, но ведет его «через омуты и дебри безошибочная обостренная интуиция», а можно сказать — звериное чутье. Даже к Брюханову хочет идти с донесением, что не нашей масти Анисимов. Но «тот потребует доказательств, а доказательств-то и нет», окромя чутья. Проще с открытым антагонистом, Федькой Макашиным, который, кстати, тоже многое чует «по-звериному». Тут — взгляд во взгляд — встречаются два сильных, матерых зверя, а побеждает в борьбе за существование один — Захар, оставив Федьку со «звериным ощущением загнанности»: «почему-то вспомнился теперь старый цепной кобель Жилка, застреленный милиционером во время раскулачивания». (Заметим, впрочем, характерную аккуратность автора: взгляд-то дан со стороны негодяя Федьки, это он отождествляет себя с цепным кобелем. Захару такие откровенные аналогии на свой счет в голову отчего-то не приходят.)

Автор всегда на высоте, когда нужно сказать о бурной витальности. Вот ведь даже и партийный деятель Петров умиляется не уму, не нравственным качествам своего подчиненного Брюханова. Во время доклада Брюханова он «следил за ним прищуренными глазами, с удовольствием отмечая его молодость и силу, здоровье, его большое, в самом мужском расцвете тело, его твердое убеждение, что все идет так, как должно идти, что он везде нужен и всегда прав. Петрову нравилась его напористость, убежденность, непоколебимая уверенность в необходимости своего „я“...»

Самодовольство выдается за высшую доблесть. А о духовном бдении говорится обиняком, оно не имеет последствий,— это похоже на след чужой ноги на песке: прибой страстей смывает его. Послушаешь иного мыслителя — как неопределенно и пространно он соображает, чуть дело дойдет до общего взгляда на мир! «Брюханов понимал, что на огромных пространствах земли сходились и бились насмерть многочисленные армии, но он также понимал, что каждый сталкивается с чем-то определенным и не может судить с равной глубиной обо всем на свете; не забыв свою прежнюю работу с довольно крупным размахом, Брюханов и сейчас уже ощущал в себе потребность уловить и осмыслить общее; из единичных фактов вывести широкое заключение...» Итак, сейчас должны последовать обобщения? Ничуть не бывало. Цитата показательна и заслуживает того, чтобы ее продолжить: «...вначале он пытался нарисовать себе дальнейший общий план жизни и работы, прикидывал, сколько можно будет организовать уже с этой осени партизанских отрядов, как их лучше расположить и какие наилучшие формы руководства ими принять; он знал, что его умозаключения могут не сойтись с жизнью и даже быть опровергнутыми ею, и все-таки продолжал прикидывать; затем он стал думать уже непосредственно о себе и о своем положении, об Анисимове; в середине дня тот принес ему поесть горячей картошки в кастрюле и большой кусок окорока, Брюханов жадно накинулся на еду...»

Замечательно завершение дум, посетивших Брюханова в момент, когда он скрывается от немцев в анисимовском подвале — зверским аппетитом, картошкой и окороком!

Герои не знают духовных исканий, да что там исканий — и сомнения им почти неведомы. Они располагают лишь непосредственными эмоциональными реакциями, основанными на инстинктах, и способностью к спонтанным действиям. Немудрено, что самое, пожалуй, слабое в романе, самое неудачное — раздумья, умозаключения. Сам Проскурин этим делом практически не занимается, ну, разве что иногда позволит себе одно-два политических соображения. Все доверено героям. Но и они — увы! — чрезвычайно скудно и банально рассуждают на общественно-исторические и философские темы.

Оправдывая репрессии, Петров внушает Брюханову: «троцкизм, пятая колонна. Впереди у нас не одна схватка с мировым капиталом, может быть, война... Ты уверен, что у нас внутри страны стерильно чисто? Вот видишь, нет, я — тоже. Это противоречило бы всякой логике... Почему не допустить, что это закономерная обостренная реакция на происходящее вокруг, на разгул черных сил в мире? Как мера собственной безопасности в масштабах страны». Не правда ли, свежо и интересно? Террор, избиение кадров и уничтожение культуры — для профилактики! Быть может, у писателя иное мнение? Скажи, не таи! Но альтернативного взгляда на эти события в романе нет. Врач Анатолий Емельянович размышляет: «какой может быть бог, если на земле такой непорядок?» Этот вопрос мог бы вывести на проблему, с давних пор мучившую лучшие умы человечества — как оправдать всевластный верховный абсолют за зло, которое совершается в мире, за «слезинку ребенка»? Но в романе вопрос врача остается риторическим, автор ни разу уже не вернется к этой проблеме.

Вывод ясен: размышления — дело случайное и нечастое, трудоемкое и редко удающееся, потому что мысль так и норовит соскользнуть куда-то в сторону; предается этому занятию в основном начальство. Народу же не до того, он своим занят. Чем же занят народ? Страстями.

Поговаривают об «укрупнении характеров» у Проскурина. Как это понять?

Писатели-реалисты анализировали характер человека в его становлении, в исканиях и во взаимодействии со средой. У Проскурина герой не изменяется. Ему хоть кол на голове теши — он верен своей строго определенной миссии и воспроизводит себя в любой ситуации. Он, можно сказать, вполне свободен от влияния среды, истории, но зато пребывает в тягчайшем рабстве у своего темперамента. Он — маньяк своей страсти и не может преодолеть ее. «В этом мире только зверь и прав»,— такое суждение мы найдем в романе. Но не приравнен ли здесь и человек ко зверю — безвыборностью, изначальной заданностью поведения?

Если герой вовсе не знает внутренних конфликтов, то единственным способом существования для него оказывается внешняя конфронтация. И тут, по сути, воспроизводится банальнейшая (если не сказать, примитивная) идеология рядовой литературной продукции 20—50-х годов, где цельный и безгрешный герой из народа противостоит гнусным и коварным врагам или бесполезным мыслителям. Все положительные персонажи Проскурина — простодушные, незамысловатые дети. Даже первого секретаря обкома отличает «почти детская открытость». И по этому подобью логики Захар прямо-таки обречен выискивать вредительство. Раб похоти, он ничего не знает о своей ответственности, а потому легко подменяет свою вину — чужой, вражьими кознями. Его поступок — не проступок, «дело житейское». А вот насчет сплетен, будто он, Захар, спас Поливановых от ссылки,— это и есть «паскудное дело». «Кто-то орудует в селе», «вот где подрыв-то Советской власти»: слух пустили. В «сознании своей силы и значительности» Захар и концентрирует усилия на разыскании притаившихся врагов народа. Деятельность его на этом поприще, правда, малоуспешна — но почин зато каков!

Если эти труды Захара и отражают какую-то сторону социальной реальности 30-х годов, то уж во всяком случае они — не в пользу Дерюгина. Чего стоит такой герой, советский унтер Пришибеев? Герой, который предпочитает оборвать «сомнительную» речь, которого не гнетет противоречие идеала и реальности? По логике вещей, совсем иначе надо было бы писать о Захаре. А он воспет и противопоставлен вредным людям: Федьке и Анисимову.

«Укрупнение» оборачивается упрощением. Герои раз и навсегда нашли себя, а если разрыв между сущим и должным сглажен до неразличимости, то и моральная коллизия возникнуть не может. Вот почему Проскурину удается без особого труда «решить» вековую задачу отечественной литературы — изображение положительно прекрасного человека. Но в действительности его персонажи, которые должны являть собою образец человека и гражданина, заведомо и неисправимо ущербны.

Приносит писатель волшебные очки: вот вам «укрупнение», вот вам «символика» — и мы обязаны узнать в Захаре воплощение народных совершенств. Таким заявлен этот современный Микула Селянинович — символический образ предстателя за весь народ, высшего его порождения. Как выразился один критик,

се — «олицетворение самого корня жизни, питаемого революцией», «магнит, притягивающий все самое ценное, трудовое, человечное». Право, не знаешь, где у иных литераторов кончается юмор и начинается пафос! Не следует, призывают нас, судить «по счету мелкого правдоподобья». Пускай автор не показал или показал слишком бегло, что же происходит в душе крестьянина в переломное десятилетие сплошной коллективизации. Зато нам явлен образ, в котором слиты «реальный характер» и «символическое воплощение великой личности, коллективной души народа»... Ну, как тут не дрогнуть, когда столько эпитетов, а всего-то — азартный, довольный собой мужик, которому еще расти и расти до героя Андрея Платонова или Федора Абрамова!

То же самое происходит с Анисимовым, только знак оценки меняется на противоположный. Один из критиков пытался вскрыть социальное значение этого образа: вот-де портрет врага, демонстрирующий «реальную подоплеку внутренней борьбы в стране предвоенных лет». Значит, ради искоренения Анисимова и были проведены мероприятия, краем задевшие торопливо раскулаченное честное семейство Поливановых и обвиненного во вредительстве доблестного начальника стройки Чубарева! Но встает вопрос: каким же образом вредил Анисимов социалистическому строительству? Он просто себе жил, неся в сердце вражду к новому миру: «страной управляет чернь... а те, кому это больше всего подходило, по рождению, воспитанию, разум и сила нации, вынуждены долбить в Сибири руду, копать золото, спасаться по заграницам... отсиживаться по тараканьим щелям».

Вот кто он: таракан запечный, маленький человечек, завистник и хитрец, мелкий интриган. К такому выводу ведут здравый смысл и реалистическая оптика.

Но автору нужно другое — и вот образ произвольно, несоразмерно сути характера вырастает, становится символом раздвоенности, оборотничества, по примеру некоторых литературных персонажей конца тридцатых годов. Критики же и вовсе разглядели тут глобальный символ «антинарода», Анисимов предстал у них неким земным демоном, «олицетворением всех темных сил, внутри нашей страны противостоящих новому миру, угрожающих, подобно ржавчине, разъесть несущие основы ее».

Какими же средствами достигаются подобные эффекты? Очень простыми. Автор вовсе не озабочен связью психологии и идей в характере Анисимова. Ведь символическому человеку не страшны логические противоречия, он просто не снисходит до них. Ему главное — снова и снова обнаруживать в себе отвратительное, махровое «зло». Образ создается приемами гротескной аллегорики. Разве нет чего-то зловеще-инфернального в том, кто выживает крыс из дому следующим образом: поймав одну в крысоловку, обливает ее бензином, поджигает и пускает в подполье?.. Несколько таких эмоциональных ударов — и «символ» готов!

Прискорбную духовную ограниченность персонажей не принято относить на счет их создателя. Но тогда автору нужно по крайней мере показать, что он мыслит глубже своих созданий!

Разгул страстей, буйство не умеющей себя держать невинной плоти. Человек-зверь, раб своих инстинктов. Все это как-то не походит на реальность, где кошмар все-таки замкнут в некие рамки, ему поставлены какие-то барьеры. Что же удерживает хаос, что может его усмирить?

Разнузданная чувственность вступает у Проскурина в конфликт с политическими обязательствами человека.

Некий старичок на страницах романа высказался так: «жалко мне вас... тьма и грязь сожрут вашу новую Россию, без бога и без совести человек — зверь, только о зверином помышляет». Любимые герои писателя, конечно, не приемлют такой перспективы. Но что правда — то правда: Бог для них умер. Что же заменит его, что обуздает звериные инстинкты человека-обезьяны? Власть, Диктатор.

И вот Сталин, как садовник, денно и нощно печется о «невиданном еще в мире дереве», «подталкивает» его рост. Жестковат? Но зато делает дело, в отличие от «Троцкого с его разномастной школой последователей» (кто бы это?), которые только власти жаждали да бессмертия. «Сталин со свойственной ему резкостью и беспощадностью ума не раз саркастически обличал потуги пигмеев-политиканов проскочить за счет народа в вечность». Помогла в разгроме двурушников, по мнению писателя, «ленинская школа жизни и руководства партией». И вообще Сталин, очевидно, скрупулезно следует намеченному Лениным курсу, потому что он «безошибочным чутьем все того же опытного и умного политика понимал, что любой неверный шаг в сторону от Ленина, вольный или невольный, может оказаться роковым».

Это в сравнительно раннем романе «Горькие травы» (1964) автор по молодости фрондировал, и складывалось впечатление, что он, хотя и полунамеком, вменяет Сталину в вину террор и послевоенную нищету деревни. Теперь не то. Проскурин чуть ли не любуется «прозорливостью крупного политика», «добрым прищуром внезапно потеплевших глаз», «редкой искренностью» (!) вождя, практически солидаризируется с его рассуждением: «жестокость? Нет... необходимость, железная необходимость. Но мы готовы и всегда должны быть готовы к тому, что нас не поймут и не смогут понять до конца». Да и как иначе? К тому, чтоб «понять» Сталина, толкает автора вся его концепция истории. Выхода-то нет: либо разгул темных инстинктов — либо железный Сталин.

Забегая вперед, отмечу, что и в третьей части трилогии Проскурин исподволь, устами героев, проводит мысль о том, что жестокий хозяин был неизбежен, а может — и необходим. Что ж, писатель, по крайней мере, последователен, и мы можем увидеть, как прилагается к жизни незамысловатая проскуринская антропология.

...Партийный деятель Петров ищет свидания со Сталиным. Дело житейское. Сталин и сам уже «много думал о возможных перемещениях на важнейших постах в партии и стране, о тех, кто их занимает, и о тех, кто мог бы заменить неподходящих, и этот вопрос тотчас связался у него с именем Петрова». Но претендент не оправдал ожиданий. Он пытается возражать (!) Сталину, позволил себе сомневаться в его Генеральной линии, понимая необходимость «поворота в истории», но в то же время словно бы жалея народ, который намечено обломать. «Трудная ломка»,— твердит он и довольно сбивчиво для столь светлого ума докладывает о своих недоумениях.

Но когда бы писатель был хоть сколько-то озадачен логикой возможных возражений Сталину! Он только декларирует: Петров от своих «убеждений» — «ни на один шаг». Но где же они, убеждения? Чего, собственно, хочет Петров, какую программу он может предложить взамен? Тайна сии велика есть.

В конце концов Петров поддается «силе убеждения» Сталина — и только одно его теперь смущает: «мне не нравится в нем другое, думал потом Петров глухими бессонными ночами, нехорошо то, что он не хочет пресечь это безудержное славословие в отношении себя и, кажется, уже не тяготится, не отделяет себя от этого славословия, вот что непостижимо при такой силе характера и ума». В целом же в композиции диалога Петрова и Сталина заложен триумф организующей воли вождя. Сталин одерживает над своим товарищем по партии явную победу.

Невольно приходит догадка: не является ли в романе Проскурина и Сталин сильным и умным зверем, страсть которого — политика и власть? Не знаю пока, что с этим впечатлением делать, поскольку ничего подобного писатель открыто, конечно же, не говорит. Но есть логика текста и логика авторского мышления.

Вернемся в Густищи. О связи Захара и Мани узнает друг и покровитель Дерюгина Тихон Брюханов, к тому времени первый секретарь райкома. Узнает — и... глаза его холодеют. Отчего бы?! Ведь, по мысли Захара, «он-то должен помнить двух сестер под Киевом, вместе тогда хорошую ночку провели». А дело, очевидно, в том, что есть, по мнению Брюханова, «жесткие нормы поведения», некий политико-моральный кодекс. И если «ты на особом положении», так будь добр, соответствуй ему, дави в себе «животное». В кулуарах Тихон может позволить себе выразиться так: «красивая женщина, глазищи в пол-лица, д-да, такой огонь под полой не спрячешь, очень хороша... Знаете, по-мужски вам скажу, понять его (Захара.— *Е. Е.*) можно». В официальной обстановке он ничего такого никогда не скажет. Партия для него — институт изживания инстинктов. Партбилет или девка — таков его ультиматум Захару.

Но писатель не столь аскетичен. У него тут же припасена и шутка, он еще и озорует, немедленно сводя Дерюгина с колхозным конюхом, который «стал распрягать, пространно рассуждая о необходимости наглухо огородить племенного жеребца». А чуть погодя Захар с победительной насмешкой скажет Брюханову: «чудной ты человек, Тихон, все давишь, давишь себя, а жизнь-то одна, другой не будет». И Тихон, осознав, что однова живем, назавтра пошлет телеграмму женщине, которой увлекся, чтоб бросала мужа и мчалась к нему... Так что же, предпочел в итоге писатель: дисциплину — или природу, стихию, страсть?

Один трезвомыслящий критик предположил, что, обнажая всевластие инстинктов, Проскурин честно сигнализирует о наших русских «размахайстве, буслаевщине», безалаберности и беззаботности в деле жизнестроения. Я полагаю, что такие приметы национального характера — отнюдь не выражение разгула инстинктов. Другой у них, как правило, исток. Стремление к немедленному раю не может примириться с житейскими компромиссами, не выносит неполной гармонии, хотя бы и в солидных, надежных формах оной. Но дело даже не в этом. Дело в том, что пресловутое размахайство отнюдь, кажется, не тревожит писателя. Тут вряд ли острый сигнал, скорее — оправдание, вплоть до любования. Вольно или невольно человек-зверь, у которого не возникает потребности в нравственном выборе, эпически воспет Проскуриным. А разумные, ученые люди — возможный противовес животному — они же скучные и бледные, худосочные и непонятные.

Автор провоцирует нас на то, чтобы предположить: межа в мире проходит между физически полноценным, мощным, побеждающим — и ущербным в

этом плане, иногда компенсирующим изъян рассудочностью, но все равно терпящим поражение. Мысль эта навеяна многими коллизиями, бесчисленными оговорками автора, хотя им самим и не высказана. А отсюда — полшага до признания и власти тоже — инстинктом, свойственным человеку и заставляющим его стремиться к обладанию другими людьми. Социальный конфликт предстает у Проскурина следствием витальных влечений: воли к власти, телесных страстей. Такое при чтении складывается впечатление — и нечему, некому это впечатление побороть.

После исключения из партии Захар делал попытки воспитать в себе чувство политической вины. Но ничего у него не вышло. Если герои «характерами схлестнулись», и Захар, не выстояв в этой схватке, бросил партбилет на стол, то где же тут его вина? Он — только проигравший в борьбе за власть, но вовсе не виноватый,— в романе это так ясно! Иных, социальных или моральных мотиваций автор не предлагает.

Сравним этот эпизод с подобным же из «Поднятой целины». Исключают из партии Макара Нагульнова за «левацкий заскок». Факт чисто социальный, соотнесенный с Историей. И Нагульнов во многом неправ, и судьи его еще вчера «скакали» не менее резво, а сегодня, в связи с новой директивой, поменяли коней. Шолоховская коллизия проросла из эпохи, напитана ароматом времени. Между прочим, и партбилет Нагульнов не желает отдать. Ведь сколь бы ни был он азартен, но и вспыльчивость его идейна. Она — знак одержимости Макара идеалом. И партбилет для него — пропуск в мировую революцию, пароль, удостоверяющий связь с большой историей.

А Захар? «Озверел»,— так скажет он про себя через некоторое время,— «словно какой поморок на меня нашел»...

Иногда самодовольный человек, может быть, испытывает смутное беспокойство. Не хочется ли ему обрести какую-то опору вне себя, ценность, не ограниченную пределами индивидуального существования? Об этом думаешь, замечая, как утрирована местами в романе идея протягивающейся из поколения в поколение родовой связи. Итак, искомая опора — род? Такой выбор почти не удивляет, ведь кровная преемственность — иной ракурс все той же человеческой несвободы. Волей-неволей человек передает потомству свою витальность, перенятую у предков. Захар гордится: «а род наш... дубовый, в землю на версту кореньями прошел, главный корень пропадет — ничего, другие в свой черед ветвиться начнут, матереть. И так пока земля стоять будет... и все это во тьме, без громкого шума да голосу».

Антагонист Захара Анисимов также придает этому большое значение. Сам-то он, по собственной аттестации, «пустоцвет», бездетен. Гложет его, кроме прочего, и зависть к Захару, который сыновьями силен. У Анисимова зреют злодейские замыслы уничтожения дерюгинского рода, ведь «сыновья Захара — это сыновья Захара, и вырастут они, разумеется, ему подобными зверенышами; от китайца может родиться только китаец...» Преследует детей Захара и Федька Макашин. Это для него идея-«фикс». Во время оккупации он почти только тем и занимается, что пытается их изловить и уничтожить. Характерно, что у Макашина это идет помимо желания, выше разумения — как всевластный инстинкт, неодолимый зов естества. Что это, патология? Нет, в координатах, навязываемых автором, эта мономания вполне естественна. И дело не в реальных мотивах: «они наших детей не жалели, когда на Соловки да на Урал в снега гнали...» По воле писателя Макашин исходит из представления о сверхзначимости рода. Одержимость Федьки идеей родовой (кровной) мести — это предписание какого-то таинственного и непреложного закона мироздания.

Из родов складывается народ, представляющий собой, таким образом, только некий сверхрод: однородную, одноприродную биомассу. Подчас весь народ уподобляется единому дереву с одним корнем и — хочется договорить — с единым мифическим прародителем, пращуром...

Казалось бы, что плохого в идее родства, в почитании родителей и чадолюбии? Но философия рода, намеки на которую мы встречаем у Проскурина, подчиняет эту идею зоологическим детерминантам, низводит ее до хриплого зова крови и плоти.

Мы открываем сегодня неизъяснимую притягательность таких понятий, как «традиция», «преемственность», «истоки», «корни». Невозможно пренебречь обаянием этих дорогих слов. Но давайте поверим разумом смутные догадки сердца. Не окажется ли тогда, что мы подчас одинаково говорим об очень разном?

Кто-то, положим, одухотворяет свой молитвенный пафос идеей духовного родства, идеей нравственного долга перед предшествующими поколениями и добровольных обязательств перед поколениями последующими. Краеугольными камнями такого традиционализма являются общие — и для предков, и для потомков — человеческие ценности, идеальные начала, нравственные императивы.

О, если бы удалось нам угадать нечто подобное у нашего автора! Но нет. Голос крови звучит в его сердце неизмеримо громче иных голосов, заглушает зов совести. Духовным высотам писатель предпочитает родовые глубины.

Взгляд этот не так уж нов. Он вышел из древних языческих потемок. Именно тогда единство постулировалось не на общей цели, а на общем корне, не на идеальной перспективе, а на кровной связи и тотемическом предке. Симптоматично, что такие понятия снова получают права гражданства. Это какое-то неоязычество, исповедующее этнический изоляционизм, высчитывающее принадлежность человека к «корню» и только после удостоверения таковой дающее ему право на «судьбу». Примитивные языческие фантазии при этом агрессивно внедряются в жизнь, приспосабливают к себе русскую историю и русскую культуру (или любые другие историю и культуру), к которым, в сущности, мифология-новоделка никакого отношения не имеет.

В своей недавно вышедшей книге «Порог любви» Проскурин уже непосредственно, помимо художественных образов, благоговейно поклоняется «сокровенной языческой тайне», отождествляя эту тайну с «душой» жизни. Вот как, например, писатель размышляет в автобиографической повести о духовных началах русского этноса: «...православие, оказав на русский народный характер определенное влияние и придав ему некое организующее направление, никогда не могло подавить этот характер полностью; откровенно языческое продолжало присутствовать в русском характере, христианское смирение перемешивалось языческими, огромной силы эмоциональными взрывами, и это было нормой не только для народа в целом, но и для его самых гениальных представителей; не избежал этого и Лев Толстой, особенно же ярко отразилась данная особенность, как мне кажется, в созданиях гения Достоевского...» А рядом, не заботясь о последовательности, Проскурин объявил православие «чудовищным гибридом» «двух противоположных начал, двух непримиримых субстанций» — христианства и язычества.

Чем ответить на эти откровения писателя? Давайте хотя бы не принимать на веру умозрительные перлы Петра Проскурина в наших размышлениях о национальном своеобразии, о высших ценностях национальной культуры и духа. Будем проверять эти мыслительные новации исторической практикой и соотносить их с глубокими прозрениями титанов русской мысли. И тогда, я уверен, легковесность проскуринского «язычества» выявится для вдумчивого искателя истины с полной очевидностью. Тогда вполне наглядно определится, что другая у нас, русских людей, родословная: наш национальный идеал — всечеловеческое единение, соборное братство...

Осталось ответить на один вопрос: куда же шел писатель после того, как в «Судьбе» он дал нам довольно-таки своеобразное понятие о человеке? И вообще — шел ли куда? Отложим пока вторую часть эпопеи Проскурина и возьмем первую книгу романа «Отречение», завершающего трилогию.

Новое время — новые песни. Хотя некоторые герои «Отречения» носят те же имена, что и персонажи «Судьбы» и «Имени твоего»,— это почти совсем другие люди. По сути, роман «Отречение» — совершенно новая вещь, довольно искусственно привязанная к когда-то написанному эпосу.

Но, с другой стороны, захоти мы подробно анализировать «Отречение», нам пришлось бы пойти по второму кругу, фиксируя идентичность приемов, тождество представлений о мире и человеке.

Тот же слог: безудержный поток речей при бедности мыслей, косноязычная велеречивость: «в обществе наконец-то разгорелась жажда ощутить подлинные корни исторического прошлого русского народа...» Трескучая патетическая невнятность соединяется с механической инвентаризацией бытия без его художественного претворения.

На новой исторической ступени восстает старая антитеза неразлучных героев. На сей раз это беспутный, но честный и одаренный Петя Брюханов и карьерист-прагматик Сашка Лукаш.

Есть в романе беглый очерк московских нравов, эскизные зарисовки московских типов — недавняя современность в поверхностных выжимках. Отклик на актуальную тематику затруднен тем, что автор с размахом рассказывает о незначащем — а острое, социально важное сообщение подает уже обобщенным до формулы, подчас злой и точной, но логически, художественно необоснованной. «Фальшь, ложь, фарисейство» в эпоху застоя, кастовость столичного общества, бюрократическое всевластие,— все это не столько показано, сколько названо.

Один из лучших эпизодов романа — ночь престарелого сановника Малоярцева. Фрагмент этот написан под сильным влиянием Льва Толстого. Толстовские интонации, толстовская требовательность к человеку соединяются с проскуринской перегрузкой повествования мелочами и случайностями. Мысли «о бесполезности и ненужности своей жизни», сознание несвободы, связанности интересами своего клана,— эта маниакальная монотонность старческих переживаний впечатляет, но опять же о судьбе Малоярцева мы узнаем очень и очень мало, отчего никак не удается составить впечатление о его человеческой значительности.

Ну, а как же эротическая сфера? Захар (а Проскурин поверил критикам, рассуждающим о «мужицком Прометее», и снова представляет нам его как «совершенно уникальную личность», «от природы

выше всех», «что-то от глубинного русского характера»),— так вот, Захар, несмотря на преклонные лета, все еще ездит по ночам с кордона, где он живет, работая лесником, к бабам в Густищи. Да и у внука его Пети временами «нарастало желание». Но описано все это неизмеримо беднее, чем прежде, почти без азарта. То ли возраст (старшего Дерюгина), то ли еще что, но страсти в романе «Отречение» поулеглись, витальный порыв оскудел. Захар перешел на иную литературную роль: мудрый старик охраняет лес, борется с браконьерами, поучает дочь, наставляет министров.

Одним из главных героев романа становится, таким образом, резонер. И одной из основных интонаций — резонерство. Роман переполнен разговорами, соткан не столько жизнью и борьбой, сколько нравоучениями. Странноваты идейные споры, где чаще всего почти невозможно уловить логику спорящих: глобальные мысли бродят без аналитического их сопряжения, невзначай всплывают и снова опускаются на темное дно сознания. Но говорунов хватает. А если не хватит, так автор выведет совсем уж ненужного по сюжету Ивана Ивановича: «после Ленина ни одного приличного лидера не было, один краше другого. Один костьми страну устлал, другой города русской славы у России поизымал, а третий и вообще слово „русский“ из лексикона изъял... а? Каково?»

Хлестко! А там еще хлеще: «наш-то, нынешний, все рекорды, кажется, побил: двух слов связать не может, а выступает каждый день, сплошные „сиськи-масиськи“...» И дальше — про «атмосферу лжи, пронизывающую общество снизу доверху»: «честные люди тоже должны объединяться».

Но Петя, к которому обращены эти слова, вместо того, чтобы с кем-то объединяться, пускается в запой — и разговоры снова заполняют страницы романа. Герои подчас небанально рассуждают о власти и Боге, о России и Сталине, звучит в романе эхо идей Достоевского,— но все это ни к чему не приводит, слово возведено в абсолют. Жизнь же — случайное приложение к речам, а потому и не заслуживает особого внимания, не удостаивается писательской любви.

Однако связь иных мыслей в романе указует на верность автора себе! Начать с непроговоренных вслух размышлений Шалентьева, сравнительно нестарого деятеля в ранге министра, об окружающей его жизни: «все тонуло в словах и лозунгах, страна задыхалась от парадных речей, и все живое и деятельное, любая энергичная мысль замыкалась на благодушной старческой расслабленности и старческой кастовости».

Нет, я не хочу сказать, что роман Проскурина адекватно отражает болтливую реальность застоя. Не хочу потому, что это не так уж и верно: во всякое время есть место поступку. Не собираюсь я и уличать в раздвоенности Шалентьева, у которого крамольные мысли способствовали «душевному равновесию». Я — о сути. Виноваты старики. «Жреческая каста», засели, давят все живое. «Страна дураков». И, глядя на Малоярцева: «что толку делать революции, если таков исход?» Природу не переделаешь. Похоже, автор согласен: виноват Малоярцев, не желавший «уступить место другому, более крепкому и молодому». Проскурин опять о своем, о заветном: о биологической основе социальных форм, о природной предопределенности человеческого удела. Снова о том, что «человека нельзя ни исправить, ни улучшить, он таков, каким его запрограммировала природа, и здесь любой социальный строй бессилен», а значит, надо человечество ограничить в потребностях, пока оно себя не сожрет (по такой логике, добавлю, нужен и Кто-то, здоровый и сильный, кто наставлением этого человечества на верный путь вплотную займется!). Правда, говорит все это безответственный Петя — но ведь за что-то симпатизирует ему автор! Вот и идеальный ученый, опальный академик Обухов за это борется: за экологический баланс, против насилия над природой-матерью.

Такая транскрипция авторских убеждений, очевидно, отчасти навеяна нынешними общественными настроениями. Но мы опять же не будем поддаваться магии прекрасных слов. Ведь по логике Проскурина отказ от власти над природой означает подчинение ей. Это призыв не столько к союзу, сколько к несвободе, к закабалению себя животными инстинктами. Того ли мы ждем от экологического движения?

Анархиствующий философ Козловский восклицает в романе: «какая разница, как ты прожил жизнь и какой ее итог, если человек обыкновенное животное, та же покорная, безгласная скотина?» А что же автор? Проскурин вновь далек здесь от ясности. Еще более далек, чем в «Судьбе», где он обходился без дидактического резонерства.

Но все дали измеримы, если найдена точка отсчета. Бросим же взгляд на вселенную Проскурина.

Люди и массы людей движимы инстинктами: самосохранение, забота о продолжении рода, половое влечение, жажда власти. Корнями вглубь уходят родовые деревья: одно увядает, отмирает, другое рождается, пускается в рост, расцветает и плодоносит. Автор широко пользуется растительными и животными метафорами, и постепенно метафоричность стирается. За отсутствием альтернатив мы должны понимать дело так, что человек и вправду «скотина», что общество, история подчинены естественным процессам биологического характера.

Роман «Судьба» начинается со сцены рождения — смерти. По мысли критика, «философский аспект этой увертюры» — «неизбежное обновление жизни». Приходится ставить ударение на этой неизбежности. Все в этой жизни изначально оправдано, дерево растет только так, как может расти. Из яблоневого семечка не вырастет слива. Никаких вопросов о моральной санкции не возникает.

Согласиться с такой этикой и такой эстетикой не позволяет совесть. Ведь иная красота ведома нам издревле, иная истина.

На что же надеется критик, если писатель, о произведениях которого он ведет речь, так прочно уверен в себе, если для него не существует понятия «выбор», и, следовательно, он убежден в том, что живет и пишет, как должно? Если, наконец, ему мнится, что сочинениями своими доказывает он верность заветам отечественной культуры?

Критик надеется на читателя. Критик уповает на его чувство правды, на его изначальное знание о своей свободе, неотвратимо влекущее заботы о нравственном решении, которое ложится в фундамент ответственной жизненной позиции. Да ведь и некуда деться от ощущения вины за вчерашнее и сегодняшнее зло. Ведь и наше время уже отчаянно взывает к ответственности каждого человека за все, что происходит в мире. Ведь и в обновительном труде, в перестройке жизни без этого никак, пожалуй, не обойтись.

Г. ГАМПЕР

ВСТРЕТИТЬСЯ НАДО БЫЛО РАНЬШЕ!

Как известно, «семь» — число магическое, счастливое. Молодых поэтов «отбирают» в так называемые кассеты именно семерками. И вот перед нами «Дебют» очередных счастливцев — иначе не скажешь. Трудно взяться за перо и беспристрастно оценить обретшего имя, зная, что за ним стоит множество достойных, но все еще безымянных. Безвыходность, тупиковость множества поэтических судеб не раз приводила к трагедиям — душевным, нравственным. «Поэтом нужно быть до тридцати...» — девиз «Дебюта». «Рады бы в рай, да грехи не пускают»,— ответят на это многие. Каждому ясно, что необходимо ликвидировать трагикомическую ситуацию, сложившуюся в наших издательствах — очередь поэтических сборников (кощунство-то какое — чтобы передать читателю выстраданные строки, поэт годами стоит в очереди). Но забрезжившая надежда на кооперативное издательство — хоть и за собственные деньги, зато быстро — погасла. Почему? Опять где-то наверху решили за нас! А все-таки сдвиги к лучшему чувствуются. Вот и ленинградское отделение «Советского писателя» чаще выпускает первые книги, в том числе и такие, которые еще год-два не имели никаких шансов увидеть свет.

О первой книжке этого сборника сборников «Обязательно будет будущее» говорить особенно трудно. Автор ее Владимир Бейлькин четырнадцать лет назад погиб от несчастного случая, едва перешагнув порог тридцатилетия. Как ни больно, но приходится признать, что поэт оставил лишь наброски своей первой и единственной книги. В ней есть ядро — несколько профессионально крепких стихотворений, добрых, честных. Бейлькин, предчувствуя свою раннюю нечаянную смерть, говорит о ней грустно, но без страха. Создается даже впечатление, что не о себе он при этом думает, а о других: мол, привыкните к такой мысли и не пугайтесь, когда это случится. Стихи Бейлькина — весточки из прошлого. Скажем спасибо пославшему их человеку. Он умел любить и верить.

Следом открываем «Лестницу» Ларисы Володимеровой, самого молодого автора «Дебюта» (ей двадцать семь) и попадаем в мир абсолютно иного поэтического видения, вернее, просто в другое измерение. Раздумывая о двух столь различных поэтах, приходишь к мысли: сборник «Обязательно будет будущее» не может быть судим как книга, ибо книга не успела состояться. Стихи, вошедшие в сборник «Лестница», написаны в основном в 1975—1980 годах. Можно ли судить по всей взрослой строгости творчество девочки в возрасте от пятнадцати до двадцати? Чем объяснить почти полное отсутствие в сборнике стихов последних лет? Либо автор испытывает творческий кризис, либо стихи Володимеровой стали совершенно «непроходимыми» (этот горе-термин уже не означает, как совсем

Дебют. Л.: Советский писатель, 1987.

недавно, смертного приговора, но все еще достаточно значим). Стихи Бейлькина написаны в системе 60-х годов — приятие мира («он только что болел за целый мир, как бог»). Стихи Володимеровой — знак иной социальной реальности: конец 70-х — период отторжения поэзии от внешнего мира, уход в себя, «в единоличье чувств» (так назвала в свое время Марина Цветаева подобный процесс), некая внутренняя эмиграция. Причем в данном случае это уход не только в себя, а часто через себя в некое призрачное «зазеркалье».

Наипервейшая книга Володимеровой (назовем ее так, чтобы отличить от подавляющего большинства выходящих сейчас первых книг, которые часто даже не вторые, а прямо третьи) — это идеальный случай. Книжка белоснежна, хрустяще свежа по чувству: «Отчаянье мне плакать не дает, что Пенелопа к двадцати стареет, собак бросает и детей заводит, детей бросает и выходит замуж за памятник и весело живет». За это подчас прощаешь автору абсолютно цирковую — вне всяких правил русской грамматики — словесную эквилибристику. При всем многообразии поэтических приемов существуют два основных пути — традиция и антитрадиция. Володимерова идет по второму. Но и на нем не все дозволено. «Для пассажиров с детьми для инвалидов уступите место для сжав коленки опустив лицо на руки сбросить юность в первую урну на полустанке. На карту сбросить вини — не прогадаю, выигрыш будет — пени козыря старше! Спишут: вышла безвременно» («Плацкарт»). Последние строки стихотворения не только ничего не проясняют, а, напротив, усугубляют смысловую, грамматическую и синтаксическую невнятицу. Обидно будет, если молодая поэтесса пойдет по этому, я бы сказала, внепоэтическому пути, который в последние годы все больше превращается в проторенную дорогу. Видимо, это реакция на господствовавшие долгие годы банальность мысли и выразительных средств, подмену поэтического языка канцелярским. Одна крайность сменила другую, но прежняя уже себя дискредитировала, а вот в новой — еще не разобрались, кому-то кажется, что раз ново — значит, прогрессивно, многие просто стесняются сказать, что «король-то голый». Отнюдь не собираюсь понуждать Ларису Володимерову вернуться в лоно традиции. Путь определен, на нем немало своих трудностей. Во-первых, вне жесткой классической системы стихосложения гораздо легче, скажем попросту, заболтаться, особенно если это верлибр. Видимо, Володимерова уже ощутила такую возможность, у нее преобладают короткие стихи. Во-вторых, герметичная поэзия (а у Володимеровой она именно такова) требует огромного духовного, интеллектуального потенциала, выстраданности. Молодой автор может на этом пути быстро исчерпать пока еще небольшие внутренние ресурсы. Надеюсь, что ранний выход на читателя (в идеале так и должно быть) многое скорректирует в творчестве Володимеровой.

Дальше, нарушая очередность, перейду к Ирине Моисеевой («Жизнь бесподобна»). Пишет она широко, свободно, искренне. Традиционно, не традиционно? На это отвечает сама поэтесса: «Конечно, не ямб, не хорей, не дактиль, не дольник... А просто сидит соловей и свищет, разбойник». Тема? Женская судьба. Причем «я» достаточно равнозначно «мы», а это сразу расширяет горизонт повествования, увеличивает масштаб переживания. Лирическая героиня Моисеевой молода, но уже умудрена опытом горя и счастья. Она самоиронична («больше я ем и люблю, чем стираю и плачу»), беспощадно искренна, поэтому, когда душа ее парит, когда она высока и прекрасна в порыве любви или поэтического вдохновения, ей веришь беспрекословно. Героиня точно ориентирована временно́, географически, социально. Это — моя младшая современница. «Что именно, сказать я не берусь, но что-нибудь! На этом огороде ведь вырастет. Ведь пустота природе несвойственна. И я ее боюсь поэтому не очень. Чем-нибудь ведь заменим восторг любви и мука, поэтому, не проронив ни звука, постыдному покою предаюсь». Книга состоялась — и даже вопреки тому, что в ней отсутствуют и широта осмысления мира, и историческая перспектива и ретроспектива. То есть опять — замкнутость на личном. Но в данном случае личное упоительно полнокровно, и все-таки — знамение времени! Замкнутость — одно из средств уберечься от пустословия, официозной фальши, отстоять свое энергичное живое «я» в период общественной апатии. Другие формы самосохранения подлинной поэзии — постоянное нарастание в ней исторической тематики, четко обозначившей уход в область воспоминаний, все более укрепляющаяся, переходящая из безвременья 70-х в наше сегодня идея культу́ры.

Вообще сегодняшний крутой социальный поворот пока в полной мере коснулся публицистики, отчасти прозы, лирическая же поэзия — процесс столь глубинный, что ее отклик на происходящее едва ли пока возможен. Зато возможно другое — вытащить, наконец, из загашников, казалось, навсегда погребенное по причине запретности темы или чрезмерной мрачности изображаемого (шкала отсчета соблюдалась с поразительной точностью, причем бюрократическая служба мер и весов работала не столько за страх, сколько за совесть).

С открытостью, исповедальностью Моисеевой ярко контрастирует великолепно разработанная, сдержанная, пристальная поэзия Александра Пурина. Образы действительности преломляются в его стихах через призму культуры, в основном — античной. Говоря о культурности его поэзии, имеешь в виду не просто сумму знаний, а накопленную память, духовную преемственность, расширяющую содержательную вместимость каждого образа. Для него характерны высочайшая плотность образной ткани, культурная проработанность, отчеканенность языка.

Все, сказанное о Пурине, с еще большим основанием я могла бы сказать и о его учителе Александре Семеновиче Кушнере. Пурин — виртуозный копиист, не просто поэт школы Кушнера, а в значительной степени его двойник. Та же стилистика, переносы, часто свободная, со сквозной рифмовкой пяти-шести или семи-восьмистрочная строфа, то же акмеистическое упоение предметностью. Как много у Пурина ворсистости, льняной ткани, и атласной, и войлочной, и глянцевого блеска, и даже влажная щека на плече, и бабочки, и ласточки! И Ленинград у него пластичный, арочный, чугунно-кружевной, и парки, и дворцы, и сады, и юг, пляжный, морской — все в самом лучшем смысле кушнеровское. «Ту же критскую бронзу с оливковым отблеском в те же заливает прекрасные формы на глинистом пляже черноморское лето...». Чьи это строки? Кто бы из нас не ответил с радостным узнаванием: «Кушнера»! Теперь, зная о Пурине, следует задуматься. Правда, во всем этом только одна ипостась Кушнера — Кушнер последних лет, блаженно плавный, овладевший тайной гармоничной слитности с миром. Поэтому говорить о равнозначности Пурина Кушнеру нельзя. Главная задача Пурина — направить яркий версификационный дар в собственное русло. В этой книге уже намечается отход от образцов, правда, пока только тематический — в цикле «Карельский планшет» (офицерская служба в военно-строительном отряде). Но и новая тематика — тоже путь обретения себя. Вернее же всего то, что поворот совершится через подлинную боль. Без этого не обходится большая поэзия, недаром лучшие стихи «Лыжни» посвящены памяти всеми нами любимого поэта и воспитателя поэтов — Глеба Сергеевича Семенова («Незримая скрипка»). Интонация тут совсем не кушнеровская и в то же время высокая, прекрасная, четкая. Нельзя усомниться в истинном поэтическом таланте Пурина, вопрос в том, чтобы его талант был максимально реализован.

В том же мощном магнитном поле учителя оказался и Николай Кононов, автор сборника «Орешник». Во многих стихах опять та же стилистика, та же пристальная детализация — цепкий взгляд отмечает оттенки цвета, фактуру материала. Тот же культурный ареал. Правда, кушнерианство Кононова версификационно несколько слабее пуринского. Кононов в значительной мере экспериментатор, хотя эксперимент этот, я бы сказала, групповой: в него включено уже значительное число поэтов так называемой «новой волны» — Еременко, Парщиков, Кутик. Они стремятся сократить дистанцию между высоким и обыденным, использовать технологические образы и технический словарь. С этим сочетаются одическая торжественность, элегичность; движение стиха, как ход самого бытия, выпавшего на годы становления тридцатилетних, когда, казалось бы, ничего не происходит,— ровное, размеренное. Кононов запредельно удлиняет строку, называя стихи такого рода «растянутые строки». Порою это не ритмичный стих, почти верлибр, но зарифмованный. На этом направлении своего творчества Кононов отошел от Кушнера, и все-таки осталось единственное (но зато главное), что сближает ученика с учителем — обретенная им пристальность зрения, острое чувственное восприятие мира: «Ни бурунов от винта, ни линялого вымпела, ни шин, подвешенных к борту из рассохшейся черной резины. Лишь смывает усталой волной виновато створки крупных беззубок и обрывки газет, и в аорту бьется тесная нефть преждевременно, назойливо, шероховато». Как видим, тематика «Растянутых строк» далека от кушнеровской. К сожалению, пока поэтические опыты Кононова мне кажутся достаточно скучными. Рассматриваю их как путь, а не как результат и приветствую как любой поиск. Кононов талантлив, молод, его поэзия — зона действующего вулкана, и ее рельеф еще не сформирован.

Странным в наши дни анахронизмом выглядят в «Дебюте» четыре поэмы Сергея Дроздова. Каким-то дурным ветром их занесло с газетно-журнальных страниц конца сороковых — начала пятидесятых. Единственная примета современности — тема поэмы «Рисунки на скалах». Да, действительно, в вышеназванные времена еще не шла речь о спасении окружающей среды. Но эта привязка к современности формальна. В первых трех поэмах мышление автора — вульгарно журналистского толка (от такой журналистики мы, слава богу, отвыкли). Четвертая — «Царевна Несмеяна» — непозволительное оглупление народной сказки. Читатель, надеюсь, разберется в псевдопоэтичности сборника. Горько другое — та самая очередь истинно поэтических рукописей, о которой шла речь выше, могла бы подвинуться на одну ступеньку.

Гораздо сложнее обстоит дело с книгой Владимира Шалыта «Образы и моноло-

ги». Автор явно не лишен поэтического слуха и видения. Однако сам прием перевоплощения поэта во что-то или кого-то, достаточно древний, уместно и дерзко прозвучал в нашей поэзии в начале 60-х (Вознесенский, Евтушенко, Соснора), но сейчас строить на нем всю книгу, а не отдельное стихотворение, наивно. Как назойливо звучит чуть не с каждой страницы: «Обнаженная палуба — Я», «Мы — глина, мы глиняный холод»! Шалыт един во всех лицах, кто бы ни говорил его устами: монологи «неизвестного юноши из Фив», «Монолог Улугбека», «монолог потерявшего слух», «Монолог персидского миниатюриста»... Избыток перевоплощений, не правда ли? Галопом по европам, а заодно и по азиям, тем же галопом — через десятки веков, сам автор не успевает обжиться. Это напоминает кочевую жизнь актера — не поэзия, а лицедейство. Но окончательно добивают четырнадцать (!) страниц монологов узников фашистских лагерей смерти и их убийц. Создание цикла «Тревога», на мой взгляд, не гражданский акт, а напротив — акт безответственности. Безусловно, тема открыта, но ворошить всуе пепел человеческий — кощунство. «Монолог узника, отделившего душу от ног», «Монолог препарированной головы в Освенциме», «Монолог „Что же такое дым?“» — ведь это лишь упражнение в изобретательности: образной, словесной («Бабий Яр» Евтушенко в контексте журнально-газетных публикаций 50—60-х годов был новым и необходимым словом). Вообще при всем разнообразии и пестроте стиха у Шалыта своего круга проблем не вырисовывается. У меня осталось чувство, что автор способен на большее, ведь в сборнике есть несомненные удачи, например, поэма «Петергофский ветер», несколько стихотворений любовного цикла.

Общее впечатление «Дебюта» неоднозначно. Радует, что, за небольшим исключением, тут отсутствуют конъюнктурные стихи. Жалко, что книги в «Дебют» отбирались не по максимуму, а вперемежку — строевой лес и подлесок. И так молодая ленинградская поэзия во всесоюзных дискуссиях почти не упоминается — и справедливо: она, за малым исключением, существует только в машинописи. А нам есть чем гордиться. Есть, но... Вот передо мной еще одна недавно вышедшая кассета «Радуга» (Л.: Советский писатель, 1987). Из семи книг без скидок и оговорок к поэзии можно причислить только одну — «Переменчивый снег» Ольги Бешенковской. В собственном предисловии к своему сборнику (новация, которую мне бы хотелось поддержать, ибо штампованные редакторские аннотации способны отвратить любого читателя) она с большим достоинством сказала о времени и о себе: «...я всегда считала, что публиковать одну книгу надо, написав десять. Впрочем, принцип „выдержанного вина“ устраивал и тех, от кого зависело, быть ли слову молодого поэта в печати...». Это новая поэзия, но отнюдь не поэзия «Новой волны», она вне эксперимента, вообще вне какой-либо целевой установки. Это языковая лава, не отвердевшая под смысловой корой, поэзия, восходящая к первым десятилетиям нашего века, возрождающая музыку недосказанного, фиксацию мимолетного.

Можем ли мы вообще судить о современном состоянии нашей поэзии, если эти стихи, как и многие другие, десятилетиями были отторгнуты от читателя? А сколько еще богатства в наших бездонных вагашниках! Мы уже знаем, что рукописи горят, надо бы еще усвоить, что, вовремя не востребованные, они во многом теряют свою значимость, ибо были призваны и готовы обогатить и скорректировать литературный процесс своего сегодня, а не некоего светлого далека.



ЧИТАЯ «ДЕНЬ ПОЭЗИИ»

День поэзии — 1987.
Л.: Советский писатель, 1987

Каждый раз, беря в руки новый выпуск «Дня поэзии», я испытываю чувство обостренного интереса, нетерпеливого ожидания. Несмотря на то, что в иных случаях чтение этого ежегодника вызывает лишь досаду и разочарование. Думается, объяснение здесь в притягательном характере самого издания, его больших потенциальных возможностях, которые, как говорят факты, реализуются обычно далеко не полностью.

Повышенный интерес к «Дню поэзии» за 1987 год определен временем его выхода в свет — страна отмечала семидесятилетие Великого Октября. Чем порадовали любителей поэзии редколлегия сборника (главный редактор — О. Цакунов) и его составители?

Удачно найдена структура книги. Три раздела — «Факел Октября», «Время, вперед!» и «Свет памяти» — объединены темой Октября и революционного обновления. Это придает сборнику цельность, органичность, распространяющуюся и на третий раздел, на подбор помещенных в нем критических и документальных материалов. Читатель найдет здесь, например, вариант статьи Ольги Берггольц «Вечно юный» — о родном Ленинграде; литературный портрет Анны Ахматовой, написанный М. Дудиным; заметки В. Конецкого «Открытое море» — о трагической судьбе ленинградского писателя-моряка С. Колбасьева, погибшего в годы сталинских репрессий; извлеченные из забытья стихи Ларисы Рейснер; публикации, связанные с литературной жизнью первых революционных лет.

Оправдана составительская инициатива — включение в сборник первопроходцев октябрьской темы. Мы вновь услышали не утратившие своей свежести голоса рабочих поэтов октябрьской поры и ушедших от нас мастеров слова. Однако не прозвучали в «Дне поэзии» голоса Блока и Тихонова! Думается, этот факт лишил подборку важной для нее масштабности, исторического веса. Тем более возникает вопрос: чем могло заинтересовать составителей помещенное в этом же ряду ученически слабое стихотворение Б. Соловьева, нашедшего свое призвание не в поэзии, а позднее, в критике? Ведь при более тщательном подходе можно было обнаружить немало ценного в наследии других поэтов, даже того же поколения...

Противоречивое впечатление остается и от подборки включенных в раздел современников. Есть здесь вещи вполне самобытные (С. Ботвинник, «Живая память Октября»; В. Хрилев, «Возчик»; А. Чепуров, «Голоса Октября»), но есть и разочаровывающие. Конечно, приходится учитывать трудности борьбы с закоренелой болезнью парадности и риторики, продолжающей сказываться в нашей поэтической публицистике. В разделе явно чувствуется стремление преодолеть болезнь, разнообразить жанры и голоса. И все же «дурная публицистика» прорвалась на страницы «Дня поэзии», притом — неожиданным образом. Упрощенно-газетный стиль оставил след на ряде стихотворений даже одаренных авторов (А. Аквилев, «Когда в Неву вплывают корабли»; М. Дудин, С. Орлов, «Авроры залп»). Но настоящий парад риторики состоялся в заключительном цикле раздела, принадлежащем В. Шошину. Искренность пафоса этих стихов, конечно, не вызывает сомнений, но столь же несомненен его поверхностный и книжный характер. О революционном Питере, чувствах народа говорится здесь невыразительным, ходульным языком, уснащенным привычными «поэтизмами» («питерцев песни во все края, радостные, несутся...», «и огненная Питера стихия летит во все края страны большой...»). Вызывает удивление, что члены редколлегии (в состав которой, кстати, входит и автор цикла) не задумались — надо ли печатать эти явно неудавшиеся, видимо, в спешке написанные стихи.

Второй раздел построен строго по алфавиту. Составителям «Дня поэзии» удалось привлечь в него почти всех видных поэтов Ленинграда, поэтическую молодежь. Вклад каждого невелик по размеру, ограничен жесткими правилами «Дня поэзии», что обязывает к осторожности при его оценке, но и на этот раз приходится отметить: в книгу проникли заведомо слабые стихи (З. Дичаров, «Дороги»; В. Дмитриев, «Я доволен своею судьбой»; Г. Симаков, «Конь горяч и тяжел...»). Их

не так много, но, как сорвавшийся голос в хоре, они влияют на общее звучание музыки...

Советская поэзия в целом переживает трудный период поисков и перестройки. Мастера слова ищут новые темы и идеи, обновляют жанры и формы. Ленинградские поэты — участники этого процесса. Какова же реакция «Дня поэзии» на происходящие перемены? Как отразились на его страницах коренные черты времени? Вряд ли возможен сейчас вполне определенный, однозначный ответ на эти вопросы. На предшествовавшем выпуске «Дня поэзии» (как известно, подвергнутом резкой общественной критике) лежала печать успокоенности и инерции. Новый выпуск даже внешне старается выглядеть привлекательней, о чем говорят его оформление, иллюстрации (особенно выразительны линогравюры В. Емельянова). Но, пожалуй, важнее изменения, произошедшие в содержании опубликованных материалов, в новом видении жизни, переосмыслении некоторых традиционных тем. Например, исчезло имевшее место еще в ежегоднике 1986 года увлечение внешними атрибутами в изображении труда и созидании. Взгляд поэта направлен сейчас на другие ценности, на раскрытие духовно-нравственного мира рабочего человека (в стихах М. Борисовой «Времена года», Б. Левина «Катя», Р. Вдовиной «Дед Смирнов», В. Голубева «Печник», М. Воскресенской «Поиск»). Чаще, чем прежде, поэты стали обращаться к теме творчества, духовного, литературного труда (И. Знаменская, В. Крутецкий, В. Шефнер, А. Соколовский, Г. Горбовский, С. Давыдов).

Разнообразно отражена в «Дне поэзии» проблема нравственного очищения, духовного возрождения. Активизировалась сатира (стихи Н. Поляковой, А. Кушнера, С. Давыдова, Г. Некрасова, Л. Мочалова, В. Попова). Однако важны не только предмет сатиры, но и исходные позиции поэта. Не вызывают сочувствия рассуждения автора сатирического цикла В. Попова:

Иные времена, а люди те же,
Иные словеса, а все о том же,
Стучат сердца не чаще и не реже,
И голоса не гуще и не тоньше.

Странная позиция для поэта-сатирика, призванного находить действенные «словеса», способные волновать людей!

«Единый фронт» гуманизма и человечности проходит через стихотворения самых разных жанров, включая и любовную лирику (Г. Пагирев, «Любовь»; В. Слуцкий, «Земное сердце»; С. Давыдов, «Ей двадцать минуло едва»; Т. Галушко, «Вершина»; В. Шефнер, «Платоническая баллада»; Н. Яворская, «Как тоскует, как хлопочет»; В. Голубев, «Поздние дети — большая любовь»). На высоту философского обобщения поднята она у Майи Борисовой («Осенний мед»).

Нельзя не отметить еще одну интересную черту юбилейного «Дня поэзии», осознаваемую не сразу, а на каком-то этапе чтения. Речь идет о своеобразном поэтическом феномене — атмосфере сборника, вещи почти беспредметной, но вполне реальной. Это — атмосфера оптимизма, весеннего обновления, очищения. Особую роль здесь играет образ весны, так или иначе окрашивающий стихи, сближающий их жанры. Конечно, оптимизм бывает разный, светлые краски могут служить и ложным целям. Пример — стихотворение С. Каширина «Края родные», в котором сегодняшняя жизнь страны изображается такими словами:

...Бездонны воды, ясны высоты,
Кругом щедроты родной природы.
Гудит заводы и самолеты,
Везде на годы полно работы.

Щедра землица, добра пшеница,
В селе, столице красивы лица,
Душа стремится с народной слиться,
Как не гордиться, не поклониться!

Как могли попасть в сборник такие строки? Сыграла свою коварную роль инерция старого поэтического мышления. Подлинный оптимизм не боится правды. Это подтверждается и содержанием «Дня поэзии». Большое и весомое место занимают в нем стихи поэтов-фронтовиков, их правдивое слово о бедах и ужасах войны, о грозной опасности атомной катастрофы (стихи С. Ботвинника, Г. Пагирева, Йоле Станишича, В. Азарова, Р. Халида).

Выдающаяся роль в юбилейном ежегоднике выпала на долю М. Дудина, автора самого обширного и, пожалуй, значительного цикла (пятнадцать стихотворений — при обычной «норме» четыре-шесть). Цикл вполне заслуживает такого внимания. В нем как бы сфокусировано содержание книги. Здесь и лирика любви и природы, и раздумья над проблемами морали, и сатира, и воспоминания о войне, и пафос политического бойца...

...Весна полна отваги,
И под ее пятой
Уже кипят овраги
Куривой слепотой.

Ликует, как бывало,
Весенний синий день,
И заблагоухала
Под окнами сирень.

И солнце в окоеме
Льет золотую дрожь,
И на нечерноземе
Не ложь растет, а рожь.

Думается, этими стихами, исполненными подлинного, а не наигранного оптимизма, и следует завершить разговор об этой книге.

А. АМСТЕРДАМ



Д. ЗОЛОТНИЦКИЙ

МЕЙЕРХОЛЬД: ШЕКСПИРИАНА КОНЦА

В феврале 1934 года В. Э. Мейерхольду исполнилось шестьдесят лет. Юбиляра дружно поздравила советская печать. «Правда» писала: «советская общественность отмечает 60-летие со дня рождения крупнейшего мастера советского театра тов. Всеволода Эмильевича Мейерхольда... В. Э. Мейерхольд — один из талантливейших представителей революционного советского театра». Приветственные статьи дали многие газеты. Появились горячие зарубежные отклики. Искусство Мейерхольда, классика режиссуры, было признано повсеместно.

Для мастера пришла пора предварительных итогов. Главное — предстояло решать еще не решенные задачи. Все пооктябрьские годы его звала и страшила постановка двух шедевров: «Гамлета» и «Бориса Годунова». Вот и теперь эта мысль преследовала его. В канун юбилея, осенью 1933 года, режиссер-большевик Мейерхольд проходил партийную чистку и выступил с многочасовым самоотчетом о своем извилистом пути. «Я хочу ставить во второй пятилетке „Гамлет" Шекспира» — делал он заявку на будущее.

Мейерхольд близко подходил к этой цели, прокладывал к ней подъездные пути, но в отпущенный ему срок жизни так и не решился прямо штурмовать твердыни. Быть может, не видел всех исполнителей, способных решить задачу, не считал, что она выношена им во всех подробностях. И еще потому, что ожидал нового здания своего театра, возводимого в расчете на такие спектакли. Этого он не дождался: приказ Комитета по делам искусств при Совнаркоме СССР «О ликвидации Театра им. Вс. Мейерхольда» появился в «Правде» 8 января 1938 года. Вместо театра открылся концертный зал имени Чайковского.

Замысел «Гамлета» зрел всю жизнь. Еще в 1891 году, семнадцатилетним гимназистом, Мейерхольд побывал на пензенских гастролях Н. П. Россова. Шел «Гамлет». В сознание Мейерхольда, как сообщал его биограф Н. Д. Волков, «с тех пор врезалась мечта о „Гамлете"». Потом были разные опыты лабораторного порядка, например, пантомимная отработка двух сцен в студии на Бородинской (1915). Когда свершилась революция и Мейерхольд возглавил Театр РСФСР-1, там планировалась постановка «Гамлета» — сначала в переделке Марины Цветаевой, потом в версии Вл. Маяковского. Замысел был далек от традиций. Актер-современник в роли Гамлета «перед тем как заколоть короля, коротким движением гибкой стальной рапиры сбросит с головы его корону»,— говорил Мейерхольд на собрании труппы. Постановка не осуществилась.

Позже Гамлет Михаила Чехова в МХАТ-2 и Гамлет немецкого гастролера Сандро Моисси вызывали в сознании Мейерхольда глубокие творческие процессы одновременного приятия и отталкивания, вызывая охоту «заострить», полемически преодолеть и таким путем освоить крупные находки искусства. Полемика рождала замыслы, тоже намеренно «заостренные».

19 сентября 1927 года, выступая перед театральными деятелями Ленинграда, Мейерхольд, как сообщал газетный отчет, «упомянул о своем желании поставить „Гамлета", но так, что каждая реплика датского принца будет вызывать смех зрительного зала». Фраза была брошена заведомо дразнящая, вряд ли рассчитанная на буквальное восприятие. Через четыре года Н. Акимов, может быть, присутствовавший на докладе, показал примерно такого «Гамлета» на вахтанговской сцене, и тогда Мейерхольд пришел в ярость. Ему за это время Гамлет успел привидеться еще в нескольких обличьях. В 1930 году он уговаривал Михаила Чехова вернуться на родину и сыграть Гамлета в будущем спектакле ГосТИМа. Воображение режиссера тревожил и образ Гамлета, который могла бы дать Зинаида Райх, как это позволила себе когда-то Сара Бернар, а в России — Лидия Яворская, в Армении — Сирануйш.

Размышления Мейерхольда записал А. К. Гладков, его внимательный собеседник: «Откровенно говоря, я уже в своем воображении поставил несколько „Гамлетов"... Но сейчас я уже решил окончательно: „Гамлет" будет нашим первым спектаклем в новом здании. Откроемся „Гамлетом"! Откроем новый те-

атр лучшей пьесой мира! Хорошее предзнаменование!»

Хотя во все годы жизни ГосТИМа «Гамлет» не исчезал из его перспективных планов, «Борис Годунов» одно время потеснил эту, давно задуманную постановку и вышел вперед: в 1936 году интенсивно репетировались многие эпизоды. Близилась пушкинская годовщина, и Мейерхольд надеялся открыть новое здание театра премьерой, подобающей времени.

Давний интерес Мейерхольда к «Борису Годунову» также достаточно отражен в литературе. О лабораторном характере мейерхольдовских репетиций пушкинской трагедии у вахтанговцев в 1925—1926 годах подробно рассказал их участник Борис Захава. Сохранившиеся записи репетиций в ГосТИМе говорят о том, что десять лет спустя работа набрала сценический размах. В книге «Режиссер Мейерхольд» (1969) Конст. Рудницкий верно отметил «обостренное чувство связи театра Пушкина с театром Шекспира», присущее Мейерхольду. Шекспировская плотная театральность вообще была родовой чертой реализма Мейерхольда, и в те пьесы, где такой театральности не обнаруживалось, мастер, бывало, вносил ее сам, средствами режиссерской драматургии. Впрочем, необходимость возникала не всегда.

«Мистерия-буфф», «Клоп», «Баня» Маяковского были для Мейерхольда идеальными пьесами шекспировского театра современности. До уровня этих пьес он хотел дотянуться и потом признавал, что не всегда достигал цели, особенно в постановке «Клопа»,— ее он собирался ладить заново. «В „Клопе“ есть удивительные смены одного эпизода другим, в которых мы прощупываем лучшие ритмические модуляции Шекспира»,— говорил Мейерхольд, размышляя о будущем своем театре.

Опасней всего для режиссера был поток подражаний. Мейерхольду его эпигоны обходились дорого. Термин «мейерхольдовщина», который он сам полушутя употребил еще в 1910 году, теперь возвращался к нему бумерангом как бранное, зазорное слово. Мейерхольд теперь тоже так — в бранном смысле — его применял, отбиваясь от самозваных соратников, но подчас зря отрекаясь и от одаренных учеников. Но такое уж было время. То, что в наши дни приветствуется как забота о структуре вещи, тогда третировалось как ухищрение формы.

Словом, ставить Пушкина значило для Мейерхольда зачерпнуть из истоков театральности. Первой, давней встречей с «Борисом Годуновым» была режиссерская корректура оперы Мусоргского в Мариинском театре 6 января 1911 года, где еще раньше ставил бывший мхатовец А. Санин. Мейерхольд заменил санинскую детализацию массовых сцен обобщенными группировками однотипных персонажей, рассматривая группы горожан или бояр как единицы действия. Это было воспринято критически как напрасный возврат к стереотипам. Особые нападки рептильной печати вызвали введенные Мейерхольдом приставы с плетями, направлявшие верноподданнические чувства толпы. «Я думаю, что г. Мейерхольд взял приставов из своей еврейской души, а не из Пушкина...»,— писал в «Новом времени» Мих. Меньшиков. Обрусевший немец, лютеранин Мейерхольд не принадлежал к «ихней нации», но находился под подозрением еще долго. Горше всего было то, что не задался единственный случай совместной работы Мейерхольда и Шаляпина.

Весной 1935 года, после январской премьеры «Пиковой дамы» Чайковского в Ленинградском Малом оперном театре, Мейерхольд согласился ставить там и оперу Мусоргского «Борис Годунов» вместе с С. Самосудом, дирижером «Пиковой дамы», смелым искателем, благодаря заслугам которого этот театр прослыл лабораторией советского музыкального спектакля. Появилось и интервью Мейерхольда о задуманной постановке в «Вечерней Красной газете». Работа должна была начаться в сентябре. Но осенью 1936 года Самосуд расстался с Малым оперным.

События толкали Мейерхольда непосредственно к Пушкину. Подготовка пушкинского спектакля развернулась в ГосТИМе.

Верный пушкинскому историзму, Мейерхольд хотел отразить русскую национально-песенную стихию массовых сцен, дать отголоски «мнения народного» в раскатах событий. Сцены развертывались и сменяли одна другую почти с кинематографической логикой, в открыто взвихренном темпе, чтобы зритель мог охватить взором всю динамическую панораму. Постановщика увлекла мощь пушкинского стиха, и поэт Вл. Пяст специально разметил текст в его ритмической инструментовке, в структуре стоп и ударений. Динамика действия, ритмы грубой, живой жизни оттеняли внутреннее смятение одинокого, непонятого, обреченного правителя, который угадывал свое бессилие, тщету задуманных благих преобразований и падал в кольце ожесточенных, злорадных приспешников. Атмосферу действия накаляла суровость войны. Персонажи виделись бойцами — не в кафтанах, а в кольчугах и при мечах.

Репетируя, например, первую картину, Мейерхольд видел Воротынского и Шуйского в ратных доспехах: рослые рубаки только что спéшились и еще не остыли после скачки. Виктор Громов, один из ассистентов постановщика в спектакле, сообщал, что Мейерхольд сравнивал эту сцену с перекличкой воинов в первой картине «Гамлета» и хотел, чтобы суровый пролог предвещал сложный ход трагедии. Девятую картину («Москва. Дом Шуйского») Мейерхольд считал замешанной «на трагических шекспировских дрожжах», десятую («Царские палаты») видел наполненной «шекспировским ужасом».

Спектакль не поспел к юбилею: здание театра все строилось. Из слагаемых зрелища завершено было лишь одно — музыка Серген Прокофьева. По доброй прихоти судьбы эта музыка звучит сегодня в Малом оперном. Она образует почву и воздух пушкинского балета «Царь Борис», идущего там в постановке Николая Боярчикова. В основе партитуры — планзаказ Мейерхольда композитору для спектакля ГосТИМа.

В творческую историю двух крупнейших неосуществленных спектаклей Мейерхольда вместились сразу итоги и начала. Перспектива «Гамлета» просвечивала сквозь образные мотивы замысла «Бориса Годунова», внутри концепции пушкинского спектакля, ее обогащая. Подвижные, переменчивые мечты о «Гамлете» вырастали и в недрах реально сложившегося репертуара ГосТИМа. Неосуществленный «Гамлет» складывался исподволь, по содержательным деталям, по образным значениям, внутри ранее поставленных спектаклей. Мейерхольд был вправе считать, что фрагменты будущего «Гамлета» содержались во всех его постановках последних двадцати лет. «Но я их так хитро спрятал, что вы их не увидите,—говорил он А. Гладкову.—Мой „Гамлет“ — это будет мой режиссерский итог. Там вы найдете концы всего».

Мастер предвкушал и готовил встречи с Шекспиром, Пушкиным, Маяковским. Обновлялись возможности режиссуры в сфере современной политической драмы, начиная от «Списка благодеяний» Юрия Олеши, «Вступления» Юрия Германа и кончая не выпущенным спектаклем «Одна жизнь» по роману Николая Островского «Как закалялась сталь». По-прежнему выпускались постановки русской классики: «Свадьба Кречинского» Сухово-Кобылина, вечер чеховских шуток «33 обморока», новая постановочная версия грибоедовского «Горя уму», третья редакция лермонтовского «Маскарада» в Ленинградской Акдраме, радиоспектакль «Каменный гость»...

Тематическая общность соединяла многие названные работы, общность осознанная, но иногда и невольная, проступавшая явочным порядком из глубины объективно бывших противоречий.

Вполне, должно быть, намеренной была постановка сразу двух пьес, Олеши и Германа, о трагической участи интеллигенции на Западе: то было время, когда фашизм озверело рвался к власти. На сцене отзвуки все той же гамлетовской темы Мейерхольда переплескивались в современность, оборачивались трагикомической чаплинианой (или «чаплинизмом», как выразился Мейерхольд).

Тема «молодого человека XIX века», хрестоматийно увлекшая тогда многих, у Мейерхольда в тот трудный срок трагически двоилась, пропущенная сквозь пелену предощущений художника. За плечами «молодого человека» кривлялась тень игрока,— даже выигрывая игру, он проигрывал судьбу, сам оказывался игрушкой в руках рока. Арбенин-игрок проигрывал смысл и счастье своей жизни. Арбенин-мститель падал сам жертвой отмщения. В Германе — та же смута любви и азарта, та же игра мертвящих условий с живой судьбой. Кульминацией спектакля «Дама с камелиями» была сцена после карточной игры на балу у Олимпии. Выиграв в смысле буквальном, Арман фигурально проигрывал жизнь свою и любовь. Спускаясь сверху по ступенькам крученой лестницы, Арман — Михаил Царев произносил монолог, обличающий Маргерит — Зинаиду Райх, одиноко застывшую в черном на авансцене, наконец, швырял выигрыш ей в лицо. Ассигнации, вспорхнув, стлались по ковру в дрожащем свете бесчисленных свечей. Так ставилась режиссерская фермата в финале четвертого акта. Не забыть, как после этого, словно авторизуя игру актеров, навстречу овации зала шел Мейерхольд. То был рассчитанный пик действия, составная часть театрального зрелища.

А если к этим трагическим судьбам добавить участь Кречинского с его финальным возгласом «Сорвалось!», если мимоходом вспомнить и откровенно комичный отзвук темы в бретере и забияке Смирнове из чеховской шутки «Медведь», если учесть, наконец, что Мейерхольд не раз собирался ставить оперу Прокофьева «Игрок» по Достоевскому — если свести все это вместе, то, может статься, тень игрока, пытающего судьбу в лихую минуту жизни, сгустится и за ссутуленными уже плечами самого Мастера, тема искусства вступит в немую перекличку с автобиографической и едва ли осознанной в таком сокровенном плане темой участи художника.

Обещаний вышло больше, чем исполненных дел, но и надежды несли невоплощенный смысл. Обзор контуров шекспировского и пушкинского спектаклей, нового для Мейерхольда лирического героя — гамлетизирующего молодого человека и скорченной за плечами обоих, героя и режиссера, роковой тени игрока — этот обзор открывает в реально созданных спектаклях подступы к большой цели, стратагемы нового наступления.

Итог минувшему периоду подвела предыдущая премьера: «Последний решительный» Вс. Вишневского. То был и впрямь последний, решительный из осуществленных спектаклей героико-революционного цикла, а по форме — последний опыт в многожанровой традиции «Мистерии-буфф». Случилось так, что Вишневский и Олеша читали свои пьесы труппе в один день — 21 октября 1930 года. «Нам пришлось выступать, как драматургам, вместе»,— писал Вишневский Олеше 19 февраля 1934 года, сухо браня его за сердечную статью «Любовь к Мейерхольду», вышедшую к шестидесятилетию Мастера. Пути двух драматургов, однажды скрестившись, разошлись. Вишневский, творчески более близкий Мейерхольду, ожесточенно подталкивал его к краю пропасти, понося на собраниях и в печати. Разноименные полюса, напротив, сошлись: Олеша, с его надеждой лирика понять деловито проносящуюся современность, остался предан Мейерхольду до конца.

Сохранив черты политобозрения в специфической трактовке Мейерхольда, «Список благодеяний» Олеши стал спектаклем лирической публицистики по образной сути и — впервые на сцене ГосТИМа — выдвинул в центр лирического героя, точнее, лирическую героиню по имени Елена Гончарова. Этой крупной московской актрисе, как ее написал Олеша, показалось тесно в условиях советского строя, она отправлялась на Запад в надежде найти там свободу творчества и личности.

В прологе героиня — ее играла Зинаида Райх — после только что прошедшего спектакля выступала на диспуте зрителей и отвечала на записки из зала. Она еще не успела снять с себя костюм Гамлета, сыгранного последний раз перед отъездом. Гамлет и отъезд попадали под перекрестный огонь. Потом по просьбе публики Гончарова повторяла сцену с флейтой. Хотя актриса и раньше отвечала залу прямо, не таясь, теперь устами Гамлета произносились главные ответы и главные вызовы современникам в зале.

Речь шла о судьбе одной незаурядной актрисы, но ситуация будила память о происшедшем совсем еще недавно. Прежде всего вспоминался отъезд Михаила Чехова, русского Гамлета 1920-х годов, большого актера, который провозглашал примерно то же самое, что и героиня пьесы. Елена признавалась: «мне очень трудно быть гражданкой нового мира», «современные пьесы схематичны, лживы, лишены фантазии, прямолинейны. Играть в них — значит терять квалификацию». Если ее слова сопоставить с теми, что рассказывал Луначарский об ультиматуме уезжавшего Чехова, или с тогдашними берлинскими письмами актера,— реальная жизненная основа темы станет очевидна. Как Чехов, Гончарова отказывалась играть в современных пьесах. А на Западе, как он, трагически разочаровалась в своих наивных иллюзиях...

И гамлетовские, и чаплинские мотивы скрестились в тексте Олеши. Пьеса создавалась в тесном контакте с Мейерхольдом. Не переписывалась уже готовая, как нередко бывало в ГосТИМе раньше, а именно писалась при заинтересованном участии театра. Но каждая мысль, каждая строчка принадлежали Олеше.

Притом и Мейерхольд не способен был повторить исповедь другого, если чувствовал ее чужой. Исповедь Олеши он принял и воспроизвел, прибавив сюда собственную. В ГосТИМе, первом революционном эпическом театре, не было до сих пор спектакля, в герое которого так выразило бы себя «я» режиссера,— не потому, что Мейерхольд и Зинаида Райх осенью 1928 года сами нечаянно чуть не прослыли «невозвращенцами», а прежде всего потому, что тема интеллигенции в революции никогда не была здесь посторонней. Новизна заключалась не в теме, а в лирической ее трактовке.

На диспуте после премьеры Олеша сказал: «постановка Мейерхольда — это второе рождение моего замысла. Я не представляю себе лучшей постановки».

С еще большим правом мог повторить те же слова автор следующей поставленной Мейерхольдом пьесы, Юрий Герман. Многое писателей различало. У Олеши прошла последняя законченная оригинальная вещь для театра. Герман дебютировал на сцене авторской переделкой романа. Олеша придирчиво скупился на слова. Герман рядом с ним казался словоохотлив. Олеша был опытен и знаменит. Герману ко дню премьеры «Вступления» в ГосТИМе — 28 января 1933 года — не исполнилось двадцати трех лет... Но многое писателей и объединяло. Драматургия рождалась в живой близости с режиссурой и испытала большое воздействие идей Мейерхольда.

«Он на ты с молодыми»,— писал о Мейерхольде Олеша.

Герман вспоминал телефонный звонок Мейерхольда:

«— Завтра начнем все с начала. В этой пьесе *мы с тобой* покажем унижение человека рабским трудом, покажем смысл труда, если труд служит обществу. Это будет партийный спектакль, а не малиновый сиропчик. Это будет грандиозно! Положись на меня.

Сердце мое билось,— продолжал Герман.— „Мы с тобой, положись на меня!“ Еще бы мне не положиться на Мейерхольда!»

Пьеса о послевоенной Германии была сверхактуальна по обстоятельствам времени. Ставить такую пьесу Мейерхольду понадобилось еще и из-за недавнего разрыва с Вишневским. Тот забрал из ГосТИМа свою пьесу «Германия» после того, как ее начал кромсать режиссер Ал. Грипич — возможно, по инструкциям Мейерхольда. ГосТИМ рассматривал пьесу как сценарий очередного боевого спектакля. Но Вишневскому больше не хотелось читать о себе статьи вроде тех, какие вызвала премьера «Последнего решительного». Например, П. Марков тогда озаглавил свой отклик «Поражение Вишневского и победа Мейерхольда». Вспоминать не хотелось, повторять тем паче. «*Мейерхольд* исключителен,— замечал Вишневский в одном из писем.— Но я не хочу быть *Мейерхольдом*. Я хочу быть *Вишневским*. Мне три десятка лет, и я сумею, будь я проклят, сделать крупное дело. Я не могу органически подчиняться тончайшей старой культуре *Мейерхольда*».

Пьесу «Германия» Вишневский передал Театру Революции — там она пошла под названием «На Западе бой» в постановке Ильи Шлепянова. Пьеса «Вступление» тоже говорила о Германии в канун оккупации фашистами собственной страны. Мейерхольд спешил. Надо было опередить «Вступлением» премьеру Театра Революции, обогнать по срокам и превзойти качеством. Так и получилось. Вишневский никогда не мог забыть Мейерхольду провала своей пьесы в Театре Революции.

Как и в «Списке благодеяний», во «Вступлении» снова шла речь о судьбах западной интеллигенции, на этот раз не художественной, а научно-технической. Если героиня Олеши из Советской страны попадала за рубеж и там погибала, то герой Германа, профессор Кельберг, из гибельных для него объятий западной цивилизации вырывался в СССР и там воскресал. Сюжетная перекличка едва ли была случайной. «Мою пьесу Мейерхольд выдумал сам. Мне не стыдно в этом сознаться»,— писал впоследствии Герман. Мейерхольд «выдумал» пьесу, прочитав, разумеется, роман. А «выдумав», заставлял Германа писать и переписывать пьесу, будто попутно делясь с ним замыслами пушкинского спектакля («мне одному весь вечер он рассказывал, как поставит в новом своем театре „Бориса Годунова“»,— вспоминал писатель). Режиссер упрямо мечтал о трагедийности современного театра. После премьеры Мейерхольд говорил: «трактуя пьесу Ю. Германа „Вступление“ как трагедию, театр исходил из традиций театра великого Шекспира». Шекспировская «связь времен» не распадалась. Возникала неочевидная, не прямо выстроенная логика шекспировской драматургической структуры.

Особенность такой структуры Мейерхольд определил через три года в докладе «Чаплин и чаплинизм». Ссылаясь на специалистов кино, он говорил о шекспировской природе чаплинского экранного действия: «драма Шекспира построена так, что ее единство не сразу открывается. Персонажи первой сцены говорят и действуют не для того, чтобы подготовить следующую сцену. Вторая сцена наступает сама по себе, повинуясь найденному автором ритму. И „Борис Годунов“, построенный в приемах Шекспира, и пьесы Шекспира сделаны именно так, что каждая сцена не является только служебной для последующей сцены. Она сама по себе строит такой фундамент, на котором образуется уже здание. Но это удается Пушкину именно потому, что он знает тайну последовательного ритмического построения». Начав про Шекспира и Чаплина, Мейерхольд заканчивал про себя, приоткрыл угол собственной мастерской. Ведь и он владел искусством ритмической последовательности, темпизации, ассоциативного монтажа и тому подобными находками режиссерской драматургии.

Во «Вступлении» блестящие находки режиссуры окружала инертная соединительная ткань, и драматургическая, и постановочная. На неровном фоне вспыхивали творческие озарения Мейерхольда. Образцом шекспировских немых страстей спектакля была кульминация пятого эпизода, в доме немолодого немецкого рабочего Ганцке, которого играл Н. Боголюбов. У Ганцке только что погиб сын, участник стачечной борьбы. Его самого выгнали с завода. Недвижный и безучастный, оцепеневший от горя человек машинально подвергался процедуре траурного одевания к похоронам. Манишка, черный сюртук с чужого плеча должны были придать жертве видимость благообразия. Это была чисто мейерхольдовская многозначность образа-маски: человек, который хоронит, уподоблялся еще и тому, кого он хоронит,— так обряжают покойников.

Прекрасно описал этот момент Ю. Юзовский: «Ганцке — Боголюбов замер в трансе, он в столбняке, в сомнамбулическом состоянии, он одеревенел — его одевают, наряжают к похоронам, надевают сюртук, манишку, цилиндр, наконец подносят зеркало, чтоб он одобрил свой респектабельный, приличествующий похоронам вид. Яркая, несколько секунд сверкающая молния зеркала — и Ганцке рассыпается, пробуждается, прозревает, вспыхивает Ганцке, срывает цилиндр, сюртук, манишку,— кричит, зажигает факел: мстить, мстить!»

Агитмаска психологизировалась, обретала поэтическую многозначность, вырастала в метафору, в символ. Сцена облачения Ганцке стала сценой разоблачения «условий человеческого существо-

вания», сценой протеста и призыва. Она принципиально предсказала и один из генеральных приемов Брехта, зеркало Ганцке бросило луч вперед, на «Страх и отчаяние в Третьей империи», на знаменитую сцену облачения-разоблачения кардинала в «Галилее», как ее играл Берлинский ансамбль в согласии с ремаркой драматурга. Один такой эпизод был равноценен новой режиссерской концепции театра, театра психологизированной социальной маски, остраненной метафоры, рационального политического анализа — словом, театра эпического. Ориентир на шекспировско-пушкинскую структуру вел — с поправкой на время — сюда, не к трагедии, а к эпической драме.

То, что Мейерхольд назвал «ритмической последовательностью», потребовало сопоставить сцену у Ганцке со следующей, шестой картиной — встречей корпорантов и сделать получившуюся параллель вершиной спектакля о кризисе западного сознания.

В кафе через четверть века встречались школьные приятели, пили, бессмысленно резвились, все больше чувствуя, как разошлись их пути, какую злую шутку сыграла со многими жизнь. Мраморный бюст Гете олимпийски созерцал банкет мертвецов, натужное веселье фабрикантов, денежных воротил, изолгавшихся нацистов, безработных и неудачников. Кто-то, стыдясь, поворачивал Гете так, чтобы лицо прикрыла тень. Пир во время коричневой чумы... Не сюда ли тянул пьесу театр?

Нагнеталась кульминация немой шекспировской драматургии Мейерхольда. Она ложилась на текст отчаянного монолога Нунбаха — Льва Свердлина, талантливого инженера-архитектора, который когда-то строил небоскребы, а теперь, безработный, торговал порнографическими открытками. Выходки Нунбаха вконец портили вечер. Корпоранты расходились один за другим. Света убывало, только резкий луч вдруг возвращал из полутьмы белое лицо Гете так, что зрители в зале вздрагивали.

Гете входил в строй психологизированных социальных масок действия. По образной логике, по зову «ритмической последовательности» олимпийцу Гете надлежало бы выйти из своей мраморной безмятежности, как взрывалось изнутри оцепенение Ганцке. Ведь и он молча высказывался о связи культур, о связи времен. Но прямолинейности не было в образах спектакля. Эпическая объективация жизни парадоксально допускала лирическое самораскрытие режиссера, его личное раздумье. Не сам ли Мейерхольд вглядывался в непроницаемое лицо, от которого успел отвыкнуть? И не вспоминалась ли ему эта сцена потом, в контексте собственной судьбы, как вещий знак автобиографических предчувствий?..

Лев Свердлин, игравший Нунбаха, идеально воплотил задачу. Содержанием роли становился протест, не прямо выговариваемый, но наступательный и трагичный. Исполнитель, по его словам, «решил воспользоваться приемом биомеханики: я шел, отталкиваясь ногами от пола, и подбрасывал корпус вверх. Пьяное тело как бы падало, а я подбрасывал его толчком ноги, стараясь удержать равновесие. Голова как бы отрывалась от туловища, волосы то падали вперед на лицо, то резко откидывались назад. Все это делалось с темпераментом человека, дошедшего до крайнего исступления. И тогда танец зазвучал в плане трагическом».

Но совсем не посчастливилось спектаклю с образом Кельберга, по замыслу — центральным. Вышла странная ошибка: Мейерхольд обманулся в актере. Роль получил Геннадий Мичурин, недавно приглашенный в ГосТИМ, типажный герой немого кино, а на сцене равнодушный, даже не техничный. Можно было теряться в догадках, что заставило Мейерхольда объявить в интервью: «роль профессора Кельберга играет Геннадий Мичурин, который, несмотря на сравнительно кратковременное пребывание в нашем коллективе, отлично усвоил требования нашего театра». Критика, понятно, не смолчала. Лев Левин, друг и единомышленник Юрия Германа, справедливо находил, что Кельберг в пьесе не получился и сам по себе, независимо от актера. Но добавлял: «...в одном из недавних интервью Мейерхольда было сказано, что Мичурин в этой роли в совершенстве овладел художественной системой театра. Нет, думается нам, художественная система Мейерхольда не такова — даже при самом критическом отношении к ней».

Инсценированная проза молодого писателя содержала все-таки недостаточно предпосылок для шекспиризации. Тем поучительней была режиссерская драматургия Мейерхольда. Режиссер дотягивал, так сказать, и за автора, и за актера.

Он по-прежнему был полон творческих переживаний и надежд, верил, что еще покажет своего «Гамлета». Да в этом мало кто сомневался. Действительно, почему бы не открыть новый ГосТИМ спектаклем шекспировского размаха?

Лишь наиболее проницательные противники улавливали разлад между желаемым и сущим в реальной постановочной практике Мейерхольда. Вот дневниковая запись драматурга Александра Афиногенова, исполненная сама по себе чуть не шекспировских предчувствий:

«Ах, старый волк, матерый зверь. Ты отступаешь, не сознаваясь даже себе, ты дрожишь от холода, подставляя копну волос бурному ветру суровой зимы, ты потерял чувство дороги — мастер, ты гибнешь, засыпаемый снегом, величественный, негнущийся Мейерхольд».

Запись датирована 1933 годом и сделана, возможно, после просмотра «Вступления». «Вступление» расценивалось как отступление. Сложно воспринял спектакль и антагонист Афиногенова Вишневский. В дневнике он ревниво сравнивал спектакль со своей пьесой о Германии. «Я все время сличал свои работы и эту»,— писал Вишневский и признавался, что испытал «комплекс сложных ощущений. Что-то было и за и против». Вишневского привлекли «мейерхольдовская прозрачная манера, музыкальность», «исключительно задуманная пляска Свердлина» в роли Нунбаха, диалог Нунбаха с бюстом Гете. Вишневский принял ключевую философскую сцену политического спектакля, где Мейерхольд ставил лицом к лицу великую культуру Германии и тогдашнюю немецкую «цивилизацию», так измельчавшую в канун нацизма. Все же писатель сопротивлялся и искал просчетов. Его раздумья заключал сокрушенный вздох: «если бы не ряд глубоких осложнений, психологических и политических разногласий, я с Мейерхольдом создал бы *серию* огромных вещей».

Скорее, чем любой из живших тогда советских драматургов, Вишневский мог строить с Мейерхольдом Шекспириану современности. Но обстоятельства судили иное. Первая версия «Оптимистической трагедии» была уже принята театром — но не мейерхольдовским, а таировским Камерным. И опять-таки не было другой пьесы, которая так ответила бы мечте Мейерхольда об эпосе революции. Размолвка с Вишневским нанесла Мейерхольду тяжелую травму. Пустоту, вызванную потерей «Оптимистической трагедии», заполнить было нечем. Открытая рана зияла, не заживая. Кто знает, как сложилась бы участь ГосТИМа, если бы Вишневский остался его автором?

А Вишневский недаром размышлял о мейерхольдовском «Вступлении», о своей еще не сыгранной «Оптимистической» в статье «О современниках и Шекспире», где текущие заботы драмы сопрягались с именем Шекспира. В самом общем и последнем счете мысли Мейерхольда и Вишневского о потребностях искусства продолжали двигаться рядом.

Но Вишневский по сути дела справлял тризну — и в том неожиданно сходился со своим всегдашним противником Афиногеновым. Можно сколь угодно сожалеть об утратах советского театра из-за «перечня болей, бед и обид» Вишневского и Мейерхольда. Очевидно, впрочем, что не Мейерхольд был тому главной причиной. Это Вишневский списывал его в прошлое,— сам Мейерхольд пробовал вернуть драматурга, ухватиться за него, как за якорь спасения, в тяжелые времена. «Мейерхольд засылает ко мне „разведчиков",— то привет, то намеки: пишу ли пьесу, кому дам?» — помечал Вишневский в дневнике 6 мая 1937 года. Какой был ответ? О том известила печать:

«Вчера на общемосковском собрании драматургов Вс. Вишневский сообщил, что он получил третьего дня от В. Э. Мейерхольда телеграмму, в которой руководитель ГосТИМа предлагает Вс. Вишневскому возобновить совместную работу и дать театру пьесу к 20-летию Великой пролетарской революции.

Пользуясь трибуной вчерашнего собрания драматургов, Вс. Вишневский ответил, что он охотно возобновит старое сотрудничество, если В. Э. Мейерхольд открыто выступит перед художественной общественностью столицы и расскажет о своих формалистических ошибках, которые изолировали Мейерхольда от советских драматургов и привели его театр к тупику».

После такого ответа рассчитывать на сотрудничество не приходилось.

Правда, 20 июня, перед отъездом в Испанию, Вишневский все же навестил Мейерхольда. С. Эйзенштейн и С. Вишневецкая уговорили драматурга, по его словам, «помириться с Мейерхольдом. Старик в тяжелом творческом кризисе. Хочет меня видеть... Были втроем у него... Пригласил меня к себе в театр. Надо помочь...» В театре Вишневский побывал только 14 ноября, смотрел там репетицию «Одной жизни» — последней, задушенной работы режиссера в его театре. «В конце побеседовали... Мейерхольд, прощаясь, поцеловал меня... Он очень одинок... Условились о встрече». Для помощи, для встреч уже не оставалось времени,— Мейерхольд напрасно объявил Вишневскому, что поставит у себя в театре сценарий «Мы, русский народ».

Вышло так, что после «Вступления» Мейерхольд три года кряду не ставил современных пьес. В январе 1937 года, отложив репетиции «Бориса Годунова», он запустил в работу «Наташу» Лидии Сейфуллиной.

С одной стороны, становилось очевидным, что новое здание ГосТИМа не откроется к пушкинской годовщине,— а «Годунов» ставился в расчете на новые возможности сцены. Столетие смерти Пушкина театр отметил наскоро и притом несколько официально, своего рода «экстренным спектаклем». Вспомнив о радиопостановке «Каменного гостя» (1935), Мейерхольд перенес ее на сцену. Текст сопровождала музыка В. Шебалина, насыщенная ритмами испанской танцевальности. Зато ничего испанского не было в оформлении, заимствованном из спектакля «Горе уму». Там проходили мотивы пушкинской эпохи, к ним добави-

лись приметы торжественного заседания: «бюст Пушкина посередине сцены, бюсты Ленина и Сталина у порталов»,— сообщал отчет.

Репетиции «Годунова» были свернуты все же из-за неотложной необходимости в современной пьесе прежде всего. О запущенной в работу «Наташе» писали с надеждой. Но полгода спустя и в выборе пьесы усмотрели подвох. Одна из анонимных статей газеты «Советское искусство» уличала режиссера: «Мейерхольд вынужден был признать, что произведение Сейфуллиной извращает советскую действительность и политически вредно». В тот же день в «Правде» появилась известная статья П. Керженцева «Чужой театр». Судьба ГосТИМа была предрешена, и теперь о грехе Мейерхольда с «Наташей» писали еще свободнее:

«Он усиленно добивался постановки контрреволюционной пьесы Эрдмана „Самоубийца“, он подготовил постановку пьесы Сейфуллиной „Наташа“, где советское крестьянство было представлено как некая страшная, реакционная сила. Эти спектакли были запрещены». Мейерхольд не мог возразить, что на постановку «контрреволюционной» пьесы Эрдмана посягал еще и Станиславский и тоже не преуспел. О мере беспрепятственных преувеличений позволяет судить хотя бы последняя фраза приведенного отрывка. О каких запрещенных спектаклях — во множественном числе — могла идти речь? Из самого текста следует, что ставилась одна «Наташа». А судить о пьесе мог всякий читатель: журнал «Новый мир» уже напечатал ее в июньской книжке 1937 года.

Теперь заодно прорабатывали и пьесу. А что именно ей инкриминировали, видно из такого, например, демагогического рассуждения: «колхозники выступают с государственными речами на кремлевской трибуне, учатся в академиях, водят самолеты, раздвигают границы человеческого знания, добиваются сказочных урожаев и вызывают у всего мира восхищение искусством своих песен, картин, скульптуры, вышивки». Такую версию действительности излагали М. Мирингоф и Г. Фалковский на страницах «Известий» в январе 1938 года. А вот в «Наташе», негодовали они, «так же, как и раньше, дики страсти, так же безудержны низменные чувства людей... Только извращенная фантазия могла нарисовать эту исступленную дикость и фанатическую темноту в колхозной деревне». Постановщику подобной пьесы было несдобровать.

Пролог «Наташи» (бесчинства банды «зеленых» в 1920 году) обещал события народной драмы. Проходило четырнадцать лет. Кулаки, сфабриковав некую «обновленную» икону, будоражили народ, подстрекали колхозников к бунту. Толпа, раззадоренная кликушами, казалась страшной. То обстоятельство, что икона «обновилась» не в колхозном, а в единоличном доме, оборачивалось наивным доводом против колхоза, против активистки Наташи Соколовой. Шла сцена дикой расправы над Наташей. Могучая крестьянка Фетинья, размахивая косой, отбивала у толпы подругу — соперницу. Вбегал парнишка с криком: «партейных а одну избу заманули, заперли. Двое было вылезли, сюда бегли...»

Примерно в те же дни, когда репетировал Мейерхольд, подобное происходило у Эйзенштейна в кино. «Приказом по Главному управлению кинематографии работы по постановке фильма „Бежин луг“ приостановлены»,— сообщает летопись жизни и творчества Эйзенштейна под датой 17 марта 1937 года. Сталин приказал ленту смыть. Приказ выполнили буквально. Десять дней спустя Вишневский пометил в дневнике: «у Эйзена много замечательных кусков... В целом: Жакерия в СССР в данное время. В этом порок: где были редакторы, ГУК и пр.?» Понятно, что и Театр Революции прекратил репетиции пьесы А. Ржешевского «Бежин луг», начатые весной 1936 года.

8 марта 1940 года на экраны вышел фильм А. Зархи и И. Хейфица «Член правительства», героиню которого Александру Соколову играла Вера Марецкая. По странному стечению обстоятельств эта героиня оказалась однофамилицей сейфуллинской Наташи. Впрочем, совпадение могло быть и не случайным. Биограф Сейфуллиной Н. Яновский, правда, без особых доказательств, назвал «Наташу» прямой предшественницей признанного фильма. Пьеса и фильм действительно перекликались.

Спектакль Мейерхольда о судьбе народной распадался на две неравные и неравноценные части. Одна шла от драматического эпоса и приближалась к конфликтной глубине «Бежина луга», другая робко предваряла мотивы «Члена правительства». Взрывчатой силы народной драмы не приглушил компромиссный финал. Но страсти современной колхозной «жакерии» обернулись запретом постановки.

Мейерхольд мужественно перенес и этот удар. Он обратился к роману Н. Островского «Как закалялась сталь» с тем, чтобы развернуть его на сцене в последовательно пушкинском плане народной драмы. Мастер ставил перед собой большие, настоящие задачи. К. Рудницкий справедливо определил выбор Мейерхольда как возвращение к себе: «попытки компромисса, который он искал, когда ставил „Наташу“ Сейфуллиной, были отброшены. На этот раз Мейерхольд твердо решил не изменять себе». Что не избавило от трудностей, а их усугубило.

История последней завершенной постановки Мейерхольда в его театре, тоже не увидевшей света, была осложнена бесчисленными препятствиями, вплоть до того, что перед началом репетиций пришлось отказаться от одной инсценировки и заказать другую.

Режиссер искал свободные ассоциативные ходы действия, подсказанные образной логикой романа. Результатом должна была стать не «хорошо сшитая пьеса», а сценарий спектакля с вольной переброской эпизодов, монтажными ритмами чередующихся сцен, где эпическая дума о подвиге вдруг перебивалась надсадным монологом-поступком, диалогом-схваткой — отзвуком мук, в каких подвиг творился. Другими словами, продолжались кровные для Мейерхольда поиски пушкинского, шекспировского спектакля современности.

Постановочная логика уводила инсценировку от иллюстративности. Свободное развитие характеров, однако, вызвало у инсценировщика В. Рафаловича досаду. Он снял нафантазированные Мейерхольдом эпизоды и отдал текст в другие театры.

Мейерхольд стоял на своем. Он обратился к киносценаристу Е. Габриловичу. Но все-таки с инсценировкой Мейерхольду не очень везло. Побывав на рядовой репетиции, Вишневский почти примирительно отмечал в дневнике: «смесь слабой драматургии и сильнейших режиссерских мизансцен...»

Притом именно Габрилович полнее многих запечатлел образные решения Мейерхольда. Такова была, например, сцена в бараке, когда больной и смертельно усталый Павел Корчагин — Евгений Самойлов подымал на строительство железнодорожной ветки своих товарищей, тоже бесконечно усталых, голодных и злых. Это был образец мейерхольдовского «духоподъемного», революционного искусства, это был не переводимый словами чистый и высокий язык героического театра, одушевляющий актера, зажигающий зал.

Мейерхольда увлекла молодая героика духа. В интервью «Комсомольской правде» он сообщал, что ставит «поэму о мужестве и стойкости нашей молодежи». И хотя прекрасных режиссерских деклараций, как все знают, куда больше, чем сносных спектаклей, на этот раз имелось все для того, чтобы замысел и результат совпали. Все, кроме доброй воли администраторов от искусства.

В канун двадцатилетия Октября спектакль просматривала комиссия Главреперткома. Она сочла спектакль недостаточно праздничным, но не возражала, чтобы после праздников он вышел к зрителям. Да, в Шекспириане современности, какую создавал Мейерхольд, было много смертей, были подвиги самоотречения, герои шли на жертвы во имя идеи, под конец мужественно умирал обреченный болезнью Павел Корчагин.

19 ноября состоялся второй и последний просмотр — для Комитета по делам искусств. Трагедия в подаче Мейерхольда показалась не оптимистической. П. Керженцев занял позицию резкого неприятия и задал тон обсуждению: оно стало разгромным. Сумму политических обвинений Керженцев бестрепетно изложил, как упоминалось, в статье «Чужой театр», напечатанной 17 декабря. Там перечеркивалось все творчество Мейерхольда и руководимого им коллектива, а об «Одной жизни» говорилось:

«Спектакль оказался позорным политическим и художественным провалом. Типические черты эпохи гражданской войны — пролетарский оптимизм, бодрость, идейная устремленность, героизм революционной молодежи — не нашли никакого отражения в спектакле... В результате получилась политически вредная и художественно беспомощная вещь».

Если бы в статье Керженцева было чуть меньше «усилителей», возможно, она кого-нибудь бы и убедила,— а так предвзятость была очевидна. Это у Мейерхольда типические черты гражданской войны «не нашли никакого отражения»?.. Полно, такого быть не могло. И не было.

Впрочем, очень скоро в прошедшем времени пришлось уже вспоминать и о Керженцеве, нанесшем советскому искусству непоправимый урон. 19 января 1938 года сессия Верховного Совета СССР освободила его от обязанностей председателя Комитета по делам искусств. Мавр сделал свое дело... В июне 1940 года газеты кратко уведомили о его смерти: он пережил В. Э. Мейерхольда на четыре месяца...

20 июня 1939 года Мейерхольд был арестован в Ленинграде и доставлен в Москву, на Лубянку. Ему были предъявлены надуманные, чудовищные обвинения. Следствие велось с нарушением элементарных норм законности, что не помешало следователю преуспеть в своей карьере и благополучно закончить жизненный путь в генеральском чине.

2 февраля 1940 года Мейерхольд погиб.

На грани реальности прошла последняя встреча Мастера с Гамлетом — с Гамлетом его юности. Через несколько дней после того, как закрыли ГосТИМ, визит сочувствия нанес Мейерхольду старый трагик Н. П. Россов, тот самый Россов, который когда-то в Пензе дал толчок мейерхольдовой мечте о шекспировском театре нового века. Может быть, в минуту, когда Россов перешагнул порог его дома, Мейерхольд окончательно понял: круг замкнулся...



Они были первыми

Ал. САВЧЕНКО

ПОТОМОК ДЕКАБРИСТА

«Пестель имеет ум, в который извне вливаются вольнолюбивые внушения»,— так отзывался о будущем декабристе директор Пажеского корпуса. В течение четырех отроческих лет мальчик обучался за границей, в Германии, и при возвращении на родину сразу же попал в выпускной класс этого привилегированного учебного заведения. Юноша не стеснялся открыто порицать крепостное право, толковать о равенстве. Но тем не менее имя Павла Пестеля как первого по успехам выпускника было выбито на мраморной доске.

Грянул 1812-й. В составе лейб-гвардии Литовского полка молодой прапорщик двинулся навстречу военной грозе и получил боевое крещение в Бородинском сражении. Фельдмаршал Кутузов наградил его прямо на поле боя золотой шпагой с надписью на эфесе: «За храбрость».

После восьмимесячного лечения, с незатянувшейся раной, двадцатилетний Пестель, уже подпоручик, поспешает вослед действующей армии и вновь отличается в сражениях под Дрезденом, Лейпцигом и Парижем. Пятью орденами отмечены его ратные заслуги.

В 1814 году адъютант главнокомандующего возвращается в Россию из заграничного похода. Штаб генерала графа Витгенштейна дислоцируется в столице Курляндского герцогства Митаве (ныне Елгава). Генерал доволен своим адъютантом, считая, что Пестель всюду был бы на месте — и на посту министра, и во главе армии. С одинаковым успехом он мог бы стать также дипломатом или разведчиком. А готовился стать законодателем революции...

В Митаве герой Отечественной войны впервые полюбил, но отец Павла, Иван Борисович, генерал-губернатор Сибири, оставался непреклонным. В документах следственной комиссии по делу декабристов есть его письмо к сыну от 22 октября 1815 года, где он с гневом отвергает просьбу о благословении брака. В 1818 году Павла Пестеля переводят на новое место службы — на Украину, в Тульчин. В Митаве остается любимая женщина с двухлетним внебрачным сыном... Все хлопоты Павла Ивановича об усыновлении собственного сына с правом наследования им имени и дворянства разбивались о несогласие деда — царского вельможи — признать мальчика своим внуком. Лишь в 1821 году, когда царю понадобился храбрый офицер для «деликатного» поручения — тайной встречи с вождем восставших греков Александром Ипсиланти, дело об усыновлении внебрачного ребенка, кажется, сдвинулось с мертвой точки...

Министр иностранных дел Нессельроде поинтересовался:

— Какой дипломат составил столь проницательный документ о положении Греции?

— Не более и не менее как армейский подполковник. Да, вот какие у меня служат в армии подполковники,— ответил Александр I.

Вскоре Пестеля произвели в полковники.

Когда же после восстания 14 декабря он был арестован и затем казнен, судьбу его сына решал уже другой император. Мальчика по высочайшему повелению отобрали у матери и назвали Иваном Ивановичем Ивановым, поместили в казенный пансион для воспитания из него верноподданного, а все документы, связанные с его рождением и хлопотами отца о нем, Николай I приказал уничтожить...

Сын Ивана Ивановича, Василий, окончил Юрьевский университет (сейчас Тартуский) и преподавал во Второй петербургской гимназии историю.

Он был отцом Модеста Иванова — первого красного адмирала. До свержения самодержавия капитан первого ранга Модест Иванов окончил не только Морской корпус, но и Академию, командовал крейсером «Диана», прославился в русско-японскую войну личной отвагой и был известен с тех пор как перспективный флотоводец, продолжатель морской науки Ушакова и Нахимова. Из поколения в поколение переходило семейное предание о том, что они, Ивановы, потомки руководителя Южного общества декабристов, стоявшего за революционную диктатуру на время переходного периода, за республику — в отличие от членов Северного общества, мысливших будущую Россию конституционной монархией... И именно ему, Модесту Иванову, довелось увидеть ту Россию, ради которой не пожалел жизни, пошел на эшафот его прадед — легендарный Пестель.

В феврале семнадцатого он становится выборным командиром второй бригады (в нее входил и крейсер «Аврора»). Корректный, но не заигрывающий с нижними чинами, нетерпимый ко всяким проявлениям разгильдяйства, сам человек высоких моральных установок, Модест Васильевич пользовался у революционно настроенных матросов огромным авторитетом и абсолютным доверием. Когда в августе пришел приказ Временного правительства о смещении его с должности и увольнении в отставку, матросы на митинге в Гельсингфорсе принимают лаконичную, но емкую резолюцию: «Всякого другого, вместо него назначенного, выбросить за борт!».

К тому времени в списках российского флота значилось восемь тысяч триста семьдесят офицеров и адмиралов. Все они давали присягу на верность царю и Отечеству, и никто их от этой присяги не освобождал, так что ломка убеждений была для них не менее, если не более мучительной, чем для их прадедов на Сенатской площади в декабре 1825 года. И все же большевики с первых же дней Советской власти поручили именно ему, бывшему царскому офицеру, Военно-Морской флот Республики, назначив председателем Верховной морской коллегии с чрезвычайными правами. 22 ноября 1917 года состоялся I Всероссийский съезд военного флота, в его работе принимал участие Ленин. Съезд постановил: «За преданность народу и революции, как истинному борцу и защитнику прав угнетенного класса, присвоить Модесту Иванову звание контр-адмирала»...



М. В. Иванов

В марте 1921 года по поручению Ф. Э. Дзержинского первый советский адмирал организовывает охрану морских рубежей Страны Советов, являясь членом коллегии ВЧК...

Потом — служба в Балтийском морском пароходстве, Черноморском... Председательство в третейском суде — своеобразном арбитраже в Ленинградском морском порту. Плавания на «купцах» к берегам Американского континента, вывоз детей испанских республиканцев. 7 мая 1936 года Иванов награжден ЦИК Украинской ССР знаком отличия «Герой Труда». В 1939 году на пароходе «Анатолий Серов» он совершил рейс из Ливерпуля в заполярный Мурманск. Было это накануне второй мировой войны. В феврале сорок второго не хватило сил добраться до своего рабочего места — умер от истощения неподалеку от известного всем морякам дальнего плавания «красного» здания, где сейчас находится Управление порта. Первого красного адмирала опустили в братскую могилу в том самом кителе, в котором он когда-то прибыл в Смольный из Гельсингфорса на прием к Ленину...

А в мае 1974 года вышел в свой первый рейс из Одессы на Японию крупнотоннажный теплоход «Капитан Модест Иванов»...

В начале тридцатых годов на лицевой стороне советских монет помещался герб СССР, окруженный лозунгом «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!». Начало и конец лозунга разделялись черточкой. На оборотной стороне — изображение рабочего-молотобойца, надпись «Союз Советских Социалистических Республик», цифры номинала в копейках и дата чеканки: 1931, 1932, 1933, 1934.

Цифры получились сравнительно малыми и незаметными, и вскоре рисунок оборотной стороны был признан неудачным. Работникам Ленинградского монетного двора дали задание срочно переделать внешний вид монеты. Автором нового изображения оборотной стороны — с квадратным щитом и крупными цифрами номинала — стал помощник главного медальера Монетного двора художник и скульптор Владимир Владимирович Голенецкий.

Монеты изготавливались из белого медно-никелевого сплава достоинством в 10, 15 и 20 копеек. Они чеканились с 1935-го по 1941-й и с 1944-го по 1960 год в Ленинграде, а в 1942—1946 годах, во время эвакуации Монетного двора,— в уральском городке Краснокамске. Этот так называемый «тип 1935—1957 годов» был сменен при обмене денежных знаков в 1961 году. В 1941 году было выработано и несколько 50-копеечных экземпляров такого же типа. По-видимому, ввиду начавшейся Великой Отечественной войны они не были пущены в серийное производство.

Занимаясь историей чеканки и обращения советских монет в конце шестидесятых годов, я встречался с несколькими старыми сотрудниками Монетного двора и в том числе с Голенецким.

По моей просьбе он написал несколько страниц воспоминаний о работе на заводе. В моем личном архиве сохраняется их текст, перепечатанный мной на машинке и подписанный Владимиром Владимировичем 1 декабря 1970 года (он скончался 6 апреля 1976 года).

Вот эти воспоминания, сопровожденные моими комментариями.

М. ГЛЕЙЗЕР

Владимир ГОЛЕНЕЦКИЙ

ВОСПОМИНАНИЯ МЕДАЛЬЕРА

Я родился седьмым ребенком 8 апреля 1906 года в городе Зайсане Семипалатинской области на китайской границе, где в то время мой отец Владимир Николаевич работал управляющим таможней. В 1912 году мы переехали на германскую границу в город Тауроген. В 1914 году в первый день объявления войны бежали от немцев в город Казань, где я учился в коммерческом училище. В 1917 году отец получил назначение в Самаркандскую таможню на границе с Бухарой (Бухарское ханство с 1868 года входило в состав Российской империи на правах вассального государства.— *М. Г.*). После Октябрьской революции он был выбран комиссаром этой таможни, о чем я узнал в 1937 году, когда мать прислала мне заверенную справку об этом из самаркандского архива.

Летом 1918 года отец умер от туберкулеза, мать стала работать в театре артисткой, а я, получив полную свободу, проводил время в Старом городе среди живописной толпы, мазанок и старинных мечетей.

В 1919 году я стал ходить в Художественную школу, открывшуюся в то время в Самарканде, и с ней на лето уехал за город в одно из конфискованных поместий, где была организована художественная коммуна. По возвращении в город я уже серьезно занялся рисованием и ходил на зарисовки в Старый город, старинные мечети Шахи-Зинда, Биби-Ханум и другие, а также на базары и в кишлаки. Скульптурой я начал заниматься, когда у нас появился застрявший в России скульптор чех Карл Карлович Соучек, от него я получил первые знания о лепке вообще, лепке прямо из гипса и о формовке. Позже я узнал, что в Ашхабаде (в то время Полторацк) в ведении политотдела 1-й армии существует «Ударная школа искусств». Оформившись добровольцем в армию, я был откомандирован в эту школу. Кроме занятий по рисунку и живописи, мы ездили делать росписи в казармах Туркестанского военного округа в пограничных с Персией (теперь Иран) районах, а также в крепости Кушка на афганской границе. С переходом школы в ведение отдела народного образования она стала именоваться Школой Искусств Востока.

Это был период занятий и этюдов в окрестных кишлаках и Фирюзинском ущелье (дорога в Иран). Кроме того, нам был предоставлен вагон для поездки по краю для зарисовок. Мы побывали на Безмеинском подземном озере, Соленом озере (грязевый санаторий), в горном селении Нухур, Нефтедаке (в то время — песчаные дюны и две полуразвалившиеся вышки), заливе Кара-Богаз-Гол на Каспийском море и в Красноводске с его портом и «городским садом» из двух саксауловых кустов и двух скамеек возле них.

Возвращаясь в Ашхабад, мы в Красноводске погрузили в вагон алебастр для скульптурной резьбы и для изготовления гипса. Глину мы в предоставленном нам вагоне привезли из Самарканда с горы Чабан-Ота на берегу реки Зеравшан.

С этого времени мы могли заниматься скульптурой — как резьбой по камню, так и лепкой.

В 1923 году мы всей школой поехали через Красноводск по Каспийскому морю до Баку и дальше через Ростов-на-Дону до Москвы. В столице мы расписывали Туркестанский павильон на сельскохозяйственной выставке, а в свободное время осматривали тогдашнюю столицу с ее Сухаревкой и Охотным рядом, где можно было купить живого зайца или лису и всевозможных птиц. По окончании работы на выставке мы занялись осмотром московских музеев.

В 1925 году я и несколько товарищей взялись за изготовление пяти карт бывших колониальных владений по сорок квадратных метров каждая и на полученные за это деньги уехали в Ленинград поступать в Академию художеств.

Я держал экзамен на скульптурный факультет. На лепку было дано три



В. В. Голенецкий

дня, лепили полуобнаженную женскую фигуру, и столько же времени дали на рисунок — рисовали Венеру Милосскую.

Экзамен я сдал и был принят на скульптурный факультет. При выборе специальности на третьем курсе выбрал медальерный класс. Медальерное дело преподавал А. Ф. Васютинский [1]. Осенью 1930 года я окончил Академию художеств и стал работать на Монетном дворе, поскольку был его стипендиатом: первые четыре месяца — как стажер, знакомился с производством и с копировальной машиной «Жанвье», гравировал штемпель по стали с медали Шаплена. Эта медаль — «Аллегория Франции» — многопланова: первый план — женская голова, второй — дуб с веткой над женской головой, третий — вид на реку Сену с мостом через нее, четвертый — дальний вид Парижа. Дело в том, что Васютинский по окончании Академии художеств получил заграничную командировку и с 1889-го по 1893 год занимался в Париже у медальера Шаплена.

В дальнейшем я работал медальером и помощником главного медальера завода вплоть до смутного 1937 года, когда попал в список из девятнадцати человек, увольняемых «по сокращению штатов» с Монетного двора: вспомнили строку о польских родственниках за границей в анкетах, заполненных мною в 1928-м и 1930 годах,— замужняя сестра в Польше и брат-эмигрант где-то в Европе.

Примерно в 1932-м или 1933 году я, в то время помощник главного медальера Монетного двора, получил из Москвы существовавший тогда образец ордена Ленина. Выглядел он так: барельеф на фоне заводских труб и трактора, изображение обрамлено колосьями, внизу надпись «СССР». Изготавливался он в Москве из пустотелой серебряной пластины, с тыльной стороны к ней была припаяна планка с винтом.

Монетному двору было предложено представить новый образец. Мне было известно, что над проектом работает ряд художников в Москве и в Ленинграде, но орден все не утверждался. В конце концов директора Монетного двора и Васютинского вызвали в Москву. Они были на приеме у Сталина в присутствии Ворошилова и других.

— Почему до сих пор не можете сделать хорошего образца ордена Ленина? — спросил Сталин.

— Нам на изготовление образца дают только три дня,— объяснил Васютинский.

— Сколько вам надо?

— Месяц.

— Хорошо.

После этого разговора

---

[1] Антон Федорович Васютинский (1858—1935) окончил Академию художеств в 1888 году. Работал на Монетном дворе с 1893 года. 27 октября 1908 года Академия художеств присвоила ему звание академика. С 1922 года — управляющий медальерной частью завода, с 1935-го — художник-консультант Монетного двора.

Васютинский предложил Сталину сделать с него портрет, но Сталин только рукой махнул, тогда Васютинский возмущенным тоном заявил: «Как вы смеете отказываться!». И после небольшой паузы заявил под аплодисменты присутствовавших: «Ведь вы не ваш — вы наш!». После той беседы тогдашний нарком финансов Г. Ф. Гринько назначил Васютинскому персональный оклад.

Васютинский сделал лепку ордена, с нее получили гальванопластическую модель и поставили ее на копировальную машину. Размер ордена Васютинский установил лично и проверил на машине. С копировальной машины сняли маточник — уменьшенное изображение ордена в заданную величину на стальной поковке. Васютинский его прошел (техническое выражение.— *М. Г.*), а когда передавал мне для закалки, я случайно уронил его, и на щеке Ленина образовалась мелкая забоина. Я, как и граверы, не придал значения этому: устранить такой дефект в форме — дело десяти минут. Но Васютинский решил подстраховаться и заявил в заводоуправлении, что я испортил маточник и что ему нужно дополнительное время. Мне объявили выговор «за срыв работы». На следующий день выяснилось, что Васютинский взял меньший размер, чем установил Сталин, и директор приказал получить с модели маточник большего размера мне. В Москву были посланы два образца ордена: Васютинского и тот, что получил с машины и проходил я.

Москва утвердила второй. С меня, конечно, выговор сняли. А орден с этого времени стали делать из золота, так как Сталин сказал: «Если отправляем вагонами золото за границу, то можем оставить себе несколько пудов».

То, что кто-то потом вносил поправки в портрет Ленина на ордене, как и я при прохождении маточника, по моему мнению, не является правом на соавторство...

Мне было также предложено представить новый проект ордена Трудового Красного Знамени.

Представленный мной рисунок одобрил А. С. Енукидзе[1], но с неприятной для моего самолюбия пометкой: «не „соединяйтеся“, а „соединяйтесь“». По этому рисунку был сделан и утвержден образец, после чего Монетный двор запустил орден в серийное производство...

Из Москвы была прислана и фотография центральной части ордена Красной Звезды — фигура красноармейца, увеличенная в десять-двенадцать раз. На фотографии фигура красноармейца в положении «К бою — готовьсь» выглядела неправдоподобно и неграмотно. Мне было поручено переделать ее. Я отыскал в соседней воинской части стройного красноармейца и вылепил его с натуры в нужном положении, а затем уменьшил изображение до необходимого размера на стальной поковке и передал для гравировки и вырезания звезды, а также набивки на ней надписи...

Однажды (в 1934-м или 1935 году.— *М. Г.*) меня вызвали к директору (в то время И. В. Балашов), у которого сидел главный инспектор Народного Комиссариата финансов Хволес. Мне было сказано, что Сталин недоволен существующей монетой достоинством в 10, 15 и 20 копеек (фигура рабочего и щит с изображением цифры) и что монета должна быть красивой и настолько четкой, чтобы и слепой мог ее «читать». При этом лицевую сторону надо было сохранить.

Мне было предложено представить новые рисунки. Из представленных мною рисунков были рисунки с отверстием посередине монеты, чтобы их можно было носить на веревочке (возможно, эта идея родилась под влиянием рисунка, утвержденного для жетонов Московского метро образца 1935 года, чеканившихся с отверстием в центре, согласно техническим требованиям опытных турникетов для прохода людей.— *М. Г.*). Однако этот вариант сразу отпал, так как кто-то сказал, что будут острить, будто «наши деньги с дыркой». Были рисунки с годом, заключенным в круг. Был и такой: квадратный щит с цифрой, на его фоне изображена дубовая ветка, а внизу год (по этому рисунку были сделаны образцы, вскоре утвержденные и пущенные в производство). Были варианты с вогнутыми и рифлеными цифрами и буквами, а в утвержденном эскизе они стали выпуклыми. Изготовленные образцы, укрепленные на картоне, послали в Москву. Утверждали их, видимо, семь инстанций — судя по количеству подписей. Последнюю подпись — букву «С» карандашом поставил Сталин.

Когда Монетный двор напечатал (технический термин, вместо «отчеканил».—*М. Г.*) достаточное количество этой монеты, чтобы удовлетворить потребность банков всего Советского Союза (это утверждение неверно, так как для подобной работы потребовалось бы не менее двух лет.— *М. Г.*), мною совместно с П. В. Латышевым[1] было сделано описание ее и послано во ВЦИК СССР для издания закона об образце монеты.

Но через несколько дней из Москвы поступило распоряжение прекратить чеканку.

Из Москвы приехал заместитель наркома финансов Маргулис, и было созвано расширенное совещание всей администрации Монетного двора с присутствием главного медальера и всех начальников, вплоть до мастеров. Был на нем и я. Прежде всего Маргулис обратился к Васютинскому: как могло случиться, что на монете нет надписи «СССР»? Тот ответил, что он в это время болел и что это его помощник, то есть я, проштрафился.

Тогда заместитель наркома с этим же вопросом обратился ко мне. Я сказал, что, во-первых, подавал рисунки Хволесу с надписью «СССР» и без нее и, во-вторых, не считаю, что необходима надпись «СССР», так как на монете есть наш герб и что на царской монете, английской, польской и прочих тоже нет названия страны, а только национальный герб.

Но с моим объяснением не согласились, и нами была введена надпись «СССР» — ниже герба вместо черточки, разделяющей начало и конец лозунга «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!». Этот образец послали в Москву. Но и он не был утвержден, так как Сталин приказал убрать лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» и оставить только герб и аббревиатуру «СССР».

Когда новый образец был, наконец, утвержден и началось печатание новой монеты, вдруг с монетных переделов стали поступать жалобы, что наши штемпеля лопаются как орехи при первых ударах печатного станка.

Васютинский и мастер Алексей Михайлович Иванов без конца совещались по этому поводу, но меня не спрашивали и со мной не советовались. В конце концов меня вызвал коммерческий директор П. А. Пирогов[1] и спросил: «Как же так получается, правительство утвердило монету, а теперь Васютинский заявляет, что надо менять рисунок, так как при этом рисунке штемпеля все равно будут лопаться?». И поручил мне заняться этим вопросом как автору монеты.

Я взял по монете с нескольких станков, распилил их и убедился, что центральная их часть тоньше листа бумаги и что, следовательно, оба штемпеля (верхний и нижний) имеют слишком большую «опупину» — выпуклость.

С гравером Петром Ильичом Аверьяновым мы ликвидировали этот недостаток на маточниках (первоначальный инструмент.— *М. Г.*) и с исправленных маточников получили десять пар штемпелей.

После закалки штемпелей мы с мастером установили их на печатные станки и запустили на все тридцать тысяч ударов (современные штемпели выдерживают до ста тысяч ударов.— *М. Г.*), положенных для них. Ни одна из десяти пар за тот час, что мы наблюдали за ними, не треснула. Взяв горсть монет, мы сперва пошли к директору Монетного двора и доложили об этом, а потом вместе с ним — на общее собрание завода, где обсуждался вопрос о простоях Монетных переделов и невыполнении плана из-за недоброкачественности штемпелей. В это время как раз Васютинский убеждал собрание, что рисунок этой монеты не годится и что его нужно менять. Выступивший после него директор сообщил, что установленные на печатных станках штемпеля, исправленные Голенецким, уже несколько часов работают, и ни один штемпель не треснул...

После увольнения в 1937 году я некоторое время жил случайными заработками, за моими плечами к тому времени уже были, кроме перечисленного, двухсторонние медали «Штурм Зимнего дворца» диаметром 65 мм и «Сталин» диаметром 61 мм (этот рисунок был использован также для книги «Вопросы ленинизма»), односторонняя медаль «Ворошилов», односторонние медаль и плакетка «Киров». Выполнил я и заказные изображения: «Ленин на броневике» (на фоне знамен) для книги «История гражданской войны», «Памятник Ленину у Финляндского вокзала» — по заказу Кировского завода для рукоятки перочинного ножа, медальоны «Античная голова» и «Олени» — по заказу Завода пластических материалов.

К моменту моего увольнения были также готовы, но не закалены штемпеля:

---

[1] Авель Сафронович Енукидзе (1877—1937) — секретарь Президиума ЦИК СССР в 1922—1935 годах. Незаконно репрессирован, реабилитирован посмертно.

[1] Петр Васильевич Латышев в 1922—1927 годах работал начальником цеха монетных переделов Монетного двора, в связи с чем его инициалы «ПЛ», как ответственного за качество монеты из драгоценных металлов, чеканились на гуртах червонца РСФСР 1923 года, рублях РСФСР 1922 года и СССР 1924 года, пятидесятикопеечных монетах РСФСР 1922 года и полтинниках СССР 1924—1927 годов. В 1928—1941 годах был начальником отдела технического контроля Монетного двора. Погиб в Ленинграде в конце 1941-го или в 1942 году со всей семьей в бомбоубежище.

[1] Петр Абрамович (Авраамович) Пирогов был директором Монетного двора с 1935 года, во время эвакуации завода в середине 1941 года переведен вместе с ним в Москву. Затем работал заместителем начальника Управления Гознака.

«Киров» (профиль и трубка) и плакетка «Пушкин». С профильного слепка «Кирова» Эрмитаж сделал гальванопластикой два экземпляра медали для собственной коллекции и для музея С. М. Кирова.

В каталоге «Советские памятные медали» (Ленинград, 1968) мне неправильно приписано авторство медали № 14 «100-летие Ленинградского технологического института».

При мне на Монетном дворе чеканили также монгольские[1] и тувинские монеты. Случаев использования старых монетных штемпелей (с другой датой года, не соответствующей календарному году чеканки монет) при мне не было[2].

С 1939-го по 1946 год я был на военной службе, воевал и в финскую и в Отечественную. С 1946-го по 1966 год работал скульптором-реставратором, с 1966 года пребываю на пенсии.

---

[1] Монетный двор неоднократно выполнил заказы иностранных государств по чеканке монеты: персидской — в 1922—1923 годах, монгольской — в 1925—1927, 1931 и 1938 годах. Сообщения об этом помещались в ленинградской печати.

[2] Это ответ на мой вопрос, контрольный, заданный с целью установить, можно ли верить отчетам Монетного двора о чеканке монет в определенные годы со сведениями о количестве монет с такими же датами изготовления. Дело в том, что Монетный двор зачастую чеканил монеты с несоответствующей датой года. О таком «обычае» Монетного двора писал крупнейший советский нумизмат-ученый И. Г. Спасский в статье «Несколько замечаний по поводу русской монетной чеканки 1914—1917 годов» (сборник «Нумизматика и сфрагистика», выпуск 3, Киев, «Наукова думка», с. 140): «Вообще же монетный двор мало волновало соответствие выбиваемых на монетах дат времени их чеканки». На такой же вопрос гравер Александр Васильевич Харитонов (1895—1973), работавший на Монетном дворе с 1924-го по 1953 год с перерывом в 1941—1944 годах и (одновременно с В. В. Голенецким) в 1930—1937 годах, ответил, что при нем были случаи использования штемпелей с датой года, не соответствующей календарному году чеканки монет. Ответ на данный вопрос наглядно показывает разницу между медальером, занимавшимся художественным делом, и гравером, зачастую непосредственно изготавливавшим монеты.

По случаю юбилея

Е. ТЕПЕР

ЗАШИФРОВАННЫЕ СТРАНИЦЫ

К 50-летию выхода в свет книги М. Кольцова «Испанский дневник»

У этой книги особенная судьба. Посвященная первой половине антифашистской войны, разгоревшейся на испанской земле в 1936—1939 годах, она родилась во времена крутые и стремительные. Ее появление на страницах «Нового мира», два отдельных издания массовым тиражом, огромный читательский успех, в пик которого последовал арест автора и изъятие книги из обращения,— все это от начала и до конца разворачивалось в каком-то непостижимом темпе и уложилось в календарные рамки одного, 1938 года, с апреля по декабрь.

А недавно «Испанский дневник» Михаила Кольцова переиздан уже в исправленном и откомментированном виде.

Это произведение разноплановое и многоаспектное. Мы затронем только один, как бы потаенный его сюжет: тему участия советских людей в испанских событиях. В книге она по некоторым причинам приглушена и закамуфлирована, многие советские люди выведены в ней под иностранными, преимущественно испанскими именами. Не все псевдонимы пока расшифрованы, относительно некоторых персонажей до сих пор — особенно на Западе — высказываются самые противоречивые догадки...

В пору, когда создавался «Испанский дневник», о советской помощи Испании всей правды в печати еще рассказывать было нельзя: мешало заключенное по инициативе Англии и Франции соглашение о так называемом «невмешательстве в испанские дела». Это соглашение подписали ведущие европейские державы, в том числе и фашистские — Германия и Италия. Но уже месяц спустя стало очевидно, что Гитлер и Муссолини используют «невмешательство» лишь как прикрытие своих интервенционистских целей. В ответ — на помощь испанским республиканцам устремились из разных стран добровольцы-антифашисты, и с октября в средиземноморских испанских портах, остававшихся под контролем республиканцев, регулярно стали пришвартовываться транспорты с приобретенным в СССР оружием, боеприпасами, стратегическим сырьем, оборудованием для оборонной промышленности. Еще раньше туда начали поступать тысячи тонн продовольствия, одежда и медикаменты — дар советских профсоюзов и отдельных граждан.

Осваивать советскую технику бойцам и командирам формировавшейся республиканской армии помогали советские специалисты — общевойсковые командиры, летчики, танкисты, моряки, артиллеристы, связисты, военные инженеры и военные техники всех родов войск, переводчики (бóльшую часть которых, между прочим, составляли девушки, оказавшиеся на войне еще до завершения ими университетского курса). Наши советники консультировали планирование боевых операций и помогали руководить ими, инструкторы обучали искусству владеть оружием. Многие наши волонтеры — особенно летчики и танкисты — непосредственно принимали участие в военных действиях.

Какую же часть отправившихся за Пиренеи «волонтеров свободы» составили советские люди? Формально совсем небольшую. Из примерно сорока тысяч иностранных добровольцев-антифашистов, вставших под знамена Испанской республики, за все месяцы войны из СССР (в границах того времени) прибыло чуть более трех тысяч, сменявших друг друга через определенные промежутки времени. Большего не позволяла международная обстановка. К тому же каждый волонтер должен был обладать именно теми знаниями и квалификацией, в которых республика в ту пору испытывала особенно острую нужду. В числе добровольцев были и иностранные коммунисты, постоянно проживавшие тогда в СССР, имевшие советское гражданство и проходившие у нас военную переподготовку: болгары, венгры, сербы, чехи, поляки, немцы, итальянцы. Именно из их среды формировались в значительной степени командные кадры прославленных интернациональных бригад, ударных частей республики. Возглавили эти интербригады (а затем и дивизии) генералы, вскоре ставшие известными всему миру,— Клебер (выходец из Северной Буковины Манфред Штерн), Лукач (венгерский писатель Матэ Залка), Вальтер (поляк Кароль Сверчевский, с 1916 года москвич, участник нашей гражданской войны, летом и осенью 1941 года командир 348-й стрелковой дивизии на Западном фронте, в 1945-м — командующий 2-й армией Войска Польского).

Сражалось в ту пору за Испанскую республику и немало русских — из числа тех, кто по тем или иным причинам оказался на Западе после окончания нашей гражданской войны. Будучи к этому времени убежденными антифашистами, все они считали, что их путь на родину лежит через Испанию. И действительно, уцелевшие в горниле жестоких битв в Испании и в европейском движении Сопротивления со временем вернулись на родную землю, а некоторые — как, например, с теплотой и симпатией описанный на страницах «Испанского дневника» Орге Хименес — Глиноедский, артиллерист, некогда подполковник царской армии,— отдали жизнь за свободу испанского народа.

Конечно же, в Испании имелись «западные русские» и совсем иного настроя мыслей. Но такие, как Глиноедский, в интербригадах насчитывались многими десятками, а за франкистов воевали считанные единицы.

Непросто было Кольцову в 1938 году писать о русских, советских людях в Испании! И все же он успешно решил эту задачу, хотя среди сотен «задействованных» им лиц значительно реже, чем следовало бы ожидать, встречаются русские имена и фамилии.

Среди хорошо знакомых имен — кумиры испанских анархистов М. А. Бакунин и П. А. Кропоткин. В дневниковых записях конца 1936 года фигурирует романтический отрывок из прозы Г. П. Данилевского, известного русского и украинского писателя XIX века, чья дочь, харьковская красавица, стала испанской «генеральшей Родригес». В странном на первый взгляд, но, как мы далее убедимся, вполне резонном сопоставлении с премьер-министром республики Ф. Ларго Кабальеро мелькает имя последнего царского премьера И. Л. Горемыкина...

В числе советских граждан, чьи имена названы «открытым текстом»,— корреспондент «Известий» И. Г. Эренбург, кинооператор Р. Л. Кармен, капитан «Невы» Кореневский, журналистка, переводчица и санинструктор Лиза — жена Кольцова, ораторы московского митинга в защиту Испанской республики и наши писатели — делегаты Международного конгресса в защиту культуры, состоявшегося в Испании в июле 1937 года.

И все? Да, почти все. Но почему? Где же главные герои — те, что сражались с оружием в руках? Можно подумать, что в книге о них вообще ничего нет. Однако по мере углубления в повествование читатель знакомится с целой галереей очень примечательных, сразу запоминающихся образов — «аргентинкой Линой», неким безымянным капитаном-танкистом и его боевыми товарищами Симоном и Тимотео, «Вольтером, французом-артиллеристом», отчаянным «македонцем Ксанти»... Особенные симпатии вызывают летчики с красивыми и звучными испанскими именами и фамилиями — Антонио, Хосе Га-

ларса, Пабло Паланкар, Энрике Лопес, Хорхе Гарсиа — и их руководители: молодой генерал Дуглас, «командир всех истребителей мадридского фронта» полковник Хулио, «Де Пабло, танковый генерал», «военный инженер Базилио, человек пришлый»...

Сегодня уже не секрет, что прибывшая весной 1936 года из Москвы для сотрудничества в прогрессивном журнале «Европа и Америка» и с первых дней мятежа добровольно ушедшая на фронт «аргентинка Лина» — это наша соотечественница Паулина Вепиаминовна Мамсурова, ныне майор в отставке, что «Симоном» Кольцов именует лейтенанта-танкиста Семена Кузьмича Осадчего, а «Тимотео» — его механика-водителя Федора Ивановича Уманца. Про безымянного «капитана» давно уже написаны книги: это Поль Матисович Арман, он же латышский интернационалист Пауль Тылтынь, герой испанской и Великой Отечественной войн; известно, что «Вольтер, француз-артиллерист» — не кто иной, как советский полковник Николай Николаевич Воронов, в будущем Главный Маршал артиллерии, оставивший интересные мемуары о своей деятельности в Испании. Никому теперь не возбраняется познакомиться с некоторыми подробностями пребывания в Испании «македонца Ксанти» — на самом деле осетина Мамсурова Хаджи Умар-Джиоровича. Познакомившись с ним на страницах «Испанского дневника», можно понять, почему именно этого майора (в будущем генерал-полковника), ставшего в Испании вначале советником анархистского командира Дуррути, а затем одним из создателей специального XIV партизанского корпуса, Кольцов весной 1937 года рекомендовал Хемингуэю в качестве консультанта, когда писателю понадобилась точная информация из первых рук о том, как взрывают мосты, для будущего романа «По ком звонит колокол».

Наиболее многочисленна в «Испанском дневнике» когорта советских летчиков-истребителей, и за каждым образом — конкретные прототипы. Тот, кто назван «Антонио», в жизни был капитаном Сергеем Федоровичем Тарховым; «Хосе Галарса» — вовсе не испанский летчик, как это можно прочесть в только что вышедшей в русском переводе двухтомной «Войне и революции в Испании» французского историка Ж. Сориа, а старший лейтенант Владимир Михайлович Бочаров; «Пабло Паланкар» — старший лейтенант Павел Васильевич Рычагов (в недалеком будущем, в 1940 году, уже в звании генерал-лейтенанта, он займет пост начальника Главного управления ВВС Красной Армии). Удивительные подвиги «Энрике Лопеса» и «Хорхе Гарсиа» в «Испанском дневнике» воспроизводят страницы биографии Георгия Нефедовича Захарова, тогда лейтенанта, а впоследствии генерал-майора и командира дивизии, в которую в годы Великой Отечественной будет входить знаменитый французский полк «Нормандия-Неман». Что же касается «Хулио», то в его лице нам представлен полковник Петр Иванович Пумпур, руководивший осенью 1936 года действиямв республиканских истребителей в мадридском небе, а в 1940—1941 годах в звании генерал-лейтенанта командовавший авиацией Московского военного округа. Все эти асы мадридского неба оказались в числе самых первых Героев Советского Союза «испанского призыва», а их прославленный «хефе Дуглас» — генерал-лейтенант Яков Владимирович Смушкевич (также одно время начальник ВВС Красной Армии) — удостоился этого отличия дважды: в 1937-м и 1939 годах. И глубоко прискорбно, что почти никто из них (за исключением Захарова) не смог принять участия в Отечественной войне — одни, как Бочаров и Тархов, не вернулись из Испании, а другие — как Пумпур, Рычагов и Смушкевич — пали жертвами необоснованных репрессий в самый канун войны.

Впрочем — мы касаемся только персонажей «Испанского дневника» — не у всех репрессированных судьбы сложились столь трагично. Так, отличившийся в Испании капитан танкист Арман, по возвращении на родину произведенный в майоры и поставленный во главе 5-й отдельной механизированной бригады, в декабре 1937 года был арестован, но ему все же удалось восстановить свое доброе имя и окончить академию имени Фрунзе. 22 июня 1941 года он встретил полковником, заместителем командира 51-й танковой дивизии, а в 1943 году пал на Волховском фронте. Был репрессирован и другой видный участник испанской войны, будущий Маршал Советского Союза Кирилл Афанасьевич Мерецков, исполнявший в Испании обязанности советника генерального штаба. При описании в «Дневнике» победоносного гвадалахарского сражения, в разработке планов которого он принимал самое деятельное участие, Мерецков представлен как «серб Кирилл». Арестовали его 22 июня 1941 года в Ленинграде, куда он прибыл накануне в качестве представителя Главного командования, освободили в начале сентября, назначив представителем Ставки...

Запись от 1 января 1937 года в «Испанском дневнике»: «Новый год мы встречали с „курносыми". За длинными столами сидели пилоты-истребители, их коротко остриженные русые головы, круглые лица, веселые глаза и зубы сделали неузнаваемой сумрачную трапезную залу францисканского монастыря».

Что это за «курносые» могли собраться в тридцати километрах к северо-востоку от Мадрида и откуда они родом — об этом в книге ни слова. Но читателям ранее уже поведано, что «курносыми» — «чатос» по-испански — мадридцы прозвали юркие и тупоносые советские истребители И-15, впервые появившиеся в горячем небе испанской столицы в начале ноября 1936 года (в отличие от прибывших несколько позже истребителей И-16, именовавшихся «мухами»). Кольцов же окрестил «курносыми» всех советских летчиков-истребителей, вне зависимости от того, на каком типе самолета они летали.

В числе прибывших в гости к летчикам в тот вечер был подполковник Висенте Рохо, начальник штаба мадридского фронта. Так состоялось личное знакомство фактического руководителя всей обороны Мадрида с теми, кто так эффективно оборонял его родной город с воздуха. «Жадно вглядывается он в юные, слегка застенчивые лица, прислушивается к шумным застольным разговорам и песням...».

Застолье в Алкала де Энарес на этот раз было особым, хотя в «Дневнике» эта подробность опущена: новогодний праздник совпал с чествованием первых семнадцати Героев Советского Союза — «испанцев» (из пятидесяти девяти получивших это звание в Испании). Восемь из них — летчики В. М. Бочаров, П. А. Джибелли, К. И. Ковтун, С. Ф. Тархов и танкисты С. М. Быстров, П. Е. Куприянов, С. К. Осадчий, Н. А. Селицкий — были удостоены «Золотых Звезд» посмертно. Радуясь своим наградам, живые скорбели о павших. Выступая от имени новых героев, Паланкар-Рычагов преподнес Смушкевичу (награжденному в этот день орденом Ленина) огромный букет алых роз...

Битва за Мадрид была самой славной страницей испанской войны, и естественно, что рассказ о ней — главный сюжетный стержень книги.

Следует иметь в виду, что первые эшелоны советской военной техники подоспели к Мадриду лишь к концу октября, в самый критический момент, когда фронт местами уже дрогнул, кое-где наблюдалась паника и на городских магистралях орудовали провокаторы. И то, что республиканцам все же удалось удержать город, большинству иностранных военных обозревателей и корреспондентов представлялось настоящим чудом. 27 октября Кольцовым, постоянно находившимся в эпицентре событий, зафиксировано: «Что-то важное, сложное, какой-то глубочайший процесс происходит сейчас... Умирает как будто сознание беспомощности и обреченности. Рождается... идея воли, сопротивления, защиты Мадрида».

В эти дни качественно преобразованная республиканская авиация начинает борьбу за инициативу в воздухе. Если еще совсем недавно жестокие бомбежки Мадрида немецким и итальянским воздушным пиратам сходили, по существу, безнаказанно, то теперь положение коренным образом меняется. Эскадрилья Паланкара-Рычагова и Антонио-Тархова (последнего после его гибели сменили вначале К. И. Кожевников, затем И. А. Лакеев) обрушивают на мятежников массированные удары. Одновременно их ближние и дальние тылы утюжат скоростные бомбардировщики СБ, прозванные в Испании «катюшками». СБ пилотировали такие замечательные мастера своего дела, как В. С. Гаранов, И. И. Проскуров, В. С. Хользунов, Э. Г. Шахт.

Главная, однако, тяжесть боев в воздухе за Мадрид в эту пору ложится на плечи летчиков-истребителей, буквально прикрывавших собой жилые кварталы и мирных жителей. По сведениям, взятым, как пишет Кольцов, из записной книжки Дугласа, только в ноябре и декабре 1936 года республиканская авиация сбила в районе Мадрида семьдесят немецких и итальянских машин. Ныне известны и наши потери: из ста шестидесяти летчиков пали в боях двадцать шесть.

В наземных операциях в это время все более активную роль начинают играть советские танки. Едва ли случайно, что именно 27 октября, когда Кольцов почувствовал ветер перемен, он сам должен был в условленном месте встретить шедшую своим ходом к фронту поднятую по тревоге танковую роту Армана, первые наши пятнадцать Т-26, почти целиком укомплектованные советскими экипажами. А сутки спустя у Сесеньи, южнее Мадрида, произошло первое в истории боевое столкновение двух танковых подразделений: в результате итальянские «Ансальдо» были разгромлены, и рота Армана прорвалась в тыл мятежникам. В дальнейшем, правда, не поддержанная пехотой, она вынуждена была вернуться на исходные рубежи. Потрясает сцена тяжелого ранения Симона-Осадчего, лишившегося обеих ног. Это случилось 3 ноября 1936 года, к концу тяжелого боя, когда взводу Осадчего удалось уничтожить две артиллерийские батареи, шесть пулеметов и около двухсот пехотинцев противника. 13 ноября Осадчий скончался. Незабываемое впечатление производит и описание подвига на Хараме Сантьяго, командира танка,— подвига, за который он, как и Осадчий, был удостоен звания Героя Советского Союза. После боя, уже в госпитале, на теле у Сантьяго (под этим именем воевал младший командир Василий Михайлович Новиков) было обнаружено тринадцать ран.

На страницах «Испанского дневника» часто мелькает массивный, очень подвиж-

ный, бритоголовый человек в испанской генеральской форме. «Де Пабло» — он же комбриг Дмитрий Георгиевич Павлов — показывается автором, как правило, в самой гуще боя, в моменты, когда он организовывает и направляет действия не только своих танкистов, но и пехоты. Кольцов часто оказывается рядом с ним в его маленьком броневичке. Про Павлова неоднократно упоминает в своих мемуарах и герой испанской войны генерал-коммунист Э. Листер, подчеркивая, что на Хараме Павлов был истинным организатором республиканской обороны, что и под Гвадалахарой его танки во многом решили исход сражения. Дальнейшая судьба Павлова известна. Конечно, обязанности командующего Особым военным округом, принявшим 22 июня 1941 года удар главных сил гитлеровцев, оказались недавнему комбригу не по плечу. Но во что совершенно невозможно поверить, вспоминая испанское прошлое Павлова, так это в предъявленные ему обвинения в трусости...

Наконец, еще об одном, на первый взгляд совсем малоприметном персонаже «Испанского дневника», военном инженере Базилио. Читатель знакомится с ним в экстремальных обстоятельствах, когда на Базилио и еще двоих (в их числе Кольцов) немецкие «юнкерсы» обрушивают град бомб, достаточный для уничтожения целой дивизии. («Мы лежали очень скромно,— вспоминает автор „Дневника",— укрытые только теорией вероятности».) Для Базилио — Владимира Ефимовича Горева, нашего военного атташе, одного из наиболее одаренных советских молодых военачальников той поры — инженерное дело было лишь побочной сферой его обширных знаний. Когда 28 августа 1936 года, сразу с восстановлением дипломатических отношений между нашими странами, Горев прибыл в Испанию, ему еще не было сорока. Однако он уже успел получить орден Красного Знамени за гражданскую войну, под именем советника Никитина воевал в Китае, в 1920-е годы был военным руководителем Коммунистического университета трудящихся Востока, а в 1930-е возглавил 38-ю механизированную бригаду. С начала 1935 года комбриг Горев (после Гвадалахары в марте 1937-го он станет комдивом) в Лондоне, на посту помощника военного атташе...

Без упоминания о Гореве как о наиболее яркой советской звезде на испанском горизонте за рубежом не обходится ни одно мало-мальски серьезное исследование об испанской войне и особенно битве за Мадрид.

Думается, что летом 1938 года, диктуя строки о Гореве-Базилио для «Испанского дневника», Кольцов, близко знавший этого человека и ежедневно встречавшийся с ним в дни обороны Мадрида, вполне обдуманно знакомит его с читателями не в оптимистическую пору мадридского триумфа, а в совсем другое время и в другом месте — в Стране Басков, куда Горев был назначен советником при главе местного правительства Х. Агирре. Есть что-то символическое в том, что Горев представлен нам в чистом поле под Бильбао, в минуты свирепой бомбежки, в обстоятельствах, не позволяющих питать даже малейшие иллюзии относительно возможности успешного исхода событий. Вернувшись на родину, Горев тоже стал жертвой предвоенных репрессий.

В заключение — несколько слов о человеке, с которым читатель сталкивается в книге гораздо чаще, чем с кем-либо другим. Это Мигель Мартинес, мексиканский коммунист, который «прибыл помогать и отдать здешней партии свой опыт мексиканской гражданской войны». Мигель — сгусток неимоверной энергии, он вездесущ и целеустремлен: агитирует за создание регулярной армии, штурмует крепость Алсакар в Толедо, останавливает бегущих, допрашивает пленных, заботится о раненых, в тяжелые моменты берется обеспечить доставку боеприпасов передовым частям, по ночам вместе с немецким писателем Людвигом Ренном пишет популярные брошюры для младшего и среднего комсостава, участвует в работе генерального политического комиссариата. А когда изредка — мысленно или вслух — обращается к своему боевому прошлому, то — странное дело — вспоминает почему-то эпизоды не мексиканской революции, а русской гражданской войны...

Кто же этот странный Мигель? Размышляя над этим, кое-кто вспоминает, например, Я. К. Берзиня и даже К. К. Рокоссовского, между прочим, вообще никогда за Пиренеями не бывавшего. Однако истина очевидна, гадать здесь не о чем: Мигель — это сам Кольцов. Введя этот персонаж, автор получил возможность рассказать о некоторых аспектах своей деятельности в Испании, не совсем укладывавшихся в его корреспондентский статус, как бы со стороны.

Кольцов пользовался в Испании огромным авторитетом. Положение его в среде находившихся там советских людей определялось не должностью, а масштабом его дарований, его энергией, верностью делу, которому он служил. О Кольцове-комиссаре, политическом советнике, работнике печати и радио можно было бы еще многое рассказать. Но это уже отдельная тема.

«Испанский дневник» — одно из главных, самых значительных деяний его короткой, блестящей, трагически закончившейся жизни. То, ради чего стоило жить.

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ПЛАКАТ

Работы с выставки



Б. ЕФРЕМОВ. СКАЖИ МНЕ — КТО ТВОЙ ДРУГ?



А. ФАЛДИН и А. СЕГАЛЬ. КТО НЕ РАБОТАЕТ, ТОТ НЕ ЕСТ!



Л. КАМИНСКИЙ. ЧЕЛОВЕКУ СВОЙСТВЕННО ОШИБАТЬСЯ



Е. БОГДАНОВА. СЕМЕЙНЫЙ ПОДРЯД



А. ФУРАЕВ. МНОГОЕ ВЗЯЛ У СВОЕГО УЧИТЕЛЯ, НО НИЧЕГО НЕ ВЕРНУЛ



А. ФАЛДИН и А. СЕГАЛЬ. ПРОИГРАЕШЬ!



Ю. ЧИГИРЕВ. СПИД — УГРОЗА ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ



А. ТХРУНИ. ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ЛЕНИНГРАД В 2000 ГОДУ

А. ПЕТРОВ

ШЕРШАВЫМ ЯЗЫКОМ ПЛАКАТА...

Мы шли под грохот барабана, и виделись нам светлые горизонты. Такими, бывало, изображали нас художники. Указующая рука простиралась над праздничными колоннами: «Верной дорогой идем, товарищи!». Радостные лики современников наших на красочных плакатах сливались в одно румяное лицо счастливого человека, которому принадлежит будущее. И этот счастливый человек внушал с плакатных листов прописные истины: «Не ешьте немытых фруктов и овощей!», «Зарыбляйте водоемы!», «Летайте самолетами Аэрофлота!», «Пейте натуральные соки!», «Читайте газеты и журналы!»... И в это же самое время с экранов телевизоров престарелый лидер, весь в «заслуженных наградах», зачитывал нам мажорные тексты — в них он констатировал достижения, которых не было, и прогнозировал успехи, которых быть не могло. И путался в словах, и переминался на трибуне, отчего «заслуженные награды» вздрагивали на широкой груди и звенели так, что звон этот слышала вся держава.

Каким сусальным был в то время плакат,— понятно. Каким щемящим было в нас чувство тревоги,— хорошо известно.

Мы старались глушить это чувство, но — тщетно. И вот наконец из потаенного и старательно скрываемого оно стало яаным. И гласным. И прежние плакаты тогда поблекли. А новых еще не напечатали. Их, говорили, и нет. То есть как это «нет»?!



А. Медведев. Катастрофа

Две выставки произведений ленинградских плакатистов, прошедшие одна за другой при битком набитых посетителями залах, твердо заявили: «Есть!». И замелькало на экранах телевизоров: символ «застоя» — маршальский мундир сплошь в орденах, а над ним (там, где голова) — провал («Забвение прошлого грозит его повторением» — автор А. Фалдин); диаграммная сетка, перекрывающая пиджак чиновника и — астрономическая цифра на ней, трансформирующаяся в медали на пиджаке («Приписки» — автор С. Веприа); генеральская фуражка и — приземляющийся на нее самолетик Руста («Шутка...» — автор В. Левченко).

Эти выставки были, пожалуй, самыми «перестроечными» из всех, что нам показывали в последние годы. Зрители увидели графическое изображение процессов, протекающих в духовной жизни общества, причем изображение столь социально заостренное, что даже тот, кто сомневался в необходимости преобразований, здесь, на вернисажах, получил хороший заряд уверенности. Эти выставки наверняка еще более утвердили многих на позициях перестройки.

Ленинградские плакатисты охватили своим творчеством солидный пласт политических, экономических, экологических, исторических, эстетических, этических проблем — тех самых, что порождены были жестокой эрой «казарменного социализма» и пустозвонной апохой «застоя».

Не все равноценно среди экспонатов. Впрочем, это характерно для любой выставки. Мерой таланта определяется значимость того или иного произведения. Главное же достоинство ленинградского плаката в том, что он целиком отвечает духу времени. Публицистичный и выразительный, он работает в самом прямом значении



Р. Акманов, А. Фалдин. Не уверен — не обгоняй!



В. Левченко. Шутка...

этого слова. Работает, а не халтурит. И работает заинтересованно. Он будит мысль, будоражит чувства.

Что нас больше всего волнует сегодня, о чем мы говорим, о чем спорим — все это (или почти все) нашло отражение в работах, решенных лаконично, художественно, четко.

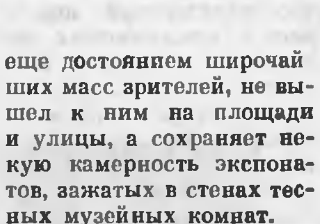
Разве не достойна внимания серия А. Фалдина и А. Сегаля «Mass culture», нацеленная на разоблачение бездуховности? Разве не работают на формирование общественного сознания листы А. Гусарова, А. Фураева, Н. Алиференко, А. Лялина и В. Ноздрина, посвященные новому взгляду на раковую опухоль общества — бюрократизм? Разве не близка всем нам тема борьбы с алкоголизмом, разработанная сильно и нестандартно Р. Акмановым и многими другими? А экологические мотивы? Возьмем ли мы плакат М. Цветова «Пора считать ворон» или П. Петрыгина «Горе от ума?» — проблема защиты окружающей среды встает перед нами столь обнаженно, что стыдно становится за себя как представителя человеческого рода. В равной степени это относится и к теме экологии культуры, оригинально решаемой Ю. Чигиревым («Память»), В. Жуковым («Москва. Вид храма Христа Спасителя»), Е. Бригадировым («Исторический юбилей Руси»), А. Ежелиным («Сохраним и приумножим народное творчество»), В. Кундышевым («Уважение к минувшему...»). Некоторые из работ исполнены столь пронзительного общественного звучания, что прочно оседают в памяти, постоянно живут в ней, беспокоя и побуждая к действию.

Конечно, плакат нельзя рассматривать как некий хирургический инструмент, вскрывающий нарывы, оставшиеся от деформаций прошлых десятилетий. Нет, это не так. Он, как было уже сказано, работает прежде всего на сегодня, на демократизацию, на перестройку (отметим, кстати, еще три вещи: А. Кондоуров — «Пустых обещаний не давай», В. Дулов — «Новое — это хорошо законсервированное старое», С. Уцепко — «Бомба вместо масла»), работает по всем направлениям, и особенно болевым.

Остается пожалеть, что боевой вид изобразительного искусства не сделался



Н. Алиференко. Я тоже — за...



еще достоянием широчайших масс зрителей, не вышел к ним на площади и улицы, а сохраняет некую камерность экспонатов, зажатых в стенах тесных музейных комнат.



В. Дулов. Новое — это хорошо законсервированное старое

Р. Г. СКРЫННИКОВ

СМУТА В РУССКОМ ГОСУДАРСТВЕ

Весной 1607 года в пределах Речи Посполитой появился неизвестный, принявший на себя имя «царя Дмитрия».

Многие историки считали Лжедмитрия II ставленником польско-литовской шляхты. Новые данные ставят под сомнение эту традиционную оценку. Весной 1607 года Речь Посполитая стояла на пороге гражданской войны, и ее руководители избегали вмешательства в русские дела. Самозванческая интрига в Самборе заглохла. Инициатива новой интриги исходила не от польских шляхетских кругов, а из русского повстанческого лагеря.

Поражение под Москвой оказало влияние на внешнеполитическую ориентацию повстанцев. Вожди движения стали сознавать, что не смогут противостоять многочисленным царским ратям, если не получат иностранной военной помощи в крупных масштабах. Не позднее декабря 1606 года «царевич» Петр покинул Путивль и отправился за границу. Будучи в Восточной Белоруссии, он получил от местных властей предложение немедленно отправиться ко двору короля Сигизмунда III в Краков. Поскольку никакой надежды на получение военной помощи от Польши не было, «царевич» отклонил предложение королевских чиновников. Дальнейшие внешнеполитические шаги руководителей восстания были подчинены двум основным целям. Первая заключалась в том, чтобы осуществить набор за рубежом наемных отрядов. Вторая цель носила сугубо секретный характер и сводилась к тому, чтобы заполучить из Польши «Дмитрия».

Почему «царевич» Петр, искавший (по его собственным словам) царя Дмитрия, отправился не на Украину в Самбор, а в район Орши и Могилева в Восточной Белоруссии? История Лжедмитрия I вполне объясняет этот парадокс. В самые трудные дни, когда при особе Отрепьева в Путивле оставалась горстка поляков, на помощь к нему из Восточной Белоруссии прибыло до пятисот белорусских шляхтичей. Марш на Москву был для них легкой прогулкой. Водворившись в Кремле, Отрепьев щедро наградил их и отпустил домой. Петр ездил в Белоруссию, по-видимому, для того, чтобы повторно вызвать в Путивль местных шляхтичей, ветеранов московского похода. Домогательства русских повстанцев вызвали тревогу в Кракове. Уже в марте 1607 года король обсуждал с литовским канцлером вопрос о запрещении набора и переброски в Россию наемных воинских отрядов. 18 июня 1607 года Сигизмунд III предписал белорусским властям решительно пресекать действия местных «обывателей» — своевольных людей, которые собирают немалые отряды и вторгаются в пределы Московской земли.

Конрад Буссов, будучи в лагере Болотникова, узнал многое такое, о чем другие современники не слыхивали. Ему стало известно, что Болотников, попав в трудное положение, послал письмо в Самбор, предлагая, чтобы кто-нибудь из близких Юрия Мнишка выдал себя за «Дмитрия» и поспешил в Россию, чтобы вызволить своих сторонников из беды. Попытки Болотникова гальванизировать самозванческую интригу с помощью владельцев Самбора не принесли успеха. Находясь в Путивле, «царевич» Петр имел лучшую, чем Болотников, информацию о положении дел в Польше. Поэтому он не ездил в Самбор, а предпочел искать «Дмитрия» в совсем неподходящем месте — пограничных белорусских замках. Можно указать на одно многозначительное совпадение. В конце 1606 года А. Сапега уведомил короля, что в район Орши и Могилева прибыл «царевич» Петр, занятый поисками «царя Дмитрия», а сопровождают Петра пан Зенович и пан Сенкевич. Прошло некоторое время, и с ведома и по приказу того же самого пана — «его милости Зеновича, старосты чечерского», слуги проводили за московский рубеж искомого «царя Дмитрия». Отмеченное совпадение едва ли носило случайный характер. Если Болотников обращался в Самбор с просьбой выставить нового самозванца, то что мешало «царевичу» Петру адресовать подобную же просьбу ветеранам Лжедмитрия I из Восточной Белоруссии?

К. Буссов знал польских сподвижников Лжедмитрия II, наблюдавших за первыми шагами самозванца. Из надежных источников Буссов узнал, что «Дмитрий» до принятия царского имени был слугой попа и школьным учителем из Шклова

Окончание. Начало см.: «Нева», 1988, № 6, 7.

в Белоруссии. Самое подробное расследование о самозванце провел белорусский священник из села Баркулабово, располагавшегося неподалеку от Могилева, Чечерска и Пропойска. Священник хорошо знал тот круг местного духовенства, с которым тесно связаны первые шаги самозванца. В пространной летописи, составленной белорусским священником, сказано, что «Дмитрий» был учителем в Шклове, потом переехал в Могилев, где учительствовал и одновременно прислуживал в доме местного попа. Белорусский очевидец как бы повторил версию Буссова. Подобное совпадение двух источников различного происхождения очень важно для выяснения истины. Будучи священником, белорусский летописец, по-видимому, знал местных попов, приютивших бродячего учителя из Шклова. У Федора Сасиновича Никольского в доме этот человек учил детей села, а у попа Терешка из Никольской церкви в Могилеве он делал всякого рода домашние работы, подрабатывая на жизнь. Судя по убогой одежде, учитель был крайне беден. Он носил «плохой кожух» (тулупчик) и баранью шапку. Ничего другого у него не было, и летом он ходил в той же одежде, что и зимой.

В убогом учителе, когда тот был в Могилеве, узнали царя. Честь столь необычного открытия принадлежала, по-видимому, ветеранам московского похода Отрепьева. Один из них, мелкий шляхтич Меховецкий, заприметил человека, телосложением похожего на покойника (Отрепьева). Произошло это в то самое время, когда учитель дошел до крайней нужды, лишившись куска хлеба: бродяга питал слабость к прекрасному полу, и за неблаговидное поведение могилевский священник высек его розгами и выгнал из своего дома. Об этом грустном обстоятельстве упоминают польские иезуиты, проведшие собственное расследование о самозванце из Белоруссии. Невзирая на нужду, учитель не сразу поддался на уговоры Меховецкого и его друзей. Угодливость и трусость боролись в его душе. Кровавая расправа с Отрепьевым пугали его, и он бежал из Могилева «в тот час», когда в нем узнали царя. Сделав остановку «на селе Онисковича Сидоровича», беглец перебрался оттуда в Пропойск, где его поймали и бросили в тюрьму. В тюрьме учитель был поставлен перед выбором: либо заживо сгнить в заточении, либо податься в московские цари. В конце концов бродяга сделал выбор в пользу короны.

В новой самозванческой интриге не участвовали ни магнаты, ни высокопоставленные королевские чиновники. Однако инициаторам дела Меховецкому, Зерстиновскому и другим удалось заручиться поддержкой местных властей в совсем небольших городках Пропойске и Чечерске. Этими властями были урядник пан Рагоза и староста пан Зенович. У «самозванца поневоле» не было влиятельных покровителей, которые бы позаботились о том, чтобы обрядить его в «царские» одежды, снабдить деньгами и собрать для него войско. Опасаясь навлечь на себя гнев короля, пан Зенович поспешил выпроводить наспех собранного «царя» в пределы России. До ближайшего от границы русского пункта Поповой Горы учителя провожали слуги урядника Рагозы и двое попутчиков — торговец из Пропойска Григорий Кашинец (Грицко или Гришка) и московит Алешка Рукин.

Инициаторы интриги не были уверены в успехе дела. Поначалу они подучили шкловского бродягу называться Андреем Нагим, родственником царевича Дмитрия. В своих манифестах Лжедмитрий II сам упомянул об этом факте. Описав свой исход в Россию, он указал, что пришел из Литовской земли в славный город Стародуб «во 12 недель и не хотел и себя вскоре объявить и назвал себя Андреем Нагим». Итак, литовские скитания учителя (в качестве претендента на царский трон) продолжались три месяца. По словам очевидцев, самозванец перешел границу «месяца мая, после седьмой субботы». Седьмая суббота после пасхи приходилась в 1607 году на 23 мая. Таким образом, трехмесячные скитания претендента начались, по его собственным словам, в конце февраля. «Царевич» Петр ездил в Восточную Белоруссию и вел переговоры с паном Зеновичем в конце декабря 1606 года, а через два месяца Зенович приступил к подготовке «царя» Дмитрия, столь упорно разыскиваемого повстанцами. В Белоруссии Зенович, Меховецкий и другие шляхтичи не сразу добились повиновения от шкловского учителя. Почему же они отпустили его в Россию одного, без стражи, рискуя упустить дело из-под контроля? Естественно предположить, что «исход» царя явился следствием предварительного сговора белорусских сподвижников Отрепьева с русскими повстанцами. Едва ли случаен тот факт, что в момент появления в Стародубе Лжедмитрия II его уже ждал там атаман И. Заруцкий, специальный эмиссар «царевича» Петра и Болотникова. Со слов повстанцев К. Буссов записал следующую историю. Болотников послал Заруцкого за рубеж со специальной целью — разузнать, что с государем, которому он присягал в Польше. Но атаман будто бы не отважился ехать в Польшу и надолго задержался в Стародубе. Заруцкий был одним из выдающихся деятелей Смуты и обладал редкой смелостью и удалью. Поэтому его трудно заподозрить в малодушии. Признанным центром восстания был Путивль, но Заруцкий долго ждал «царя» не в Путивле, а в крошечном городке Стародубе. Один из ближайших помощников Болотникова, Заруцкий должен был знать, что следы чудесно спасшегося «Дмитрия» следует искать в Самборе в Западной Украине. Кстати, сам Заруцкий — уроженец Западной Украины. Тем не менее, посланец Болотникова, длительное время оставаясь в Стародубе, заявил о признании Лжедмитрия II в тот самый момент, когда тот объявил свое царское имя.

Жители Путивля хорошо помнили характерную внешность Отрепьева, и поэтому шкловский учитель не решился ехать туда, боясь разоблачения. Стародуб был одним из тех небольших северских городов, куда Лжедмитрий не приезжал. Перейдя границу, учитель оставался в Стародубе примерно месяц под именем Андрея Нагого. С одной стороны, он готовил почву для объявления себя царем, а с другой стороны, выжидал, когда его покровители сформируют наемное войско за рубежом и приведут его в Стародуб.

В Стародубе мнимый Нагой сразу объявил, что родственник его «царь Дмитрий» со дня на день должен прибыть в Россию. Сообщники «Нагого» вроде Алешки Рукина выехали в другие северские города с той же вестью. Шкловский учитель не обладал ни мужеством, ни сильной волей, ни практическим опытом, чтобы самостоятельно довести трудное дело до успешного конца. Рукин и другие его помощники также были людьми малоавторитетными и бесцветными. Про Рукина говорили, что он хотя и сказывался московским подьячим, но был скорее всего «детиной», то есть прислугой у «вора».

Заруцкий был послан в Стародуб для розыска «царя». Невероятно, чтобы появление в небольшом городке, где все знали друг друга, «Нагого», родственника «царя Дмитрия», и его предтечи осталось для Заруцкого незамеченным. Заруцкий обладал редкой энергией и в полной мере обладал качествами народного вождя. Его вмешательство, по-видимому, имело неоценимое значение для дальнейшего развития самозванческой интриги. В России Заруцкий играл при никчемном претенденте ту же роль, что Меховецкий и Зенович — в Белоруссии. Помимо Заруцкого исключительную помощь Лжедмитрию II оказал предводитель местных повстанцев стародубский сын боярский Гаврила Веревкин. Русские летописи называют его начальником мятежа («воровства»), затеянного в Стародубе.

Агитация Рукина и других соратников «Нагого» не дала больших результатов. Горя нетерпением, повстанцы схватили Рукина то ли в Путивле, то ли в Чернигове и под стражей отправили в Стародуб, требуя под страхом пытки указать, где находится «царь». По одной версии, палач исполосовал спину Алешки кнутом, и тогда тот указал народу на государя. По другой версии, палач приготовился поднять на дыбу самого «Нагого», но тот схватился за палку и обрушился на стародубцев с бранью, которая окончательно убедила всех, что перед ними истинный царь. Приведенные версии легендарны. Важно другое. В инсценировке провозглашения Лжедмитрия II царем участвовали как предводители русских повстанцев, так и белорусские покровители самозванца. В день воцарения нового «Дмитрия» Заруцкий торжественно вручил ему грамоты от «царевича» Петра и «бояр», привезенные им из Тулы. И в тот же самый день в Стародуб явился из-за рубежа пан Меховецкий с отрядом наемников. Появление военной силы заставило замолчать всех сомневающихся. Народ повалился в ноги государю, и по всему городу ударили в колокола. Приведенные факты опровергают привычное представление о Лжедмитрии II как ставленнике «зловредных поляков». Подлинными творцами нового самозванства были не столько поляки, сколько русские повстанцы, соратники Болотникова.

Власть нового самозванца немедленно признали восставшие северские города Путивль, Чернигов, Новгород-Северский и другие. Черниговo-Северская земля была опустошена, население поредело из-за многократных наборов ратников в повстанческие войска. Поэтому несмотря на небывалый энтузиазм населения формирование нового повстанческого войска продвигалось очень медленно. За два-три месяца в Стародубе собралось всего 3000 человек «москвы» (русских повстанцев). Войско было неважно вооружено, многие повстанцы не имели навыков в военном деле. В распоряжении Лжедмитрия II были также наемники из Речи Посполитой. По словам белорусских очевидцев, к нему явилось конных людей 700 человек. Под знамена Лжедмитрия II собирался «люд гулящий, люд своевольный». Лишь немногие наемники были, отмечают поляки, «порядочно вооружены».

Кто же скрывался под маской воскресшего «царя Дмитрия»? Шуйские первыми пытались разрешить этот вопрос. Захватив в плен князя Дмитрия Мосальского, власти подвергли его пытке и получили от него следующий ответ: «Который, де, вор, называется царем Дмитрием и тот вор — с Москвы с Арбату от (церкви) Знамения Пречистыя (Богородицы) из-за конюшен попов сын Митка, а умышлял, де, и отпущал (отпускал) с Москвы (его) князь Василей Мосальский за пять дней до Расстригина убийства». Один из князей Мосальских исполнял роль боярина и дворецкого при особе Молчанова в Самборе. Мосальские если и знали что-нибудь, то скорее всего о самборском «Дмит-

рии». Бегство некоего попова сына Митьки из-за конюшен несколько напоминает историю побега Молчанова на лошадях, украденных с царской конюшни. О стародубском самозванце Мосальские ничего толком не знали.

Известный писатель Смутного времени Авраамий Палицын разделял версию о том, что Лжедмитрий II происходил из русского духовного сословия. По его словам, мятежники нарекли лжецарем «от северских городов попова сына Матюшку Веревкина». Один из московских летописцев назвал Лжедмитрия не поповским, а дворянским сыном: «Сказывают, сынчишко боярской (из семьи) Веревкиных». Стародубские дети боярские Веревкины возглавили переворот в пользу Лжедмитрия, отчего сразу же и возникло подозрение, что новый самозванец был им родней. Русские писатели ничего не знали о литовских скитаниях Лжедмитрия II, поэтому им пришлось довольствоваться слухами и домыслами.

Среди иностранцев наибольшую осведомленность насчет происхождения самозванца проявили польские иезуиты, расследовавшие дело по свежим следам. Результаты их дознания были неожиданными. Имя «царя Дмитрия», сына Грозного, утверждали они, принял некто Богданко, крещеный еврей. Романовы после их избрания на трон в 1613 году официально подтвердили версию о еврейском происхождениии Лжедмитрия II. Филарет Романов длительное время служил патриархом при особе Лжедмитрия и знал его очень хорошо. Романовы говорили не с чужого голоса. После гибели Лжедмитрия II по России прошел слух, что в его бумагах нашли еврейские письма и талмуд. Сохранилась польская гравюра XVII века с изображением портрета самозванца. Большие печальные глаза, вислый нос, толстые губы, усы и редкая бородка, окаймляющая подбородок, согбенная шея и сутулая спина — таким запечатлел шкловского учителя Лжедмитрия II польский художник. Портрет подтверждает достоверность версии, выдвинутой иезуитами и Романовыми.

На отношении дворянских писателей начала XVII века к Отрепьеву сказывалось то, что тот был из дворян, и его политика имела продворянский характер. Лжедмитрий происходил из низов, и потому его посягательство на власть вызывало крайнее их негодование. Оценки современников оказали определенное влияние на историографическую традицию. Лжедмитрий I, писал С. Ф. Платонов, «имел вид серьезного и искреннего претендента на престол. Он умел воодушевить своим делом воинские массы, умел подчинить их своим воинским приказаниям и обуздать дисциплиной», он был «действительным руководителем поднятого им движения». Совсем иным был Лжедмитрий II, которому присвоили меткое прозвище вора. Вор «вышел на свое дело из пропойской тюрьмы» и объявил себя царем на стародубской площади под страхом побоев и пытки. Не он руководил толпами своих сторонников и подданных, а, напротив, они влекли его за собой в своем стихийном брожении, мотивом которого служил не интерес претендента, а собственные интересы его отрядов. Свое название вора он снискал именно потому, что все его войска одинаково отличались, по московской оценке, «воровскими» свойствами. Если отказаться от оценки народных выступлений как «воровских» (преступных), тогда придется пересмотреть оценку личности Лжедмитрия II и его деятельности.

Времи «царствования» шкловского учителя в Стародубе характеризовалось рядом отличительных черт. Почти все дворяне и редкие представители знати, вовлеченные в борьбу с Шуйским, покинули Северскую землю и оказались в осаде в Туле. В окружении Лжедмитрия II не было ни русских бояр, ни польских магнатов. Бродячий учитель из Белоруссии оказался вовлечен в водоворот исторических событий помимо собственной воли. Он не имел ни опыта политической деятельности, ни программы. Лжедмитрий II прибыл в Стародуб в то время, когда народное движение в пользу «доброго» царя приобрело ярко выраженный социальный характер и все больше превращалось в выступление социальных низов.

Новая фаза движения отмечена сменой вождей. Выходец из неимущих слоев, Лжедмитрий II был фигурой типичной для этого времени. Не случайно за неполный год после появления «вора» в Стародубе и Астрахани появились два «царевича» — Иван Август и Лавер (Лаврентий), на казачьих окраинах действовали «царевичи» Осиновик, Петр, Федор, Клементий, Савелий, Симеон, Ерошка, Гаврилка, Мартинка. Уничижительные имена (Ерошка, Гаврилка и прочие) указывали на то, что казацкие предводители, действовавшие на юге, не скрывали своего холопского и мужицкого происхождения.

Социальный облик многочисленных «детей» и «внуков» благочестивого царя Ивана IV, появившихся на казачьих окраинах, всего точнее охарактеризовал автор «Нового летописца». Придворный историограф первых Романовых в сердцах писал: «Како же у тех окаянных злодеев уста отверзшашеся и язык проглагола: неведомо откуда взявся, а называхуся таким праведным коренем (царским родом.— *Р. С.*) — иной боярской человек, а иной — мужик пашенной».

Лжедмитрий II щедро жаловал земли детям боярским и иноземцам, поступившим в его отряды, а с другой стороны, пытался опереться на помещичьих холопов. К. Буссов описал меры стародубского самозванца весьма точно: «Дмитрий приказал объявить повсюду, где были владения князей и бояр, перешедших к Шуйскому, чтобы (их) холопы перешли к нему, присягнули и получили от него поместья своих господ, а если там остались господские дочки, то пусть холопы возьмут их себе в жены и служат ему».

«Стародубский вор» раздавал поместья, конфискованные у изменников дворян, не одним холопам, но и помещичьим крепостным крестьянам, при этом непременным условием пожалования земли была служба в повстанческой армии. Воззвания и действия «вора» вызывали негодование и страх в дворянской среде.

21 мая 1607 года царь Василий со всей армией выступил из Москвы в Серпухов, где простоял в полном бездействии две недели. Повстанцы пытались использовать момент и разгромить полк боярина А. В. Голицына, стоявший поодаль от главных сил в Кашире. Однако сражение под Каширой имело неудачный для них исход. Голицын и Ляпунов принудили к отступлению Болотникова, после чего обрушились на казачий отряд, стойко оборонявшийся в наспех сооруженном острожке. Часть казаков погибла при штурме, до 1000 человек попали в плен, и их повесили.

«Царевич» Петр вместе с Болотниковым, Телятевским, Шаховским и Беззубцевым заперся в тульском кремле с 20 тысячами повстанцев. Царская рать, осадившая Тулу, насчитывала до 30—40 тысяч воинов. Тула располагала неприступными укреплениями, и все же ее положение было уязвимым. Город стоял в низине на берегу реки Упы. Шуйский приказал перегородить Упу плотиной и затопить город.

Реальная власть в осажденной Туле находилась в руках казаков и их предводителей. Поэтому казни изменников дворян в Туле проводились с такой же беспощадностью, что и в Путивле. Противников «доброго царя Дмитрия» били кнутом, травили медведями. Осужденных возводили на высокую крепостную башню, откуда одних по требованию народа сбрасывали вниз, а других, также по решению народа, избавляли от казни.

Повстанцы обороняли Тулу с редкой энергией. Они производили вылазки по нескольку раз на день в неожиданных местах. Полки Шуйского несли потери. Однако к осени осаждавшие выстроили дамбу длиной в полверсты и перекрыли Упу плотиной. Тула оказалась затопленной. После многомесячной осады запасы продовольствия в городе подошли к концу. Наводнение погубило остатки продуктов. Начался страшный голод.

Осада продолжалась три месяца, а Лжедмитрий II все это время оставался в Стародубе, не решаясь подать помощь Болотникову. Лишь 10 сентября 1607 года «вор» выступил из Стародуба на Почеп и Брянск, делая в пути многодневные остановки. При шкловском учителе, видимо, не было никого из знатных дворян.

Поход Лжедмитрия II напомнил ветеранам о временах их наступления на Москву под знаменами Отрепьева весной 1605 года. На всем пути население встречало «Дмитрия» с воодушевлением. «Из Брянска,— отметили современники,— все люди вышли вору навстречу», приветствуя его как истинного государя. Лжедмитрий II разбил лагерь у Свенского монастыря. Тут самозванец провел более недели. Задержка носила вынужденный характер. Лжедмитрий II столкнулся с затруднениями такого же рода, как и Отрепьев в начале московского похода. У него не было денег в казне, чтобы расплатиться с наемниками. «26 сентября (6 октября),— записал в своем дневнике командир польских наемников Будило,— наше войско рассердилось на царя за одно слово, взбунтовалось и, забрав все вооружение (пушки.— *Р. С.*), ушло прочь». Мятеж произошел, видимо, к ночи. Под утро Лжедмитрий II явился к войску, успевшему уйти на три мили от лагеря. После долгих уговоров ему удалось «умилостивить» наемников.

2 октября Лжедмитрий II перешел в Карачев, где к его войску присоединился отряд запорожских казаков с Украины.

Стремясь отрезать Калугу от основных баз восстания на Брянщине и Северской Украине, царь Василий решил возобновить борьбу за Козельск. Согласно Разрядам, летом 1607 года из-под Тулы «под Козельск послан князь В. Ф. Мосальской». Главным помощником Мосальского в походе стал литовский ротмистр пан Матиаш Мизинов, командовавший отрядом служилых иноземцев.

Лжедмитрий II направил к Козельску своего главного гетмана Меховецкого и хорунжего Будилу со всем войском. По словам Будилы, они напали на отряд Мосальского утром на рассвете 8 октября. Русские разрядные записи подтверждают, что воры напали на осадный лагерь под Козельском ночью. Воевода ждал атаки и окружил лагерь стражей. Но повстанцы разогнали стражу и, не мешкая, ворвались в лагерь, где поднялась паника. 11 октября 1607 года Лжедмитрий II торжественно вступил в Козельск, 16 октября прибыл в Белев, намереваясь пробиться к осажденной Туле. Но он начал наступление на Тулу слишком поздно.

Первый русский историк В. Н. Татищев

весьма точно характеризовал положение осадной армии под Тулой: «Царь Василей, стоя при Туле и видя великую нужду, что уже время осеннее было, не знал, что делать: оставить его (осажденный город.— *Р. С.*) был великий страх, стоять долго боялся, чтобы войско не привести в досаду и смятение; силою брать — большей был страх: людей терять». Каким бы трудным ни было для войска осеннее время, главная угроза заключалась в другом. На строительство плотины в район Тулы были собраны в огромном числе мужики — посошные люди. Дворянское ядро армии тонуло в массе посошных крестьян, служилых людей «по прибору» (недворянского происхождения) — стрельцов, казаков, пушкарей, а также боевых холопов, обозной прислуги и прочее. Идея «доброго царя» по-прежнему находила отклик среди «черни». Поэтому лагерь Шуйского напоминал пороховой погреб. Чем ближе подходил к Туле Лжедмитрий II, тем реальнее становилась угроза взрыва.

Повстанцы использовали всевозможные средства, чтобы воздействовать на царское войско. Они отправляли под Тулу не только лазутчиков, но и «прямых» посланцев. Один из них — некий стародубский помещик лично вручил Шуйскому грамоту от восставших северских городов, за что был подвергнут пытке и заживо сожжен. Будучи на костре, гонец кричал, что прислан истинным государем. Все это не могло не произвести сильного впечатления на народ.

Появление «Дмитрия» вновь грозило опрокинуть все расчеты власть имущих. Не только в низах, но и в дворянской среде не прекращалось брожение. Неудачная осада Тулы отняла веру в прочность династии.

Однако положение осажденных было еще более трудным, чем положение осаждающих. Защитники Тулы едва стояли на ногах от голода. Наводнение разобщило силы гарнизона. Руководители обороны столкнулись с прямым неповиновением населения. Невзирая на приказы Болотникова, люди стали толпами покидать город, спасаясь от голодной смерти: из Тулы к Шуйскому, отметили современники, «учели выходить всякие люди человек по сту и по двести и по триста на день». Народ не мог понять, почему «Дмитрий», уже с июня находившийся в пределах России, не спешит на помощь своему гибнущему в Туле войску. Шаховской был тем лицом, через которого восставшие поддерживали связи с самборским «Дмитрием» с первых дней восстания. Теперь ему пришлось ответить за свои дела. Казаки бросили его в тюрьму и заявили, что не выпустят оттуда, пока Дмитрий не вызволит Тулу из беды.

Когда положение в Туле стало невыносимым, «царевич» Петр и Болотников вступили в переговоры с царем Василием о сдаче крепости. Царь принял условия Болотникова и поклялся, что не казнит никого из защитников Тулы. Однако в последние дни обороны положение в городе переменилось, что развязало руки царю. Выйдя из повиновения Петру и Болотникову, тульские «осадные люди» послали своих представителей к Шуйскому «бити челом и вину свою приносить», пообещав выдать руководителей обороны. По предположению ряда историков, в измене якобы повинна была знать из думы Петра — князья Телятевский и Шаховской. Но это мнение неосновательно. Шаховской находился под арестом, а Телятевского выдали вместе с Болотниковым. Из всех руководителей тульской обороны избежал наказания один лишь Юрий Беззубцев, мелкий помещик из Путивля. Шуйский не арестовал его, а послал в Калугу, чтобы уговорить тамошних повстанцев сложить оружие. Миссия Беззубцева наводит на мысль, что именно он выступил инициатором заговора против Болотникова.

Подняв мятеж, изменники открыли ворота крепости и впустили в город воеводу Ивана Крюка-Колычева, выдав ему арестованных руководителей восстания. Разобщенный наводнением и доведенный до крайности гарнизон Тулы не оказал сопротивления Колычеву и не выступил на защиту своих вождей. Шуйский велел держать под стражей «царевича» Петра вместе с Болотниковым и Телятевским, но никого не казнил. Гражданская война вступила в решающую фазу, и своей показной милостью царь пытался перетянуть на свою сторону всех колеблющихся.

Тула пала 10 октября 1607 года. Не зная о сдаче города, Лжедмитрий II продолжал наступление на Тулу, пока не достиг Болхова. Здесь он получил достоверные сведения, подтвердившие слух о капитуляции армии Болотникова. В панике самозванец поспешно отступил в Карачев поближе к литовской границе. Там его покинуло запорожское войско. Одновременно вспыхнул бунт наемных солдат из Литвы, желавших поскорее уйти с добычей из пределов России. Не имея возможности удержать наемное воинство, самозванец тайно покинул лагерь. Даже его «гетман» (главнокомандующий) не знал, куда исчез царек.

В начале января 1608 года Лжедмитрий II объявился в Орле, сохранившем верность восстанию. Угроза Москве возросла, что немедленно сказалось на судьбе бывших тульских сидельцев. В феврале 1608 года царь Василий приказал препроводить Болотникова в Каргополь в ссылку. Везли его через Ярославль, где находились пленные поляки. Слуга Мнишка Рожнятовский записал любопытные сведения о поведении Болотникова. (Другой пленник С. Немоевский повторил его рассказ слово в слово.) Ярославские дети боярские были поражены тем, что главного «воровского» воеводу везли несвязанным и без оков. По этой причине они стали допытываться у приставов, почему мятежник содержится так свободно, почему не закован в колодки. Отвечая им, Болотников разразился угрозами: «Я скоро вас самих буду ковать (в кандалы.— *Р. С.*) и в медвежьи шкуры зашивать».

С казацким «царевичем» власти расправились до высылки Болотникова из Москвы. Царь, по замечанию летописца, «Петрушку вора велел казнити по совету всей земли».

Ссыльный поляк С. Немоевский записал в дневнике 30 января (9 февраля) 1608 года: «Прибыл посадский человек из Москвы. Наши проведали от него через стрельца, что на этих днях казнен Петрашко». Дневниковая запись удостоверяет с полной достоверностью, что казацкий «царевич» подвергся казни не сразу после сдачи Тулы, а четыре месяца спустя.

«Боярин» Г. Шаховской был сослан «на Каменое» в монастырь, С. Кохановский — в Казань, атаман Ф. Нагиба и некоторые другие — в «поморские города». Несколько позже, когда Лжедмитрий II подошел к Москве, а его отряды заняли половину государства, Болотников был сначала ослеплен, а затем «посажен в воду». Побиты были также его сподвижники — казачьи атаманы, находившиеся в ссылке.

Ни падение Тулы, ни казнь казацких предводителей не означали конца восстания. Гражданская война в России вскоре вспыхнула с новой силой.

С тех пор, как Лжедмитрия II признали многие русские города и его дело стало на твердую почву, интерес к самозванческой интриге стали проявлять влиятельные лица из Речи Посполитой, некогда покровительствовавшие Отрепьеву. В числе их были князь Ружинский, Тышкевич, Валевский, Адам Вишневецкий и другие. Король Сигизмунд III не желал участвовать в авантюре. Но мятеж против королевской власти усилил элементы анархии в Речи Посполитой. Наемные солдаты, оставшиеся без работы после подавления мятежа, хлынули в русские пределы в надежде на то, что «царек» щедро вознаградит их за труды.

Обедневший украинский магнат князь Роман Ружинский взял в долг деньги и нанял большой отряд гусар. Лжедмитрий II и его покровитель Меховецкий испытали неприятные минуты, когда узнали о появлении Ружинского в окрестностях Орла. Самозванец не желал принимать его к себе на службу. Но Ружинского это нисколько не интересовало. В апреле 1608 года он прибыл в лагерь Лжедмитрия II и совершил там своего рода переворот. Войсковое собрание сместило Меховецкого и объявило его вне закона. Новым гетманом солдаты выкрикнули Ружинского. Собрание вызвало к себе самозванца и категорически потребовало выдачи противников нового гетмана. Когда Лжедмитрий попытался перечить, поднялся страшный шум. Одни кричали ему в лицо: «Схватить его, негодяя!», другие требовали немедленно предать его смерти.

Взбунтовавшееся наемное войско окружило двор Лжедмитрия II вооруженной стражей. Шкловский бродяга пытался заглушить страх водкой. Он пьянствовал всю ночь напролет. Тем временем его «конюший» Адам Вишневецкий хлопотал о примирении с Ружинским. Самозванцу пришлось испить чашу унижения до дна. Едва царек протрезвел, его немедленно повели в польское «коло» и там заставили принести извинения наемникам. Смена хозяев в Орловском лагере имела важные последствия. Болотниковцы, пользовавшиеся прежде большим влиянием в лагере самозванца, стали утрачивать одну позицию за другой. Следом за польскими магнатами и шляхтой в окружении Лжедмитрия II появились русские бояре. Движение быстро утрачивало социальный характер.

Весна близилась к концу, и армия самозванца возобновила наступление на Москву. Царь Василий послал навстречу «вору» брата Дмитрия с 30-тысячной ратью. Встреча произошла под Болховым. Двухдневное сражение закончилось поражением Шуйского. Князя Дмитрия погубила его собственная трусость. В разгар боя он приказал отвезти пушки в тыл. Его приказ повел к общему отступлению, а затем к паническому бегству. Отряды Лжедмитрия захватили множество пушек и большой обоз с провиантом.

Чтобы удержать при себе польские отряды, самозванец после битвы заключил с ними новое соглашение. Он обязался поделить с ними все сокровища, которые достанутся ему при вступлении на царский трон. Народ, приветствовавший нового, «истинного» Дмитрия, понятие не имел о договоре, заключенном за его спиной.

Царь Василий отозвал из полков брата Дмитрия и назначил вместо него Михаила Скопина. Князь Михаил рассчитывал разгромить «вора» на ближних подступах к Москве. Но он не смог осуществить свой замысел. В его войске открылась измена. Несколько знатных князей составили заговор в пользу Лжедмитрия II. Скопин отступил в Москву и арестовал там заговорщиков.

В июне 1608 года армия самозванца разбила лагерь в Тушине. Скопин расположился на Ходынке против Тушина. Царь Василий с двором занял позиции на Пре-

сне. Появление польских отрядов в армии самозванца вызвало тревогу в Кремле. Русские власти развили лихорадочную деятельность, стремясь предотвратить военный конфликт с Речью Посполитой. Царь Василий поспешил закончить мирные переговоры с польскими послами и обещал им немедленно отпустить на родину Мнишков и других поляков, задержанных в Москве после убийства Отрепьева. Послы в принципе согласились на то, чтобы немедленно отозвать из России все военные силы, сражавшиеся на стороне самозванца. На радостях Шуйский известил Ружинского о близком мире и пообещал заплатить его наемникам «заслуженные» у «вора» деньги, как только те покинут Тушинский лагерь.

Царь Василий оказался близоруким дипломатом. В течение двух недель его воеводы стояли на месте, не предпринимая никаких действий. В полках распространилась уверенность в том, что война вот-вот кончится. Гетман Ружинский использовал беспечность воевод и на рассвете 25 июня нанес внезапный удар войску Скопина. Царские полки в беспорядке отступили. Тушинцы пытались ворваться на их плечах в Москву, но были отброшены стрельцами. Три дня спустя царские воеводы наголову разгромили войско пана Лисовского, устремившееся в столицу с юга.

Тщетно Лжедмитрий II домогался заключения «союзного» договора с королем и высказывал готовность идти на любые уступки. Наиболее дальновидные политики Польши решительно возражали против вмешательства во внутренние дела Русского государства. Сигизмунд III следовал их советам, ибо он не успел еще забыть о своей неудаче с Отрепьевым и не покончил с выступлением оппозиции внутри страны. Легкие победы Лжедмитрия II, однако, лишили его благоразумия. Король отдал приказ готовить войска для немедленного занятия русских крепостей Чернигова и Новгорода Северского. Завоевательные планы Сигизмунда III не встретили поддержки в польских правящих кругах. Коронный гетман Станислав Жолкевский указывал на неподготовленность королевской армии к большой войне, Сигизмунду пришлось отложить осуществление своих намерений. Но он выискивал повод, чтобы вмешаться в русские дела. С его ведома крупный литовский магнат Ян Петр Сапега набрал войско в несколько тысяч воинов и вторгся в пределы России.

В Москве царь Василий продиктовал польским послам условия мира. Послы, томившиеся в России в течение двух лет, подписали документ, чтобы получить разрешение вернуться на родину. Мирный договор оказался не более чем клочком бумаги. Вторжение Сапеги разом перечеркнуло его. Но Василий Шуйский упивался своей мнимой дипломатической победой и во исполнение договора освободил семью Мнишков. По приезде из ярославской ссылки в Москву старый Мнишек дал клятву Шуйскому, что никогда не признает своим зятем нового самозванца, и обещал всячески содействовать прекращению войны. Но он лгал, лгал беззастенчиво. В секретных письмах старый интриган убеждал короля, что истинный царь Дмитрий спасся, и заклинал оказать ему вооруженную помощь. Мнишки делали все, чтобы раздуть пожар новой войны.

Многие люди, хорошо знавшие Лжедмитрия I, спешили предостеречь Марину Мнишек, говоря, что тушинский царек вовсе не похож на ее мужа. Подобные предупреждения нисколько не смущали «московскую царицу». Через верных людей она уведомила «тушинского вора», что собирается приехать к нему в качестве законной жены.

Мнишки дали слово, что покинут пределы Московии. Власти снарядили отряд, чтобы проводить их до рубежа. Почти месяц путешествовала Марина по глухим проселкам, прежде чем ее карета достигла границы. Все это время Марина тайно сносилась с самозванцем. Подле самой границы пан Юрий с дочерью по условному сигналу покинули расположение конвоя. В тот же миг тушинский отряд напал на конвойных и обратил их в бегство.

В начале сентября «царица» в сопровождении польских отрядов прибыла в окрестности Тушина. В пути один молодой польский дворянин из рыцарских побуждений пытался в последний раз предупредить Марину о ждавшем ее обмане. Он был немедленно выдан Лжедмитрию II и по его приказу посажен живым на кол посреди лагеря.

Самозванца тревожила близкая встреча с «женой», и он сказался больным. Вместо него к Мнишкам выехал Ружинский. Он увез Юрия Мнишка в Тушино, чтобы возможно скорее договориться с ним об условиях признания нового самозванца. Прожженный интриган и глазом не моргнул при виде обманщика, вовсе не похожего на Отрепьева. Он готов был стать гетманом нового царька и распорядителем всех его дел и доходов. Ружинский грубо покончил с его честолюбивыми мечтами. Он сразу указал царскому «тестю» на его истинное место. Три дня гетманы и самозванец препирались между собой. Наконец, они сумели столковаться. Старый Мнишек согласился отдать дочь безымянному проходимцу за круглую сумму. Сделка облечена была в форму жалованной грамоты. Лжедмитрий II обязался выплатить Мнишеку миллион злотых. Юрий пытался оградить честь дочери, а заодно и собственный кошелек. Лжедмитрий мог стать фактически супругом Марины лишь после занятия трона, а соответственно и после выплаты денег. На другой день после завершения трудных переговоров самозванец тайком навестил Марину в лагере Яна Сапеги. Вульгарная внешность претендента произвела на Марину отталкивающее впечатление. Но ради короны она готова была на все. Не прошло и недели, как Марина торжественно въехала в Тушино и блестяще разыграла роль любящей жены, обретшей чудесно спасшегося супруга. Ее взор изображал нежность и восхищение, она лила слезы и клонилась к ногам проходимца.

Мнишек настаивал на точном исполнении пунктов заключенного им соглашения. Но Марина ослушалась отца. Палатка Лжедмитрия II стояла на виду у всего лагеря, и «супруга» понимала, что ее раздельная жизнь с мужем сразу вызовет нежелательные толки в лагере и разоблачит самозванство царька. К великому негодованию отца и братьев, Марина стала невенчанной сожительницей Лжедмитрия II. Обманутый в своих ожиданиях, Юрий Мнишек покинул лагерь. Прошло полгода, и Марине пришлось выдержать объяснение с братом, случайно встреченным ею. Юный Мнишек упрекал сестру в распутстве. Чтобы смягчить его гнев, «царица», не моргнув глазом, заявила, будто один из ксендзов тайно обвенчал ее с новым супругом. Марина могла скрыть венчание от посторонних, но совершенно невероятно, чтоб церемония осталась тайной для отца и братьев, находившихся при ней в лагере. Собственный ее дворецкий Мартин Стадницкий свидетельствовал, что Марина жила с самозванцем невенчанная, потому что жажда власти была у нее сильнее стыда и чести.

Комедия, разыгранная Лжедмитрием II и Мариной, не могла ввести в заблуждение дворян и наемников, хорошо знавших первого самозванца. Но она произвела впечатление на простой народ. Весть о встрече коронованной государыни с истинным Дмитрием разнеслась по всей стране.

Поражение армии Шуйского и осада Москвы привели к тому, что восстание в стране вспыхнуло с новой силой. В Пскове городская беднота свергла царскую администрацию и признала власть Лжедмитрия II. Его успехи с воодушевлением приветствовала Астрахань, ставшая очагом сопротивления Шуйскому с момента гибели Отрепьева. За оружие вновь взялись нерусские народности Поволжья. Отряды тушинцев не встретили сопротивления в замосковных городах. Власть Лжедмитрия II признали Переславль-Залесский и Ярославль, Кострома, Балахна и Вологда. При поддержке городских низов тушинские отряды заняли Ростов, Владимир, Суздаль, Муром и Арзамас. С разных концов страны в Тушино стекались отряды посадских людей, мужиков и казаков. Их волна неизбежно захлестнула бы собой подмосковный лагерь, если бы наемное воинство не диктовало тут своих законов.

Слухи о поразительных успехах самозванца облетели Литву и Польшу. Толпы искателей приключений и авантюристов спешили в стан воскресшего московского «царя» и пополняли его наемное войско. Опираясь на наемников, гетман Ружинский окончательно захватил власть в стане самозванца. Торжество чуждых инородных сил стало полным, когда на службу к самозванцу явился Ян Сапега с отборным войском. Гетман Ружинский поспешил заключить с ним полюбовную сделку. Кондотьеры, смертельно ненавидевшие друг друга, встретились на пиру и за чашей вина поклялись не мешать друг другу. В знак дружбы они обменялись саблями и тут же разделили московские владения на сферы влияния. Ружинский сохранял власть в Тушине и южных городах. Сапега взялся добыть мечом Троице-Сергиев монастырь и завоевать земли к северу от Москвы.

В глазах русских людей Москва олицетворяла могущество России. Гражданская война подорвала престиж и экономическое благополучие «царствующего града». В течение полутора лет у страны было два царя и две столицы. Под боком у старой столицы, где сидел царь Василий, образовалась «воровская столица» в Тушине. Засевший в Тушине Лжедмитрий II был силен не польской подмогой. Его лагерь не имел башен и стен, которые хотя бы отдаленно походили на мощные укрепления Москвы.

Царь ничего не мог поделать со своим грозным двойником в Тушине, потому что в стране бушевал пожар народных восстаний. По временам «воровскую столицу» поддерживала добрая половина городов и уездов: Вологда — на севере, Астрахань — на юге, Ярославль, Владимир и Суздаль — в центре, Псков — на северо-западе.

Обездоленные низы ждали начала «счастливого царства». Второй самозванец обещал народу то же, что и первый,— тишину и благоденствие. Но население не получило ни того, ни другого. Призрак социального переворота, пугавший власть имущих в дни восстания Болотникова, потерял прежние очертания. В Тушинском лагере появились знатные дворяне, порвавшие с царем Василием и искавшие милостей при дворе царька. Сначала их было немного, но затем число «тушинских перелетов» увеличилось. В «воровской столице» первенствовали Салтыковы, Романовы и их родня. Боярскую думу «вора» возглавлял Михаил Салтыков и князь Дмитрий Трубецкой. Филарет Романов был захвачен тушинцами в Ростове

осенью 1608 года. Там он возглавлял митрополичью кафедру. В Тушине Лжедмитрий II предложил Романову сан патриарха. Филарет не простил оскорбления, нанесенного ему Шуйским в первые недели после убийства Отрепьева. В то время Романова нарекли в патриархи, а затем согнали с патриаршего двора. Считая себя несправедливо обиженным, Романов принял сан патриарха из рук «вора». Тогда в России были два царя и два патриарха.

Филарет пользовался популярностью в столице и провинции, и его появление при дворе Лжедмитрия II имело далеко идущие последствия. Самозванец выдавал себя за сына Грозного, а Романов был племянником Грозного. «Родственники» должны были помочь друг другу. Филарет знал, что имеет дело с бродягой, но бродяга нужен был ему, чтобы разделаться с Шуйским и освободить трон в Москве.

Тушино являло взору необычное зрелище. Основанная на холме близ впадения речки Сходни в Москву-реку, тушинская столица имела диковинный вид. Вершина холма была усеяна шатрами польских гусар. Среди них стояла просторная рубленая изба, служившая дворцом для самозванца. За «дворцом» располагались жилища русской знати. На холме жили господа и те, кто желал казаться господами. Простонародье занимало обширные предместья, раскинувшиеся у подножия холма. Наспех сколоченные, крытые соломой будки стояли тут в великой тесноте, одна к одной. Жилища были битком набиты казаками, стрельцами, холопами и прочим «подлым» народом. В пору дождей столица тонула в грязи. Кругом стояла невыносимая вонь.

На окраинах восставшие низы снаряжали повстанческие отряды и посылали их на помощь к Лжедмитрию II. Многие отряды являлись в Тушино со своими мужицкими «царевичами». Поначалу царек принимал свою мнимую родню с почетом. Приведенные ими ратники были нужны ему позарез. Но затем все переменилось. Тушинская Боярская дума, опиравшаяся на редкие дворянские сотни и наемных солдат, упрочила свою власть. Филарет Романов поневоле признал «брата» Дмитрия, но признать родней «царевичей» из мужиков и холопов он не желал.

По настоянию Романова и Тушинской думы Лжедмитрий II велел повесить двух «царевичей» на дороге из Тушина в Москву. Казнь «царевичей» Ивана-Августа и Лаврентия знаменовала окончательное перерождение повстанческого правительства в Тушине.

Расправой с «царевичами» непосредственно руководил, по-видимому, атаман Иван Заруцкий. Казацкий вождь был не менее колоритной фигурой, чем Филарет Романов. По силе характера они нисколько не уступал другому.

Заруцкий не противился перевороту, произведенному наемными солдатами в лагере под Орлом, а затем помог Лжедмитрию II и вождям наемного войска подавить элементы социального недовольства в Тушинском лагере. Остатки повстанческих армий Болотникова должны были подчиниться. Самозванец оценил заслуги Заруцкого и произвел его в бояре. Бывший сподвижник Болотникова стал крупным землевладельцем.

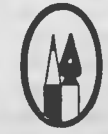
Лжедмитрий старался любыми средствами привлечь на свою сторону столичную знать. Тушинские бояре тайно переписывались со своей родней в Москве. До Тушина было рукой подать, и многие русские дворяне бежали туда в поисках богатства и чести. Лжедмитрий жаловал перебежчиков и выдавал им грамоты на владение землей. Щедрый на бумаге, царек не имел денег, чтобы хорошо платить столичным дворянам. Обманутые в своих надеждах, беглецы возвращались в Москву. Случалось, что «тушинские перелеты» по нескольку раз переходили от царя к царьку и обратно.

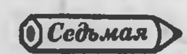
В Тушине собралось множество польских и русских дворян, пользовавшихся милостями первого самозванца. Все они откровенно презирали царька как явного мошенника, но не могли обойтись без него. Творя насилия и грабежи, наемное «рыцарство» повсюду трубило, что его единственная цель — восстановление на троне законного государя, свергнутого московскими боярами.

Личность Лжедмитрия II мало что значила сама по себе. Каким бы ничтожным и безликим ни казался «тушинский вор», важен был не он сам, а его имя. В глазах простых людей он оставался тем самым «добрым государем Дмитрием», под знаменами которого болотниковцы сражались против боярского царя.

Однако успехи нового самозванца оказались призрачными. Тушинская столица клонилась к закату, когда настал новый акт московской трагедии.

Кровавые междоусобицы ослабили мощь Русского государства и подготовили почву для иноземного вторжения. Осенью 1609 года Сигизмунд III со всей королевской ратью перешел русскую границу и осадил Смоленск. Вторжение открыло новую страницу в истории смуты.





Мини-мемуары

Ефим ДОБИН

ДОБРЫЙ ВОЛШЕБНИК

У близко знавших Евгения Львовича Шварца наверняка осталась в памяти особенная его улыбка при встрече. Она была заметна уже издали. Дрожала где-то на конце подбородка и, казалось, говорила:

— А сейчас вы услышите забавнейшую историю.

Или:

— А я припас вам чу́дную остро́ту. Эпиграмму. Каламбур. Шутку про нашего общего знакомого.

И вы сразу начинали улыбаться в предвкушении забавной истории. Или остроты, шутки, иронического намека.

Не следует только думать, что Женя Шварц (так звали его друзья) принадлежал к категории присяжных остряков, как правило, утомительных. Шварц не трудился подолгу над своими экспромтами. Они рождались у него свободно и легко. А главное — он испытывал жгучую потребность рассказывать людям, к которым питал симпатию, что-то веселое, комическое, остроумное. Ему очень нужно было привести своего собеседника в доброе состояние духа.

В его сказках часто фигурировал добрый волшебник. Это был он сам.

И как радовались мы каждой встрече с Евгением Львовичем! Как ободряла эманация веселости, постоянное излучение доброго душевного расположения! И как непроизвольно светлели лица собеседников при одном упоминании слов: «Женя», «Шварц», «Евгений Львович».

До конца дней своих он сохранил какую-то детскость. Старожилы комаровского Дома творчества помнят его уморительную «дуэль на животах» со сценаристом Константином («Котом») Исаевым. И Евгений Львович и Исаев в равной мере обладали весьма солидной корпуленцией. «Дуэль» придумал Шварц. Соперники надували животы и раздувшимися полушариями старались оттолкнуть друг друга с занятой позиции.

Все проделывалось с величайшей серьезностью и спортивным азартом. А окружающие помирали со смеху.

На юбилейном чествовании старика Чапыгина Шварц выкинул неожиданный номер. После торжественного, по всем правилам заседания (Чапыгина любили и почитали) Евгений Львович встал на стул и начал изображать «собачий юбилей». Он лаял на самые разные лады. Солидный, преисполненный собственного достоинства, на басах. И визгливый, с подобострастием. И захлебывающийся в упоении славословия. И ласково-заискивающий. И сурово-снисходительный. И трусливо-завистливый. Целая галерея «характеров».

В этой выходке проявился Шварц-сказочник, который вывел стольких героев-зверей. Он их наделял человеческими качествами, иногда даже своим собственным юмором. В пьесе «Красная Шапочка» лиса (ее бесподобно играла в ТЮЗе артистка Е. Уварова) удивляется странному вкусу осла. Чертополох, шиповник — это ведь несъедобно. «Я люблю острое»,— отвечает осел.

Так же, как можно было безошибочно установить авторство Михаила Светлова в любой из его острот, распространявшихся со скоростью света, так же было и специфически «шварцевское» в его юморе.

— Почему кошка, выброшенная из комнаты, обязательно хочет вернуться и царапается в дверь?

Я, конечно, не знал.

— Она боится, что, воспользовавшись ее отсутствием, люди скушают всех мышей.

Не всегда юмор Шварца был таким безоблачным и безобидным. Далеко не всегда. Увидев у меня все книжки Перельмана — «Занимательная физика», «Занимательная геометрия», «Занимательная арифметика» и так далее, Евгений Львович как бы мимоходом заметил:

— А хорошо бы написать «Занимательный краткий курс истории партии».

В те годы все, что выходило из-под сталинского пера, официально обожествлялось. Намекнуть на сухость и скуку его произведения — было равносильно государственному преступлению.

Остроту эту я, разумеется, тут же «забыл». Так же, как и ядовитую «сказку об одном руководителе».

Сказка была длинной. Рассказывал ее Евгений Львович не торопясь, уснащая каждый раз новыми деталями.

«В некотором городе жило Руководящее Лицо. Все делалось благодаря ему. С его именем на устах строились заводы, шились костюмы в ателье, готовились спектакли, занимались школьники, выпекались булки. Даже заключались браки и рождались дети.

И вот завелась там шайка гангстеров. Так как детей миллионеров в наличии не было, они решили похитить Руководящее Лицо.

Шестеро молодцов в рабочей прозодежде вошли в приемную и заявили секретарше, что Хозяин приказал выбить и вычистить ковер. Она открыла французским ключом дверь в священный кабинет, и, кряхтя от натуги, шестерка вынесла оттуда свернутый в рулон огромный ковер.

В тайном загородном пристанище из ковра извлекли Руководящее Лицо, поместили в комфортабельно обставленную пещеру и роскошно накормили.

Чтобы установить размеры паники, объявшей осиротевшее население города, был послан один из членов шайки. Посланец вернулся чрезвычайно удивленный.

Ни в магазинных очередях, где он толкался, ни у трамвайных и автобусных остановок, ни в парикмахерских и на вокзалах — нигде не слышал он разговоров об исчезнувшем Хозяине.

— Подождем,— хладнокровно сказал предводитель шайки и через неделю послал другого лазутчика. Сведения были неутешительны. Не было никаких следов траура, смятения, даже обыкновенного волнения. Заводы дымили. Магазины бойко торговали. Ребята весело мчались из школ, на ходу лакомясь мороженым. Театры и кино были полны.

Предводитель задумался: все это было очень странно. Он сам решил пойти на разведку. Его ожидало тяжелое разочарование. Ну, то, что не было слышно разговоров о пропавшем Лице, можно было еще объяснить: на прием к нему никто не осмеливался явиться, он сам вызывал людей. А секретарша побоялась что-либо сообщить.

Но как город продолжал жить нормальной жизнью? И — самое неожиданное! — почему лица прохожих стали веселее? Почему они любезнее, нежели раньше, раскланивались друг с другом? Почему даже продавцы поражали необыкновенной вежливостью? Почему спектакли стали намного интереснее?

В подавленном состоянии вернулся предводитель в логово гангстеров. Пока суд да дело, он распорядился уменьшить расходы на пленника. Руководящее Лицо лишили вина и закусок и даже третьего блюда.

Информаторы регулярно посылались в город, а желаемых сообщений о крахе не поступало. В один прекрасный день Руководящее Лицо попросило о встрече с руководителем банды.

— Я хотел бы узнать,— смиренно спросило Лицо,— как у вас организовано гангстерское дело.

— Как «как»? — переспросил предводитель.

— Есть ли у вас, например, график операций?

— Операций? — предводитель был в полном недоумении,— мы же не хирурги.

— Вы меня не поняли,— любезно объяснило Лицо.— Я под этим подразумеваю объекты, так сказать, перемещения собственности из рук законных владельцев в...— Руководящее Лицо замялось. Но предводитель его понял. Руководящее Лицо авторитетно заявило, что оно лично может наладить организацию гангстерского дела в самом лучшем виде. Нужны только пишущая машинка (на развернутый лист бумаги), копирки, ватманские листы, скоросшиватели, тушь и тому подобное.— И, пожалуйста,— вкрадчиво добавило Руководящее Лицо,— прикажите перевести меня на прежний пищевой режим.

Согласие было дано — и работа закипела. В течение недели были готовы титульные списки, графики, объяснительные к ним записки, календарный план производственных совещаний с готовым порядком дня и даже резолюциями. Сверх обещанного была преподнесена „генеральная схема административного подчинения" с симметрично расположенными разноцветными кружочками и пунктирами.

И...

И гангстерство прекратилось».

Так заканчивалась сказка-памфлет на культ личности (хотя сам этот термин тогда еще не существовал). Шварц придумал ее в самые тяжкие годы сталинского правления. Разумеется, она не предназначалась для «эстафеты». До XX съезда я хранил ее в самых потаенных закоулках памяти.

Сказка была горькой, злой и веселой. Насмешка облегчала, духовно освобождала от тяжести. Это была сказка-надежда. На то, что неизбежно рассеются мифы культа, пустопорожняя аллилуйщина.

Евгений Шварц был сказочник-философ. Гражданский трибун. Глашатай добра и обвинитель зла.

Под неизменной улыбкой Евгения Львовича, под комическими историями, вечными остротами таилось не добродушие, ограждавшее себя от треволнений, а сердце, болезненно воспринимающее чужие (они не были чужими) обиды, остро откликавшееся на чужую (она не была чужой) боль.

В середине 40-х годов, гуляя с ним по Комарову, мы встретили композитора Ш. Волей кремлевского Руководящего Лица на него тогда посыпались гонения. Ш. рассказывал нам, что он отставлен и от ленинградской, и от московской консерватории. Лицо Шварца буквально почернело. Губы дрожали: он не мог вымолвить слова.

Мы долго ходили молча. Для Евгения Львовича это было странно, даже противоестественно. Он страдал за Ш., страдал за Михаила Михайловича Зощенко (мы часто о нем говорили), страдал за многих.

Близкий мой друг, литератор, в конце 40-х годов лишившийся каких бы то ни было заработков, рассказывал мне:

«В магазинах картофеля не было (конец зимы). А на рынке он был дорог, нам не по средствам. Узнаю я, что в небольшой овощной лавке на ул. Пестеля продают картофель по государственной цене, дешевый.

Пожадничал я, взял 15 килограммов. До дому далеко, тащить не под силу. На каждом углу отдыхаю. Считаю пройденные и оставшиеся кварталы. Вдруг слышу как будто мою фамилию. Оглядываюсь — не вижу знакомых. Значит, ослышался. Иду дальше. Опять крики. И тут я увидел позади Евгения Львовича. Он нагонял меня, крича и делая отчаянные знаки, чтобы я остановился.

Как я ни отказывался, ни сердился, ни возмущался — ничего не помогло. Он ухватился за ручку сумки, не выпуская ее, и я вынужден был принять его помощь, хотя знал про его сердечную болезнь.

Ему было тяжело, и я много раз пытался его урезонить, но напрасно. Вдвоем мы дотащили картофель до самой моей квартиры. Не могу себе этого простить».

В суровую блокадную зиму 1941—42 года я прощался с ним на темной обледенелой лестнице нашего дома. Его вывозили самолетом, и я был безмерно рад этому — блокадных мук он бы не вынес. Мы смотрели друг другу в глаза, думая об одном и том же: суждено ли нам встретиться?

Встретились мы через полтора года, в Москве, в гостинице «Москва» (тогда там жили несколько ленинградских писателей). Я прибыл с черноморского побережья и должен был вернуться на Балтику. Как фронтовой корреспондент я много повидал и был полон впечатлений. Я рассказывал Шварцу о «куниковцах», легендарных штрафниках-десантниках, занявших в одну ночь окраину Новороссийска под командой недавнего газетчика Цезаря Львовича Куникова. О летчиках-смертниках, дравшихся против «мессершмиттов» и «юнкерсов» на совершенно устаревших к тому времени архаически медлительных «чайках» и «ишаках» (И-15 и И-16). О поразительной эпопее обороны Севастополя.

Женя жадно слушал. Недавняя победа под Сталинградом окрылила нас уже не верой, не надеждой, а уверенностью в окончательной победе. Я рассказывал, как плакал рослый детина-боцман, вспоминая день, когда смертельно ранили их командира, и упомянул, что Куников, редактор одной из московских газет, в 1937 году претерпел гонения.

И всплыла тема, которую мы всеми силами старались заглушить в себе, стряхнуть, забыть — и не могли.

— Ты хорошо знал Олейникова? — спросил Шварц.

Детский писатель Олейников был очень близким другом Евгения Львовича. Я был с ним только знаком.

— Известно тебе, что он сидел в деникинской тюрьме? Что его там истязали? Что он никого не выдал и чудом спасся?

Я это знал.

— Ты можешь поверить, что он был врагом народа?

— Нет, не могу.

— Как же это могло случиться?

Вопрос был задан так, как будто я мог на него ответить... А Николай Заболоцкий? А Юлий Берзин? Кары, обрушившиеся на людей ни в чем не повинных, бесконечно терзали Евгения Львовича. И в анамнезе его сердечной болезни они тоже должны быть отмечены.

Последний раз мы виделись на праздновании его 60-летнего юбилея в Доме писателя имени Маяковского и потом на банкете. Это был удивительно праздничный вечер, без тени казенной «юбилейщины». Анна Андреевна Ахматова сказала, что никогда не наблюдала такого сердечного согласия, такой всеобщей доброй человеколюбивой настроенности, как на этом вечере.

Перед этим Шварц перенес тяжелый приступ болезни, долго лежал в постели. Лечивший его профессор Александр Григорьевич Дембо колебался, разрешить ли юбилейное чествование. И сделал доброе дело, позволив.

Евгений Львович сидел благостный, ощущая в полной мере волны любви к нему, шедшие из зала. В эти часы он был счастлив. И мы были счастливы.

Не прошло и года, как нам пришлось хоронить Евгения Шварца. Это был черный, страшный день. Но он не может вычеркнуть из наших душ драгоценного и светлого ощущения, что много лет мы жили рядом, часто встречались, подолгу говорили, охотно и много смеялись.

Публикация Я. ДОБИНА



НАШИ АВТОРЫ

- ЛЯЛЕНКОВ Владимир Дмитриевич. Родился в 1930 году. Окончил Ленинградский политехнический институт имени М. И. Калинина. Работал инженером на стройках Ленинградской области. Автор книг «Борис Картавин», «Сестры Строгалевы», «Ожидание лета», «Просека», «Крещенские морозы». Член СП СССР. Живет в Ленинграде.

- ЦЕХАНОВИЧ Василий Петрович. Родился в 1922 году. Участник Великой Отечественной войны. Окончил Ленинградский государственный университет. Заслуженный работник культуры РСФСР. Автор книг «Гром над снегами», «Гляжу издалека», «Тропа через пожарище», «Амбразура, полная звезд». Член СП СССР. Живет в Ленинграде.

- ЖУХОВИЦКИЙ Леонид Аронович. Родился в 1932 году в Киеве. Окончил Литературный институт имени М. Горького. Член СП СССР. Автор пьес и многих книг прозы. Живет в Москве.

- ДАВЫДОВ Сергей Давыдович. Родился в 1928 году в селе Шебалино Алтайского края. В том же году семья приехала в Ленинград. Участник Великой Отечественной войны. С 1958 года занимается литературным трудом. Автор многих поэтических книг. Член СП. Живет в Ленинграде.

- ВАНШЕНКИН Константин Яковлевич. Родился в 1925 году в Москве. Участник Великой Отечественной войны. В 1953 году окончил Литературный институт имени М. Горького. Первый сборник стихов вышел в 1951 году. Автор многих стихотворных книг. Член СП СССР. Живет в Москве.

- ТОЛСТОБА Дмитрий Григорьевич. Родился в 1947 году в Калининграде. Окончил Ленинградский техникум авиаприборостроения и автоматики. Служил в армии, работал регулировщиком электромеханических приборов. Впервые стихи опубликовал в 1967 году. Автор двух поэтических книг. Член СП СССР. Живет в Ленинграде.

- ЕРМОЛИН Евгений Анатольевич. Родился в 1959 году в деревне Хачела Архангельской области. Окончил факультет журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова. Кандидат искусствоведения. Живет в Ярославле.

- ЗОЛОТНИЦКИЙ Давид Иосифович. Родился в 1918 году в городе Нежине. Окончил литературный факультет Ленинградского педагогического института имени Герцена. Участник Великой Отечественной войны. Доктор искусствоведения. Работает в ЛГИТМиК имени Н. К. Черкасова. Автор многих работ о русской и советской литературе и истории советского театра. Член СП СССР. Живет в Ленинграде.

---

*Старший технический редактор **Г. В. Александрова***
*Корректоры **А. Ю. Семина, О. Б. Смирнова***

Сдано в набор 28.07.88. Подписано к печати 23.09.88. М-31509. Формат бумаги $70 \times 108^{1}/_{16}$. Бумага тип. № 2. Печать высокая. 18,2+2 вкл.=18,55 усл. печ. л. 20,3 усл. кр.-отт. 23,56+2 вкл.=23,84 уч.-изд. л. Тираж 555 000 экз. Заказ № 1424. Цена 95 коп.

Адрес редакции: 191065, Ленинград, Д-65, Невский пр., 3
Телефоны: главный редактор, заведующая редакцией — 312-65-37, первый заместитель главного редактора — 312-64-78, заместитель главного редактора — 312-70-35, ответственный секретарь — 312-61-18, отдел прозы — 315-84-72, 312-65-95, отдел поэзии — 312-65-85, «Седьмая тетрадь» — 312-65-78, отдел публицистики — 312-65-85, отдел критики и искусства — 312-70-96, технический редактор и корректоры — 312-65-59

Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли.
197136, Ленинград, П-136, Чкаловский пр., 15